

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1998

6

1998

# НОВЫЙ МИР

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(878)

Июнь, 1998 г.

### СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Веселый солдат, повесть. Окончание	3
СЕМЕН ЛИПКИН — Я видел, стихи	92
ТЕОДОР ВУЛЬФОВИЧ — Три главы про Матвея, рассказ	96
МАКСИМ АМЕЛИН — Элегии начало, стихи	115
ЮРИЙ БУЙДА — Живем всего два раза, рассказы	120
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Бесшумные шляпки, стихи	135

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Обессоленное время. Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов. Окончание. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	139
--	-----

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Осколки серебряного века. Окончание	168
--	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

В. НЕПОМНЯЩИЙ — Феномен Пушкина в свете очевидностей	190
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Так почему же все-таки Мандельштам?	216

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. В поисках оригинала	221
Евгений Ермолин. Paganonov: глазами клоуна	226
Алена Злобина. Писательская артель «Три Шекспира»	232
Александр Носов. Echo du temps passé	238

Валерий Липневич. — Вячеслав Куприянов. Башмак Эмпедокла	241
Андрей Углицких. — Нора Галь. Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография	243

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ПРЕМИЯ

ЦУЗАММЕНШПИЛЕН — ИГРАЕМ ВМЕСТЕ! 245

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 247

Периодика (составитель Андрей Василевский) 249

SUMMARY 256

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ФИЛОЛОГА,  
АКАДЕМИКА РАН  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ТОПОРОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА  
ЗА 1998 ГОД!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КОРНИЛОВА,  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЛЕОНОВИЧА  
И ИННУ ЛЬВОВНУ ЛИСНЯНСКУЮ  
С ИХ ЮБИЛЕЯМИ!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



## ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ

*Повесть*

Часть вторая

### СОЛДАТ ЖЕНИТСЯ

**С**лужил солдат четыре года и холостым побыл четыре дни. Такая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Путь с войны я довольно подробно описал в одной из повестей и повторяться не стану — противно все это не только вновь переживать, но даже и на бумаге описывать.

Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливое сосание под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем?

Но в той нестроевой части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному суровому закону: попробовал — женись! Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскользали из цепких рук, что налимь. Конечно, и девки среди девок были, которым все равно как давать, по правилу иль без правил.

Я же сам добровольно отдался провидению — ехать-то не к кому, вот и пристроился, вот и двигался на восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк! Проживши бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно: баба есть бездна.

В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулась, и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим опыта не имеющим предводительством столько мук, страхов и горя — в мой солдатский рюкзак не вошло бы. А рюкзак был уемистый, цвета неопределенного, сине-серого, безо всяких излишеств и затей, полубрезентовый мешок с крепкой удавкой — ни карманов, ни клапанов, ни внутренних перегородок.

Я назвал это сооружение сталинским подарком солдату-победителю. С тем рюкзаком моим и с чемоданчиком, вдетым в кокетливый чехол, застегнутый на пуговицы, да еще с узелком, в котором были женские нехитрые пожитки, добрались мы до станции — столицы нашей Великой Родины, только-только спасенной от фашизма. Как поется в пионерской патриотической песне, в столице я «ни разу не бывал», супружница ж моя посетила ее два раза — по дороге на фронт и когда-то ее отпускали в свя-

зи с бедой, постигшей семью: украли корову, смыло огород вместе с урожаем.

По пути на Урал супруга моя останавливалась у тетушки — проводницы спецвагонов, квартировавшей в городе Загорске. И вот к этой самой тетушке наладилась супружеская пара, чтобы передохнуть, набраться сил для дальнейшего продвижения в глубь нашей необъятной страны.

Жена моя, попав в столицу, воспрянула духом, расправила крылья, взнялась во весь свой исполинский рост, ленинский, — метр пятьдесят два сантиметра. Мощь эта, группа крови и прочие подробности были означены в красноармейской книжке. Она сразу дала понять, что столица имеет дело с бойцами, повалившими матерый фашизм, что человек она только с виду незатейливый, на самом же деле о-го-го какой разворотливый, прыткий и бедовый.

Для начала баба моя пихнула плечиком под задницу какого-то неповоротливого москвича, тот пошатнулся, но не упал, однако за очки схватился, отыскивая обидчика, уперся в меня взглядом и завел: «Поз-во-о-ольте!» Супругу мою, подлинную обидчицу, он и не заметил. Она ж, никого и ничего не признавая, никого и ничего не страшась, рвалась сквозь толпу, вонзалась в нее, будто остро откованный гвоздик в трухлую древесину. Но на мгновенье опамятавшись — не одна ж она движется с фронта, семейной ячейкой движется, — хватанула меня за полу шинели и поперла вперед и дальше, вместе с чемоданчиком, с узелком, с полным брюхом отходов, так как мы оба давно уж не ходили до ветру, и я опасался, кабы из меня прямо в метро чего не выдалось.

Так вот, где несомые толпой, где самостоятельно, рубились мы в метро, проявляя истинный, не плакатный героизм, жена моя таранила всякие на пути преграды. И я еще успел мельком подумать, что с такой бабой не пропаду и всего, чего надо в жизни, достигну.

В неловкий час, в неловком месте пришло ко мне это умозаключение. В неловкий час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка, и мно-го ей всяких испытаний и приключений еще предстояло изведать.

Одно из них уже подстерегало нас тут, в метро, через какие-то минуты. Потом уж, на индустриальном Урале, услышал я индустриальную поговорку: рад бы вперед бегти, да зад в депо.

Но существу женского рода плевать на то, что сзади, ее занимало только то, что спереди. Кроме всего прочего, коммунистка она у меня и, значит, должна стремиться только вперед, только в борьбу, только к победам. Народ в метро тогда, в сорок пятом, если садился, то выйти никто не успевал, и, наоборот, если выходил, то войти времени не хватало.

Пропустив несколько поездов, жена моя с моим полупустым рюкзаком, достававшим ей почти до пят, хотя я и убавил лямки в два раза против нормы, уцелилась для броска в вагон. А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд, в котором притиснуты, расплющены о светлые стекольные стены люди, и думаю: уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее добрались бы до тети...

А поезд шик-пшик — и двери в обе стороны, рокоча, отворяются. Жена дерг меня за рукав и поперлась прокладывать дорогу, где-то кому-то под мешок поднырнула, меж двумя толстыми бабами протиснулась, обернув их, будто матрешек, бордовыми лицами назад, узлами к поезду. Я меж этих толстых баб застрял, в привязанных за их спинами узлах запутался и потерял жену.

Показалось мне, видел, как она, наклонившись, юркнула меж ног какого-то гиганта, несущего на груди своей кучу народа. Он и жену мою внес в вагон. Я же принялся в панике толкать плечом и грудью человеческие спины, сдвинувшиеся одной непреступной стеной, не щадил вроде никого. Двери в вагон — вот они, рядом, но в воздушном пространстве раздался спокойный голос: «Осторожно! Двери закрываются!» — где-то

шикнуло-пшикнуло, и сомкнувшимися дверьми отсекло меня от народа, едущего вперед и дальше, отсекло и от моей законной жены, которую я под Жмеринкой «раздобув».

Как же так, товарищи?! Катастрофа ж семейной жизни! Мы ж можем потерять друг дружку навеки! В последней надежде бегу следом за набирающим скорость вагоном, бью напрапалую и беспощадно народ оставшимся от жены чемоданом и чувствую крах всех планов и надежд, а бегу, бегу и с каждой секундой все трагичней ощущаю бесполезность своих усилий: жена, вот она, рядом, за стеклышком, но вроде как ее уже и нету, вроде как она мне приснилась. Но нет, вон она, все еще живая, притиснутая к стеклу, что-то мне кричит, пальцем на стекле чертит...

Ушел поезд, огоньки хвостовые в тоннеле погасли, в голове моей, в душе ли, с детства песенной, вертится и вертится: «Вот умчался поезд, рельсы отзвенели, милый мой уехал, быть может, навсегда, и с тоской немую вслед ему глядели...» — модная эта песенка в ту пору была, сочинил ее еще юный и тогда не толстый Коля Доризо. Ну, это про Колю-то и про то, что он сочинил и сочиняет, я узнал после. А тогда, в победном сорок пятом году, стоял середь люду, темной, грозовой тучей кружащегося. В дыры, в двери, в преисподнюю, на эскалаторе уплывало человеческое месиво, в котором я не вдруг различил лица и не сразу вспомнил, что называется оно — народ. Но народ сам по себе, а я, бабой покинутый, сам по себе. Стою, значит, с чемоданчиком, с узелком, мешаю этому народу, очень мешаю ему течь, куда ему хочется, и вдруг в моей голове сверкнула мысль — употреблю заезженное выражение, — что сабля вострая, просекла она мою башку до самого отупелого мозга: «А если жена моя подумает, что я на ней поджегился и нарочно отстал от поезда с ее манатками?»...

В долгом пути мы таких случаев навидались и еще больше наслушались. По теперешнему разумению, мысль нелепая, глупая и даже абсурдная. Но войдите в мое положение, вспомните, сколько мне было годов, какое шаткое время стояло на дворе, где кто что урвет, тут же и пропьет. Главное дело: при мне не только манатки, но и все документы жены, шмыргалки этой, которую на ту минуту спереду я любил бы, а с заду убил бы! Вот они, документы, на груди моей горячей, под сердцем, пристегнутые булавкой с исподу к гимнастерке, в мешочке-кармане — у нас, в семье нашей новоявленной, так уж повелось: по Божьему завету за главного выступал я и при многочисленных дорожных проверках документы предъявлял я надзорным и всяким прочим властям, потому как я мужчина, руковожу, стало быть, семьей — распромать ее, перемать, — осуществляю вопорядки и направление держу.

«Э-эх ты! Ах ты, в кожу, в рожу, в кровь, в печенки и в селезенки, если они во мне еще не сгорели. Женился, будто в говно рожей влепился! Зачем? Зачем?»

И вдруг завело, запело во мне, с детства порченном, по утверждению бабушки: «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, н-не страдала душа». Ночь! Она, она, курва, во всем виновата. Тогда ведь не то что нынче: провел ночь-то, джинсы в беремя — и ходу. Нет, тогда, коли поблаженствовал, понаслаждался, — неси ответ, не отлынивай. Ан и тогда не все же так безответственно собой распорядились, как я, рассолодел, растворожился, мечтою вдаль простерся о семейном уюте и счастье... Вот и блаженствуй, вот и наслаждайся — книжек начитался, по книжкам и живи, сам, один, но не смущай людей и судьбы их не запутывай, девок в ночь не уводи...

«Чё же делать-то, а?» «Ах, зачем эта ночь...» — привязалась песня, звучит и звучит, курва, в башке.

Подниматься пожалуй что надо наверх, искать в Киевском вокзале коммандатуру — поди-ка не один я тут такой удалой, мечтой о счастье ушибленный, и не одна такая на свете удалая баба?! Сдам ее документы и ве-

щички в какой-нибудь отдел потерь и находок, пускай они ее ищут или она их, я же поеду дальше, в Сибирь, к бабушке, к теткам, к родне. Эх они мне, голому и голодному, сами голые и голодные, обрадуются! Рюкзак! Хер с ним, с рюкзаком! Увезла и увезла стрикулистка эта шалавая. Там и добра-то: пара белья, портянки, да в узелок завязанные альбомчик солдатский, да письма друзей и любимой медсестры.

Гром бы всех этих баб порасшиб! Ходят в беретах, в нарядах, да как их много-то, гораздо больше, чем мужиков! Вон без них, без баб, как хорошо жить было...

Постой, постой! А что это она, супруга моя, мне кричала через стекло и пальцем на стекле чертила? Буквы какие-то? По пальцу, по движению его, буквы знакомые. Стоп! Ведь она чертила в воздухе и на стекле вроде как давно знакомое слово... Уж не «Ленин» ли?.. Вроде бы как вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич? К чему это она покойника беспокоит? Партийная она — понятно, в пионерах еще Ленина полюбила, после Ленина еще кого-то, потом еще кого-то. Напоследок вот меня, беспартийного, из пионеров на третий день за недисциплинированность исключенного.

Я выбрал из толпы наиинтеллигентнейшего вида человека, в очках, конечно, в шляпе, конечно, учтиво поклонился ему и спросил: нет ли в метро станции с названием «Ленин»?

— Как нет? Ленин везде есть, он, всюду любимый, с нами, — охотно, как бы даже озоруя, отозвался московский интеллигент. — «Библиотека Ленина».

— Ой, спасибо! Вот спасибо! — вскричал я, пятась от московского интеллигента, лицо которого вдруг разгладилось. Шутил насчет Ленина, опасно прикалывался. Ну и народ эти москвичи! Да нет, улыбку веселую, скорее изгальную вызвал у него не Ленин, а я, такой, должно быть, блаженненский вид у меня сделался.

Вдали загудел поезд, публика придвинулась к краю перрона и сомкнула ряды.

«Ну, теперь уж я не уступлю, теперь уж я поведу себя как в бою, чтоб бабу не потерять совсем», — готовясь к штурму, взбадривал я себя и второго ряда как двинул в вагон, прорвал на пути цепи, кого-то ушиб чемоданом, кого-то вроде бы уронил, меня ругательски ругали, даже в загривок долбанули чем-то жестким, кулаком скорее всего. Но я жену богоданную, в красноармейскую книжку записанную, ищу. Тут уж не до этикету. Бой есть бой. Тут уж кто кого. Знали бы они, пассажиры, что я за спасение семьи борюсь, по трупам пойду, пол-Москвы вытопчу! У-ух, какой я отчаянный боец!

Вот и покатило вагон! Вот и повезло меня вперед и дальше, к остановке «Библиотека Ленина». Там уж быть или не быть, но в голове-то звучит и звучит под стук колес: «А-ах, зачем эта н-но-очь так была хороша, та-та-та-та, та-та-та, та-а-а-ата-та, та-а-ата-та-а»...

Ехать бы и ехать, долго ехать и звучать внутренне, потом задремать. Но вот она — «Библиотека Ленина». Народу на ней побольше, чем на «Киевской», да и сама остановка поширше, поразветвленной: туда и сюда ехал на эскалаторах, бежал, мчался, толкая друг дружку, народ. Меня притиснули к стене.

Я устало приопустился на выступ какого-то памятника или мраморного украшения и решил, что буду сидеть, пока метро не закроют, только вот попить бы где раздобыть? И еще я думал, что если баба моя раздолбанная найдется, я ей ка-ак дам! Ты, скажу, чё, совсем ополоумела?! Ты, скажу, чё прыгаешь, как цыганская блоха по хохлацкой жопе! Ты, скажу, об чем своей башкой думала, когда такой номер выкидывала?! Ну и так далее тому подобное.

Словом, только бы нашлась, тогда бы я сумел всю душу излить.

Но моя жена, баба по-нашему, по-сибирски, не находилась. И один, и второй поезд, и десятый прошел, и «полночь близится, а Германа все нет! Все нет...» — нервно пело радио над моей головой. Я уж задремывать начал, как слышу — кто-то дергает меня за рукав и восклицает ликующе!

— Вот ты где!

Все заготовленные речи мои как-то остыли, угасли в моей истерзанной душе, я лишь отрешенно сказал, не открывая зрячего глаза:

— Ты вот что!.. Ты теперь всегда будешь ходить только сзади меня и за мной. Иначе я тебя пришибу! — и решительно шагнул вперед, к желтому вагону. — Поняла? — обернулся я.

Баба моя семенила за мной и согласно кивала: «Поняла, поняла...» — и мой знатный, выданный РКК рюкзак подпрыгивал, бил ее по заднице так, что в рюкзаке звучало боевым маршем: ложка билась о ложку и еще кружка звякала.

Мы ехали в Загорск, к тетке моей жены, и попали в сей блаженный город уже с последней электричкой, во втором часу ночи.

\* \* \*

Вы думаете, тут, в Загорске, наконец-то все и кончилось, сейчас вот молодожены попадут к тете, помогутся, поедят и замертво упадут в супружескую постель? Глубокое это заблуждение. Наша семейка возникла из военных событий и с событиями вступала в мирную жизнь. В пьесе одной герой, глядя на возлюбленную, восклицает: «Эта женщина создана для наслаждений!» А моя баба была создана для приключений! Приключения ждали нас почти на каждом шагу.

Тут, в Загорске, среди темной ночи, по причине позднего часа, в совсем обезлюдевшем городишке приключения развернулись очень скоро. В городишке том не звонили колокола, во всяком разе тогда, ночной порой, я и не слышал их, ничего нигде не светилось, не горело, не сверкало, никаких куполов в поднебесье не виделось, даже собаки не брехали, ни пьяных, ни трезвых, ни богомольцев, ни юродивых, которые ныне там толпами шляются, форсят золотыми крестами на молодецких грудях, потряхивают кудрями на пустых головах, предаваясь ленивой вере в Бога. Мода на Бога пошла!

Бодро перемахнули мы с супругой через виадук, разъезженной улицей спустились под гору, мимо мрачных соборных стен, в витые и широкие щели которых сочился слабый небесный свет, слышался звяк оторванного железа, скрежет кровли сверху, в решетках церковных куполов пропечатались темные крестики, один вроде бы даже и блеснул испуганно в прорванной глубине ночного осеннего неба, брюхато провисшего над спящим благодатным обиталищем душ живых, как выяснилось скоро, барышних, любящих драть с мирян, особенно с военных, копейку на привокзальном торжке. Пыльной, путаной российской историей напичканный городишко, по тогдашним его достижениям и заслугам, справедливо переименован был в честь бандита большевика.

Впереди нас блеснула вода. Скоро мы поднялись на земляную плотину, довольно высокую и, судя по сваям, торчавшим из земли вкривь-вкось, древнюю, густо заросшую крапивой, бузиной и прочей сорной благодатью, в которой глубоко внизу поуркивала, пошумливала живая вода, падающая на всякое бросовое железо, тележные колеса, обломки рельсов, бочонков, проволоки и цепей.

Я это все угадал или разглядел потому, что супруга моя по мере удаления от станции все замедляла, замедляла и без того не саженный шаг свой. Предложила передохнуть, посмотреть вниз, побросала туда камешки, чтоб видно было, как они падают в воду, подымая брызги, и звякают о



сплющенные ведра или прогорелые и выброшенные по причине технической непригодности железные печи.

Во мне ворохнулось нездоровое подозрение, но камешки я люблю бросать с детства, в Енисей их перепулял вагон, не меньше, и хотя сейчас мне в тепло скорее хотелось, лечь, вытянуться, уснуть, я, однако, тоже начал бросать камешки: «если женщина просит...» — как поется в современной песне, то отчего же и не уважить ее просьбу, не побросать камешки.

Побросал я, побросал камешки вниз без всякого азарта и интереса.

— Ну, пора уж и к тете, — говорю.

Жена моя пошмыгала, пошмыгала носом, и опять поговорка во мне возникла: «Тому виднее, у кого нос длиннее», — ан поговорка та тут же и скисла, протухла. Не отрывая глаз от бездны, где пожуркивала вода, падая из запруды, качая сломанный бурьян и позвякивая железом, жена молвила, что она не знает, где живет тетя.

Я ей в ответ: «Ха-ха-ха-ха!» — через силу выдираю из себя хохот. Не зря, говорю, считался ж веселым солдатом, сам, говорю, люблю и ценю шутку, но уж больно не ко времени, не к месту подобные шуточки!..

А она, баба-то моя, супруга богоданная, в ответ чуть не плача: мол, не шучу, я раз только была у тети, проездом, забыла место и дом, где она живет. А письма... все!.. в том числе и тетинны, чтоб они сохранились для памяти, связала в пакетик и домой отослала, так что даже и записанного адреса тети тоже нету. Днем-то, говорит, да не такая усталая, я, может, и нашла бы дом тети Любы, хозяйки, у которой наша тетя квартирует, но ночью плохо ориентируюсь, хоть в лесу, хоть в городе.

— И что же нам теперь делать?

— Не знаю.

— Не знаешь?!

— Не знаю.

— Хорошо! — произнес я и херакнул какой-то булыжник вниз, в воду, так, что плеснулось там и брызнуло, и вдруг запел голосом Буратино: «Хорошо, хорошо, эт-то очень хорошо!.. Эт-то очень хорошо, за-а-амечательно-о-о!» Пластинка у нас в детдоме была, вот я и запомнил с пластинки эти слова.

— Да т-твою мать! — стукнул я себя кулаком по лбу. Далее пошло, поперло: — Да где же мои глаза, глаз тоись, где он, зараза, глаз тот был, когда я высматривал во многочисленном коллективе себе невесту?! Да вон их сколько, девок, кругом: хоть на зуб, хоть на цвет, хоть на калибр любой подходящих, хоть соли их, хоть мочи, хоть на приправку, хоть на прикорм, на мясо, хоть на уху, хоть на ферму в колхоз, на почту, на икону, на фабрику, даже в артистки, даже в зверинец годных!

Говоря театральным языком, жена моя сполна получила весь деревенско-детдомовский репертуар на этот и на все последующие сезоны. Все, что за дорогу с войны скопилось в моей негодующей груди, всю тяжесть необузданного чалдонского гнева, все бешенство человека, измотанного войной, неурядицами жизни, — все это обрушилось на маленького человечка женского пола.

Я ожидал, она хоть заплачет или отбежит на безопасное расстояние, но она стояла отвернувшись от меня, и рюкзак этот, сталинский подарок, чтоб ему в лоскутья изорваться, висел на ней до самой земли. От ругани моей, должно быть, содрогнулось, сотряслось само небо, отхлынули хляби небесные, появилась, пусть и ущербная, луна. Мне сделалось видно согбенную, пустым мешком-котомкою придавленную к самой земле мою бабу, природой самой и жизнью приуроченную в страстотерпицы российских.

И мне ее жалко стало.

Все еще клокоча и негодуя, я грубо попросил, чтоб она вспомнила хоть какую-то приметку, местность, ориентир. Я — беспризорщина, быв-

ший таежник, бывший артразведчик, связист и вообще на войне во всяких переделках побывавший — уж как-нибудь соображу, уж не сплехую, уж разнуюхаю, уж...

— Дом на берегу пруда.

— Охо! Это уже кое-что!

— Но на каком берегу — не помню. Берега-то два.

Да, как это я не сообразил сразу, что у всякого водоема бывает два берега, только у обители небесной нет никаких берегов, и у моря, говорят, их не видать, но на морях я не бывал. У нас же, в России, куда ни хвати — где вода, там тебе и два берега. Правда, озера круглые бывают, но в данный момент нас никакие озера не интересовали. Мы находились на плотине пруда, перед нами два берега, и на одном из них живет тетя моей жены. Живи она не у пруда — вовсе не за что было бы ищущему зацепиться. Узнать бы еще, на каком именно берегу живет тетя — на правом или на левом?

Жена моя, стоя лицом к свинцово под луною светящемуся пруду, перемениво покрываемому теньями, реденько вструенными в него отголосками чьих-то огней, тыкала рукой то влево, то вправо. Тут я с изумлением вспомнил: да она же левша! Ей же трудно ориентироваться вообще на свете, тем более у водоема. Взял и повернул ее на ход воды, спиной к пруду, лицом к пустыне ночи, — вот теперь давай действуй смело и наверняка: с правой руки у тебя правый берег, с левой, значит, левый...

Она постояла, постояла и, поскольку была левшой, подняла левую руку:

— Однако, здесь.

— Х-хэ! — взбодрился я. — Конечно же на левом, мирном, сельском берегу живет наша тетя. Чё она, охерела снимать квартиру на правом берегу, в дыме, в копоты, на самом бую, в густолюдье, на грязном, разбеженном месте! Она — проводник вагона, ей люди да дороги надоели.

Хозяйка ее, по рассказам жены, занималась садом-огородом, драла с народишка копейку за овощ и фрукты. Самое тете тут место, здесь, где гуси живут, ласточки выются в небе, голуби под застрехой воркуют, скворцы веснами свистят, сама же говорила, что тетя — человек неунывный, очень трудолюбивый, из вятской деревни. А они, вятские, хоть мужики, хоть бабы, — ох какие хватские!

Я вилял хвостом, льстил, ободряя супругу, делал вид, что вовсе никого не материл, не бросал камнями в кромешную тьму, и что-то оптимистичное беспрестанно болтал. Привел жену на левый берег пруда — он и в самом деле оказался ликом деревенский. Строения вдоль него все одноэтажные, заплотами один к одному слепленные, индивидуальные, свои ряды сомкнувшие, до конца не покоренные все сметающей силой большевизма.

— Теперь бы мне хоть какую-то приметку дома, двора, палисадника, ворот?..

— А-а! — пикнула моя жена. — В палисаднике тети Любы растут рябина и черемуха! Может, две черемухи и рябина или одна черемуха и две рябины, да еще, кажется, береза.

Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком луны, уже норовящей укрыться в мохнатую постельку облаков, спутница военных дорог прочитала бы на моем лице укоризну: ну в каком русском палисаднике, тем более пригородном, где живет и плодится межклассовая прослойка — не то рабочие, не то крестьяне, по-бабушкиному просто — междомки и пролетарьи, по-дедушкиному — «советские придурки», — в каком палисаднике этих междомков не растет черемуха и рябина?! Они ж, эти междомки, из села нарезали, но в город не вошли, прилепились к нему, потеснили его. Они ж впросак попали, а что это такое, я уж объяснял. И здесь они тоскуют по отеческому уголку и тоску выражают посредством русских печек,

бань во дворах, черемух, рябин в палисаднике, березок у ворот, свиньями, курами и коровами во дворе, гусаками на пруду.

Дети этих, умеющих еще трудиться и плодиться, межедомков со временем подчистую сведут скотину, сделают в избах паровое отопление, поставят чешский или румынский гарнитуры, заведут магнитофоны и запрыгают вокруг них. А дети этих уже деток наденут брезентовые или вельветовые штаны с иностранными нашлепками на зад и станут, тоскуя о чем-то, петь под собственный аккомпанемент песни на собственные слова, в которых мелодия и голос совсем не обязательны...

Но полно, полно, в другое время, в другом месте об этом.

Я показал жене на несколько палисадников, она, обреченно вздохнув, предложила посидеть на ближней скамье у ворот и успокоиться. Мы присели на холодную, росой иль инеем увлажненную скамью и молча смотрели на воду пруда сквозь тополя, до того пообрезанные, что только прутья и росли на обезглавленных пнях, не отражаясь в воде. И вообще в пруду уже ничего не отражалось: слабый свет все дальше и выше уходящей, даже вроде поспешно и радостно улетающей в варево туч и облаков, в небесные бездны луны едва уже достигал поверхности пруда со все более и более густеющей водой. Смола уж прямо, не вода, даже сгусток огней какой-то артели или фабрички на противоположной стороне пруда, ввинчиваясь штопором, не оживлял эту черную, густую жижу, все в ней увязло. Бледный свет в вышине, в куполах соборов, звонниц был потаен, высок, смешивался с отблесками небесных светил.

В этот таинственный час ночи наше с супругой горе и вообще ничто земное, брэнное их не трогало и не волновало. А нас и подавно не касалась высота соборов и церквей, соединившихся с тьмою мирского. Бог давно уж отдалился от нас, а может, и забыл про всех, и про эту сиротскую пару — тоже: нас много по земле бродит после такой заварухи, Он же один — где за всеми уследишь.

Я тормозил супругу расспросами практического порядка, а она пыталась задремать на мокрой скамейке — валилась на мое плечо. Выяснилась еще одна подробность: ворота и заплот тети Любиного дома крашены желтой краской, — и это тоже мало чем могло нам помочь: в России на железной дороге с царских времен желтой краской крашено большинство построек, начиная от станционных сортиров и кончая бабушкиным коромыслом, не говоря уж о баржах, пароходах.

— Давно?

— Что — давно?

— Давно крашены тети Любины ворота, забор и палисадник? Да не спи ты, не спи, т-твою... — начал я снова заводиться.

— Когда я в сорок втором заезжала, краска уже выгорела...

«Э-эх, любви военных дорог, кружения голов и кровей — совсем недавно, оказывается, в сорок втором, была тут, мандаплясина, и все перезабыла!» И я язвительно еще поинтересовался, хлопая себя по заду:

— И скамейка небось есть?

— Есть! Есть! — откликнулась жена, зевая, и чтоб она не раскисла совсем, я ее взял за лямки рюкзака с отогретой скамейки — еще разоспится.

Мы побрели дальше. Редкие собачонки, с начала нашего пути подававшие голоса из-за ворот и дворов, вовсе унялись, видно, привыкли к нашим негромким шагам и сдвоенным запахам. Переворачивая слова жены протопопа на самого протопопа Аввакума, спросить бы мне: «Доколе сие будет, супружница моя?...» И она бы мне ответствовала: «До смерти, Петрович, до смерти...» И я бы вздохнул: «Ну што? Ино поплелись...» Да ничего я тогда про протопопа слыхом не слыхал и не читал — запрещено было читать поповское.

Однако ж начал я ободряться вяло зашевелившейся в башке мыслью: загорские миряне покупали, а скорей всего воровали краску с той же самой фабрики, что светилась на другом берегу пруда, в основном зеленую и суриковую. Фабричонка работала на железную дорогу, когда-то успела сообщить мне супружница, и сообщение это не сразу, но все же пало на душу бывшего железнодорожника, родственно в памяти держащего все, что касается желдордел. Мысль моя заработала обрадованно, во всю мощь.

«Так-так-так!.. Та-ак-с!» Не давая радости разойтись, оглушить меня, разорвать грудь на части, я даже хихикнул и потер руки.

— Ты что? — испуганно спросила спутница, очнувшись.

— А ништо! Вон тот тети Любин дом! — остановившись перед воротами, я осветил их зажигалкой и убедился, что все тут крашено желтой краской, правда оставшейся больше уж только по щелям и желобам.

— Как ты узнал? Откуда?

— Стучи! Стучи, говорю! — повелительно приказал я, упиваясь могуществом своего мужицкого поведения и железнодорожного наития. — Ты думаешь, я зря на родине колдуном зовусь? Ты думаешь, приобрела себе в мужья Ваньку с трудовнями?! Эта голова, — приподняв пилотку, я звонко постучал по ней, — способна только военный убор носить?!

Супруга обшарила, ощупала ворота, потрогала щеколду, поднявшись на цыпочки, заглянула в палисадник, на закрытые ставнями окна, велела высветить зажигалкой номер и, упав на скамейку, суеверно обмерла:

— Ой, я думала, ты дурачишься, когда говоришь о колдуне! Это и в самом деле тети Любин дом! — в полном уж потрясении заключила она.

— На загорские соборы перекрестись, хоть и коммунистка, и стучи, стучи давай — убедишься, что есть еще люди, способные творить чудеса! Изредка, но попадают... Вот и тебе в мужья угодил не человек, а клад... с говном...

Я еще чего-то травил. Супруга моя, сперва робко, затем сильнее, настойчивее, стучала в ворота, и со двора не откликнулась собака, которая, ожидал я, поможет разбудить хозяев.

В кухонном окне, запертом ставней, вспыхнул свет, выплеснулся сквозь щели старой ставни, вырвал кипу цветов или бурьяна из темноты под окном. Спустя время прогремел запор, приоткрылась дверь, сонный женский голос спросил, кого это черт носит в такой, уже совсем Божий, час.

— Ой, правда тетя Люба! — прошептала моя спутница, все еще до конца поверившая в мое колдовство. — Тетя Люба! Тетя Люба! — звонко закричала она, чтоб только ее услышали, не ушли чтоб. — Тетя Люба! Это я, Миля! С фронта еду, тетя Люба!..

«Какая еще Миля?!» — промелькнуло в моем перетруженном сознании, но удивляться уже было некогда. Сразу ударившись в голос, тетя Люба запричитала, хлопая галошами, прытко и грузно поспешила к воротам.

— Милечка! Девочка ты моя! Да голубонька ты сизая! Да крошечка ты моя ненаглядная! — возясь с запорами, которых ох как много оказалось по ту сторону ворот, все причитала тетя Люба, между делом разика два матюкнулась, и я почувствовал, как в груди моей потеплело: родственная душа встречала нас.

Уронив с белой рубашки шаленку, крупная женщина сгребла гостью в беремя и куда-то ее дела, в грудях, в распущенных волосах, в рубахе или юбке исчезла моя жена. Долго они целовались, плакали, наконец тетя Люба бережно выпустила гостью из объятий и спросила, указывая на меня:

— Это кто?

— Да муж! Муж мой! — отыскивая в потемках оброненную шапку, все еще шмыгая носом, обмоченным слезами, отозвалась жена.

— А-а, му-уж! Как зовут-то?.. Хорошо зовут. Ну, пойдете в избу, пойдете в дом! — И, приостановившись во дворе, в острой полосе света, приложила палец к губам: — Т-с-с-с! Токо тихо. Вася вернулся с войны, да таким барином!.. Спаси Бог! Ну, потом, потом... А тети-то твоей ведь нету, — опять запричитала, но уже приглушенно и натужно, тетя Люба.

— Она что, в поездке?

— Кабы в поездке! В больнице она, дура набитая! Я одна тут верчусь. Ногу ведь она поломала!

— Как?

— А вот так! — впуская нас в дом и еще раз приложив к губам палец, продолжала рассказывать тетя Люба. — Ей ведь не сидится, не ложится и сон ее не берет!.. Пошла мыть вагон. Ну, свой бы вымыла — и насрать, так нет ведь, она и на другие полезла, советску железну дорогу из прорыва выручать!.. Ну и оскользнулась. Нога и хрясь... Чё нам, бабам старым? Ум короток, кость сахарна... О-ой, ребятушки! О-ой, мои милень-ки-ы-ы! А устали-то!.. Устали-то!.. А вид-то у вас... — совсем уж шепотом продолжала она. — Вот вы с войны, с битвы самой, с пекла, и вон какие страдальцы!.. Мой-то, мой-то, — кивнула она на плотно прикрытые двери в горницу, — с плену возвратился — и барин барином! Сытый, важный, с пре-этэнзиями! Ну, да завтра сами увидите. Есть-то будете? Нет. Да какая вам еда? Умойтесь, да и туда, к тетке, в ее комнатку. Да простыня-то с постели сымите. Уж в бане помоеетесь, тогда... Тряпицу нате вот. Знала бы она да ведала, голубушка моя, кто к нам приехал, да на одной ноге, на одной бы ноженьке прискакала-приползла... А вот дурой была, дурой и осталась! Все государство хочет обработать, всех обмыть, обшить, спасти и отомлить... Она ведь, что ты думаешь?! В больнице угомонилась, думаешь? Лежит, думаешь? Как люди лежат, лечится?.. Как бы не так!

Супруга моя помаленьку, полегоньку оттерла меня плечиком в узенькую, всю цветами уставленную, половиками устеленную, чистенькую, уютенькую комнатку с небольшим иконостасом в переднем углу и синеной горящей лампадкой под каким-то угодником. Сама, вся расслабившаяся, с отекившим лицом, по-женски мудрым, спокойная, погладила меня по голове, поцеловала в лоб, как дитя, и пошла к тете Любе, такой типичной подмосковной жительнице, телом дебелой, голосом крепкой, в себе уверенной, на базаре промашки и пощады не знающей. И в это же время тетя Люба, жалостливая, на слезу и плач падкая, Бога, но больше молодых, красиво поющих богослужителей обожала, все про всех в Загорске, в особенности по левую сторону пруда живущих, знала, хозяйство крепкое вела напрямиком к коммунизму, от него и жила, немалую копейку, даже и золотишко какое-никакое подкопила.

Скоро узнаю я все это, а пока уяснил, что спутнице моей от тети Любы не так-то просто отделаться. Отодвинулся к стене, освобождая узенькое место на неширокой кровати вечной бобылки, и еще успел порадоваться, что вот и про бабу не забыл, женатиком начинаю себя чувствовать. А у женатиков как дело поставлено: все пополам, и прежде всего ложе. Супружеское.

Проснулся я ополудни. Жены моей рядом со мной уже не было. Но подушка вторая смята, значит, и ей удалось поспать сколько-то. Заслышав, что я шевелюсь в комнатке, бренчу пряжкой ремня, тетя Люба завела так, чтобы мне было слышно:

— Н-ну, Миленька, муженька ты оторвала-а-а! Во-о, ведьмедь так ведьмедь сибирский! Как зале-ог в берло-огу-у...

— Доброе утро! — глупо и просветленно улыбаясь со сна, ступил я в столовую и поскорее в коридор, шинель на плечи — и до ветру.

— Како тебе утро?! Како тебе утро?! — кричала вслед тетя Люба.

Но я уже мчался по двору, затем огородом, не разбирая дороги, треща малинником, оминая бурьян, едва в благополучии достиг нужного места. Доспелся.

Бани у тети Любы не было — как и многие пригородные жильцы, она пользовалась общественными коммунальными услугами. Нагрев в баке воды, мы с женою вымыли головы и даже ополоснулись в стиральном корыте, переоделись в чистое белье. Так, видать, были мы увозюканы в дороге и грязны, что тетя Люба всплеснула руками:

— Ой, какие вы еще молодехонькие!..

Супруга моя постирала галифе и гимнастерку, отчистила шинель канадского происхождения. Мне при демобилизации выдали бушлат, ребятам — эти вот шинели из заморского сукна, серебристо-небесного цвета. Данила сказал, что ехать ему в деревню, на мороз и ветер, к скоту, к назьму, к дровам и печам, бушлат — одежда самая подходящая, и, повертев перед зеркалом не рубленную даже, чурбаком отпиленную от листовного комля фигуру, бросил шинель мне. Может, я и в самом деле попаду на этот самый «лифтфакт» — так Данила выговаривал слово «литфак», и мне в такой форсистой шинели там самое место, не одной там студентке я в ней понравлюсь, глядишь, и несколькими.

К вечеру вся моя одежда подсохла. Супруга отутюжила ее, надраила пуговицы мелом, подшила подворотничок беленький-беленький, прицепила награды, выдала стираные и даже глаженные носки — я и не знал, что носки гладят, меня это очень умилило. Я спросил: чьи они? И если бы жена сказала, что хозяйина, не надел бы, но она сказала, что из тетиного добра, и я их надел. Ноги, привыкшие к грубым портянкам, вроде как обрадовались мягкой, облегающей нежности носков.

Когда я нарядился, подтянулся и, дурачась, повернулся перед супругой, она по-матерински ласково посмотрела на меня:

— Добрый ты молодец! Чернобровый солдатик! Никогда не смей унижать себя и уродом себя перед людьми показывать. Ты лучше всех! Красивей и смелей всех! — И улыбнулась. — Да еще колдун к тому же.

— Ну уж, скажешь уж... — начал я обороняться, но не скрою, слова жены киселем теплым окатили мою душу и приободрили меня если не на всю дальнейшую жизнь, то уж на ближайшее время наверняка.

Супруга привела в порядок и свою одежду, приделась, вечером, когда вернулся со службы хозяин по имени Василий Деомидович, состоялся ужин, вроде как праздничный. Тетя Люба, накрыв на стол, поставила перед хозяином тарелочку с салфетками, тарелочку под закуску, по левую руку две вилки, большую и маленькую, по правую — два ножа, тоже большой и маленький.

«Зачем столько?» — удивился я. Передо мной с боку тарелки лежали одна вилка и один нож, я же и с ними-то не знал, что делать: ведь все уж порезано, накрошено, намешано. Рюмок тоже было по две, да к ним еще и высокий стакан! «А ну как нечаянно рукавом заденешь да разобьешь?!»

Василий Деомидович, переодетый из конторского костюма в какое-то долгополое одеяние — пижама не пижама, жакет не жакет с простроченными бортами да белый галстук к сорочке с почти стоячим воротничком придавали хозяину, и без того крупному, вальяжному, этакую полузабытую уже на Руси дворянскую осанку, — он и за столом вел себя будто дворянин из советского кино. Вживе-то я дворян видел всего несколько штук — ссыльных, но какие уж в ссылке дворяне, по баракам по переселенческим обретающиеся?

Засунул салфетку за воротник и закрыл ею галстук. «Зачем тогда и надевать было галстук-то?» — продолжал я недоумевать. Другую салфетку хозяин положил себе на колени. Серебряными вилками Василий Деомидович зацепил сочной капусты, поддерживая навильник малой вилкой, донес капусту до тарелки, ничего при этом не уронив ни на стол, ни на брюки. Затем он натаскал на тарелку всего помаленьку: и огурца, и помидор, и мяса, и яичка, и селедочки кусочек, все ладно и складно расположил на тарелке, веером, да так живописно, что в середке тарелки оказался крас-

ный маринованный помидор и три кружка луку. Натюрморт это в живописи называется.

Тетя Люба обвела нас победительным взглядом: мол, во как мы можем! Впрочем, в глубине тети Любиного взгляда угадывалась робкая озадаченность и песья прибитость. Она суетилась, забивала внутреннее замешательство излишней болтовней и заботливостью. А во мне поднималась пока еще неторопливая, но упрямая волна негодования, и сказал я себе: «Ну уж хера! Салфет на себя я натягивать не стану!» Супруга — чутлива, по морде моей или еще по чему угадав революционный мой порыв, нажала под столом на ногу, не то ободряя, не то успокаивая. Когда хозяин взял за горлышко графинчик, спросил взглядом, чего мне — ее, злодейку, или красненького из бутылки с длинным горлышком, я с вызовом заявил, что солдаты, которые сражались с врагом, привычны пить только водку и только стаканами.

— Да уж, да уж! — заклохтала тетя Люба, смягчая обстановку. — Уж солдаты... уж оне, упаси Бог, как ее, злодейку, любят!.. Но вам жизнь начинать. Ты уж не злоупотребляй!..

Супруга опять дагнула своей ногой мою ногу. Хозяин сделал вид, что не понял моего намека насчет сражавшихся солдат, сам он с сорок первого года и ровно по сорок пятый отсиделся в плену у какого-то богатого немецкого или австрийского бауэра, научился там манерам, обращению с ножами да с вилками, к столу выходил при параде, замучил тетю Любу придирками насчет ведения хозяйства, кухни и в частности относительно еды; обед и в особенности ужин — целое парадное представление в жизни культурных европейцев: при полном свете, в зале, свежая скатерть на столе, дорогие приборы.

А где что взять? Конечно, Василий Деомидович приехал при имуществе, не то что мы. Но этого трофейного барахла, всяких столовых и туалетных принадлежностей, навалом на базаре, идут они за бесценок. С какой стороны обласкать, обнежить господина? Ведь он там с немочками и с француженками такую школу прошел, такому обучился, что ей, простой подмосковной бабе, науку эту не одолеть. Она уж и карточки неприличные напокупала, глядя на них, действовать пробовала, да где там? Не те годы, не та статья...

«Да-а, не член, не табакерка, не граммофон, не херакерка, а бутылброд с горохом!» — любил повторять наш радист, родом из Каслей или Кунгура, ковыряясь в рации, не в силах ее, вечно капризничающую, настроить, все хрипела она да улюлюкала и ничего не передавала.

И ведь, судя по морде, хозяин сам сдался в плен, никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там и с войны ехал как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой. А теперь вот вел беседы на тему, как праведно, чисто, обиходно, главное, без скандалов, поножовщины, воровства и свинства живут европейские народы, понимай — германские, как они хотя и жестоко порой обращались с пленными, а иначе нельзя, навыкли мы при Советах лодырничать, у немца ж не забалуешься, они, немцы, и детей воспитывают правильно — лупят их беспощадно и потому имеют послушание, не то что у нас лоботрясы никого не слушают. А на какой высоте у них искусство, особенно прикладное! Кладбища не кладбища, музеи-выставки под названием «Зодчество».

— А мы им тут кольев осиновых да березовых навтыкали, с касками на торце — вместо произведений искусства, — начал кипеть и заводиться я, — чтоб не отдалялись больше от родного дома в поисках жизненного пространства...

Жена опять дагнула мою ногу и к хозяину с вопросом насчет природы, похожа ли на нашу.

— И похожа, и не похожа, — промокая губы салфеткой, отозвался хо-  
зяин. — Деревья как будто те же, но все подстрижены, все ровненько, ак-  
куратненько...

Хватанув, уже самостоятельно, без приглашения, высокий стакашек  
водки, я хотел было напрямки спросить, как жопу европейцы подтирают.  
Не сеном? Сеном так хорошо, мягко, запашисто, и целый день, иногда и  
неделю из заднего прохода трава растет. Косить можно. Бедненькая тетя  
Люба позвала меня нести сковородку с жареной картошкой и на кухне  
приникла к моему уху, задышала в него:

— Миленький мой мальчик, герой ты наш фронтовик, наплюй на  
него, прошу тебя. Он же меня съест... загрызет... Я все понимаю, все-все!  
Изменщик он родине и народу, изверг и подлец, да ведь мужик мой, куда  
денешься?.. Пойми ты, мне-то какво на старости лет? Я из честной тру-  
довой семьи... Будь молодые годы да...

Жена моя бдила, не давала мне больше выпивать, да и увела меня по-  
скорее «к тете», где я заявил, что и дня больше не останусь под крышей  
этого разожравшегося на фашистских хлебах борова.

— Все, все! Все, мой хороший! Навестим вот тетю утром завтра в боль-  
нице — и за билетами, за билетами: у меня же литерные талоны. Мы же с  
тобой дальше поедем в купе. В купе, в купе, голубчик. В купе знаешь как  
хорошо, удобно, спокойно?! Ездил когда-нибудь в купе? Не ездил, не  
успел, а то бы поездил, ты ж железнодорожник. Я тоже не ездила, но  
знаю, что купе бывает на четверых...

— Это и я знаю! — непреклонно заявил я. — Ты кого надуть пытаешь-  
ся? Кому голову морочишь?

— Ну и что, что на четверых? — частила супруга. — Может, остальные  
двое опоздают... Мы ж с тобой так вдвоем еще и не были, — прижалась  
она ко мне... — Посидеть можно, поговорить, даже, если охота, поле-  
жать... — вздохнула она. — А этот... Он мне еще больше противен, чем  
тебе, но я же держусь. Можно же немного потерпеть...

— Ты не была на Днепровском плацдарме!.. Ты не была на Корсуне...  
Ты не видала!..

— Не была. Не была... Я и войну видела издалека и ничего такого не  
испытала. Но тоже ведь досталось. Бомбежки... пожары... ужас... Не мыть-  
ем, так катаньем война свое взяла у всех...

— Так уж и у всех?!

— Ну, не у всех, ну, оговорила. Хотя почти у всех... А тетя-то. Ха-ха!  
Ну, она какой человек. Велела привезти в больницу ее швейную машинку.

— Зачем?

— А чинит больничное белье. Нога в гипсе подвешена, она машинку  
на живот себе — и пошел строчить!.. Она у нас очень, очень хорошая. Ты  
ее обязательно полюбишь! Обязательно!

— А она меня? — спросил я, мягчея и привлекая к себе свою заботли-  
вую супругу, всегда и всем пытающуюся угодить, все неудобства и урод-  
ства на земле исправить, всем обездоленным соломку подстелить, чтоб  
мягко было, удобно, если возможно, чтоб никто ни на кого не сердился,  
никто никого не обижал.

— Ну кто же такого грубияна и замечательного дурня не полюбит? —  
рассмеялась она, целуя меня. — Такое невозможно. — И сделала тонкий  
намек: сейчас, мол, разденется, сейчас-сейчас, минуточку еще терпения,  
всего одну минуточку...

Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, спросила, можно ли к  
нам. Присев на кровать, стала плакать и жаловаться на Василия Деомидо-  
вича, который успел уж поинтересоваться, долго ли мы тут задержимся.  
Опять отчитал, что не берем с тети вашей плату. Ведь знает, хорошо зна-  
ет, что уж столько лет ломит тетка твоя по хозяйству, весь дом, все дела на



ней, сама хозяйка лишь торгует на рынке, копейку наживает. И еще плата какая-то? Фактически же тетя тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец...

— Ну, такой злодей навязался, такой паразит явился — сил нет, всю меня, бедную, уж измучил... Шкуру-то собачью под навесом видели? Это он Бобку, Бобочку моего, бедного, задавил. Лает, спать не дает. Своими ру-учищами, фашист! Фашист, и нет ему пощады.

Но пощады не будет как раз ей, тете Любе: выжив с квартиры нашу тетю, Василий Деомидович вплотную займется тетей Любой, и несчастную женщину хватит удар, она належится в грязной постели, только подруга, наша тетя, будет ее навещать, обирать от гнуса и грязи. Хозяин еще при живой хозяйке приведет в дом молодую бабенку и станет тешиться с ней на глазах у законной жены. Живи в другом месте, эти прелюбодеи, может, и прикончили бы тетю, но тут кругом соборы, кресты, попы и богомольцы. Бога боязно. Вдруг увидит?

— Он и до войны не больно покладист был, нудный, прижимистый, нелюдимый, да все же терпимый, а после плена просто невозможным сделался! Иногда забудется и брякнет: «А вот у нас, в Германии...» О Господи, Господи! Что только и будет? Что только и будет?..

Когда тетя Люба на цыпочках удалилась на кухню и выключила свет в зале, нам уж ничего-ничего не хотелось, даже разговаривать не было охоты.

\* \* \*

Утром, с десятичасовой электричкой, мы втроем выехали на станцию Яуза, где в железнодорожной больнице лежала тетя, которую по рассказам я уж вроде знал вдоль и поперек, да и любил уже как родную, горел нетерпением поскорее ее увидеть. Но прежде чем отправиться на электричку, все мы переждали, когда хозяин уйдет со двора. Василий Деомидович, поворочавшись в коридоре перед зеркалом, надел новое пальто, с заграничным портфелем и в кожаных перчатках проследовал мимо окон. Тетя Люба, смиренно и почтительно до ворот провожавшая супруга на службу, вернулась, плюнула, мы на радостях хватанули с нею по два стопаря водки, зарозовели, повеселели и начали друг дружке рассказывать анекдоты, смешные истории, громко хохотать, тетя Люба колотила меня по плечу, потом стала тыкаться в плечо носом.

Жена моя, пасшаяся в огороде, застала нас в резвости и веселье, принюхалась и поинтересовалась:

— Послушайте-ка, товарищи! Вы с чего это так разрезвились? А к тете кто поедет?

— Да ну тебя! Отстань! Надо же отвести душу добрым людям! Ушел деспот-то мой, мы с твоим благоверным и тяпнули по маленькой! А чего тут такого особенного? Анекдот какой классный солдатик рассказал!.. Смешной-смешной! Только я вот уж забыла его — памяти чисто не стало...

Оно бы и ничего, совсем ничего — ну, выпили и выпили, — да тетя Люба, систематически недосыпающая из-за напряженного хода жизни, захмелела крепко, в электричке громко разговаривала, выражалась, даже петь пробовала: «Шли по степи полки со славой громкой...» — но вдруг разом огрузла и уснула. Проснувшись, запаниковала:

— Ой! Чуть ведь не проехали! Ой, пьяная дура!.. — И высадила, точнее сказать, вытолкала нас из вагона на остановку раньше.

Меня, после дороги с фронта, удивить дорожными происшествиями было трудно, но тут на всех парах выскочила из кустов женщина с большой вязанкой березовых веток — на голики, промчалась по деревянному переходу на деревянный перрон и, загнанно дыша, но не снимая вязанки, поглядела туда, поглядела сюда и спрашивает у нас:

— А поезд где?

— Чего-о-о-о?

— Поезд, спрашиваю, где? Электричка?

Тетя Люба, ахая, проклиная и мужа своего, барина говенного, не дающего ей путем выспаться, и тетю нашу, и нас, стала объяснять женщине, что мы тоже вылезли вот раньше на остановку и не знаем, не то ждать следующую электричку, не то шагать по шпалам... Женщина опустила вязанку на перрон, да и принялась частить тетю Любу матом: по ее выходило, что из-за нас, ротозеев, она не поспела на электричку, потом не поспет ко времени домой и на работу, не продаст голики, вообще большие неприятности в ее жизни будут, и все из-за нас!..

Тетя Люба уяснила из ее ругани лишь одно: электричка с остановкой на Яузе пойдет лишь в обед, — смиренно перекрестилась, прикрикнула на женщину, и мы потопали по шпалам. Опоздавшая труженица поливала нас вослед, как ей только хотелось, не жалея того изысканного столичного мата, койи будет с годами еще более усовершенствован.

В больницу мы пришли изрядно уж утомленные, но развеселились, как попали в многолюдную палату, где женщина с простецки-деревенским лицом, чуть тронутым оспой, с белесыми, отливающими желтизной волосами, с подвешенной за гирию ногой в гипсе, поудобней устроив на животе, прикрытом старой простыней, швейную машинку, бойко и ловко что-то сшивала и еще бойчее что-то рассказывала, пересыпая быстротекущий вятский говорок, будто камешки с ладони на ладонь.

— Вот! Полюбуйся! — стараясь удержаться в строгости, указала тетя Люба моей жене на эту женщину. — Полюбуйся на ненормальную свою тетку!..

— О-ой! Миля! — воскликнула женщина со сломанной ногой.

И когда моя жена бросилась к ней, неловко, через машинку стала до-ставать и целовать ее, тетя со слезами попросила:

— Бабы!.. Да уберите машинку-то! Чё она, как конь, на мне едет...

Я опять удивился, что жену мою зовут Милей. Какая разнообразная она у меня!

Тетушка, освобожденная от машинки, немножко поуспокоившись, спросила, поглядевши на меня: кто это, уж не муж ли? И жена моя, которая Миля, смущенно закивала, зашебетала, что да, что муж.

Как она, тетушка, плакала потом, когда мы ушли из больницы, — сама же нам и поведала о том только много лет спустя. Жаль ей тогда было любимую племянницу: из такой большой семьи, трудолюбивой, бедной, и вот мужичонку себе сыскала израненного, профессию железнодорожную потерявшего, до сержанта даже не дослужившегося, значит, и пенсиону путного не будет...

— Ох, Господи, Господи! Один попался рядовой, да и тот кривой.

На бедность нашу и на начало обзаведения тетя наказала тете Любе достать из комода отрез шелка вишневого цвета, кое-что из ее бельишка, тетиного, да постельного, да покрывало белое пикейное, да новые шелковые чулки.

Тетя Люба, вынимая добро из комода квартирантки, будто отрывала все от своего сердца, ворчала, что была и осталась дура душой — раздать все добро свое готова, чтоб самой голой остаться... Как только земля-матушка и терпит этаких простодырок?!

\* \* \*

Мы очень скоро уехали из Москвы, и уехали действительно в купейном вагоне! Это уж жена моя заслужила такое льготное место. Талон же, завоеванный мною в сражениях, годен был лишь для проезда в общем вагоне, по той поре место мое было на крыше. Но, опять же, прошлюб<sup>1</sup> по-

<sup>1</sup> Свидетельство о браке (укр.).

действовал. Нам пришлось лишь доплатить какие-то пустяки — за «купейность», и прикатили мы глухой ночью в глухо гудящий, дымящий, одышливо дышащий город под названием Молотов, на большую станцию — Пермь-II.

Пересадка на соликамский поезд, который, постояв в раздумье, вдруг дернулся и стал уже набирать ход; в тамбур влетел молоденький, будто вешняя птичка, красивый, нарядный и радостный младший лейтенант, сверкающий белью зубов, пряжкой нового ремня, новой портупеей, новыми хромовыми сапогами. Порадовавшись, что успел на поезд — тоже пересаживался, спросил, куда мы едем, и, услышав, что в город Чусовой, сообщил, что он тоже туда, и представился распространенной на Урале фамилией — Радыгин.

Младший лейтенант весь кипел от какого-то нетерпения, нерастраченных сил и энтузиазма: он не успел повоевать, не успел отличиться, погеройствовать, сразиться с врагом — и вот уже домой...

Когда я сказал ему, чтоб он не жалел об этом, что ничего там, на войне, хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне — его назначение, наивысший смысл жизни виделась ему в битвах, в удалых делах, в порывах, в прорывах!..

Ох-хо-хо! Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгиным, хотя и старше его всего на два года. Какой груз я вез в своей душе, какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и скопившихся! Как жить с этим грузом? Куда его девать?? Кому передать, чтоб облегчиться. Не возьмет ведь никто — ненужный это, обременительный груз. А больше у меня ничего нету, пара белья, портянки — даже шапки нету, а мороз нажимает, усиливается...

Наш поезд прибыл на станцию Чусовскую, приютившуюся под горой, с желто покрашенным деревянным вокзалом, подвеселенным голубыми окнами и белыми наличниками, с деревянными перронными воротами, на которых узорчатым маком алел в комок смерзшийся флаг. Прямо по воротам нарисована белая стрела, и крупные буквы звали: выход в город.

Пассажиры скоро рассосались. Поезд, крикнув стылым электровозным гудком, покатил дальше, в неведомый мне город Соликамск. Мы остались на нечистом, ребристо обдолбленном перроне городка, о котором я никогда и слыхом не слыхал, даже на карте его не видел...

Постояли, помолчали, я докурил вторую сигарку, и молодая моя супруга не то безразличным, не то совсем усталым голосом напомнила мне, что скоро утро и пора нам двигаться домой.

— Ну что ж, — сказал я, — пора так пора... Домой так домой.

Я не очень воспринимал это слово, потому как с детства жил по казенным домам и общежитиям, внутренне уж совсем оробел и про себя еще раз покаялся, что не поехал на родину, в Сибирь, в края родные. Но виду не показывал, как жутко и одиноко мне в этом незнакомом городе, в чужом, шибко задымленном месте. Сохраняя наигранно-бодрый тон, двинулся я за женой своей и, выйдя на небольшую привокзальную площадь, увидел скульптуру Ленина в голом скверике, приваленную шапкой свежего, еще не закоптившегося снега, сказал, притронувшись к новой пилотке: «Здравствуйте, Владимир Ильич, единственный мне здесь знакомый человек!»

Супруга посмеялась столь удачной и уместной в данный напряженный момент шутке, и молодая пара двинулась вдоль желтого забора, за которым свистели электровозы и брякали буфера вагонов.

Станционные постройки, депо, магазины, клуб, дома, притиснутые горою к путям с одной стороны и к реке — с другой, остались позади. Молодожены вступили в длинную гористую улицу и, почувствовав, что так вот скоро, чего доброго, и «домой» придешь, я попинал ледышку на дороге. Супруга игру приняла. Гоня впереди себя ледяные и снежные комки,

будто мячики, не очень решительно, но шли и шли мы к цели. И чем дальше шли, тем меньше оставалось у меня в словах бодрости, в действиях тоже, и смех вовсе иссяк. Только конский шевяк прыгал — кони еще в этом городе велись, — и прыгал он от пинков, да громче хрустел снег под сапогами. Когда же супруга моя свернула с улицы на прогретенную тропинку в еще неглубоком снегу, ярко сверкающем искрами под луною, я сказал: «Передохнем!»

Между тем перевалило далеко за полночь, хотя точного времени мы с супругой не знали — часов ни у того, ни у другого не было, когда с вокзала пошли, на часах привокзальных, черной ковригой висящих над перроном, стрелки показывали два часа ночи с чем-то. Ноябрьский морозец набирал в ночи силы и звонкости, ярче прорезались звезды, прозрачная и круглая луна, что льдина, вытряхнутая из ведра, несколько раз объявлялась, но наплывающие дымы из близко ухающего, звякающего, мощно вздыхающего завода то и дело мутили высь, глушили всякий свет.

Вдруг небо начало подниматься и озаряться, будто от мощного взрыва. Но взрыва не последовало, лишь в полнеба разлилось яркое зарево и стало медленно угасать, оседая горящей пылью на землю.

— Что это?

— Шлак. Горячий шлак из домен на отвал вылили. Очень красиво, правда?

— Да, очень.

— Ты потом это все увидишь.

Говорить стало не о чем. Мороз становился все крепче. Надо было идти под крышу, в тепло. Отступать некуда. Виновато примолкли оба, не играли в шевяки, не разговаривали. Супруга снова вырвалась вперед. Я тащился за нею.

— Папа тропинку прогрел! — со светло пробуждающейся ласковостью сказала спутница.

— Как ты узнала?

— А он всегда с вечера... Если ж ночью снегу наметет, раньше всех встанет и прогребет тропинки, да и некому больше...

Мы приблизились к мирно в снегу спавшему деревянному полутораэтажному дому и оказались в нешироко сколоченном тесовом тамбуре, перед дверью в дом с обшитой жостью замочной скважиной. Вдоль тамбура на чурбаках покоилась толстая доска.

— Ну вот... Теперь посидим, — дрогнувшим голосом сказала спутница, и мы затихли на холодной скамье.

Я впервые почувствовал, что она, спутница моя, тоже волнуется после долгой разлуки с родным домом. Ей и радостно, и боязно сейчас. Ободравшая меня всю дорогу словом и взглядом, она оробела у родимого крыльца и сама нуждалась в поддержке, чтоб разделить с нею ее долгожданное и тревожное волнение.

Я нашарил ее в темноте тамбура, пригреб к себе. Она благодарно ткнулась мне в шинель мокрым лицом и, содрогаясь от плача, целовала меня в шею, в щеки, норовила попасть в раненый глаз. Я гладил ее коротко, поармейски стриженные волосы по-за шапкой, очерствелые от дорожной пыли и грязи.

— Ну вот, все! Приехали! — с облегчением, утирая лицо платочком, еще раз, уже летуче, чмокнула она меня в щеку и заторопилась: — Сейчас! Сейчас! — нетерпеливо шарила она за надбровником дверей, обметанным куржаком. — Да где же он? Папа всегда его сюда клал... — И вдруг счастливо залилась: — Во-от! Во-о-от он! — прижала большой железный ключ к груди, словно Мадонна мануленького младенца. — Во-о-от он, голубчик! Во-от! На, открывай! — сунула она мне ключ.

И я догадался, что это имеет какое-то значение.

Долго я возился, но дверь не отпиралась. Нетерпеливо топтавшаяся зади меня жена моя давала советы, затем не выдержала, отстранила меня и сама принялась за дело.

В глуби дома почувствовалось движение, послышались приглушенные голоса, наконец нерешительно вспыхнул свет, выделив в темноте два низко осевших в снег окна. Скоро проскрипела избяная дверь, мы почували, что в сенках кто-то есть, прислушивается к нам.

— Ой, да что же это такое?! Ну что же это такое? — вертела ключ туда-сюда новоприезжая, хрустя им в скважине, и повторяла уже сквозь слезы: — Ну что же это такое?! Всегда замок открывался нормально...

— Кто там? — раздался робкий и в то же время воскресающий голос человека, что-то почувствовавшего дальним уголком сердца, но еще не отошедшего от страха. — Дочь, Маря, это ты?

— Я, папа, я!

— Мати! Мати! — всплеснулось за дверью. — Дак это же она, Маря, с войны приехала!

— Миля, ты?!

— Я, мама, я!

— Ваня! Зоря! Тася! Вася! Миля приехала! Миля! — с облегчением, словно бы пережив панику, дрожал за дверью голос. Слышно было, как по избе забегали.

— Да пошто же ты не идешь-то? Чего там долго копаешься?..

— Дверь открыть не можем!

— Дак ты не одна?

— С мужем я!

— С му-ужем?! Дак где-ка он-то?

— Да тут он, тут.

Кольнуло: коли муж, дак куда он денется?

— Замок-от у нас испортили варнаки какие-то. Дак мы его переставили задом наперед, а ты по-ранешнему вертишь. Ты ключ-от глыбже засунь и к Комелину верти, к Комелину, а не к Куркову. К Комелину, говорю, к Комелину...

Супруга моя начала действовать ключом согласно инструкции; Комелины и Курковы, как выяснилось позднее, — соседи. Вот к одному из них, левому соседу Комелину, и следовало поворачивать ключ. Я следил за действиями дорогой супруги смущенно — супругу тут звали разными именами, авантюристка она, не иначе! И матерая, видать! Доразмышлять на эту тему мне не дали — дверь наконец отворилась. В наспех накинутой лопотине шустро выскочила маленькая женщина, начала целовать мою, тоже маленькую, жену, обшаривать ее, гладить по лицу. Позади женщины, в глуби сенок, под тускло светящейся лампочкой, кто в чем, толпился люд женского, но больше мужского рода. Высокий мужчина с круглой, будто у святого архангела, залысиной, обнажившей лоб, похожий на широкий, двухдушный солдатский котелок, решительно сжимал в руке топор.

— Дак в избу ступайте! В избу! — разнимал двух сцепившихся женщин довольно высокий пожилой человек с бородой. И хотя накинуто на него была трофейная японская шуба с лисьим воротником, все равно угадывалась усталость в его большом и костистом теле. — Студено ведь в сенках! Говорю, в избу ступайте... И ты, солдатик, как тя звать-то? В пилотке ведь.

Мы оказались в низком кухонном полуэтаже с рыластой, внушительных размеров русской печью. Толстые скамьи, углом приделанные к стенам, и углом вдвинутый в них грубо сколоченный семейный стол с «подтоварником» внизу. За печью был проем в виде двери, на нем, раздернутая в спешке, качалась тусклая занавеска. Было тепло и сонно в этом бедном,

просторном жилище, пахло умывальником, сохнувшими на печи мазутными валенками или другой какой обувью; из печи доносило преющим скотским сбоем, но запах варившихся почек и кишок крыло тонким слоем сохнувшей на шестке лучины, умело и тонко нащепанной, да беременем чистых лесных дров, аккуратно сложенных на полу, перед шестком.

Продолжались объятия, поцелуи, возгласы, слезы, мимолетные уже слезы, смех возник: «Папа-то, папа перепугался! А Ваня-то, Ваня — за топор!» Я стоял, прислонив к порогу чужого мне дома чемоданчик, с совсем отощавшим за долгую и канительную дорогу синим сидором за плечьями, и размышлял на привычную уже тему: «Зачем это меня сюда черти принесли? И вообще, зачем они всю жизнь меня куда-то заносят?..»

— Дак ты чё, парень, стоишь-то возле дверей? Раз приехал, дак проходи давай, проходи! — позвал меня возникший в моей жизни человек с непривычным наименованием — тесть. Но я все стоял, все стоял на месте, лишь переступил с ноги на ногу, давая знать, что внял проявленной чуткости...

— Господи! Про парня-то забыли! — всполошилась маленькая женщина с новым для меня наименованием — теща. — Раз ты теперь наш, проходи и не бойся народу. Народу у нас завсегда много...

Тут спохватилась и супруга моя, успевшая когда-то сбросить с себя шинель и шапку — она, заметил я, и прежде сбрасывала их при первой возможности с облегчением.

— Знакомьтесь! Все знакомьтесь. Мой муж. Сибиряк!.. — На этом ее красноречие иссякло, и она, обведя всех вопрошающим взглядом, добавила: — Приехали вот!.. Привезла с собой... Прошу... Вот... Прошу любить, стало быть, своим считать... прошу любить и жаловать, как говорится.

Ох, как много было всякой всячины в этих словах и обидного для меня лишковато: «Привезла, видите ли! Теленка на веревке! Она! Привезла! Ха-ха!»

Но опять же и предупреждение: привезла в людный дом, но в обиду не дам, кривой на один глаз, зато человек хороший, может, и не очень хороший, зато добрый, боевой! Не на помойке найден. С фронта! Там худых держать не будут! Медаль худому не дадут! Тем более орден!..

В общем и основном ее поняли, состояние ее почувствовали, начали со мной знакомиться ближе: Зоря, Вася — братья; Тася — сестра моей супруги; человек с залысинами архиерея — муж старшей сестры, Клавы, живут они где-то за городом, на лесозаготовительном участке, в поселке с выразительным названием — Шайтан. Он вернулся с войны в конце сорок второго года, и когда подал мне руку, вместо пальцев я сжал какие-то вислые, нетвердые остатки. Звали его Иван Абрамович! Тещу — Пелагия Андреевна, тестя — Семен Агафонович.

Зоря, Тася и Вася отправились по внутренней узенькой лестнице наверх, досыпать — им утром на работу. Теща на ходу наказывала ребятам, кому и где расположиться, рассредоточиться, чтобы высвободить кровать молодым, сама в это же время орудовала ухватом в печи и довольно ловко и споро для ее вовсе усохшего тельца выворотила из темного печного чрева здоровенный чугунок и сковороду такого объема, что, ежели была бы она деревянная, в нее можно было бы садиться. Здесь, в этом доме, родилось и выросло девять детей. Двое — Анатолий и Валерий — погибли на войне. Старший брат моей жены, Сергей, после госпиталя работал в лагерях для военнопленных. Еще одна сестра — Калерия — тоже двигалась с фронта домой.

В объемистой сковороде оказалась вчерошняя картошка, приправленная молочком и запекавшаяся в загнете. В чугуне была похлебка из требухи.

Мы достали из моего рюкзака кусочек сала, яблок, луку и недоеденную в дороге краюшку хлеба. Хлеб наш был тут кстати. Теща, собирая на стол, все извинялась, что ни хлеба, ни выпивки нет. Тесть, глядевший на

нее какое-то время с вожделием и надеждой, разочарованно буркнул: «Припаси бы...» Но он и сам понимал: припасать не из чего и не на что, закурил с удовольствием сигарку из мною предложенного табачку.

Мы с супругой в тепле быстро сомлели, чего-то сонно почерпали, в сковороду вилками потыкали. Теща с тестем разрезали и бережно съели по яблочку. Иван Абрамович пытливо разглядывал нас, покуривал, покашливал и, пока длилась трапеза, несколько раз выходил на улицу, вернувшись, сообщал, что все в порядке, что мороз кстати набирает силу.

Оказалось, что он привез из Шайтана на продажу тушу летошней телки. Тушу ту вывесили в сенках, и когда мы принялись ломиться в дверь, обитатели дома подумали, что их выследили и лезут за мясом грабители. Оттого и поднялась паника. Похлебка сварена из требухи той убоины, которую привез Иван Абрамович. Она еще не успела упреть, свежо и резво отдавала наваром. Мы переключились на чаёк. Чай морковный сна не лишал, но брюхо грел хорошо, и я скоро начал тыкаться носом в стол. Молодая моя супруга, по поводу и без повода раздумывающаяся, коей я чуть ли не на третьем свидании — всего их было семь — заявил, что, ежели она еще раз накрадется, вытащу портянку из сапога и сотру, — супруга моя, сияя румяным лицом, перескакивая с одного на другое, говорила и говорила. Тесть в разговоре почти не участвовал, но вслушивался в то, что говорили, и, не переставая дымить сигаркой, смотрел на дочь, приоткрыв успокоенно рот, ласково, дружелюбно и вроде как-то жалостливо потеревливая реденькую, жиденькую бороду, помаргивая небольшими серыми глазами с короткими выболевшими ресницами, и это его активное слушание было шибче разговору.

Лишь один раз он встрял в беседу и спросил: далеко ли будет та местность, где я воевал, от городу Витебску? Чуть заметно чему-то улыбнувшись, жена моя за меня ответила, как я уловил, потрафляя отцу, что недалеко, почти совсем рядом. Видя, что я хочу поправить ее, остановила меня предупредительно, погладив по рукаву, и я вяло подумал: да хрен их поймет, этих моих новых родственников, — плетут невесть что, впрочем, брехни почти нету: Украина, где я воевал, рядом с Белоруссией, и там этот самый Витебск вроде бы и находится.

Тесть, удовлетворенный ответом, пустил из бороды облако дыма, шмыгнул носом, про который говорится, что он на семерых рос, да одному достался, отсюда вот и произошел и выдающийся нос моей супруги. И вообще, она — вылитый папа. Говор от меня отдалялся. Народ тоже уплывал в пространство: как-никак я руководил путем-дорогой, оберегал молодую жену от дорожных напастей, заботился о воде, о пропитании, нес путевую нагрузку, да какую! До этого случая я никогда и никем не руководил, мне и потом, кроме жены, никем руководить и командовать не доводилось, да и это оказалось глубоким заблуждением, которое рассеялось на исходе моего пятидесятилетия, когда, как мне думалось, я поумнел и кое-что на свете понимать начал.

Сбросив с себя всякую ответственность, потерял я бдительность, расслабился, засыпать начал. Тесть, выполняя поручение женщин, повел меня наверх, давая в темноте направление руками, велел раздеваться, хлопал рукою по подушке, ласково обронил: «Вот здесь ложись и спи с Богом», — и деликатно удалился.

\* \* \*

Когда пришла в постель жена, ложились ли спать взрослые — я не слышал. Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизовавшийся солдат, оставивший вдали войну навсегда: без настороженности, без жутких сновидений, — спал, доверяясь большому дому с такой мирной тиши-

ной, устоявшейся в его недрах, с печным, из недр выходящим теплом, со знакомыми с детства запахами коровьего поила, половиков, полосканных в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко, последним бутонем цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными, сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною, внизу на кухне.

Проснулся я поздно. Солнце крупной, беспокойной звездой лучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна. В желобках рам накопилось мокро и по тряпичкам стекало в старые недобитые кринки, подвешенные на веревочках к подушкам окон.

Рядом с моей головой, на крашеном, домашнего изготовления стуле, чтоб проснулся и сразу увидел, покоились мои аккуратно сложенные брюки-галифе, гимнастерка с беленькой каемочкой подворотничка была повешена на спинку стула так, чтоб кто ни войдет, сразу бы увидел на ней орден и медали. Так супруга моя — усек я, — ставши спозаранку, может, и вовсе не спавшая, хотела подчеркнуть мои заслуги перед отечеством и одновременно как-то выделить перед родней и людьми, вместе с тем и свое старание и заботу показать. Не скрою, я был тронут, но когда она, уже в домашнем стареньком халате, взбежала наверх, присела на край кровати и спросила: «Ну, как ты?» — я вальяжно, с подчеркнутым равнодушием и ленью ответил: «Да ничего, окопался».

Заметив, что пригасил в ней радость, потрепал ее по голове, и она, удержавшись на высокоом взлете бодрости, сообщила:

— А папа уже баню истопил! — И запнулась, покраснела: — Вот! — и похлопала ладошкой о ладошку, держа руки ребром на коленях.

Понял я, понял — не чурка уж совсем-то, да и выспался, соображать начинаю: нам, молодоженам, по старому российскому обычаю, идти в баню вместе. Вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомимся друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж и жена и расписаны лишь в красноармейской книжке, мы и не женились по-человечески, мы сошлись на ходу, на скаку, в военной суতোлке. Было, конечно, кой-что, но тоже урывками, без толку и расстановки, все с опаской: вот войдут! вот застанут! А теперь вон — в баню! Вдвоем! Но там же в галифе, в гимнастерке с медалями не будешь. Там же раздеваться надо, донага! Обоим! Мыться надо и, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, «тереть спинку»!

А, батюшки-светы! Столь мало срока прошло с рокового того дня, после похода в загс за прошлюбом, а переживаний, переживаний!.. Баню, понимаешь ли, натопили! Это ж... Это ж в баню сходишь — и все! Это уж значит — муж и жена! По-настоящему! Конечно, и жена моя новоиспеченная тоже не святая. Да и я оскоромился в станице Хасюринской — приглубила меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил, тоже с переживаниями!.. Но чтоб в баню вместе! Это очень уж серьезно! Это уж как бы в атаку идти, в открытую — страх, дым, беспамятство...

— Робята! Да вы чё в баню-то не идете? Выстынет ведь, — раздался с лесенки голос тестя.

И я докумекал: отступать некуда. Надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко, тоже с вызовом, притопнул и с вызовом же уставился на супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза, да в забывчивости громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом.

— Куда прикажете?

— Что?

— Следовать куда прикажете?!



Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа на другую, холодную, лестницу и по ней, через сенки, во двор. Там вот и она, баня, — рьлом в рьло.

Вышел и уперся. Не на задах огородов баня, не в поле, не на просторе, как у нас в селе, вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике.

Еще больше разозлившись оттого, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угоенную, чистенькую баню с окаченным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье — этакое миротворно дышащее теплым полутемным уютком заведение с яростно накаленной каменкой. В топке каменки все еще тлели угли, вздымаясь ярким светом в середке и медленно притухая под серой пленкой вокруг кипящего кратера. Тесть еще не знал, что я после контузии не могу быть в жаркой бане и никогда более не смогу испытать российской улады — попариться. Но человек старался. Надо уважить человека. Я сорвал с себя одежду, повесил грязное белье на жердь — для выжаривания, сложил в сухой угол верхнее, подумал-подумал — и портянки повесил на жердь, более никакой работы, никакого заделья не было.

Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике, за дверьми, она не слышалась. Я взял сапоги за ушки и, чтоб они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешинку в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруга там разделась и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. А она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике все как-нибудь само собой наладится.

Но она, сжавшись в комочек, опустив голову, сидела на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем...

И тут я сорвался! Тут я рывкнул:

— Чё сидишь?! Целку из себя корчишь... — и ринулся в баню, оставив распахнутой дверь, загремел тазом. — Семерых родила — и все целкой была!.. — Солдатский фольклор, сдобренный оскорбительными присказками, хлестал из меня потоком. Увы, долго ему еще хлестать — исток-то уж очень бурноводный!..

Вконец перепуганная супруга моя тенью проскользнула в баню, принялась в уголке раздеваться. Я долбил себя каменным обмылком в голову, драл себя вехоткой так, будто врага уничтожал, казнил, снимал с него шкуру, продолжая, как ныне принято изъясняться, «возникать» до тех пор, пока мне в разверстую, срамное изрекающую пасть не попало вонючее мыло. Тогда я полез на полку и принялся хлестаться веником, в обжигающем поднебесье рыча на жену: «Сдавай! Еще!..»

Когда я перестал рычать, смолк на полке, выронил веник — какое-то время не могла бедная баба понять, что со мною случилось. Во мне весу тогда было не много, полку и пол были скользкими, бабенка хоть и мала ростиком, но ухватиста. Выперла меня волоком по мыльным половицам в предбанник, положила на что-то подостланное, прикрыла сверху своим халатиком. Я очнулся, повел глазом туда-сюда, узнал этот неприятный свет, попытался изобразить улыбку. Жена чуть заметно улыбнулась и с облегчением выдохнула:

— Ну, воин сталинского фронта! Ну, фрукт с сибирского огорода! Отбушевал? Отвоевался?

Я к чему так подробно про баню-то? Да потому, что потом очень уж много читал и слышал, что на фронте мы «огрубели», и грубость та чаще всего преподносилась в том смысле, что мы разучились целовать дамам ручки, пользоваться столовым прибором, танцевать чарльстон...

Дело обстояло гораздо сложнее и тоньше.

Когда молодой, да и не молодой человек тоже уходит из-под устоявшегося «духовного контроля», от наблюдений тяти-мамы, от постоянного нравственного «гнета», от школ, от учителей, от «хорошо» и «плохо», от надоедних «можно-нельзя», от младших братишек и сестреноч, которым надо подавать «пример», от дедушки с бабушкой, от их ворчанья и поучительного ремешка, от того, как есть-пить, сидеть и лежать, вести себя среди людей и в лесу, на пашне и в огороде, на деревенской вечерке и в клубе, во Дворце культуры, на танцплощадках, а то и в церкви, окруженному со всех сторон то Богом, то Пушкиным и Лермонтовым, то Толстым и Некрасовым, то Суриковым и Нестеровым, то Петраркой и Дантом, то Сервантесом и Шекспиром, то Чайковским и Бахом, то Бетховеном и Мусоргским, то просто деревенским грамотеем и гармонистом или уж на весь городской двор известным шахматистом, футболистом или математиком, уходя или вовсе уйдя от всего этого как бы растворенного в воздухе человека, постоянно дышащего спертым «кислородом», который в окопах выгорает, заменяется непродышливо-заразной атмосферой, — кровь постепенно начинает чернеть, густеть, закупоривать вены и извилины в башке. Вернуть изначальный состав крови, становиться самим собой очень трудно — для немалого числа фронтовиков это дело оказалось непосильным. К зверю ближе, а к человеку, веками трудно пестуемому, при его-то упорном сопротивлении, — далеко, и очень, вот часть фронтовиков и подались к зверям. Я тут не имею в виду тех, кто в собственном мнении, в глазах своих, выглядит или, точнее, хотел бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

Но я тоже не кадетский и не царский и не «тюрь-люм-тюм-тюм-тюм...», как виртуозно пел питерский бильярдист Дымба в не менее виртуозном исполнении любимого всеми артиста Жарова. Увы, я насквозь советский по рождению, по воспитанию и гонору. Привык вот, и быстро привык, есть лежа на боку или стоя на коленях из общей, зачастую плохо или вовсе не мытой посуды, привык от весны до осени не менять белье и прочую одежду, месяцами не мыться, иногда неделями и не умываться, привык обходиться без мыла, без зубной щетки, без постели, без книг и газет, без клубов и театров, без песен и танцев, даже без нормальных слов и складных выражений: все слова заменены отрывочными командами, необходимым минимумом междометий для объяснения между собой и командирами, необъятного моря матерщины, грубостей, скабрзностей, военного жаргона, во многом заимствованного у подзаборников, урок и всякой тюремной нечисти, — все это как раз и соответствовало тому образу существования — жизнью это назвать нельзя, преступно, постыдно, античеловечно называть это жизнью.

Придет время, я приобрету для работы книжечки фронтового немецкого жаргона и фольклора, по-ученому — сленга, и поражусь, что он, несмотря на разницу наций, чопорность и культуру европейскую, по поганству и срамоте капля в каплю совпадает с нашим «добром», накопленным на фронте. Разница лишь в том, что все у нас виртуозней, забористей, но по сраму, пакости пришельцы оттуда все же нас превосходили!

Чтобы не запятнать, точнее, не заляпать лик советского воина-победителя, ни окопный фольклор, ни жаргонные словари у нас долго не издавали. Несколько книжечек, писем с войны, фронтовых песенок, что просочились на свет сквозь нашу многоступенчатую цензуру и ханжество наше, — не в счет: слишком частое сито, уж не мука-крупчатка осталась и попала на бумагу, но ангельски чистый, почти серебристый бус и небесная голубая пыль, которою осыпали во дни торжеств королей и королев, блистательных избранниц, сиятельных вождей.

И вот нас, солдат-шивиков, такой же дезинфекции подвергли: вонь-то и срам постыдства войны укрыли советской благостной иконкой, и на ней, на иконке той, этакий ли раскрасавец, этакий ли чопорный, в чистые, почти святые одеяния облаченный незнакомец, но велено было вернуть — это я и есть, советский воин-победитель, которому чужды недостатки и слабости человеческие.

\* \* \*

Моя мирная жизнь началась с нелегкого, но привычного уже с фронта труда — таскания бревен.

В тот же воскресный день после обеда Иван Абрамович быстро отторговался мясом, выставил по этому случаю бутылку самогонки, отдающей ржавчиной, осушив которую мы все почувствовали себя родней и ближе друг к другу, поговорили о том о сем, больше о войне, о недавних делах и потерях, и с деньгами за голяшкой валенка он отправился в свой Шайтан засветло, чтоб капиталы в потемках не отняли. Отправился он по реке Чусовой, которая была в заберегах, вставала на зиму, сонно уже шурша, теснилась по стрежи взьерошенной шугой и вот-вот должна была застыть. Мы с братом жены, Азарием, подались в другой конец города, на другую реку, на Усьву, в которую чуть выше железнодорожного моста впадала еще одна красивая река — Вильва.

Все их мне предстояло увидеть, проплыть, познать и полюбить.

Выйдя на берег, я увидел железнодорожный мост в один пролет; меж ошетиненным льдом чернела вода рек Усьвы и Вильвы, на плесах уже схваченная стеклянистой перепонкой. Но меж гор, на перекатах, от дурачества характера реки-сестры все еще брыкались и парили. Под горбатой Калаповой горой, подле моста, соединившиеся Усьва и Вильва впадали в реку Чусовую. Разбегавшийся по берегам трех рек, по логам карабкающийся в косогоры городишко, в котором мне предстояло жить и прожить почти два десятка лет, был чем-то притягателен и даже родственен, несмотря на свой чумазый индустриальный облик. Много я тут горя переживу, много испытаю бед и несчастий, но место это уральское, городишко этот, открытый бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам и ливням, прирастет к сердцу. Навечно. Здесь, именно здесь, завихряясь над ним, заканчивается течение Гольфстрим. Кроме погрома и несчастий, сия причуда природы ничего другого городу не принесет. Но что бы тут ни случилось, город моей жены займет особое место иль скорее сокровенный уголок в моем сердце, не чуждом добру и красоте.

Хитрую и причудливую географию уральского места, где родилась, выросла, вышла в огромный мир, навстречу мне моя жена — Миля, Маша, Мария, которая как в Сибирь попадет, то и четвертое приобретет имя — Маня, так ее наречет обожаемая ею Наталья Михайловна, жена моего старшего дяди, неугомоннейшая тетя Таля, — я, по велению Божию, еще открою и усвою.

Но уж раз унесло в сторону от повествования, сразу же поведаю о местных особенностях.

Дела с уральскими реками-сестрами обстоят так. Начавшись где-то аж за хребтом Рифеем, в Екатеринбургье, река Чусовая прорезала тот хребет, что черствую горбушку хлеба, — единственная река, которой удалось одолеть такую крепкую преграду, — катила она свои бурные воды меж скал-бойцов, подле утесов, через пороги, шивера и перекаты и впадала в Каму, выше Перми, невдали, опять же, от красивой реки Сылвы, точнее сказать — Сылва впадает в Чусовую, та уж через несколько верст — в Каму.

Ныне Чусовая уже ничего и никого не катит. В ней летом и катить-то нечему — засрала ее лесозаготовители молевым сплавом так, что самая

красивая река Европы почти умерла. Оживала в весеннее водополье, будто больной раком человек перед кончиной, на недельку-две — и все! Даже лесу плыть не по чему — не было воды в когда-то полноводной, буйной, дивной реке, где была и промышленность, в основном металлургическая и горнорудная. Но большей частью население хлебоборничало, промышляло рыбу, зверя, лес рубило и даже плавило его плотами.

На одном из красивейших отрогов Западного Урала — Бассегах, — почти в одном месте, из талых снегов и голубых ключей, точнее, из замшелых камней, под корнями кедрочай светлыми зарничками высекались разом три реки: Койва, Усьва и Вильва. Названия у них коми-пермяцкие, бесхитростные. «Ва» — значит «вода»; прибавления к этому «ва» совсем не выдуманные, глазом пойманные: «светлая», «голубая».

Какое-то время реки-сестры, еще пока сестренки, семейно, дружно, игриво катились с хребта вниз, переговариваясь в перекатах и шиверах, шумя и сердясь в порогах, но, взрослея, входя в невестин возраст, они и норовом, и характером становились строптивей, и где-то в лесах дремучих, в камнях угрюмых Койва, хлопнув подолом: мол, и без вас теперь проживу, — отделилась от сестер и заныривала в уремную, каменную даль. За норов и строптивость наказал ее Создатель дважды: дал ей путь трудный, криушастый, за что и осталась бобышкой, одиноко, почти грустно впала в Чусовую верстах в шестидесяти от сестер. На горе реке побаловал Койву Создатель украшениями: насыпал в светлое русло алмазов, позолотил ее донышко, будто конопатинками, желтым металлом, украсил платиной и цветными камнями берега...

Ох, Создатель, Создатель! Знал бы Он, как за эти дивные украшения измордуют люди отшельницу сестру! Так и не усердствовал бы. Они, эти люди, хозяева земли, просто уничтожат реку: сперва сплавом, затем тракторами-трелевщиками, после драгами перероют, превратят в бесформенную грудку камней и галечных бугров, меж которых мутные, юркие, впереверт так и сяк будут вилять, суетиться сгустки безжизненной жижи, по старой привычке именуемой водой.

Усьва и Вильва текут вместе и лишь временами отдаляются одна от другой, как бы на женский лад напевая известную довоенную песню. «Ты мне надоела!» — сказала одна. «И ты мне обрыдла!» — отвечала другая и, взревев, утекала в сторону. На Вильве долго и населения никакого не было, там-сям кордон притаится, к травянистому берегу водомерный пост прильнет, охотничья избушка одним глазом из лесу выглянет — и все.

Усьва была тоже долгое время безлюдна, хотя и пересекала ее железная дорога горнозаводского направления, что проложена на Соликамск. Со временем на Усьве появится угольная шахта, затем другая, возникнет станция, городок невелик и неширок, ну и гораздые на пакость сплавные «гиганты» типа «Мыса», «Бобровки» с зековским лагерьком-попутчиком «украсят» дивные берега таежной красавицы, оскорбят ее пустынные пространства трудовым, «ударным» матом.

Когда мне доведется изображать бурную жизнь и боевую работу лесо-заготовительных предприятий Урала, я в газете «Чусовской рабочий» назову все это индустриальным героическим гулом. За склонность изображать советскую действительность в «лирическом ключе» мне иногда платили повышенный гонорар в размере десятки, когда и двадцати рублей.

Реки-сестры, покапризничав, попетляв меж гор по уральской тайге, по болотам и падам, сближались наконец, и младшая, более ласковая нравом, пройдя верст десять на виду и на слуху совсем уж в лад и в ногу с Усьвой, синеньким пенящимся омутком припадала к сестре. Та сразу же притормаживала ход, смолкала и через несколько верст, под Калаповой горой, спокойно, доверительно летом и стремительно, шало веснами сливалась с уральской мамой — Чусовой и какое-то время еще гнала, качала на радос-

тях свою беззаботную волну к старшей маме — Каме, ныне — в Камское водохранилище, по праву и нраву названное водогноилищем.

Вот куда, в какую пейзажем богатую благодать, привезла меня жена — аж на три реки сразу!

Совсем недавно я посетил те родными мне сделавшиеся места. Обрубленные, замученные, почти засохшие реки воскресают — нечего по ним больше плавить; рыбалка оживает, лес подрастает, городские и заводские трубы почти не дымят — завод металлургический переведен на газ, — и как-то разом, стихийно, по всем пустырям, логам, переулкам, на каждом клочке оглохшей земли взнялась какая-то совершенно дикая и стихийная растительность.

Была осень. Город выглядел пестро и лохмато, по косогорам рядками поднимался рукотворный сосняк. На старом, до каменной плоти выветренном кладбище, уже среди города, тесно росли топольки, посаженные когда-то во времена воскресников трудящимися и долго-долго мучившиеся тонкими прутиками на свистящем ветру.

Медленно, трудно, будто после продолжительной, с ног сваливающей болезни, воскресает Урал. Упрямая земля, стойкая природа. Едем в машине по самому хребту Урала, меж холмов которого не течет, а лежит в жухлой траве изнасилованная старушка Чусовая, — и по всему хребту плотная, удушливая, грязно-серая пелена. Смог. Почти непроглядный — два указателя на дороге: с одной стороны дымит древний уже город Сургут, с другой — город помоложе, но не менее дымный и вредный Первоуральск.

Меж этих городов, под дымным покровом, который и небом-то не хочется назвать, — желтизна лесов. Еще живы! Еще вымучивают рубленные-перерубленные, сводимые и замученные леса листву, еще хранят частицу воздуха для людей, еще тихо надеются, что спасут Урал, спасут леса и землю, а значит, и себя бездумно живущие люди — не могут же они веки вечные заниматься самоистреблением!

На одной из трех рек, на Вильве, чуть пониже моста, почти против галечной стрелки, вознесшей над собою несколько могучих сребролистых осокорей, в лед впаянные, сиротливо желтели бревнами и белыми болячками срубленных сучков два плота, добротнo сколоченные из сушняка. На сплотке тесть мой плавил сено для коровы. Осенняя вода на Вильве прошедшей осенью выдалась малая, набродился тесть, бедняга, до обострения старого ревматизма, вовремя не выкатил бревна на берег, которые и были главным топливом во многолюдном доме. Зоре-Азарию, на заводе работающему, выходные не дали — и вот результат: топливо намокло, вмерзло в заберегу.

Мы с Азарием взяли за пешню и лом, бойко одолбили плоты, перерубили крепкие и ладно врезанные перепоны — майны, скрепляющие бревна меж собой, и начали выкатывать бревна на берег, чтоб сегодня же вечером, в крайности завтра днем вывезти их на машине и испилить на дрова. Тесть оживился, руководил нами уверенно, пытался где и помочь, подвалить, приподнять стяжком или подтолкнуть бревно, но под тяжесть не становился — крестец и ноги его хрустели, он часто присаживался на выкатанные бревна, сворачивал сигарку в тетрадный лист величиной, сыпал в нее пригоршни каких-то серо-зеленых крошек, отдаленно смахивающих на табак, и дымил, что пароход трубою, повествуя мне о том, как тяжела доставка сена на плотах в город. Дорог на Вильве нет. Зимой кто за двадцать шесть верст поедет, да и коней где допроситься? А он вот обезножел... То экзема, то ревматизм... Скоро, видно, придется попустить коровенкой. А как без нее, без коровы-то? Жизнь прожили при корове, ребята подняти считай что на своем молоке да огороде. С фронта вон дети начали ворочаться, глядишь, у них робятишки пойдут — им тоже без молока не обойтись. А на базаре что хлеб, что молоко, что овощи ой как кушаются!..

Говорил тесть негромко, чуть виновато, каялся, что вот нам с Азарием не помогает... Видно было по всему, что главную работу по хозяйству он привык делать сам.

Чем поразил меня тесть в день нашего трудового знакомства, так это тем, что совершенно не выражался, ни матерно и никак, в случае неполадок он употреблял какие-то мне почти неведомые слова: «У-у, никошной!», «У-у, корино!», «У-у, варнаки!..» — и еще что-то детски-забавное, безобидное, никаких бурных чувств не выражающее.

Азарий, большеголовый, мягкогубый, улыбчивый парень, тихо посмеивался, слушая мои, как вдох и выдох с губ слетающие, вольные выражения. Тесть сперва хмурился, потом, показалось мне, вовсе перестал меня слышать, может, и я незаметно для себя окоротился?

Работа шла у нас ладно. В тот день мы накрепко и, как оказалось, навсегда дружески сошлись с братом моей жены и ближе сделались с тестем. Я даже назвал тестя разок-другой папашей, да так старика до конца его дней и называл.

Мы устали, намокли и намерзлись. От мирных осенних пейзажей, от грустной ли тишины предвзвья и пустынно утихающих рек я совсем забыл про войну, про строительство землянок, блиндажей, ячеек и всяких там «точек», открыл рот и за потерю бдительности получил по носу вершиной бревна. Сперва мы с Азарием носили бревна, попеременно становясь под комель; заметив, что я припадаю на ломаную ногу, к вечеру под комель начал становиться только шурин, и когда мы донесли последнее бревно до штабелька, он, видать, выдохся, а я зазевался. «Оп!» — крикнул Азарий и катнул бревно с плеча, я ж чуток припоздал. Бревно ударилось комлем в землю, вершина же прилась мне по носу. Я как не был на ногах. Круги передо мной разноцветные закатались, в контуженой голове зазвенело еще веселей. Приоткрыл глаз — Азарий мне к носу снег прикладывает, тесть топчется вблизи. «Ну ладом же надо!..» — выговаривает.

Пока шли домой, нос мой съехал набок, переносица посинела, и Азарий все спрашивал: «Ну как?» — «Да ничего вроде, — бодрился я. — Бывало и хуже...»

Дома, раздумяившиеся, шустрые, теща и жена моя собрали на стол, попотчевали свежей стряпней, в которой картошек было больше, чем теста, трудягам дали выпить мутной, еще не выбродившей браги. С мороза, с совместного труда чувствовал я себя за столом смелее и свойски. Азарий и Тася, пришедшая с работы, нет-нет да и прыскали, глядя на мой сворооченный нос, жена меня жалела, хотя тоже через силу, чувствовал я, сдерживала смех. Теща всплескивала руками, поругивала сына, подкладывала мне еду и сулилась на ночь сделать примочку. Тесть перестал ворчать на Азария, поглаживал бороду, все пытался вклиниться в разговор — нет ли и в Сибири городу Витебску, в котором он когда-то служил солдатом. И когда узнал, что Витебск в Белоруссии, был под врагом и шибко разрушен, тесть горестно покачал головой: «Гляди-ко, варнаки и дотудова добрались!.. — после чего свернул сигарку, пустил бело-сизый дым и сказал: — Ступайте, ребята, наверх. Ступайте. Я тут накурил-надымил, дак...»

Так мирно и ладно завершился мой первый трудовой день на новой для меня и древней для всех уральской земле.

\* \* \*

Примочку на ночь теща мне сделала, но когда и при каких обстоятельствах она спала с моего лица и оказалась подо мною, сказать не могу, так как был молод, совсем недавно женат, да и бодрой браги с вечеру почти ковш выпил — мне, как раненному, выпала добавка, отчего в голове забродило и внутрих получилось броженье.

Мирная жизнь не начиналась. Мирная жизнь брала за горло и заставляла действовать, иначе пропадешь с голоду. При демобилизации я получил сто восемьдесят четыре рубля деньгами, две пары белья, новую гимнастерку, галифе, пилотку, кирзовые сапоги, бушлат, который, как уже сообщалось, тут же обменял на форсистую шинель канадского сукна цвета осеннего неба. Жена моя получила то же самое, только все в переводе на женский манер, и еще шапку, поскольку служила в войсках более ценных, чем какая-то артиллерия и связь, да и звание имела повыше — старший сержант, так денег ей дали восемьсот с чем-то рублей, да она еще с зарплаты маленько подкопила, и получилось тысячи полторы у нас совместного капитала. Однако дальняя дорога и дороговизна на продукты до того истощили наши капиталы, что явились мы в отчий дом жены без копейки, что, конечно, не вызвало у родителей восторга. Пелагия Андреевна, вечная домохозяйка, не получала никакой пенсии. Семен Агафонович, как бывший железнодорожник и — о, судьба-кудесница! — имевший ту же профессию, что и я до фронта — составителя поездов, попросту и без форсу говоря, сцепщика, — имел пенсию рублей, может, триста или около того. Денег тех хватало лишь на отоваривание продуктовых иждивенческих карточек да для уплаты за свет. Налоги же, займы и прочие свои и государственные расходы покрывались за счет Девки — так звали в этом уральском семействе корову. О корове той речь впереди, потому как место она в жизни многолюдной семьи занимала большое, временами — главное.

Азарий работал на заводе, получал неплохие деньги, имел рабочую карточку, да еще ночами прирабатывал: ремонтировал пишущие машинки, арифмометры и другие какие-то технические мудреные предметы, не гнушался и грязного труда. Работал много, спал мало, собирался жениться на какой-то Соне, подкапливал деньжонок, питался в какой-то энтээровской столовой, куда сдавал продуктовую и хлебную карточки, домой отдавал лишь дополнительную, льготную. Я помню, очень удивлялся, сколь за мое отсутствие было изобретено и выдуманно всякого льготного, отдельного, дополнительного, премиального, поощрительного — за тяжелое, горячее, вредное, за сверхурочное, за высокопроизводительное...

За высокоидейное тоже давали, но пока еще жидко, неуверенно: всему свой час — исправят и эту оплошность блюстители порядка, направители морали, главными они едоками сделаются и неутомимыми потребителями всяческих благ.

Тася училась на курсах счетных работников, получала маленькую стипендию и «служашую» карточку на шестьсот граммов хлеба. Вася заканчивал ФЗО в группе маляров-штукатуров, уже проходил практику на строительстве заводских общежитий, питался в училище и дома, ему, заморенному, с детства недоедающему, мать выделяла вареных картошек да молочка. Парень он был в отца, рослый, мослатый, молчаливо-застенчивый, читал много и без разбора. Мы его застали в тот момент, когда он ночи напролет читал толстый том Карла Маркса, ничего, как оказалось потом, в нем не понимая. Простудившись на строительных лесах, он переболел гриппом, затем тяжелейшим после него осложнением — теперь это зовется менингитом — и страдал уже тяжким, неизлечимым недугом. Но про менингит нам никто не сказал, и о надвигающейся трагедии мы долго ничего не знали. Да и не до «мелочей» нам было в ту пору, не до чужих недугов...

\* \* \*

Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного в основном люда, роящегося между двумя дощатыми торговыми павильонами на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти забором, реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на

базаре, в дощатой будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что головы у нас одного размера, вот только характеры разные. Совсем разные. Разительно разные. Но Бог свел, соединил нас, и родители ее доказали всей своей жизнью, что женитьба есть, а разженитьбы нет.

Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат — сдавать военные и получать гражданские документы и обретаю уже полностью гражданскую свободу.

Военкомат от дома тестя был в полуквартале, располагался он тоже в полуторазэтажном, характерном для уральцев доме — нижний этаж или полуэтаж, точнее, сложен из кирпича. Дом просторный, крепкий, в елочку обшитый по стенам, украшенный тяжелыми и широкими воротами, на которых, впрочем, были кем-то и когда-то сняты створы, вышиблены или убраны резные надбровники и прочие украшения, но сам массивный остов ворот упорно стоял, ветрам и времени не поддавался, также и пиле, потому что виднелось по низу столбов несколько уже почерневших подрезов.

Я подумал, что дом этот купеческий. И не ошибся.

Как только ступил я в этот просторный дом, так сердце мое и упало и вовсе бы на пол вывалилось, да крепко затянутый на тощем брюхе военный поясок наподобие конской подпруги, с железной крепкой пряжкой удержал его внутри. В доме было не просто тесно от людей. Дом не просто был заполнен народом, он был забит военным людом и табачным дымом. Гвалт тут был не менее, может, и более гулкий, разноголосый, чем тот, которым встречали царя Бориса на Преображенской площади, где чернь чуть не разорвала правителя на клочки.

Солдатня, сержанты, старшины и офицерики-окопники сидели на скамьях, на лестницах, на полу. Сидели по-фронтовому, согласно месту: первый круг — спинами к стене, второй — спинами и боками к первому, — и так вот, словно в вулканической воронке серо-пыльного цвета, в пыль обращенное, отвоевавшееся войско обрело гражданство. В долгих путях, в грязных вагонах, в заплеванных вокзалах защитный цвет приморился, погас, и это человеческое месиво напоминало магму, обожженную, исторгнутую извержением из недр, нет, не земли, а из грязных пучин огненной войны.

В эпицентре воронки, на малом пяточке затоптанного и заплеванного пола нижнего этажа, стоял старый таз без душек, полный окурков. На полу же — цинковый бачок ведра на три с прикованной за душку собачьей цепью пол-литровой кружкой.

Наверху располагались отделы военкомата, и путь к ним преграждался на крашеной лестнице поперек откуда-то принесенным брусом, запиравшимся на щеколду, еще там двое постовых были, чтоб никто под брус не подныривал и щеколду не отдергивал.

Подполковник Ашуатов опытный был командир и бес по части знания психологии военных кадров. Бывший командиром батальона и полка, он понимал, что сухопутный русский боец в наступлении иль в обороне ничего себе, работящ, боеспособен, порой горяч, хитер, но на ответственном посту нестойк, скучна ему стоячая служба, лежащая еще куда ни шло, но стоячая, постовая...

Может постовой уйти картошку варить, но скажет, что оправляться, либо с бабенкой какой прохожей разговорится и такие туры разведет, такого ей арапа заправлять начнет о никудышной его холостяцкой жизни — и про службу забудет, бдительность утратит и запросто дивизию врагов в боевые порядки пропустит.

Ашуатов поставил у «слагбаума» двух моряков. Те нагладились, надраились и стоят непреклонно, грудь колесом, вытаращив глаза, подражая, видать, любимому своему капитану. Ни с какого бока к этой паре не подступишься, ничем не проймешь. Они и словом-то не обмолвятся, только



надменно кривят губы, удостаивают фразой-другой лишь старших по званию да девок из военкоматского персонала.

Стой бы пехотинец или артиллерист либо танкист, даже летчик — тех воспоминаниями можно растрогать, до слез довести, выкурить вместе сигарку. «Как там?.. А! Э-эх!..» Пехотинца Ивана так и на пустячок можно приколотать. На зажигалку с голой бабой, на алюминевый портсигар с патриотической надписью: «За родину! За Сталина!», «Смерть не страшна!», «Пушай погибну я в бою, но любовь наша бессмертна!». И поскольку его, Ивана, не убили на войне, он от этого размягчен и еще более, чем на войне, храбр, сговорчив и думает, что так именно и было бы, как на портсигаре написано, он бы умер, а она, его Нюрка, до скончания века страдала бы о нем. А уж насчет родины и Сталина — тут и толковать нечего, тут один резон: умереть, стальть, надо, не рассусоливай — умирай! Но вернее всего опрокинуть Ивана можно на бульканье: булькнул в кармане — он тут же возмущенно заорет: «Чё же ты, змей, на двух протезах стоишь? Помрешь тут! Загнешься! А дети?!»

С хохлом и евреем — с теми и того проще. Если только хохла убедишь, что как получишь документы и станешь директором комбината или хлебозавода, то возьмешь его к себе, начальником военизированной охраны либо командиром пожарной команды, — тут же куда хочешь тебя пропустит. Хоть в рай без контрамарки.

С евреем, с тем надо пото-о-оньше! С тем надо долго про миры говорить, про литературу, про женщин да намекнуть, что в родне, пусть и дальней, у тебя тоже евреи водились, ну, если не в родне, так был на фронте друг из евреев, хра-а-абры-ый, падла, спасу нет, стальть, и среди евреев хорошие люди попадаютя...

Но моряк! Он же ж, гад, никакой нации не принадлежит, поскольку на воде все время, земные дела его не касаются, внесоциален он. Стоит вот в красивой своей форме, и морда у него от селедки блестит!.. А тут пехотня-вшивота да «бог войны», испаривший штаны, изломавший кости в земляной работе, при перетаскивании орудий хребет надломивший, танкист пьяный горелой головешкой на полу валяется.

А он, подлюга, стоит в клешах и не колышется — бури кончились, волной его больше не качает!

Наверх вызывали или, по-тогдашнему сказать, выкликали попарно. В чудовском военкомате, как и в большинстве заведений в стране, рады были до беспамятства окончанию войны и победе, но к встрече и устройству победителей не подготовились как следует, несмотря на велеречивые приказы главного командования, потому что оно, главное командование, большое и малое, привыкло отдавать приказы, да никогда не спешило помогать, надеясь, как всегда, что на местах проявят инициативу, прибегнут к военной находчивости, нарушат, обойдут законы и приказы, и если эта самая находчивость сойдет — похвалят, может, орден дадут, пайку дополнительную. Не пройдет — не обессудьте! — отправят уголь добывать либо лес валить.

Я снова оказался в солдатском строю, засел в тесный угол и узнал, что иные из бывших вояк сидят тут и ждут чуть не по неделе. Конца сидению пока не видно. Первую очередь военных — которым за пятьдесят, железнодорожников, строителей, нужных в мирной жизни специалистов — демобилизовали весной. И едва они схлынули, да и не схлынули еще полностью-то, уж наступила осень, и из армии покатила вторая волна демобилизованных: по трем ранениям, женщины, нестроевики и еще какие-то подходящие «категории» и «роды».

Начинала накачивать и прибиваться к родному берегу и третья волна демобилизованных.

Табак у многих вояк давно кончился, продуктовые талоны и деньги — тоже, но пока еще жило, работало, дышало фронтовое братство: бездом-

ных брали к себе ночевать вояки, имеющие жилье, ходили по кругу кисеты с заводской махоркой и самосадам, иной раз поллитровка возникала, кус хлеба, вареные или печеные картохи. Но кончалось курево, по кругу пошло «сорок», и «двадцать», и «десять», затем и одна затяжка. Солдаты начали рыться в тазу и выбирать окурки, таз тот поставил дальновидный, опытный вояка — Ваня Шаньгин.

Боевые воспоминания воинов начали сменяться ропотом и руганью.

И в это вот ненастное время возник в чувсовском военкомате военный в звании майора, с перетягами через оба плеча и двумя медалями на выпуклой груди: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Были еще на нем во множестве значки, но мы в значках не разбирались и особого почтения к майору не проявили.

Обеда нас брезгливым взглядом, майор ринулся вверх по лестнице, наступил кому-то на ногу. «Ты, харя — шире жопы! — взревел усатый сапер на лестнице. — Гляди, курва, куда прешь!»

«Встать!» — рявкнул майор на весь этаж. В зале с испугом подскочили несколько солдатиков. Но сапер на лестнице отрезал: «Х... своему командуй встать, когда бабу поставишь. Раком! А мне вставать не на чё». — «Эй ты, громило! — закричали из зала, от тазу, сразу несколько угодливых голосов. — Может, он из комиссии какой? Может, помогать пришел...» — «Я е... всякую комиссию!» — заявил буян с лестницы.

Каково же было наше всеобщее возмущение, когда майор с документами в руках спускался по лестнице, победительно на нас глядя. Да хоть бы молчал. А то ведь язвил направо и налево: «Расселись тут, бездельники!» — и поплатился за это. У выхода намертво обхватил его «в замок» ногами чувовлянин родом, с детства черномазый от металла и дыма, с широко рассеченной верхней губой, в треугольнике которой торчал звериный клык, бывший разведчик Иван Шаньгин и стал глядеть на майора пристально, молча. У Вани под шинелью два ордена Славы, Красное Знамя — еще без ленточки, старое, полученное в сорок первом году, множество других орденов, медалей, даже Орден английской королевы и люксембургский знак. Ваня орденами дорожил — дорого они ему достались, а люксембургский эмалевый знак с радужной ленточкой предлагал за поллитру, но никто на такую диковину не позарился.

Ваня был демобилизован по трем ранениям, его били припадки. Уже здесь, в военкомате, я, имеющий опыт усмирения эпилептиков, приобретенный, как сообщал, еще в невропатологическом госпитале, несколько раз с ним отваживался. Ваня Шаньгин перетаскал на себе за войну не меньше роты немцев-языков, шуток никаких не любил, в солдатском трепе не участвовал по веской причине: он не просто заикался после контузии, он закатывался в клекоте, трудно выворачивая из себя слово. Опять же по опыту госпиталя, я подсказал Ване говорить нараспев, и дело у него пошло бойчее. Мы не сговариваясь уступили Ване место в очереди наверх, матросов склонили пропустить его без очереди, но Ваня нам пропел: «В-вы чё-о, ё-ё-ё-моё?!»

Ну, поняли мы, поняли Ваню: вы чё, славяне, как потом в глаза вам глядеть буду.

И вот этот Ваня Шаньгин известным ему разведческим приемом закапканил майора и смотрел на него. Сжав обросшие губы. Молча. А майор попался дурак дураком! Нет чтоб приглядеться к Ване, спросить, чего, мол, надо. «Как ты смеешь?!» — заорал. Ваня молчит. И весь военкомат молчит. Точнее, нижний этаж военкомата смолк. Наверху как трещали машинки, шурушало и скрипели половницы, гремели стулья и скамьи, так все и продолжалось — помощи оттуда ждать майору было бесполезно. Однако он не сдавался:

— Я тебя, болван, спрашиваю?!

Ваня Шаньгин вежливо запел:

— 3-з-закку-у-урить дава-а-а-й!

Тут только майор что-то смекнул, вынул коробку «Казбека» и дерзко, с вызовом распахнул ее перед самым Ваниным носом:

— Пр-рошу! — и даже сапожками издевательски пристукнул.

Ваня, опять же вежливо, по одному разжал пухленькие пальчики майора, вынул из них коробку «Казбека», всунул одну папиросу под жутко белеющий клык, протянул коробку соседу, тот пустил ее в народ. Ваня Шаньгин вынул немецкую зажигалку с голой, золотом покрытой бабой, чиркнул, неторопливо прикурил и только после этого удостоил опешившего майора несколькими напутственными словами:

— Г-где во-воеваааал, ко-ооо-реш? Х-хотя по-по-по-по рылу вид-но-о-о-о, — и указал на дверь, выпуская майора из плена: иди, мол, и больше мне на глаза не попадайся.

Майор, как ныне говорится, тут же слинял. Из военкомата. Но не из города. Он сделается судьей в Чусовском железнодорожном отделении прокуратуры, много людей погубит, много судеб искалечит, но умрет в страшных муках, умрет от изгрызшей его болезни, как и положено умирать мерзавцам.

Ваня Шаньгин проживет всего несколько лет после демобилизации, будет торговать семечками и табаком на базаре, пить, куролесить, жениться по два раза в год, чаще и чаще падать в припадках в базарную, шелухой замусоренную пыль, в лужи, оранжевые от примесей химии с ферросплавного завода, и однажды не очнется после припадка, захлебнется в луже.

Но когда это еще будет?.. Тогда же, в военкомате, Ваня был возвышен народом до настоящего героя. Да он, Ваня Шаньгин, и был истинным народным героем войны. Слово «герой» затаскали до того, что оно уже начало иметь обратное воздействие, отношение к нему сделалось презрительное, однако по отношению к Ване Шаньгину, кости которого давно изгнили в глине и камешнике чусовского кладбища, я произношу это слово с тем изначальным, высоким, благоговейным смыслом, которое оно имело когда-то.

Возле входа в военкомат, по правую руку, при купце была отгорожена — для уличного люда, конюхов, дворников, нищих и богомольцев — комнатенка наподобие кладовой, с узким окном в стене. Перегородку в ту «людскую» пролетарии сорвали, сожгли, железную печку, видать, сдали в утильсырьё, но вверху брусьями, по бокам стояками отгороженное от «заль» помещение это все-таки отделялось. Деревянная, еще до революции крашенная широкая скамья была там укреплена вдоль стены, и на ней поочередно «отдыхали» изнуренные вояки; совсем уж бездомные, бесприютные демобилизованные бедолаги дрыхли под скамьей.

Спиной к «зале» и народу дрых уже несколько суток сержант с эмалированными, синенькими на багровом, угольниками, пришитыми на отворотах шинели. У него была чудовищных размеров плоская фляга, обшитая толстым сукном. Знатоки утверждали — «ветеринарная», и знатоки же объясняли, что во фляге той и зелье лекарственное для коней, коров и прочего скота, которое этот сержант приучился потреблять и не отравляться. И правда, что-то было тут нечисто. Проснувшись, сержант тарачил безумно горящие глаза на народ, на помещение, потом отчего-то на карачках полз к баку с водой и, гулко гакая кадыком, выпивал две, иногда три кружки воды, после чего, сронив шинель, мчался на улку и долго оттуда не являлся.

На задах купеческого двора, в недавно замерзшем бурьяне, зевало двумя распахнутыми дверцами дощатое сооружение, и два не успевающих замерзнуть желтых потока от него пересекали двор и уходили под дощатый тротуар, завихряясь в булыжнике, покрывавшем улицу Ленина, водопадом ниспадали через бетонный барьер к кинотеатру «Луч», иногда захлестывали вход в кинотеатр, тогда подполковник Ашуатов призывал в наряд более или менее знающих еще дисциплину бойцов заняться «санитарией», по-

обещав им дополнительную карточку за работу и ускоренное продвижение с оформлением документов.

На ходу затягивая поясной ремень, шурша обросшим ртом, сержант спрашивал: «Кака очередь прошла?» — «Пятьсот шестнадцать», — отвечали ему. «У меня, кажись, шессот пята. Как сержанта Глушкова выкликать станут, разбудите, товаришши», — и опять гукая по-конски кадыком иль селезенкой, отпивал из громадной фляги никому не известного зелья, вешал флягу через плечо на веревочку, поправлял шапку в головах и, укрывшись шинелью, разок или два передернув плечами и спиной, опал в провальный сон.

Старожилы утверждали, что очередь сержанта давно прошла, но он номер ее твердо не запомнил и вот живет, значит, под скамейкой и с голоду не помирает, потому как есть подозрение: во фляге у него не просто питье, а питательная смесь, пушай и скотская, но он навычен к ней.

\* \* \*

Тот день в военкомате выдался особенно веселый. Уныние и тоска развеялись явлением народу еще одного занятого персонажа.

В дверях возник и встал на пороге, небольшого ростика, в фуражке, по случаю ветра на улице зацепленной узеньким ремешком за узенький же подбородок, человек со впалыми щеками, впалой грудью и вроде бы вовсе без тела, но с длинными руками и круглым ноздрястым носом. Поверх обмундирования на нем было надето демисезонное пальто, в кармане которого торчала бутылка, заткнутая бумажной пробкой. Он ее, бутылку, придерживал рукой, чтобы не вылилось. Пошатавшись возле дверей, пришелец вдруг пронзительно, каким-то все еще находящимся в переходе, не переломившимся еще, парнишечьим голосом прокричал:

Весна пришла, победа наступила  
И всем народам радость принесла.

Певец победоносно озрел публику, которая уж привыкла в военкоматном сидении и на боевом пути к выступлениям разных певцов, сказителей, поэтов, фокусников, кликуш и всяких разных придурков. Особого восторга народ не выразил, но бутылкой кое-кто заинтересовался. Мужичок-парничок набрал в грудь воздуха и провозгласил истошным голосом:

- Здрате, товаришши победители ненавистного врага!
- Здорово ночевал! — вразброс откликнулись от порога и из «залы».
- Бодрости не слышу. Здрате, товаришши!
- Сбавь натуг, а то обсерешься, — посоветовали ему.

— А поди-ка ты отселе, командир! — заворчал Ваня Шаньгин. — Двери притвори — не лето... холодом ташшы-ыт по ногам. Закурить давай!

— Есть притворить дверь! — Мужичок потянул на себя дверь и пошел по спирали человеческого круга, толкая в народ сухонькую, но довольно крепкую и цепкую руку, церемонно представляясь: — Спицын. Федя. Спицын. Федор.

И когда пожал те руки, какие мог достать, окинул залу взглядом:

- Загорам?!
- Загорам, загорам. Ты закурить давай!
- Ето можно. Ето счас!

— И Ване Шаньгину выпить поднеси! Всем не хватит. Он тут оборону в одиночку держит. Врага счас токо смял...

Ваня подвинулся. Федя сел подле него и протянул бутылку. Тот, вышатывая пробку клыком, не то спросил, не то утвердил:

— Пе-пехо-ота?

Федя охотно приложил к фуражке руку, снова звонко, будто пионер, выкрикнул:

— Старшина отдельного саперного батальона Федор Фыфыч Спицын. Ха-ха!

— Бра-ата-ан! — раздалось встречно, и с лестницы кубарем покатился усатый грубиян сапер и чуть не свалил Ваню Шаньгина, страшно испугавшегося за бутылку — к груди, будто младенца святого, он ее придавил.

Сапер-грубиян отпил из бутылки первый и, передавая ее Ване Шаньгину, рявкнул на Федю:

— Чё орешь! Тут контора, военкомат, не саперна кухня!

Бутылка быстро опустела. Круглый, вместительный, на кастрюлю похожий предмет, сделанный из алюминиевого поршня, именуемого «палт-сигаром», тоже мигом опорожнился. Федя влился в дружную, уже не военную, но, увы, еще и не гражданскую, семью, объяснив, что домой ему итить нельзя, все, что было привезено с собой, большая семья Спицыных пропила и приела. Ему, как и нам, пора «за ум браться», поступать на работу, добывать деньги и пропитанье. Обжившись на гражданке, сил, ума, самостоятельности накопивши, он женится, поскольку у него есть невеста, она дождалась его в полной сохранности, он ее уже попробовал и с точностью в этом удостоверился. Он-то, Федя-то, хотел с ходу, с лету и чтоб не жениться, но отец его, Спицын Феофан Парамонович, понимающий жизнь по-старорежимному, поскольку всю ее с малолетства отбухал на доменной канаве, жениться заставляет, но сперва, говорит, определись в жизни, обоснуйся, штаны заведи и угол и тогда уж женись.

Федю заставили в подробностях обрисовать, как, когда, где и каким образом он проверял свою невесту и понравилось ли ему это дело.

— Лучше занятия пожалуй што на белом свете и нету. Оно не может не понаравиться, — утверждал Федя.

Народ дальше тему ведет: есть ли жилищные условия и возможности, чтоб заниматься любимым делом?

— Да ить я гуляю-то с сентября, заделал уж ей, дуре. — Федя обвел «залу» горестным взглядом. — Расшепендрилась! Отец узнает, что девку раскурочил, голову мне оторвет, как колесо с лисапеда сымет...

Хотел было заплакать Федя, но усатый братан похлопал его по спине, притянул к себе, очень удобная оказалась подставка — плечо товарища на войне. Федя сморился, отквасил губу и доверчиво уснул.

— Во, уездилсь! — завистливо вздохнул усатый сапер.

Ваня Шаньгин распорядился:

— Э-этого-ооо г-громилу-у-у-у б-без очереди-и-и-и... Осо-особые об...обстоятельства-а-ааа.

Федя Спицын, к изумлению своему, в тот же день получил документы. Будучи человеком хоть еще и не проспавшимся, но совестливым, спускаясь по лестнице с зажатыми в горсть бумагами, виновато твердил:

— Чё тако, не понимаю?! Почему мне льгота? Я, товаришши, не виноват...

— Иди давай, иди, пока бумаги не отняли! — посоветовал братан и хряпнул Федю по спине так, что тот зашатался.

— Н-на свадьбу с-с-со-зови, н-не свою, дак до-че-ри, — пропел Ваня Шаньгин.

— У меня парень будет! — увильнул Федя.

И ведь как в воду глядел! Не один парень, пятеро парней у Феди Спицына народится. И какую жизнь проживет Федя — не пересказать, но где-нибудь, когда-нибудь к месту я к Феде еще вернусь. Полюбив его с военкомата, братва в городе помнила этого шепутного мужичонку.

Но на Феде Спицыне всякое веселье в военкомате и завершилось. Народу не убывало, народу прибывало. Зима входила в силу. У многих мужиков были семьи, голодуха поджимала, ждять мы больше не могли, затребовали для объяснений начальника райвоенкомата.

На площадку лестницы вышел, при орденах в два ряда, перетянутый ремнем в тонкой талии, с желтым от табаку и недосыпов лицом, подпол-

ковник Ашуатов (все фамилии и имена я сохраню в доподлинности — уж понравится это кому иль не понравится, но иначе поступать не дает мне память), у подполковника, затем уже полковника Ашуатова на свете было семеро детей, сейчас, наверное, много внуков и правнуков у него. Сам он прожил тоже непростую послевоенную жизнь. Довольно еще нестарым мужчиной был демобилизован в звании полковника, работал парторгом кирпичного завода в поселке Лядбы Пермской же области, там или в Саратовской области, куда переехала его семья, он и похоронен. Лядовское кладбище попало под затопление Камским водохранилищем, прах полковника перенесен или нет — не знаю.

— Здравствуйте, товарищи! — устало сказал райвоенком сверху. — Я знаю обо всем и все понимаю. Принимаются меры, чтоб хоть временно, до получения документов, занять вас и обеспечить карточками.

Кто-то где-то там наверху, в небесах, услышал слова подполковника Ашуатова, наши ли солдатские молитвы до Бога дошли — на Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег и тут же, в ларьке, их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку — коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой тряпицей. Наверное, тряпица была из тех ворохов, которые собирали женщины и дети этой семьи, сшивали их вместе и стежили одеяла «из клинышков».

Ох уж эти лоскутные одеяла! Мы с женою еще вспомним о них и попробуем спастись ими.

\* \* \*

Пока мы боролись со снегом и давали возможность работать перегруженному железнодорожному транспорту, нам и документы приготовили, и все утряслось и установилось, все, что бродило и не знало, куда прийтнуться, более или менее успокоилось. Вчерашние вояки разбрелись по своим углам и производствам. Само собой, снегоборьба еще более объединила бывших вояк, и я, в общем-то, знал в лицо едва ли не все население шестидесятитысячного городка, да и служба моя первая гражданская шибко содействовала познанию населения и объединения с ним.

На снегоборьбе мы не только убрали и отвозили на платформах снег с путей, но попутно долбили и скребли перрон, закатывали в вагонное депо порожняк на ремонт, случалось, что-то и разгружали — железнодорожное начальство торопилось использовать момент, урвать от нас как можно больше пользы. Мы всякую работу делали в охоту, с азартом, хотя шибко стыли на ветру и некоторые даже поморозились в легком-то «дембельном», как его сейчас зовут, обмундировании.

Однажды совместно с вокзальными бабенками тюкали мы на перроне до мраморной звонкости утрамбованный снег, сгребали его в кучи и на пакгаузной грузовой тележке свозили в ближний тупик, там сбрасывали на кособоко сникшую двухосную платформу. И прилепись же мне в пару говорливая бабенка. Я орудую кайлом, она — лопатой и лопочет — измолчалась без мужика. За перроном возле будки техосмотра вагонов кучу мы разбивали, насквозь прошитую желтыми струями мочи не сыскавших уборную пассажиров. Ну и станционные мужики ту кучу не обходили, лили на нее все что ни попадя. Крушил я ту кучу, крушил — выдохся. Бабенка взяла у меня кайло и давай, по-мужицки ахая, продолжать долбяную работу, она и в это время без умолку трещала. Я уже знал нехитрую историю ее семьи: мужик погиб, детей у нее двое, хлеба и дров не хватает — подалась на железную дорогу, перронным контролером и уборщицей од-

новременно, потому что здесь выписывают уголь, форму выдать сулятся, и когда водогрейка Каенова помрет или на отдых уйдет, она выпросится работать туда — там чисто, тепло и спокойно, на водогрейке той висит фанерка, и на ней написано: «Посторонним вход воспрещен», — это чтоб враг-диверсант какой не проник, воду в кубе не отравил, пассажиров не сгубил.

Повествует бабенка про свое житье-бытье, мечты свои высказывает да кайлом тыкает. Я подгребаю совковой лопатой комья. Жарко мне сделалось, шинель расстегнул, распахнулся, и бабенка острым-то кайлом ка-ак завезет, да не по мне — по мне бы ладно, залечился бы, привычно, — она нанесла удар более страшный, она херакнула точнехонько по шинели моей.

И замерла, будто в параличе. И я замер. Гляжу, как ветер треплет аккуратным углом почти от пояса и до сапога сраженную мою шинель.

Жизнь действительно беспрестанное учение и опыт. Именно тогда от знающих людей известно мне станет, что настоящее сукно всегда рвется углом. Моя шинель была из сукна настоящего! Канадского — они не халтурили. Хорошие они, видать, люди, производство у них хорошо налажено.

Сколько мы с бабенкой стояли среди русской зимы, на Урале, зимой сорок шестого года, оправляясь от тяжелого удара, нанесенного в мирное время, с тыла, — я не знаю.

Мужественная, все беды пережившая русская женщина первая опаматовалась.

— Ах ты, туды твою мать! — сказала она. — Ну, где тонко, там и рвется! — Она ползала вокруг меня на коленях, скрепляла рану на шинели откуда-то из-под телогрейки добываемыми булавками и то материла себя, то стонала, один раз даже по башке своей долбанула, и еще бы долбанула, да я руку ее придержал.

Почти тридцать лет спустя сын мой, отслужив в армии, будет возвращаться из-за границы и весело расскажет, как, едучи по Польше, они все обмундирование, даже и шинели, повыбрасывали из вагона крестьянам — так они им, эти военные манатки, обрыдли за два года.

Тогда, в сорок шестом, израсходовав все булавки, проклятия и слова, забитая нуждой и горем, молодая еще, но уже выглядевшая лет на сорок, синегубая и синеглазая бабенка стала передо мной по швам:

— Прости, парень! Иль убей!

Я похлопал ее по плечу. «Ничего, — сказал, — ничего-о», — и мы стали продолжать совместную работу.

Вечером моя молодая жена аккуратно, частой строчкой, зашила рану на шинели, угол которой был в метр, не менее, величиной, и чтоб нитки не белели на шве, она их чем-то помазала, гребенкой расчесала ворс сукна, тогда еще не выношенного, — шов сделался почти незаметным.

Семен Агафонович, помнится, все ворчал в бороду:

— Эко дикуются над парнем! Эко пластают!.. Нет штабы поглядеть?! Сам-то Корней Кривошшоков экой же шлопут был! Анька эта, его дочь, видать, в него удалась! За тем, бывало, недогляди, дак без ног ему под вагоном валяться...

На другое утро Анна, придерживая подол, отворачиваясь от ветра, прибегла с перрона на дальние пути, что над самой рекой Чусовой, где мы работали в тот день. Она увидела меня издали, замахала рукой, споткнулась, побежала и, еще не отпыхавшись, принялась оглядывать меня вблизи и сзади, задирала на мне шинель, будто юбку на девке, и восторженно трещала:

— Гли-ко! Гли-ко! Как новенькая! Ка-ак новенькая! Мастерца в жены тебе попалась, ма-астер-и-ца! Ну, да оне — короеды известные! Что тебе в учебе! Что тебе в работе!.. Я со средней-то, с Калерией, в одном классе, в

двадцать пятой школе училась! Куды-ы-ы там! Отличница! А твоя-то! Твоя-то! Ма-а-ахонькая! И как токо ты ее не задавишь?!

— Копна мышь не давит...

— Зато мышь всю копну источит... — И, заметив, что я прекратил ударную работу, на нее вопросительно уставился, Анна затрещала о другом: — А я те работу нашла! Хорошую. В тепле. Дежурный по вокзалу требуется. А ты — железнодорожник, все правила знаешь, да и чё там знать-то? Впихивай пассажиров в вагоны, чтоб ехали, — и вся недолга. Я уж и с начальницей вокзала насчет тебя разговаривала. Сука она, конечно, отпетая, но человек чуткий...

Так сделался я дежурным по вокзалу станции Чусовской. Но на службе той проработал недолго — очень дерганая работа оказалась, суетная, бестолковая.

Чусовской железнодорожный узел сложный сам по себе: он перекрестный. Одно направление от него идет в Пермь, другое — на Соликамск, третье — через Гору Благодать на Нижний Тагил Свердловской дороги, четвертое — Бакальское — в Татарию, да еще «присосков» и ответвлений допозна — к рудникам, в шахты, к леспромхозам с их лагерными поселками. Сама станция притиснута горами к реке Чусовой, три депо на ее территории: вагонное, паровозное и знаменитое электровозное — одно из первых в эсэсэре. Здесь первым в стране начал водить двумя электровозами-«сплотком» железнодорожные составы с версту длиной Игнатий Лукич Чурин, вятский когда-то крестьянин и, как оказалось, мой дальний родственник. Сделался Игнатий Лукич депутатом Верховного Совета, Героем Соцтруда, членом Комитета защиты мира, членом бюро горкома и еще многим членом. Он в конце концов только уж тем и занимался, что заседал, в президиумах красовался, по странам разным ездил, интервью давал, составы уже редко водил, в основном «показательные». Работать ему делалось некогда.

Станция была, или мне казалась, ямой, в которую не раз валились составы, горящие электровозы, парящие и караул кричащие паровозы. Мне-то они были, как ныне говорят, «до лампочки». Но в яму ту сваливалась такая масса разноликого туда и сюда едущего народа, что совладать с ним, управлять им или, как принято выражаться, «обслуживать» его было невозможно: давки, драки у касс, сидение и спанье по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган; сраженья при посадке, срыванье стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планерках, проработки по селектору из управления дороги, остервенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замахивавшихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастерке и нарочно цеплял солдатскую медаль, да еще подбитый мой глаз, спасало меня от побоев иль от растерзанья озверелой толпой.

Но были и счастливые, памятные мне до сих пор часы ночных дежурств, когда отправятся вечерние поезда пассажирские, до утренних еще далеко, пассажиры, точнее сказать — воины боевого войска, словно после Куликовской битвы, пав на поле брани кто как, кто где, храпели, стонали и бредили, набираясь сил к предстоящим на рассвете сражениям, и я шел к Анне в водогрейку. Старушку-водогрейку Анна таки выжила каким-то ей лишь известным маневром и царила в водогрейке, выскоблив до желтизны защитные щиты над трубами и вентилями, похожие на нары, надраила, начистила все медное, куб водогрейки отскребла от ржавчины и покрыла выпрошенной в техосмотре какой-то блескучей защитной смесью, у порога положила голик, сама же и вывеску подновила: «Посторонним вход воспрещен», где-то добыла здоровенный дверной крючок и пускала к себе только тех из obsługi вокзала, от кого могла чем-нибудь покорыститься, кого уважала или боялась иль перед кем, как передо мною, к примеру, виновата была неискупимой виною.



Сняв шинель, я забирался на чисто мытый щит, похожий на банный полук, клал лопотину в голова и под сип бака, под шипенье труб и патрубков задремывал. Анна выполняла свою работу, шикала на тех, кто приходил за кипятком и не мог управиться с уличным вентиляем либо лишку проливал воды в колоду и под ноги. Отшивала тех, кто искал дежурного по вокзалу.

— Ослеп? Вывеску не видишь?! — и рукой мне показывала на крепко закрюченную дверь. За дверью какое-то время молчали, читали вывеску и, уходя, грозились: «Н-ну, я его, гада, найду и так измудохаю, что мама родная не узнает!» — или обреченно роняли: «Ну, нигде, нигде правды не найдешь!..» — или просто пинали в дверь, матерились и удалялись.

На рассвете Анна трясла меня за ногу:

— Пиисят второй объявили. Вставай!

Пятьдесят второй, Москва — Нижний Тагил, был самый наш ранний поезд.

Зевая, потягиваясь, хрустя костями, я одевался, благодарно хлопал Анну по заднице, осевшей и увядшей от надсады.

— Кнопка-то твоя небось ревновитая? — как-то поинтересовалась она и, покусав губу, с горьким вздохом заключила: — Кто на меня и обзарится?

\* \* \*

Между тем дела в моем новом доме не стояли на месте. Они тоже двигались. Но отчего-то не в мирную сторону, а в еще более бурные, чем война, стихии несло их, хотя и на мирной почве, но страстями своими они превзошли военные-то.

Когда я еще боролся с уральскими снегами и спал от трудов и морозов под боком молодой жены не просто крепким, провальным сном, сотрясаемым лишь привычными уже снами «про войну», меня вдруг разбудили крики, плач, ругань.

Я пощупал постель — жены рядом не было — и понял, что с войны явилась Калерия, тоскливо ужался в себе, притих нутром, войной кованым, сиротством каленным, предчувствуя, что ждут нас всех впереди перемены, и перемены не к хорошему, может, и беды: пружина, сжатая во мне натуго довоенным житьем, военными испытаниями, госпиталями, дорожными мытарствами, пружина, которую я носил все время в себе, с которой жил в доме жены, хотя и поразжалась малость при виде тестя и от приветливости тещи, да и всех близких моей супруги, не напрасно все ж до конца не отпускалась, что-то все-таки тревожило, не давало довериться до конца домашней мирной благодати.

Калерия была старше двумя годами моей жены. Самая красивая и строптивая. Она еще в детстве уразумела, что в такой семье если не урвешь, не выплачешь — в тряпье находишься, да и хлебать всегда только под своим краем будешь, с краю же, известно дело, пожиже, чем в середке. Еще школьницей она одевалась-обувалась получше других братьев и сестер, хотя и спала под общим большим одеялом вместе с братьями и сестрами на полу, хлебала из общей чашки...

Жена моя до сих пор хорошо вспоминает, что если хлебали молоко с крошками из общей чашки, то от нее, как лучики от солнца, к каждому едоку тянулись белые дорожки. А ведь стояли времена, когда изба еще не построена была, семья еще жила в старой избушке, называемой теперь флигелем, что задумчиво уперся покривившимися окнами в сугроб, в нем обретались не только дети, отец и мать, но жили какое-то время и дедушка, тетушка-бобылка, грамотей и красавец богатырь дядя Филипп, после раскулачивания приехавший к старшей сестре из родной вятской деревни, обучавшийся на шофера...

«Лучей» тех от общей чашки и в самом деле было, что от настоящего солнца.

Но жили, росли, учились, работали на огороде, на покосе дружно, умели не только стежить одеяла, но и вязать чулки, носки, варежки, шить, починяться, пилить, колоть дрова, доить и обихаживать корову, жилище, стайку, двор. Отец после работы засиживался на сапожной седухе, упочинивая соседскую старую обувь, подшивал валенки, что придется всей ближней округе, всем соседям по улице Железнодорожной услуживал сапожный спец. Родители придумывали всякие выдумки, уловки ли, чтоб дети не отлынивали от труда, прилежно бы им занимались. Пелагия Андреевна самопрядную шерсть наматывала непременно на спичечный коробок, в который прятала что-нибудь, что шебаршило или перекатывалось, позвякивало ли, — вот ребята и стараются ударно вязать, чтоб поскорее довязать клубок, открыть коробок и радостно обнаружить в нем то конфетки-горошинки, то три копейки — как раз на карандаш хватит — или щепотку орешков, и пойдут разговоры-расспросы: «А чего у тебя?!», «А у тебя?», «У-ух ты-ы!»...

Калерия в этих трудах вроде бы и не участвовала, все как-то сбоку, все чтоб себе получше да полегче. Вязала она хорошо, петелька к петельке, но вязанье оставляла непременно на виду, чтоб мама или тетя при случае повязали бы. Обновки ей покупали чаще, чем другим, и мать это объясняла: мол, вынудила, пристала как банный лист; то вырвет, то больной прикинется — и ее пожалеют. Она и на танцы ходила чаще и нарядней сестер, иногда, как бы из милости, брала с собою и мою будущую жену, которая первую обновку — новые галоши — получила в пятом классе.

Вторым по вредности и причудам в семье был Азарий. Но этот страдал всерьез и по совсем иным причинам. У него была огромная башка. Когда я с ним познакомился, она достигала шестьдесят второго размера! И вот из-за такой, видать, башки, которая его все время «передоляла», он часто падал, ушибался. Ища развлечения в своей небогатой забавами и не очень разнообразной жизни, ребята за какую-нибудь безделушку или на спор просили или принуждали братана открыть башкой разбухшую, тугую и тяжелую дверь в сенки. И он с разбегу открывал головой дверь настежь, после чесал покрасневший лоб, но терпел за вознаграждение или за победу в споре. Чаще ему же и попадало, Пелагия Андреевна ругалась: избу выстудил!

Разумеется, каждый парень или девка в этой семье имели не только свои, лишь в чем-то схожие, характеры, лица, росточки, но и причуды свои. Но не время рассказывать о них. Надо вернуться к той зимней ночи, к возвращению Калерии с фронта.

Еще с детства Калерия и Азарий — два самых плаксивых и вредных, я уже говорил, существа в этой большой семье — не то чтоб невзлюбили, но неприязненно друг к другу относились, с возрастом и нетерпимо.

Вот они-то, Азарий и Калерия, с ходу, с лету, несмотря на ночной час и долгую разлуку, схватились ругаться — отчего и почему, я не знаю. Думаю, ни отчего и ни почему, просто давно друг друга не видели и не ругались. Ругань длилась до рассвета. Никакие уговоры-сетованья матери, Пелагии Андреевны, не помогали, не помогли и очуранья отца. В доме этом, как я уже говорил, не принято было материться. Я представил себе свою родимую деревню, как дядья, да затем и братцы, и сестры быстро разогрели бы себя матюками, давно бы пластали рубахи друг на друге, но к утру помирились бы.

Тут дело закончилось визгливым рыданием Калерии: «Нечего сказать, встретили!.. Уеду! Сегодня же уеду!»

Что-то умиротворительное бубнил Семен Агафонович; часто и мелко звякала пузырьком о край кружки Пелагия Андреевна, наливая «сердечное» — «капли датского короля». Несколько раз встрял в свару чей-то не-

знакомый мужской голос. Тася и Вася спали — или делали вид, что спят, — в боковушке, за печкой-голландкой. Азарий упорствовал, нудил что-то, собираясь на работу. «Ты уйдешь седня?» — возвысила голос Пелагия Андреевна. Тут и Семен Агафонович привычно поддакнул жене: «Айда-ко, айда-ко!.. Ступай...»

Дверь бухнула. Мимо окон к штакетной калитке, все еще высказываясь, прошел Азарий, хряпнул калиткой и удалился с родного подворья, пропал во все еще сонном, но уже начинающем дымить печными трубами городишке.

По лестнице вверх провели икающую Калерию и осторожно определили на вторую кровать, стоявшую в дальнем углу той же комнаты, где и мы с супругой обретались. Пелагия Андреевна виновато и тихо сказала: «Спите, с Богом», — направилась к лесенке вниз и, проходя мимо нашей кровати, со вздохом обронила: «Парня-то, поди-ко, разбудили? А ему на работу, на ветер, на мороз... Ложись и ты, Миля. Чё сделаешь? Господь-батюшка, прости нас, грешных!.. Ох-хо-хо...»

Жена моя осторожно не легла, прокралась под одеяло, вытянулась, затихла.

Возле другой кровати, скрипя ремнями и повторяя как бы для себя: «Черт знает что такое? Уму непостижимо! Сестра... Дочь с фронта, беременная, — и уже другим тоном: — Ты успокойся, успокойся...» — раздевался военный, долго выпутываясь из ремней и пряжек, затем так же долго стягивал узкие сапоги — офицер! — усек я. На аккуратно развешенном обмундировании на спинке стула блеснули в полутьме награды, свет в комнате сквозь задернутые подшторники проникал слабый, и я не мог разобрать: какие награды, какого звания офицер?

Мне было неловко и жалко жену. Я ее нащупал с краю и без того узенькой, на одну душу рассчитанной кровати, придвинул к себе, подоткнул под нее одеяло — это все, что я мог для нее сделать, и давал понять, что я-то не такой, как Ванька за рекой, в случае чего...

— Спи! — благодарно прижимаясь ко мне, прошептала жена. — Тебе уж скоро подыматься... — И, чувствуя, что я не сплю и спать не собираюсь из солидарности с нею, хотя и очень хочется додавить предрассветный сон, добрать такие нужные моему усталому телу, в особенности ногам, которые начинали — со страхом слышал я — от раслоделости ли, от мирной жизни иль от снегоборьбы мозжить, напоминая мне о давнем ревматизме, жена внятно, на всю комнату уронила: — До войны наша семья была не такой.

Но никто не откликнулся, никто на ее слова не среагировал. Было видно сквозь щели пола, который служил и потолком, как на нижнем этаже погасили свет, старики укладывались, думая свои невеселые думы, потянуло снизу нашатырным спиртом и еще чем-то, все запахи перешибающим втираньем, которым пользовался Семен Агафонович, наживший болезнь ног не столько от железной дороги, сколько на реке Вильве, в которой он бродил каждую осень, сплавляя сено.

Скоро в боковушке зашуршал, верхними сенями спустился и ушел к себе в ФЗО, на раннее построение, Вася. В комнате сделалось серо, затем почти светло. Надо было подниматься и мне, разминать кости, готовясь к борьбе за жизнь родного железнодорожного транспорта. И каково же было мое удивление, когда я увидел, как на соседней кровати, в шелковом кружевном белье, мирно, сладко и глубоко спит молодая женщина; уткнувшись ей в шею, не менее мирно и сладко спит не очень молодой, судя по седине на виске, мужчина, звание которого я разглядел на погонах — капитан. Погоны не полевые, новенькие, празднично сияющие — словно содрали золотую фольгу с святых икон и прилепили ее ровненькими пластинками к гимнастерке меж окантовкой, про которую однажды при мне

много раз стриженный по тюрьмам человек, будучи в нетрезвом состоянии, сказал: «Не х..., не морковка, а красная окантовка!» — сказал и боязливо оглянулся.

\* \* \*

Жена моя поступила работать в промартель «Трудовик» Чусовского горпромсоюза. По образованию-то она химик, окончила техникум химический. Кроме того, окончила курсы медсестер; кроме того, научилась разгадывать «государственные тайны», то есть работала в цензуре. Да вот пренебрегла приобретенными профессиями, где ей, наверное, больше бы платили и сытнее кормили, подалась в бедную артель инвалидов плановиком.

Я не расспрашивал ее — отчего и почему. Я уже немного познал ее сильную, упрямую натуру и из рассказов ее запомнил, что после страшной, довоенной еще, аварии на домне, где она работала химлаборантом, она попросту завода боится; слабые навыки медсестры она за давностью времени и малого опыта утратила, цензуру и все, что с нею связано, ненавидела.

По моему бойкому, почти бездумному совету она не встала на военный учет, наслушавшись о военкоматской толкотне. И о ней забыли, об этом комсомольце-добровольце не вспомнили! Армии она более не надобна, и все тут. Вплоть до вручения медали Жукова, стало быть до старости, никто и не знал, что она была на войне. Я не хотел получать медаль имени браконьера русского народа, но, как всегда, подавая мне положительный пример, жена моя получила свою. Приехавшие с бутылкой на квартиру чины не знали, что они вручают награду злостному дезертиру, с сорок пятого года уклоняющемуся от военных обязанностей.

На работу жена моя ходила к девяти, как человек интеллигентного труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовала:

— Умывайся тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в кармане гимнастерки. Да не обмораживайся больше...

И отвернулась. Хотя был утренний зимний полумрак, я различил, что она заплакана. Догадываться я начал, что всякому горю она научена и умеет переживать «про себя», не то что я, чуть чего — и запыхтел: мать-перемать! всех раш-шибу!

— Ну чего так-то уж переживать? Ну, поскандалили... Ну, бывает...

— Иди, иди!

Увы, жена моя была не только образованней, но и опытней меня во всех делах: земных, житейских, служебных и всяких прочих; очень много всякого разного успела изведать как в личной жизни, так и в общественной, работая в «особых» войсках, даже под расстрел чуть не угодила.

А что я, год назад начавший бриться солдатик, от ранения потерявший зрение правого глаза и по этой причине единственную свою профессию — составителя поездов, еще совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием, мог знать? Я даже род войск капитана не различил по погонам.

Зато жена моя хорошо ведала, какого рода войск погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного нашего родственника.

\* \* \*

Ну вот, память моя — что кочегар на старом пароходе: шурует и шурует уголь в топку, а куда, зачем и как идет пароход — нижней команде не видно, ей лишь бы в топке горело да лишь бы пароход шел.

Так ведь бывало во всех поворотах моей жизни: занесет меня черт-те куда и зачем, как и вылазить из препятствия, как очередную препону на

пути преодолевать — соображай, умом напрягайся либо пускай все по течению — авось вынесет.

Я и не спорю. Дурак я, что ли, спорить-то? Во-он сколько всякого народу до меня смелó, и весь этот народ пытался оспорить судьбу, подправить веселком течение жизни — ан выносило и дураков, и чудаков, и гениев все к тому же месту, где всякое сопротивление бесполезно, да и смешно. «У-ух и разумен же я!»

Погоны у капитана оказались энкавэдэшные, он ненавязчиво объявил, что работал в СМЕРШе. Я слышал о такой организации, но где она и чем занимается — ни сном ни духом не ведал, знал только те слова, которые знали все солдаты, даже национального происхождения, кроме «бельме», ничего по-русски не говорившие, — «Смерть шпионам!».

Наш капитан шпионов не ловил, состоял при каком-то хитром отделе какой-то армии и словил на боевых путях лишь сестру моей жены да накачал ей брюхо. Калерия дохаживала последние сроки и приехала домой рожать. Кроме Калерии капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов, узлов, мешков. Тесть, служивший когда-то, вернее, проходивший воинскую службу под городом Витебском, глядел на новоприбывших гостей исподлобья, почти ни о чем с ними не разговаривал, даже про город Витебск не спрашивал, решив, что там, где город Витебск, такие не служат. Сам он когда-то явился с воинской службы в вятскую деревню с хранящим нехитрые солдатские пожитки деревянным сундучком, с которым и отбывал на службу, в гимнастерке, украшенной бантом за прилежную службу, — ребятишки-варнаки все цепляли его на свои рубахи, да и потеряли...

Зато теща, униженная бедностью, убитая горем: пятерых проводила на войну, двое вот уж убиты, один сильно изувечен; Азарий после всяких комиссий вернулся домой — из-за зрения, и он вот бушует; у младшего чего-то с головой неладно, — теща эта, Пелагия Андреевна, когда-то полная телом и сильная характером, умевшая управляться с многоголовой семьей, вдруг залебезила перед Калерией и ее мужем-капитаном, отделила их с едой под предлогом, что Калерия в тягости, да и устали они от войны, поспать-отдохнуть им охота...

Кровать наша железная, до нас еще ребятней расшатанная и проволокой перепеленутая, скоро оказалась за печкой. Семен Агафонович с привычной теплой территории переместился на печь. Сама теща занимала место с боку печи, около перегородки, возле низкого окна, на некорыстной деревянной кровати, на постеленке из старых пальтишек да телогреек, кинутых на грубую, соломой набитую матрасовку.

На печи было пыльно и душно, за печью темно и жарко. Я после контузии плохо переносил жару, вижу кошмарные сны. Но самое главное, я лишился самой большой отрады из всей моей пестрой жизни — возможности читать.

«Но надо было жить и исполнять свои обязанности», — как без обвиняков и претензий на тонкости стиля сказал товарищ Фадеев, а вот сам-то всю жизнь исполнял не свои обязанности.

Оба мы работали, реденько, украдкой, в час неурочный иль в воскресный день исполняли супружеские обязанности, и, выдам лучшую тайну — не без удовольствия, и вообще не унывали. С молоком и нас урезали, когда корова Девка дохаживала — молока вовсе не стало, и у соседней Комелиных стали занимать по банке — для Калерии, под будущие удои. Голодно-вато, бедновато жили, однако ж бодро.

Я уж забыл, но жена запомнила и, веселясь до сих пор, рассказывает: когда капитан вывел Калерию на прогулку, она взялась мыть полы, я ж, надев ее военную юбку и гражданскую шляпу с пером, сидел на лавке и развлекал ее матерщинными частушками. Шибко я ее порадовал, не частушками, конечно, а тем, что при такой жизни, после такой войны сохра-

нил в себе юмор и не терял присутствия духа, живя за печкой в доме, где напряжение все нарастало и нарастало.

Она, моя женушка, еще не знала: когда из помещения игарского детдома ребят перебросили в дырявый каркасный барак, отдав наш дом под военкомат, так мы весельем да юмором только и спаслись от лютых заполярных морозов и клопов — как раз тогда вышла на экраны всех ошеломившая бесшабашной удалью картина «Остров сокровищ». Мы из нее разыгрывали целые сцены. Я изображал пирата Джона Сильвера, и когда вынимал изо рта у кого-то тиснутую где-то трубку с кривым длинным чубуком и тыкал ею в Петьку Заболотного, тупого и здоровенного дылду, изображавшего такого же тупого и громадного гренадера с «Испаньолы» и говорил покровительственно: «Дик! Говори ты!..» — он громовым голосом произносил знаменитое: «Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского!..» — и, оборванный недовольным предводителем заговора, тут же брякался на пол. Я, Джон Сильвер, шупал его затылок и, не найдя шишку, снова заставлял его падать — чтоб «по правде было», чтоб хряпался исполнитель роли об пол без халтуры. Ему приходилось повторять эту сцену до тех пор, пока на затылке не появлялась шишка с мячик величиной...

Азарий приходил домой редко, обретался у Софьи и, отыскивая какие-то напильники, резцы и прочий инструмент, вел себя вызывающе.

— Выжили людей! — орал он. — За печку загнали! — И рыпался на нас: — А вы-то что? Зачем ушли? Пускай бы они жили за печкой! А то привыкли! На немецких пуховиках! А ты землю носом рыл!.. А они трофеями наживались! И тут им самолучшее место! — Он приносил мне книги из заводской библиотеки и, сунув том, ронял: — На! Читай! Может, когда и поумнеешь!..

Наверху дребезжал голос капитана: «Не связывайся ты с ним! Пр-рошу тебя! Пр-рошу-у!.. Ребенок... нервы...»

Азарий, бухнув дверью, уходил. Мать крестила его вслед: «Прости его, неразумного, Мать Пресвятая Богородица! Не от ума, ото зла это, зло пройдет, схлынет...» — и какое-то время стояла потерянно среди кухни, забывшаяся, сама себя потерявшая. Потом спохватится и, приподнявшись на несколько ступенек внутренней лестницы, напомним дочери:

— Каля! Я тебе молоко подогрела. Попила бы. Да и капель бы успокоительных... расстроил тебя опять большеголовый...

Папаша и жена моя, капля в каплю похожие друг на друга, отводили в сторону глаза. Семен Агафонович, хотя ему и запрещено было курить в избе, вертел сигарку, задымливал и приглушенно говорил:

— Робята! Ступайте наверх, в боковушку, почитайте там, полежите или чё... К тем ведь не обязательно заходить... Ну их...

В ту пору мы с супругой часто ходили в кино — искусство это было нам не только по финансам, но и по расстоянию доступно: кинотеатр «Луч» был почти рядом, через дорогу.

В кинотеатре показывали сплошь трофейные фильмы, в большинстве которых неземным, небесным голосом пел толстенький человек, про любовь пел, катаясь на красивых яхтах с красотками, Беньямино Джильи — соловей вселенский. А перед сеансом, в холодном фойе, в полудекольтированном черном платье, продрогшая и рано увядшая голосом и лицом местная солистка по фамилии Виноградова пела «Пусть солдаты немножко поспят» — и мне всякий раз сладкой горечью сдавливало горло, я заставлял себя думать, не от песен военной поры, а оттого, что мне ее, Виноградову, жалко. На улице мороз, дверь в фойе распахивается и распахивается, несет холодом на низкую эстраду, на ноги, на голые плечи певицы. Иногда выступал чечеточник, он же куплетист, пел сочинения на слова писателей, попавших в Пермь в эвакуацию и дружной артелью поддерживавших боевой дух фронта.

На культурные мероприятия, как и на работу, я ходил в обмундировании. Вернувшись с работы, я набрасывал на себя японскую шубу, раздобытую старшим сыном, Сергеем, видимо, в лагерях военнопленных и подаренную отцу. Жена моя тем временем приводила в порядок и праздничный вид гимнастерку, брюки, если требовалось, стирала этот единственный комплект одежды, сушила его паровым утюгом, подшивала подворотничок, меловым порошком подновляла пуговицы, наряжала меня, оглядывала со всех сторон; по лицу ее я читал: она довольна мною. У меня сохранилась карточка с первого моего, бессрочного, паспорта: в той самой гимнастерке, только уже без погон, — на карточке незнакомый, далекий уже мне чернобровый, довольно симпатичный парень, успокоенно, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью глядящий на этот бурный свет.

\* \* \*

Зеркало наверху было одно — большое, старинное зеркало в массивной черной резной раме. Низ зеркала и бока его уже обработало время, места эти напоминали лягушечью икру, перемешанную со свежей мелко рубленной капустой, переплетенную серебряными нитями. Но середка была чиста, и когда утрами делали в комнате уборку или поливали цветы, на зеркале появлялась испарина, ее протирали досуха, и тогда оно, зеркало, опять начинало отражать в себе то свет зимнего солнца, явившегося в законе, то пятнышко лампочки, упрятанной в старомодный абажур. И всегда в этом древнем зеркале свет то отражался, то ломался, крошился в стеклянки, искорки или вдруг вытягивался живым лучом по всему его пространству, от угла до угла.

У меня уже заметно отросли волосы, я уже один раз сходил в парикмахерскую и, поскольку никаких причесок не знал, хотел было назвать, как мой папа, — «польку-бокс», да в преискуранте, висевшем на стене, «полька» и «бокс» обозначались отдельно, к тому же «полька» была наполовину дешевле «бокса», и я назвал эту прическу, да так и не меняю ее до сих пор, лишь иногда, когда контуженая голова совсем уж начинала разламываться от боли, я стригся машинкой «под ноль», надеясь, что без волос голове будет легче.

Я любил постоять перед тем старым зеркалом, много лиц повидавшим, зачесывая волосы то набок, то кверху — «политикой», то еще как-нибудь. Однажды Калерия, утопивши живот меж колен, что-то сноровисто шила у окна.

— Тебе идет прическа чуть набок и вверх. Ты тогда как петушок... и изуродованный глаз меньше заметно, — сказала она.

— С-спасибо! — сквозь стиснутые зубы процедил я, уже и подзабывший про уродство глаза. Жена моя и такого меня любила, ну а если не любила, то привечала и необидно, по-русски жалела.

В комнате, где обосновались высокие квартиранты, сделалось будто на выставке, скорей как на барахолке. Всюду: на стульях, на спинке кровати — горой лежало, висело разнообразное заграничное барахло. Капитан расхаживал в галифе, в шелковой, голубого цвета, нижней рубашке и пощелкивал цветастыми подтяжками или валялся на кровати, почитывая книгу. Черти его сунули в начавшийся разговор.

— Калерия! А что, если мы выдадим один из костюмчиков этому боевому солдатику, да еще рубашку, может, и сапожки — не парень, загляденье будет!..

Я не думаю, что он подал эту «идею», чтоб поизмываться надо мной. Он, наверное, и в самом деле хотел облагодетельствовать меня трофейным добром. Калерия, прервав работу, посмотрела на мужа — шутит он или всерьез говорит. Она, Калерия, испытывала передо мной чувство неловко-

сти за так неладно, с нашего «переселения», начавшееся возвращение их к мирной жизни, иногда заговаривала со мной о том, что как родит, они с мужем получают квартиру: у него на это больше возможностей, чем у меня, — они это понимают. Переедут, обставятся, тогда мы с Милей снова вернемся в комнату наверх. А сейчас как быть? В положении и ей, и нам неловко, да и тесно...

«Да-да, — кивал я головой. — Конечно, конечно. Не беспокойтесь, нам и за печкой ничего. — И для убедительности добавлял: — С милой рай и в шалаше...»

Тяжело доношающая ребенка, Калерия морщила губы в улыбке, кивала мне и долго потом следила за моим взглядом: правда ли, что я не ношу камня за пазухой, не обиделся на нее. Бедная женщина. Она была в том уже состоянии, когда все земное докучает, мешают, боль и тревога сосредоточены на том, что внутри, а не снаружи, что ее мучает, но и дарит светлую радость небывалого, ни на что не похожего состояния и жуткой тайны ожидания того, что за этим последует, муки ее завершатся новой жизнью, подумать только, зачатой на войне.

Ребенка мира! Первенца! Ее первенца! Ради которого она и сама родилась, росла. Не для войны же, не для работы, пусть и в отдаленности от фронта, рождалась она!

Калерия заметно помягчела нравом, сделалась уступчивей, заискивала перед сестрой, как я заметил, самой тут непреклонной; не вступала в стычки с Азарием, даже подарила ему что-то заграничное, вроде ручку-многоценку. Правда, он ее забыл в желобке окна. Отцу с матерью тоже что-то подарила. Тасе — платье да пальто. Васе — ботинки, хотя и поношенные, но совсем еще крепкие. А вот у жены моей подарков от Калерии и ее капитана не было, видать, они понимали: никаких подарков она не примет, да еще такой отлуп даст трофейщикам, что зубы заноят.

В общем и целом отношения в доме более или менее утряслись. Калерия капризничала, или, как тут говорили, «дековалась», только над матерью, да и то нечасто. Мать терпела и всех терпеть просила. «Господь простит», — говорила.

Но жизнь под одной крышей — тесная жизнь, тут друг от друга не спрячешься. Мой свояк Иван Абрамович с семьей переехал из Шайтана в Архиповку, поближе к городу, всего она в шести верстах от города, та Архиповка. Он часто привозил на салазках мороженое молоко на продажу, из овощей кое-что — он сбивался на дом. И пока жена его торговала на базаре, Иван Абрамович вел с нами разговоры, да все больше на политические темы иль нравственно-социальные.

Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук, походил он на какого-то философа из учебника пятого класса. Иван Абрамович читал газеты, книги, вступил на войне в партию, хотя на Урал угодил спецпереселенцем, негодовал по поводу безобразий, творившихся в лесной промышленности, заверял, что все это вместе с последствиями войны будет со временем партией ликвидировано. На лесозаготовках Иван Абрамович очутился не по своей воле, на фронте метил попасть в политруки, но дальше агитатора продвинуться не успел, однако патриотический порыв не утрачивал до тех пор, пока жизнь да болезни совсем не замяли его и не растолкли в порошок. Я его подзуживал:

— Ты такой вот сознательный, почему же сейчас молочко на базаре продает твоя баба? Почему?

— Дурень ты! — беззлобно и снисходительно гудел Иван Абрамович и отворачивался от меня, как от осы, докучливо зудящей над его мудрой головой. — Погоди, погоди, поживешь вот мирной жизнью, покатает она тебя по бревнам, синяков на бока наставит — поумнеешь.



С товарищем капитаном разговоры у нас не клеились. Он про «свою войну» помалкивал, я трезвонил шпорой, в кучу собирал все, что слышал, видел на пересылках, в госпиталях, в запасных полках. Свой боевой путь был мне настолько неинтересен, что я его почти не касался, вспомню только иногда, где чё сперли, какие шуточки вытворяли по молодости лет после того, как отдохнем и отоспимся, от глупости и прыти, связанной с возрастом и постоянной взвинченностью, неизбежной у молодых ребят на войне.

Иван Абрамович, рядовой стрелок на войне, пехотинец, вышедший в сержанты, отлично понимал, где я говорю серьезно, где придуриваюсь, хохотал, отмахивался от меня, утирал калеченой рукой, похожей на пучок сосисок, глаза. Папаша смеялся приглушенно, и только по глазам его серым, голубеющим в минуты радости, да по мелко вздрагивающей бороде было заметно, что он тоже смеется.

— Тихо вы! Каля там, забыли! — шикала на нас Пелагия Андреевна, но шикала беззлобно — тоже нажилась в почти безгласном доме за войну. — Согрешенье с вами... — и удалялась к соседям — отдохнуть, может, переждать: Калерия рассердится — ее тут не было, и она знать ничего не знает.

— Вот с такими вояками и отдали пол-России, провоевали четыре года, — не выдержал как-то капитан, послушавший мои байки.

Я знал, что он не выдержит, потому что он, когда я, махая руками и ногами, «травил про войну», фыркал, совался с замечаниями. Я ждал, когда он сорвется, даже предполагал, что он скажет, и тут же вмазал ему в ответ:

— А с такими, как ты, просрала бы целиком дорогую Родину за три месяца! Осенью немцы были бы уже здесь, — потопал я по полу. — На Урале! А японцы там! — показал я за окно, на улицу, в восточную сторону.

Повисла неожиданная напряженная тишина. Но капитан был не лыком шит, немало, видать, поработал с такими «мятежниками», как я. Он побледнел, но, сдерживая себя, выдал презрительно:

— Шутник! — и быстро удалился наверх.

Папаша снова, несмотря на запрет, свертывал сигарку. Иван Абрамович угрюмо молвил:

— Зря ты. От говна подальше...

Папаша, с которым мы уже испилили и искололи все дрова в мои выходные дни, очистили снег и стайки, то вполуха слушал меня, то и вовсе не слушал, но все равно мне одобчительно кивал:

— И правда што, не связывался бы ты с им. Правильно Иван Абрамович толкует: от говна подальше — не воняет.

Теща явилась и с порога навалилась на «самово»:

— Опять смолишь! Скоко говорено. — И когда, накинув японскую шубу и бубня что-то себе под нос, папаша удалился на улицу и я стал собираться следом за ним, сказала Ивану Абрамовичу так, будто меня уже не было в избе: — Ну нискоко не уступит старшим! И трешшйт, и трешшйт!.. Да хохочет — аж лампы гаснут! Вот как ему весело! С чего? Зарабатывают меньше уборщицы, но туда же, с гонором...

Папаша сидел под навесом тамбура. Сигарка его, как флейта с дырами по бокам, дымила вызывающе. Удивительный был он курец, папаша! Курил он всю жизнь не взятяжку, но без курева жить не мог. Сейчас у него в сигарке-флейте были крупно рубленные табачные крошки — корни вперемешку с крапивой, но он смолил себе и смолил — аж глаза ело. Протянул было мне кисет, но моя голова его курева не переносила, угорала — в ней, в контуженой-то моей башке, усиливался звон. Папаша убрал кисет в карман. Я достал за услугу на вокзале заработанные папироски и, когда докурил «Прибоину» до мундштука, притоптал ее, сказал папаше:

— А давай-ка, Семен Агафонович, сортир чистить. Народу много, все серут... уже подpiraет...

— Пожалуй што айда. Нам така работа самый раз. Капитанам срать — нам, солдатам, чистить! — Такие сердитые слова, так сердито и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые и озадачился, начиная понимать, что с виду-то у папаши лишь борода да нос, да трудовые корявые руки, испутанные толстыми жилами, но внутри, в середке-то, где глазу не видно, — не все так уж просто да топорно.

Папаша надел «спецовку»: старый дождевик, латаные-перелатаные валенки, для чистки изготовленные рукавицы — и заделался черпалой. Меня от долбежной работы освободил, так как одежда у меня одна — и рабочая, и выходная. Пахнуть стану, а работаю на людях, и он, папаша, претотлично это знает, так как на том же Чусовском вокзале, после того как ему повредило руку при сцепке вагонов, какое-то время состоял швейцаром при ресторане. Работа легкая, в тепле, да старуха его оттудова отстранила, так как он там, при ресторане-то, кхе-кхе...

В старом железном корыте я отвозил добро за железнодорожную линию, опрокидывал его в овраг — весною ручей все зимние накопления снесет в реку Чусовую. Пока папаша нагружал транспортную емкость, я любопытствовал, что же означает это самое «кхе-кхе». Отвернувшись от сортирного жерла, Семен Агафонович досадило обронил:

— Не знаешь, што ли? Мужик ведь!.. — и, тяжело вздохнув, признался: — Виньцем я стал баловаться... А семья!.. С такой оравой не забалуешься, — и, опершись на лопату, устремив голубеющий взор в какие-то ему лишь известные дали, исторгнул: — Было делов! — но тут же опамятовался, прикрикнул на меня, что полное уж корыто, а ты стоишь и стоишь, ротом ворон ловишь.

Когда я вернулся во двор и поставил под нагрузку транспорт, папаша, заглаживая нечаянную грубость, пообещал мне:

— Я ишшо тебе как-нибудь расскажу про службу в городе Витебску. Во-от, парень, город дак город!

Для папаши это был наилучший город на свете! Так как других он почти не видел, не задерживался в них, городишко же Чусовой по естеству жизни плавно перетек в деревенский лик — сельская жизнь тут не могла сравниться ни с какой стороны с городом Витебском. Воспоминания о городе Витебске папаша мог поведать только в самые благостные минуты, будучи «под мухой», и только самым близким людям. Вот и я удостоился услышать от него те редкостные, захватывающие воспоминания, и за это мне хотелось обнять и притиснуть к себе папашу, да весь он был в мерзлом крошеве — от него попахивало. Когда мы углубились на уровень лома в нужниковую яму, выломали, выковыряли и отвезли отходы человеческие за линию, папаша восстановил деревянный мерзлый трон и, как в прежние годы, после приведения «опшэственного места» в порядок затопил баню.

В этот раз мы мылись с ним вместе, чего достаивались тоже далеко не все, даже и сыновья. Ивана Абрамовича старик стеснялся. Я сдавал на каменку. Семен Агафонович, ахая, хлестался веником, сочувствовал, что я не могу париться: «Вот чево война делат с человеком...»

Когда, уже изможденный, обессиленный, сел папаша на приступок полка, прикрыв исхлестанным веником причинное место — в этих делах, как и в словесном сраме, тесть мой был целомудрен, многому меня, не поучая, научил, — пытался он продолжить беседу про войну, но сил его даже на разговоры не хватило — ослаб могучий мужик за войну, на иждивенческих карточках, — попросил окатить его теплой водицей, загородив накрест ладонями свои мужские достоинства. Родив девятерых детей, последнего — сорока пяти лет, они, родители, не дали им никакого повода узнать, откуда они взялись, тем более, каким манером их мастерили.

Привыкший к массовому бесстыдству, богохульству и хамству на войне, да и до войны кое-что повидавший по советским баракам, наслушав-

шийся всякой срамотищи и запомнивший бездну мерзостей, декламировавший целые поэмы, подобные «Весне» Котляревского, невольно я подбирался, укорачивал язык, смягчал солдатские манеры поведения и придерживался насчет окопного фольклора. Многим современным, интеллигентно себя понимающим людям стоило бы поучиться у бывшего вятского крестьянина человеческим отношениям меж собой, в семье, на людях. Узнав, что у капитана в городе Ростове есть брошенная жена с двумя детьми, Семен Агафонович не мог понять, как это возможно — оставить свою жену, тем более робятишек, — оттого сразу невзлюбил блудню зятя, да и дочь осуждал за невероятный в этой семье поступок. Позднее он мне признался, что сразу решил: «Путной семьи у их не получится, ничего доброго не будет — на чужом горе счастья не строят, эдаким маневром. — Все же он был и остался маневровым работником — составителем поездов. — Варначат людишки, жить-то по-людски не живут. Дитяя судьбы калечат».

Калерия, удостоверившись, что муж ее не шутит — всерьез хочет обрядить меня в парадный костюм, поддержала супруга:

— Что ж, по-родственному полагается всем делиться...

А я ж, «язва болотная» — по выражению бабушки, сроду и болот-то не выдавший: горы у нас да скалы кругом, на родине-то, — я ж страшно раним, потому как в деревенском сиротстве хлебом корен, в детдоме беспрестанно попрекаем за то, что государство меня поит, кормит, одевает, день и ночь думает обо мне, в окопах и госпиталях изношен до того, что нервы наголо, и начитан некстати, изображаю прическу на непутевой голове перед зеркалом, — внятно так, раздельно произношу:

— Я до войны вором был — беспризорничество вынуждало воровать... И потому — ныне ворованным не пользуюсь.

Капитана будто ветром смахнуло с кровати, он закружил по комнате, закачал половицы — они же потолок.

— Ты что?! — негодовал капитан и назидал в том духе, что все манатки — немецкие, есть трофейное имущество, которое брошенное, которое купленное, которое просто победителям отданное!..

Из вороха тряпок, лежавших на столе перед зеркалом, я брезгливо, двумя пальцами поднял миленькие детские трусики с кружевцами и, кривя глаз и рот, начал измываться над соквартирантами:

— Да-да!.. Прибежала немецкая девочка лет трех от роду, а то и годовалая, сделала книксен: «Герр советский капитан! Я так вас люблю, что готова отдать вам все!» — и великодушно сняла вот эти милые трусики...

Капитан ушибленно дернулся, его скособочило, сломавшись в шее и пояснице одновременно, он рухнул задом на кровать, какое-то время глядел на опущенную голову Калерии. Она ни глядеть на него, ни шить не могла.

— В-во мерзавец! Во-о сволота!..

— Иди-ка сюда, капитан, — поманил я пальцем свояка. Он отчего-то замороженно пошел на мой голос — колдун же я, колдун! Распахнув дверь в верхние, холодные, сени, я показал ему на воткнутый в стену бритвенно остро наточенный столярный топорик и медленно, сквозь зубы проговорил со всей ненавистью, какую нажил на войне, с бешенством, на какое был способен с детства: — Еще одно невежливое слово, я изрублю тебя на куски и собакам выброшу... — Осторожно, будто в больничной палате, я закрыл дверь и, обмерив взглядом оглушенного капитана — все это комфортное жилище, добавил: — Хотя такую падаль здешние собаки жрать не станут, разве что ростовские, под оккупацией человечину потреблявшие...

\* \* \*

Выступление мое разбросало всех обитателей дома по углам и запечьям. С Калерией и с капитаном одновременно началась истерика. Капитан превзошел свою жену в визге, стенаниях, угрозах и жалобах, все напирал

на то, что ни быть, ни жить ему здесь невозможно, чтоб все слышали и знали, как он страдает от поношений, как много терпит неудобств и несправедливостей.

Вылазка капитана не удалась — ему в Ростов хотелось, к деткам, к жешушке богоданной, не с пэпэжэ ему, в самом деле, вековать. Согрешил, накрошил, да не выхлебал товарищ капитан. Вспомнил, видать, что семейная каша погуще кипит. Бо-ольшим политиком за войну сделался капитан, со временем в генералы выйдет, и его непременно как патриота в селезневскую Думу выберут — там ему подобных уже с десяток воняет, дергается, пасть дерет, Россию спасает от врагов. А ее надо было нам спасти от таких вот капитанов и его покровителей. Тогда бы уж не очутились мы на гибельном краю...

Ну да ладно, чего уж там...

Папаша залег на печи, мамаша пила за занавеской «капли датского ко-роля». Тася и Вася привыкли уже тишком-молчком проскальзывать в свою квадратную комнатушку-боковушку с двумя топчанами. От средней комнаты эту боковушку отличал цветок ванька-мокрый на окне да самошив-ный коврик из лоскутков на стене.

Азарий дневал и ночевал на заводе да у своей Софьи. Жена моя — на работе, как раз приспел квартальный отчет, и она подолгу засиживалась в старом, хорошо натопленном доме, где располагалась контора инвалидной артели «Трудовик». На выручку мужу, которому из-за занавески было предложено «искать квартиру», не поспешала.

Поскольку «квартира» я никогда не имел, опыту их искать — тоже, жи-льем меня всегда кто-то обеспечивал: сперва родители, потом бабушка, потом все государство обо мне пеклось — детдом, общежитие ФЗО, вагончик на желдорстанции, солдатская казарма, индивидуальная фронтная ячейка бойца, по-тамошнему — ровик, привычнее — щель в земле, изредка — отбитый у врага блиндаж с накатом, госпитальная палата с индивидуальной койкой, вагоны, вокзалы.

И вот прибыл, стало быть, на место, окопался!

Начал восстановление народного хозяйства, удивляя себя и мир трудовыми подвигами. И чего я этого капитанишку топором не раскряжевал? Но это уж больно кровожадно даже для такого громалы, как я... ну хотя бы обухом по его толоконному лбу...

Было бы у меня опять жилье. Казенное. С индивидуальным местом на нарах, с номером. Из рассказов бывалых людей, а их у нас уже в ту пору тучи велось, я с точностью представлял то казенное помещение. По комфорту, обстановке и нравам, царящим там, не уступало оно бердской казарме, где мы топали и дружно пели боевые песни, а сталинградская пересылка, а винницкая, а львовский и хасюринский госпитали, а дорога с фронта, а конвойный полк — это ж «этапы большого пути», как поется опять же в патриотической песне: «Ту-упой фашистской нечисти заго-оним пулю в лоб!..»

Прикончили. Загнали ему пулю в лоб и в жопу. Кого закопали. Кого рассеяли. Сами тоже рассеялись. Пора браться за ум. Пора учиться жить. Биться в одиночку. За существование! Слово-то какое! Выстраданное, родное, распрекрасное — новорожденное, истинно наше, советское. На полковой пайке его и не выговоришь. А что пиздострадателя этого не изрубил, Бог, значит, отвел. Хватит мне и немца, мною закопанного в картошке. Каждую почти ночь снится.

Сложив в нагрудный карман документы, в том числе так и не обмененный проездной талон на железнодорожный билет, выписанный мною при демобилизации до Красноярска, хлебную карточку, поместив в синий мешок, в неизносимый подарок Сталина, тетрадку в ледериновой корочке, с песнями, стихами, фотографиями фронтовых и госпитальных друзей да

совсем недавно пламенно любимой медсестры, запасные портянки, ложку и кружку, я потоптался у порога, подождал, когда прервется крик Калерии наверху.

— До свиданья!

Никто ни с печи, ни из-за печи не откликнулся. Уходить будто вору хотя и привычно, да неловко все же, да и горько, да и обидно, на сердце вой, в три звона сотрясает, разворачивает большую голову, поташнивает. Как всегда после сильного потрясения, хочется плакать.

— Прощайте! — повторил я и по-крестьянски, церемонно вымучил: — Простите, если...

Семен Агафонович отодвинул блеклую занавеску, решительно и шумно откинул ворох лучины, свесил бороду на мою сторону:

— Поезжай! Поезжай, поезжай с Богом... от греха... — и, опуская бороду еще ниже, добавил: — Чё сделаешь?.. И тоже прости нас, прости.

— С Богом, — выстонала из-за занавески благословение теща.

Вечером я заступил на дежурство, ночью написал заявление о расчете, и утром начальница, гулевая, красивая баба, обремененная ребятами, за что ее замуж не брали, с сожалением подписала мою бумажку и каким-то образом обменяла мой просроченный талон на железнодорожный билет до Красноярска.

— Хоть теперь по-человечески поедешь! — В ней и в самом деле сочталось совместимое лишь в русской бабе-женщине: бурность, книжно говоря, темперамента и чуткость слезливой русской бабы.

\* \* \*

Днем появилась на вокзале и отыскала меня жена. Я после дежурства спал в комнате начальницы вокзала, на диване. Сама начальница уехала куда-то в командировку, скорее всего загуляла в отделении дороги. По случаю очередной победы в соцсоревновании по перевозке грузов кутили там который день.

Посидев в тишине молчания, в непривычной отчужденности в руководящем кабинете, мы занялись кто чем. Жена смотрела в окно. Я вынул запасную чистую портянку, сходил к Анне, рывкнул, чтоб дала воды, да постуденее. Она в ответ жажнула такой струей, что и умываться не надо — всего меня окатила. «Ведьма!» — сказал я, утерся портянкой и вернулся в вокзал.

Жена моя играла в ладушки. Сидя на лавке сдвинув колени под диагоналевой юбкой, валеночки не по ноге, много раз чиненные кожей и войлоком, составила пятки вместе, носки врозь. Прихлопывала ладошками и что-то едва слышно — она не песельница по призванию — напевала. Я попытался уловить — и уловил: «А мы — ребята-ухари, по ресторанам жизнь ведем...» Ее, эту песню из богатого детдомовского фольклора, я пел ей не раз, и она вот уловила мелодию, но всех слов не запомнила — хотя и способная баба, но к ней как-то не липли и в слух ее не проникали подобного рода творения, зато я их имал с ходу, с маху, с лету. Однако песня сослужила нам неоценимую службу: мы оказались в вокзальном ресторане. Знакомая официантка подала нам по коммерческому бутерброду из черного хлеба, два звеньшка селедки да по стакану квасного киселя.

— А вина нам не дадут? — вдруг спросила жена. — Я премию получила, — и, чтобы я не засомневался, тут же полезла в сумочку, подаренную ей еще до войны крестной, имя которой она произносила с благоговением, Семен Агафонович и Пелагия Андреевна — с неподдельным трепетом. — Вот! За квартальный отчет. Мы его досрочно сдали, нам выдали маленько денежек, выписали всем конторским кожи на обувь.

— Хорошо живете! — холодно заметил я и объяснил, что насчет вина ничего не знаю; хоть и работаю на вокзале, в ресторане бываю только в

случае необходимости, чтоб вывести кого, усмирить, если милиционера поблизости нету. Обедать в ресторане мне не по карману — я ведь и в самом деле получаю чуть больше уборщицы.

— Попроси, а! Попроси! — настаивала жена, и в голосе ее, в глазах была незнакомая мне забубенность напополам с душой рвущим отчаянием человека, покидаемого на необитаемом острове.

К моему удивлению, официантка не удивилась, даже обрадовалась:

— Х-хо! А мы думали, ты непьющий! И до девок не охоч... — прищурилась на дальний, угловой, столик: — Твоя? Ничего. Только малокалиберная... У нас девки поядреней... — и скоро принесла бутылку портвейна под сургучом, три ломтика веером раскинутого, скрюченного сыра, винегрет и сколько-то шоколадных конфеток из кармана фартука вытащила. — Конфетки спрячьте. Не-кон-ди-ци-он! Ну, со стороны добытые, — пояснила она. — По фондам с голоду сдохнешь!..

Портвейн мы выпили. Весь. Я сперва ни крепости его, ни вкуса не чувствовал, потом меня развезло, супружницу мою — тоже. Где-то за пакгаузом, за технической будкой, почти по-за станцией, мы сидели на запасных, рядом сложенных рельсах и, целуясь, плакали. Она все пыталась говорить, вернее, выговорить: «Вот и свадьба!.. Прости! Вот и свадьба!.. Прости!» — с разрывами, сквозь слезы, несвязно лепетала. Но я все до основания понимал, гладил ее по голове, целовал в холодный, слезами заполненный рот.

Потом, продрогшие до последних ниточек, мы неторопливо шли той же дорогой, которой двигались не так давно, но отчего-то казалось, что было это вечность назад. Я провожал жену домой. Она говорила, что вчера была крестная — приезжала специально из города Лысьвы, посмотреть на «Милюного мужа». Ей сказали, что муж на дежурстве. Тогда крестная поинтересовалась, как и где живут молодые. И когда ей указали на запечье, напрямки спросила: «Калерия, конечно, наверху?! Я так и знала! Вечно Милечка у вас в батрачках! Вечно вы ее, безответную, в углы заталкиваете да работу погрязней да потяжелей суете!..»

Решительная эта женщина, крестная-то. Дала она всем прикурить. Велела властью своей освободить от квартирантов флигель; переселить туда Милечку с мужем. Какой бы он молодой и разбойный ни был — им жить, им и разбираться друг в друге. Когда отелится корова, нужно помогать им молоком, и вообще хватит делить детей на любимчиков и нелюбимчиков. Левочка, муж крестной, говорит, что у нас социализм и все должно быть по справедливости!

О, грехи наши тяжкие, смехи наши вольные! Тут, на вокзале, я узнал наконец о том, как моя жена раздобыла столько имен.

Крестная росла без отца: мать ее рано овдовела и была приглашена работать экономкой в дом к протоиерею, служившему в кафедральном соборе. Дело она знала, была исполнительна, безупречна в части морали и всего прочего, пользовалась у хозяев полным доверием. Будущая крестная, когда наступила пора посещать гимназию, училась вместе с дочерью высокого духовного лица и рано начала болтать по-французски.

Гражданская война разметала семью священника. Мать крестной, привыкшая управлять и властвовать, стала выводить дочь «в люди». И вывела! Крестная хоть и в небольшом чине, но работала в техническом отделе на железной дороге. Вечерами, иногда и ночи напролет, шила вместе с матерью, вышивала, вязала, плела. Даже от табачной фабрики брали женщины работу — набивали табаком папиросные гильзы. Зато и одевалась девица всегда по моде, выглядела культурно, читала книги. Прехорошенькое, шептливое существо, вышколенное матерью, вольности не знало, мать иногда даже поколачивала ее, вплоть до замужества.

Муж крестной прожил тяжкое, голодное детство в многодетной семье, был подпаском, затем пастушком, благодаря уму, стараниям и добрейшему характеру покорял высоты наук по пути в инженеры, покорил еще и сердце разборчивой девицы, давшей отлуп уже не одному «видному» жениху.

Из рассказов об обожествленной крестной мне в ту пору запомнился один. Это когда она, крестная, еще девицей гуляла с Левочкой, одетым в красивую форму строительного инженера, вдруг с ужасом почувствовала, что лопнула тесемка у нижней накрахмаленной юбки! И случилось это не где-нибудь, но посреди конно-пешеходного моста через реку Усьву, длинной не меньше километра! Нечистая сила, не иначе, решила подшутить над девицей, подвергнуть ее моральному испытанию. Да не на таковскую нарвалась! Девица как шла, так и вышагнула из накрахмаленной юбки, сопнула ее с моста.

Кавалер, державший свою любимую под руку, так ничего и не заметил, так и держал, как держал. Кто-то из публики, гуляющей по мосту, воскликнул: «Э-эй! Кто белье утопил?!» Девица пожалала плечиками: «Какая-то растяпа полоскала белье и упустила юбку по течению». И лишь много лет спустя, будучи на курорте, в аналогичной же ситуации Левочка со смехом напомнил: «Какая-то растяпа юбку утопила!» «Умный Левочка! Ох, умный! А воспитанный!»

Так вот эта самая, решительная еще в девицах, особа и ее строгая мамаша рабочую семью Семена Агафоновича жаловали. И когда у Пелагии Андреевны родилась девочка — пятый в семье ребенок, — строгая и почитительная Ульяна Клементьевна выговорила доброй знакомой: мол, если деньжонок подзанять, иголку для машинки, кожу на заплатки, лоскутья для одеяла — всегда пожалуйста! Но вот пятого ребенка родила, а чтоб ее дочь в крестные взять — не подумала! Наделив роженицу подарком, строгая женщина добавила: ныне быть крестной ее дочери — она не хуже людей! И чтоб новорожденную назвали ладом — Людмилой.

Послала Пелагия Андреевна своего Семена Агафоновича метрику выписывать на новорожденную. И он пошел, перед этим в честь прибавления в семье немного выпил. Когда зашел в загс за метрикой и когда, регистрируя младенца, заполняя эту самую метрику, его спросили, как ребенка назвали, он запомнил мудреное имя и сказал — Марией.

Рассердилась крестная, что не по ее просьбе дали имя девочке, и сказала, чтоб хоть Милей тогда ее называли. Ее убеждали, что Мария — имя тоже хорошее, в святцах означает — Святая!.. А я вот у Даля потом прочел: «Не у всякого жена — Марья, а кому Бог даст».

С тех далеких пор в семье жены произошло по отношению к ней раздвоение. Почти все называли ее Милей, отец же, Семен Агафонович, — Мареей; будь хоть выпивший, хоть усталый, хоть здоровый, хоть больной — Марья, и все тут! И так до конца его дней, вот они какие — вятские-то, — не больно хватские, зато упрямые!

Веселый рассказ кончился, и дорога — тоже. Надо прощаться. И мы распрощались, но, увы, не в последний раз.

После встречи на вокзале на душе у меня сделалось легче, особенно от загадочных слов жены: «Приезжай!.. Я без тебя переберусь во флигель. Когда вернешься — скажу тебе важное... Приезжай!» И осталась на перроне одна-одинешенька среди толпы, в чиненых валеночках, в мамином стареньком пальтишке, в теплом берете, натянутом на уши, — военная шапка на мне. Я попытался вернуть шапку, она удержала мою руку, вежливо и настойчиво: «В Сибири уши отморозишь...»

\* \* \*

В Сибири никто меня, кроме бабушки, конечно, не ждал, но вся многочисленная родня, погулять гораздая, нарядилась, собралась, запела, заплясала. В какой-то день привели скромно потупившуюся девку, которую тетки мои предназначали мне в невесты. Один раз она написала мне на

фронт, я не ответил, и теперь, узнавши, что я женат, облегченно сообщила: «Я тоже замуж собралась... — кротко вздохнула: — за сторожа-пожарника. Инвалид он войны».

Чужой, совсем незнакомый человек, а вот там, на Урале... там мне важное хотят сообщить о чем-то — я почти догадываюсь...

Но первая новость на Урале была ошеломляющая — умирала Калерия. На кровати иль, точнее, на топчане матери, за занавеской лежала догоревшая до черной головешки старая женщина с плавающим взглядом, в которой я уже не узнавал красивую Калерию. Я опустил на колени перед скотканной постелью, пощупал раскаленный лоб больной. Взгляд ее пробудился, она не произнесла мое имя, а зашептала, зашептала, схлебывая, слова:

— Вернулся?! Ха-а-ашо, ха-а-ашо!.. А я вот видишь, вот видишь... — Она боялась еще произнести слово «умираю».

Я понял, все понял по ее лепету... не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не надо войны, ссор, зла, смерти.

— Я счас, счас сбегаю...

Калерия поймалась за мою руку:

— Не уходи-ы. Ты... ты... мне нужен, твое прощение мне нужно, — собравши силы, едва уже слышно прошептала умирающая.

— Я счас, счас, помогу тебе, помогу.

В дорогу из Сибири меня снабдили харчишками. Бабушка из какой-то заначки вынула туесок моченой брусники.

Я кормил Калерию прямо из туеска брусничкой, стараясь зачерпывать ложкой ягоды вместе с соком, и видел, как больная легчает, как жаром сожженное нутро ее пронзает освежающая влажная кислота.

— Мне легче стало, — внятно сказала Калерия. Она была завязана по-старушечьи. Я концом ситцевого платка вытер ей губы и сказал:

— Теперь ты поправишься — брусника не таких оживляла...

— Па-си-бо! — по-детски раздельно выдохнула Калерия и, склонив голову набок, уснула.

\* \* \*

Этой же ночью Калерия умерла, оставив новорожденного сына. Прислышав, что в роддоме худые условия, плохо с роженицами обращаются, что дома эти переполнены, что детей часто путают и не кормят, мать решила принимать роды дома, хотя сама она, деревенская когда-то баба, всех своих детей принесла в городском роддоме.

О, эта слепая родительская любовь и рабское прислуживание! Они порой страшнее предательства... Отчего-то рожать Калерию переместили на материнскую постель, в духоту, в пыльное место. Может, не хотели беспокоить капитана и в полутьме обрезали пуповину старыми портновскими ножницами. Ножницы валялись на издолбленном, гвоздями пробитом подоконнике, перед которым сапожничал папаша, на них еще рыжела засохшая кровь.

Вдвоем, Азарий и я, долбили землю на новом кладбище на уральской горе, которая называлась Красный поселок — не за революционную идею так гора называлась, а оттого, что на ней красная глина. С перебитой рукой из меня какой долбежник? Я подбирал лопатой крошево глины с камешником, Азарий бил земную твердь с остервенением и раскаянием.

Капитан во время прощания с покойной женой бился головой о стену и на кладбище, ползая вокруг могилы, все норовил в нее упасть.

— Тиятр! — сказал я твердо, и жена моя, съездившаяся, сделавшаяся совсем махонькой, уцепив мать под мышки — не держали ноги старую женщину, — посмотрела на меня долгим, горестью и болью сжатым взглядом. После скромных поминок сделала она заявление:



— Совсем ты на войне очерствел, — помолчала и добавила: — Может, и озверел...

На что я ей дал отпор:

— Мужик должен быть мужиком. Засранец капитанишка этот, а какой засранец — вы еще узнаете.

Узнали. Очень скоро. Через совсем короткое время, сороковины не справив, товарищ капитан, сделав разведбросок в город Ростов, вернулся за манатками, забрал все, не оставив даже лоскутка на пеленки сыну. Но всем нам было уже не до капитана и не до трофейных манаток. Мы с Азарием снова долбили землю на Красном поселке. Достали, достали аж на Урале бедного фэзэошника, свернули ему голову труды мудреные Карла Маркса и его партнера Фридриха Энгельса.

Когда-то падавший со строительных лесов и ушибившийся головой младший брат жены, Вася, дочитался до точки, взял и повесился в сарае.

\* \* \*

Пока я катался в Сибирь и обратно, жена моя перетащила во флигель. Он состоял из двух половин, этот флигель, давно списанный, почти залегший окошками в огород и не упавший только потому, что снаружи его подпирали четыре крепких, с сенокоса приплавленных, бревна. Внутри подпорок было шесть, при мне появились еще две. Печь развалилась. Папаша принес из бани железную печку, выдолбил дыру в старой трубе, засунул туда железное колено. Еще он принес старую железную кровать из сарая и, чтоб она не падала, прикрепил ее к стене, закрутил на гвоздях проволокой, еще он принес вышедший из строя курятник, выскреб из него плесневелый помет, покрыл фанерой верх — получилась столешница. Задвинул изделие в угол, прикрепив, опять же, его гвоздями к стенам.

Жена моя побелила стены, потолок и печь, намыла полы, отскоблила курятник ножом, повесила шторы на окна и занавесила проем — ход из кухни в комнату, на заборку прибила две репродукции из журнала. Перегородка из кухни была фанерная, и ее вспучило осевшим потолком. Но уют все же был, и какой уют! Разве сравнишь с окопом или блиндажом, даже штабным.

Главный тон и вид придавала штора. Еще когда я боролся со снегом на станции Чусовской, прибегла как-то ко мне погубительница шинели Анна и сунула сырой и грязный комок материи: «На! Твоя кнопка занавески сделает». На станцию прибыл какой-то груз из Канады или Америки, завернутый в плотную марлю, прошитую разноцветными нитями: красной, голубой и желтой. Нарядную эту упаковку узрели вокзальные бабы и давай ее драть, к делу употреблять. Мужики в пакгаузе и на товарном дворе были всегда пьяные и за то, что бабы давали им себя пощупать, разрешили сдирать упаковку, на их взгляд совершенно лишнюю.

Жена моя тот лоскут от упаковки мыла-мыла, стирала-стирала — и сотворена была штора — радуга, сиянье, красота. И жилье наше инвалидное изнутри сделалось куда с добром! В нем было всегда чисто, светло от белой печки и штор на окне, сотворенных из старых наволочек. На углах тех шторок-задержушек жена вышила синие васильки с зелеными лепестками. Так мило получилось.

Отдельное жилище, уют, созданный своими руками, — это ли не счастье! Это ли не достижение для воинов, вступивших в мирную жизнь. Правда, половицы на торцах подгнили, и западня начала проваливаться в неглубокий подпол. Ну, да я-то на что, мужик-то в доме зачем?

Грубо, неумело, нестругаными обрезками я починил пол, подшил и укрепил западню, на свалке подобрал полуведерную кастрюлю — парнишки, ученики из артели «Металлист», обрезали проносившийся низ кастрю-

ли, припаяли новое дно, и мы варили в той кастрюле картошку и уплетали ее за милую душу. Иногда удавалось купить на базаре кусочек сала, мы эти грамм сто делили на два-три раза, сдабривали луком — и очень-очень аппетитное варево получалось.

Картофель мы сперва покупали на базаре или его выписывали в артели «Трудовик». Луку и чесноку как-то привез нам Иван Абрамович, чтоб мы не жили без витаминов, пообещал весной выделить нам сколько-то земли, возле своего огорода, и семенного картофеля на посадку.

\* \* \*

Здесь, в этом райском жилище, разрешился и «секрет» жены: появилась у нас дочка, которую я в честь своей мамы назвал Лидией. И если прежде мы топили печь два-три раза за ночь, теперь ее приходилось жарить беспрестанно. Надо было добывать дрова. Я пошел в горсобес и нарвался на начальника, который еще в сорок втором году убыл с фронта по ранению, занял теплое местечко среди баб, царил, как бухарский падишах. «Откуда, откуда ты будешь-то? Ах, из Сибири! Ну так и поезжай в Сибирь за дровами. Ха-ха-ха!..» — порадовался он своему остроумию. Я знал в этом богоспасенном городе пока одного лишь заступника за народ — военкома Ашуатова. Пошел к нему. Он в телефон наорал на горсобес, и нам подвезли кузов дров. Осиновых. Сырых.

Семен Агафонович сказал: «Ат варнаки! Ат шаромыжники!» — и посоветовал сходить в вагонное депо, попробовать по линии дорпрофсожа выписать отходов, среди которых, объяснил он, попадается много старых вагонных досок. «С имя осина сгорит за милую душу», — заверил тесть.

Я не только выписал отходы на дрова, но и нашел работу в вагонном депо, в горячем цехе, где отливали тормозные колодки и башмаки для них. Цех пыльный. Все работы, в том числе и разгруз вагранки, велись вручную, кувалда — главный был инструмент вспомогательного рабочего. Но здесь, в горячем цехе, были самые высокие заработки в депо. И я вкалывал возле вагранки, да еще и в железнодорожную школу рабочей молодежи записался, и был самым старшим в классе, и учился подходяще — хотелось, очень хотелось закрепиться в жизни, обрести устойчивое в ней место, попасть на чистую конторскую работу.

\* \* \*

Ранней осенью мы потеряли нашу девочку. Да и мудро было ее не потерять в нашей халупе. Зимой жена застудила груди, и мы кормили дочь коровьим молоком, добавляя в него по случаю купленный сахар.

Но прежде чем покинуть нас, то милое, улыбчивое существо сотворило свой жизненный подвиг, ради которого, видимо, посылал ее Бог на землю: она спасла жизнь матери и отцу. Отчаявшись натопить нашу избушку, где ребенок все время сопливел, кашлял и чихал, моя разворотливая жена, у которой ноги и руки часто опережали разум, очистила старую печку от сора и золы, поправила и замазала щели, вставила в дыры кирпичи и жарко протопила парящее сооружение. Я после смены и школьных занятий так уставал, что часто не хватало моих сил осмотреться в хозяйстве, упредить намерения жены, проконтролировать ее прыткие домашние действия. Она тоже смертельно уставала, а тут еще за печника, за штукатура и за истопника поработала. Выкупала ребенка в железном корыте, которое, опять же, изготовили в артели «Металлист» инвалиды-жестянщики из кровельного железа...

Глухой ночью что-то грузно упало на меня — я трудно проснулся. В неуклюжей деревянной качалке, сработанной папашей, Семеном Агафоновичем, еще своим детям, тепло укутанная, чихала и плакала девочка. По-

перек кровати на мне без памяти лежала моя жена. Сверхусилием — мать же! — не давая окончательно померкнуть сознанию, она едва шевелила губами, еле слышно повторяя: «Угар... угар...»

Я отбросил ее, резко вскочил и тут же возле кровати упал на пол. Девочка все плакала и чихала. Я потом узнаю, что дети малые устойчивей взрослых к угару. Я на карачках выполз на кухню и, хватаясь за все еще горячую плиту, потянулся, чтобы открыть вьюшку, но не открыл — старая вьюшка заклинилась в щели, я обрушился на плиту, разбил лицо, рассек губу и, увидев кровь, заливающую мою грудь, пополз к корыту, в котором мокли детские пеленки, видимо, чтоб умыться. По пути к корыту я напоз на старую западню, на которую мы старались не наступать обеими ногами, если возможно было, обходили ее. Западня провалилась, вместе с нею в подполье свалился и я. Подполье было старое, обвалившееся, до пояса мне. В добротном подполье я бы погиб, следом погибли бы жена и дочка, но из этого я как-то выбрался и снова полез к корыту, упал в него лицом, замочился весь, стянул с себя мокрое, солдатское еще белье и сообразил, что надо открыть дверь на улицу. Но дверь была внаклон флигелю, разбухшая, снаружи обшитая старьем. Я забавлялся тем, что, неся беремья дров, приостанавливался на пороге, дверь, кряхтя, подшибала меня аж до самой печи. И сейчас, распахнувшись, выпустив меня, успевшего натянуть шинель на голое тело, дверь медленно притворилась — запечатала жену и дочку.

В эту ночь, сказали мне потом, на дворе было за тридцать градусов мороза. Нагой, мокрый, на мерзлом полу сенок я скоро очухался настолько, что прямо босиком по тропе ринулся в родительский дом, застучал, забренчал. Узнав мой голос, Семен Агафонович открыл дверь и отшатнулся — перед ним, в распахнутой шинели, с залитым кровью лицом, грудью и животом, шатаясь и в горсть воя, стоял, как потом окажется, любимый зять. Короткий переполох, беготня, крики:

— Робята! Робята наших во флигеле вырезали!.. Робята!..

И вот уж Пелагия Андреевна несет, прикрывая шалью, ребенка. Семен Агафонович волоком тащит по двору родную дочь.

Не стало нашей спасительницы, нашего первенца, нашего ангелочка, якоря, державшего нас возле берега жизни, двигавшего против течения наш шаткий, дырявый семейный корабль.

Голодом уморили ребенка в больнице. Жена с распластанной грудью лежала в палате, где было несколько кормящих матерей. Поскольку врачи не разрешали кормить ребенка, заболевшего диспепсией, ничем, кроме грудного молока, она просила, умоляла женщин хоть разок покормить девочку. Никто из женщин не откликнулся на ее мольбу. Робко, со слезами просила жена врачей привезти молока из родильного дома — некоторые женщины сцеживают лишнее молоко. «Вот еще!» — было ей ответом. «Ну хоть с детской кухни бутылочку принесите!»

Девочка хотела жить, тащила больничную пеленку в рот и сосала ее, жамкала деснами. Когда умерла девочка, жена долго пальцем выковыривала из ее рта, запавшего, будто у старушки, обрывки ниток тухлой ткани.

Пройдет сколько-то лет, и нашего первого, конечно же обожаемого, внука настигнет та же, что и Лидочку, болезнь. Вместе с матерью его завалят в инфекционную больницу, где он сразу же наматает клубок переходчивых болезней. И, как в давние, послевоенные годы, станут лечить ребенка прежним, нестареющим методом — голодом. Парень уродился крупный, жоркий, голод переносил совсем тяжело. Но у него было уже два зуба и мужичкий характер. Однажды он схватил кусок черного хлеба и, давась, принялся рвать его и жевать, а ночью, когда мать задремала, просунул руку сквозь решетку кровати, спер с тумбочки соленый огурец и иссосал его до кожуры — мужик, боец не сдавался, боролся за свою жизнь.

Утром его, завернутого в пуховую шаль, вынесли «подышать», и, увидев меня, он протянул руки и, когда я его принял, упал мне на плечо ли-

цом и горько-горько, по-взрослому, разрыдался. Мужик жаловался мужику, мужик у мужика искал защиту. И я велел дочери, высказавшей намерение выкрасть ребенка ночной порой из больницы: «Действуй!» — думая, что если ребенок и помрет, то хоть не в казенном месте, а дома.

И дочь ушла с ребенком из пощады не знающего в борьбе за жизнь медицинского заведения.

Было это уже в другом городе, не до конца утратившем отцовские заветы, чувства братства и сострадания.

Знакомый врач осмотрел, ощупал ребенка и громко, по-деревенски грубо выругался: «Дуболомы! Так их мать! Они ж заморили парня. Он же с голоду умирает!» — и тут же велел дать ребенку ложечку сладкой воды и ложечку же рисового отвара.

Вырос высокий, красивый, с виду совершенно здоровый парень, но... чуть чего — схватится за живот. Все свое детство любивший пожрать, он глотал таблетки без сопротивления, и с лекарств, не иначе, мучается аллергией, часто носом идет кровь, и порою вызывает все это психоз, да какой!..

Вот и перед ним у бабки с дедкой вина постоянная. Всевечная вина перед его рано угасшей матерью и давняя вина перед первенцем. Ныне ей, Лидочке, было бы уже за пятьдесят...

Я сам сделал из поперечинки и ножек выброшенного в сарай стола крестик. Жена сшила «красивый наряд» покойнице, из марли, собранной бориками, сшили капорочек. Домовинку грубо вытесал папаша, узлом завязали на мне полотенце, взял я под мышку почти невесомую домовинку и понес на гору. Сзади плелись жена и папаша, с крестиком и лопатой на плече. Когда зарыли девочку в землю, Семен Агафонович, опершись на лопату, сказал:

— Ну вот, Калерия, Вася и Лидочка при месте... и нам тут лежать. — В бороде его дрожала слеза. Он был скуп на слезу и щедр на тихую ласку. Ни разу в жизни он не ударил никого из детей, ни разу не обматерился, а меня звал ласково — варнаком...

Поминок по девочке не было. Ничего не было. Даже хлеба на ужин не осталось. Карточка-то хлебная одна на двоих. Как легла жена с дочкой в больницу — карточки у нее забрали...

Сварили картошек, круто посолили, молча съели. Легли спать. Жена в темноте мокро шмыгала носом, но не шевелилась, думала, что я сплю. Утром мне на работу, на тяжелую. Но нос-то у нее каков! Он уж шмыгнет так шмыгнет!

— Ты помнишь, я тебе рассказывал, как убил человека.

— То на войне. Фашиста. Не ты его, так он бы тебя...

— Какая хитрая! Какая ловкая мораль! Тыщи лет не стареет! «Не ты его, так он тебя...» А получается что?

— Лидочку мама твоя позвала... Ей там одиноко... много лет одиноко...

— Да-а, примета есть: нельзя называть ребенка именем погибшего. Они начнут искать друг друга.

— Вот и нашли...

Мимо нашей избушки загрохотал состав, протяжно и свирепо рывкнул электровоз. Избушка зашаталась, зашевелилась бревнами. С потолка в щели посыпалась земля, из старой печи, щелкая в плиту, выпадали крошки кирпичей и запекшейся глины.

Ох уж эта печка! Спасительница и погубительница наша.

— Господи, Господи! Мы и молиться-то не умеем. Прости Ты нас, родителей...

— Говенных!

— Зачем ты так? Мы-то разве виноваты?

— Виноваты не виноваты. Все виноваты! — не щадил я свою половину. — Татарин-сосед что говорит: «Сила нет, так не брался бы».

— Он это про похабное говорит.

— А мы вот все про святое. Зачем спасаться на войне? Рожать детей? Зачем жить все время на краю? Все время в обвале, нищете, голоде, страхе? Зачем?

— Не знаю. Живет и живет человек. А зачем? Спроси его — и ответить не всякий сможет. Вот наша семья... все боролась за выживание, надрывались в работе... и почти незаметно истребились...

— Истребили ее. Израсходовали, как сырье, как руду. Обогащение материала — так, кажется, тут у вас это называется!..

— Кабы обогащение. Кабы обогащение... Дети бы не умирали...

— Родители — слабаки. Вон у вас девятеро выросли, ни один не пал.

— Каких это усилий стоило папе и маме!.. Я только теперь понял. Они крепкие были, а ты изранен. Я тоже вроде бы как контуженая. Спи...

— И ты успокойся и спи. И мне дай покой.

— Не будет нам с тобой отныне покоя... не даст нам покоя эта святая малютка. — Голос жены снова дрогнул, и вот-вот заширкает паровая лесопилка, зашмыгает этот знатный нос, втягивая слезы.

— Кончай давай! Ты видела, что делается на кладбище? Оно ведь при нас начато, и ему уже нет конца и края. Это в таком-то городишке... а взять по стране...

— Да-а, падает народ. Война ли подчистку делает, как папа говорит, последние травинки в вороха сгребает. Так он крестьянином и остался — все сравнения у него земные.

— Не народ падает. Падают остатки народа. Съели народ, истребили, извели. Остались такие вот соплееды, как мы с тобой.

— Кабы... соплееды... — Опустошенная горем, ослабевшая от слез, жена засыпала, все ближе подвигаясь ко мне. Я ее обнял, придавил к себе. — Ты хоть... — Она не договорила, но я понял не первое ее предупреждение: мол, хоть на людях лишку не болтай, а то заметут такого дурака, сгребут с остатками народа в яму...

О том, что я очерствел, жена уже не говорила мне больше никогда.

\* \* \*

После похорон девочки напало на меня какое-то тихое беспогодье: мне ничего не хотелось, разве что спать, все время спать.

Встрянула было поездка ко крестным, где главный распорядитель дома, крестная, накрыла стол. Мы за ним попели и поплакали. Крестный проникся ко мне дружеством и подарил ружье, много лет уже бездействующее. Крестная подарила два ведра, одно из которых наполнила мукой, вилки, ложки, кружки, чашки эмалированные — в другое ведро.

Жена соорудила на кухне над столом посудник. У нас и на кухне сделалось приветливо. Я начал помогать Семену Агафоновичу на покосе, и когда наступила осень, со страхом и сомнением папаша дозволил мне сплавить сено. Я уговорил его не вмешиваться в мои действия, исполнять мои команды, не перечить ни в чем, убеждал, что река умнее нас, сама несет куда надо. И когда сплавил сено, сам ни разу не забредши в воду и его не намочив, он настолько был ошеломлен, что не поверил в происшедшее. Иван Абрамович и все вокруг, считавшие меня шалопутным, заявили, что нынче вода большая. Но следующей осенью я помог сплавить сено и ему по реке Чусовой, где воды было еще столько, что сама она несла и принесла плоты с сеном домой.

Папаша, Семен Агафонович, начал хвалить меня на всю округу, звал спецом по сплаву и, выпивши, все повторял: «Не-э, я ноне с зятем, с варнаком-то этим, токо с ним сплаваться буду...»

На сенокос и на сплав я отправлялся с большой охотой, а вот от рытья могил устранился, перестал вообще ходить на кладбище.

А между тем на нас надвигались новые события — родился ребенок, снова дочь.

\* \* \*

Вскоре после смерти первой и рождения второй дочери произошло мимоходное происшествие. Так уж в нем, в этом шатком доме, повелось: кто раньше приходил с работы, тот и печку затоплял, намывал картошек, ставил их варить, чайник старый, железнодорожный, машинисты коим пользовались, тоже водружался на печку. Паровозы сменились электровазонами, машинисты, лишившись топки, не кипятили больше чай в дороге, вот кто-то из старых дружков и подарил историческую посудину папаше, он передал ее нам. В чайнике том медном не вдруг закипала вода — предназначен-то он для бушующей угольной топки паровоза, но уж накалившись, чайник в недрах своих долго сохранял подходящую температуру.

В тот день бригада завальщиков в литейном цехе досрочно управилась с вагранкой. Плавка ж назначена была на следующую ночь. Я примчался домой и с ходу включился в домашние дела. На стенке пел-надрывался репродуктор — жиденький тенорок любимого в то время певца Александровича душевно изливался: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю». Я подпевал Александровичу и планировал дальнейшие действия: как теплее станет в хоромяне, согреется чайник и закипит картошка, за дочкой сбегая к нашим, умоюсь сам и ее отмою. Вот она обрадуется, заковыляет по избе. От седухи, в которой она томилась на дощатой поперечине, у девчушки начали криветь ноги, но ничего, подрастет, бегать начнет, еще такой ли вострухой сделается, так ли стриганет за кавалерами! Может, и они за ней. «Что не-ежной страстью я к ней давно пылаю!» — орал я.

Избушка наша была уж тем хороша, что жилье отдельное, здесь можно допоздна не ложиться, читать, петь, починяться, ковры рисовать, стучать, выражаться некультурно, браня самого себя за разные прорухи, что я и делал частенько. Вот только плясать нельзя — развалится халупа, да и не тянуло плясать-то с картошки.

Избушка содрогнулась, крикнула, со стенок посыпалась известка, с потолка в щели заструилась земля, в печке затревожились дрова, метнули искры в трубу, в дырку дверец, на пришитую к полу пластушину жести выпал уголек.

Понятно: под окном тормознул состав. Они, следуя по горнозаводской линии из Соликамска — с минералами, из Кизела — с углем, из Березников — с удобрениями и содой, часто тут тормозили, тяжело скрежетали железом, дико взвизгивали, высекали из металла рельсов синее пламя с белым дымом, выплескивали из-под колес веера крупных искр. Тормозили для того, чтобы по обводной линии миновать тесную, всегда перегруженную станцию Чусовскую, вдернуться изогнутой ниткой состава в ушко железного моста и направиться в Пермь.

Я хлопотал по дому и ухом, привычным к железнодорожным звукам, отмечал, что состав идет нетяжелый, что он не просто затормозил, но вроде бы и остановился. Не переставая мыть картоху, выглянул в окно, которое от тепла, наполняющего избушку, начало оттаивать меж перекрестьев покосившихся рам, подсунул ногою поближе таз и услышал, как в него закапало из переполненных оконных желобков, изопрелых и треснутых.

Состав наполовину состоял из двухосных теплушек, вторая же его половина сцеплена из платформочек, груженых удобрениями. Хвост поезда загораживали соседская изба и ограда того самого соседа Комелина, на которого мы когда-то с женой вертели дверной ключ. Из двухосных вагонов начали спускаться люди, к ним подошли два солдата с винтовками и сержант с

наганом. Сбившись в кучу, вагонные люди о чем-то поговорили с охранниками и, прицепив котелки к поясам, рассыпались в разные стороны.

Что за народ? Заключенные, что ли? Дни и ночи везли их на шахты, рудники и в лесные дали. На полпути не открыли бы, но если б и открыли, никуда б отходить не разрешили. И конвоя с собаками было б дополна, и чин в офицерской шапке, да и не один, повелительно указывал бы рукой туда-сюда.

Пленные! — догадался я, домой возвращаются. Ну что ж — ауфидерзейн, фрицы! Вот вы и побывали в России, посмотрели на нее, насладились русским пейзажем, изучили загадочную русскую землю изнутри, в рудниках или шахтах. Не скоро вам небось снова захочется сюда, на экскурсию.

В дверь раздался стук, заглушенный обивкой. Заметив в окно человека, свернувшего к задней калитке, думая, что он понимает, что поживиться в таком убогом жилище нечем, минует его, направится в дом к нашим, я все же отчего-то желал, чтоб зашел какой-нито немец сюда, к нам, в эту избушку, насладился б зрелищем, окружающим вояк, его уделавших и спесивый фатерлянд на колени поставивших. «Битте!» — весело крикнул я. Дверь дернулась раз, другой, нехотя отворилась. Внутрь метнулся клуб морозного пара. На пороге, сутулясь, остановился крупный мужик, одетый в многослойное тряпье, заношенное, грязное, украшенное заплатами. В одежде едва уже угадывалось военное обмундирование. Спецовка с короткими рукавами лепилась по туловищу, вся одежда какая-то легкая, вроде бы случайная, на свалке подобранная. Но на голове гостя глубоко сидела пилотка, еще та, фронтовая, с саморучно подшитыми наушниками из меха, скорее всего кошачьего. В таких пилотках Кукрыниксы и прочие резвые карикатуристы смешно изображали врагов.

Немец, увидев меня в гимнастерке, замер на пороге. Сзади на него надвигалась дверь, наша тяжелая и каверзная дверь. Внутренне ликуя, я ждал, как она сейчас шибанет фрица по жопе, он окажется прямо передо мной и увидит, что на мне не просто гимнастерка, заношенная и грязная, но на гимнастерке еще и дырки от наград. Во будет потеха! Во обхезается гость нежданный!

Ему и поддало. И он оказался передо мной и все, что надо и не надо, увидел. Глаза его, в багровых отеках с красными прожилками, выпучились еще больше, рот, обметанный толстой медной щетиной, открылся. И так вот мы постояли друг против друга какое-то время, и, однако ж, я попробовал по-настоящему насладиться торжеством победителя. Но чего уж тут и чем наслаждаться-то — передо мной был в полном смысле поверженный враг.

— Битте! — повторил я и еще добавил: — Зер гут.

— Гут, гут, — торопливо и согласно закивал головой военнопленный.

— Что ты хочешь? Чего тебе надо? — по-русски спросил я гостя.

И он, быстро отцепив от пояса котелок, протянул его мне:

— Вассер! Вассер! Вбда! Вбда! — а сам косился на разбушевавшуюся плиту, на которой, полная картошки, кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась наша знатная, из праха восставшая кастрюля.

Чайник начинал пока еще тонко, но уже нежно запевать медным начищенным носком. Скоро он даст так даст, запоет так уж запоет — куда тому Александровичу Михаилу!

Тепло и уютно делалось в нашей избушке. Она приветливо мерцала огоньками в дырки плиты, будто светофорами на станции перемигивалась, разрешая движение во все стороны света. И в лад разбушевавшейся печке, веселящейся кастрюле, подпрыгивающему чайнику во мне воскресло с детства дорогое: «На рыбалке, у реки, кто-то тырнул сапоги. Я не тырил, я не брал, а на ва-са-ре стоял».

— Ладно. Вассер. Знаю я, знаю солдатскую тонкость: «Дай водички, хозяйюшка, а то так зрать хочется, аж ночевать негде».

Немец не понял моего юмора. Я подцепил ногой табуретку, пододвинул ее к дверце плиты и жестом пригласил гостя садиться. Он без церемоний подсел к печке, на корточки — так ему было привычнее, и протянул руки к дверце.

— У тебя есть время? — спросил я, и гость закивал головой:

— Я, я! Мост. Ремонт. Профилактик, герр саржант говорил, айн час. Сцелый час.

Русская речь давалась гостю трудно, но чтобы приспособиться и выжить, он все же многого достиг, рассудил я, и еще рассудил, что диспетчеру станции Чусовская товарищу Кудинову, а то и самому начальнику станции товарищу Чудинову за несогласованность в действиях с путейцами, за задержку поездов по важному направлению с интенсивным движением, как говорится в сводках, докладах и рапортах, крепко нагорит, могут премии лишиться иль того крепче — с должности слетят, в слесаря депо. Там вечно не хватает черных работяг.

Размышляя на производственные темы, я шнырял мимо гостя, налаживал на стол. Отлил в таз под умывальником горячую воду из картошки, размельчил бутылкой соль на столе, разрезал луковицу, поделил пополам остаток хлеба и половину его, для жены и дочки, засунул под старый чугунок, опрокинутый на столе, да еще и кирпичом сверху придавил.

— Крыса, — пояснил я гостю, — крыса, зверина, не дает нам жизни.

— О-о, крыс, — закивал головой гость, — много-много лагерем крыс, много-много рудник. Хищник... — сказал он и почувствовал себя если не ближе, то уверенней в этом доме.

— Ну, как тебя там? — оглядев накрытый стол, спросил я. — Фриц? Курт? Ганс? — Больше я никаких немецких имен не помнил.

— Я есть Иоганн, — попробовал улыбнуться гость. — Иоганн Штраус, знает вы?

— Знаю, знаю. Большой вальс, гросс вальс — «нарай-нарай, там-там, там-там», — запел я, и Иоганн снова через силу попробовал улыбнуться и, подвигаясь к столу, по моему знаку заключил:

— Вы есть весь-олий зольдатен.

— Веселый, веселый, — подтвердил я и вспомнил, что девчужка-то моя ждет там, у наших, когда ее заберут, и какого хера, зачем я ломаю эту комедь? Чтоб упиться собственным благородством, доказать Европе, что наш, советский, гуманизм — передовой, а мы — самые душевные люди на свете. Так мы уж это доказали немцам — ростовский капитан наглядно тот гуманизм в Германии продемонстрировал. Был я и остался придурком, лучшим в мире придурком — советским, это уж точно, и этого у меня не отнять.

Мы ели картошку молча. Иоганн брал со стола не складывающимися в щепотку, вздутыми в суставах пальцами соль и посыпал картошку и дул на ту картоху, дул, обхватывая рассыпчатую плоть ее потрескавшимися, обветренными губами. Я тоже дул, но губы мне меньше жгло, и, по деревенской еще привычке сыпанув перед собой на стол щепотку соли, я макал в нее облупленную картофелину. Дела у меня шли проворней и ловчее.

Я набрал в щепотку соли и почти сердито сыпанул ее перед гостем.

— Ешь. Так ешь. Стол чистый.

— По-русску ешь! — сказал гость, макнул картошку в соль, возвел лицо к потолку, затрясся головой и весь затрясся, всем туловищем, всем тряпьем, даже полуоблезлой крупной головой затряс. Большой, неуклюжий в тряпье, неуклюже, по-мужицки и плакал он, роняя в серую соль прозрачные слезы, протруженно выкашливая в горсть разжеванную картошку и соль, пытался выговорить: — Что... что мы наделал? Я, я ест фашист, слюга Гитлёр, слюга фатерлянд... Пес... пес... — поправился он.

— Да ладно, хули теперь каяться, скулить, рубай знай картошку. Дай тебе Бог до дому добраться и в живых свою семью застать. Англичане, чи-



тал я и слышал по радио, всю Германию с говном смешали. Народу тьму с воздуха истребили. Тоже вот в Бога веруют, кресту поклоняются.

— Бог отвернулся от людей, отвернулся, — утираясь тряпкой, вынутой из недр лоскутья, потупился Иоганн и, поднявшись с табуретки, начал мне кланяться и, как дочь моя, без первой буквы говорить: — Пасибо! Большо, гросс пасибо.

Я взял у него котелок и высыпал в него из кастрюли остатки вареных картошек, подумал-подумал, махнул рукой и, изматерившись от злости на себя, вынул из-под чугунка кусок хлеба и ополовинил его.

— Не надо, не надо! — слабо протестовал Иоганн. — Фрау, киндер... я понимаю. Последний кусок. Брот, брот... — И снова начал клохтать, что курица, заглатывая рыдания, и пятился, пятился спиной к двери, толкал, толкал ее задом, пока наконец не отворил.

Еще бы немножко, и я вытолкал бы его, но дверь наша, «самозакрывающаяся», вошла в притвор и тихо прошептала: мудило ты! И я вслух добавил: «С мыльного склада!» — и принялся намыывать картошек для нового варева. Вспомнил вдруг, что еще не переоделся, не умылся и за девкой не сходил. Придет с работы жена, я ей расскажу о своем благородном поступке, и она вздохнет тихо и кротко, обнаружив, что я и ее половину пайки отдал, вздохнет еще протяжней, громче и, может, скажет: «До чего же ты у меня жалостливый!..»

А радио на стене все пело, все заливалось голосом Александровича: «Тиритомба! Тиритомба! Тиритомба, песню пой, ое-е-ей».

Кастрюля вновь закипела, запузырилась, заплывалась через край. Я накинул шинель и пошел за дочкой.

Состав еще стоял против окон. В раскрытых дверях, свесив ноги, тесно сидели пленные и что-то ели из котелков. Не один я такой жалостливый жил в здешней местности. В России любили и любят обездоленных, сирых, арестантиков, пленных, бродяжих людей, не дает голодная, измученная родина моя пропасть и военнопленным, последний кусок им отдаст. Вот еще бы научиться ей, Родине-то моей, и народу, ее населяющему, себя жалеть и любить.

Мне показалось, что из вагона, стоящего против нашей избушки, кто-то мне помахал, и я, разом на что-то озлясь, сквозь стиснутые зубы выдал:

— Да поезжайте вы, поезжайте вы все отсюда поскорее.

Когда я тащил завернутую в старую шаль дочку, она, в папу нервная и чувливая, уже каким-то наитием научившаяся угадывать мое настроение, не тараторила, не рассыпалась стеклянными бусами смеха. Она крепко держалась за мою шею, горячо дышала мне в ухо.

Состава на путях уже не было. Уехали немцы. Домой уехали. Горя на земле убыло...

\* \* \*

Спустя год после рождения дочери появился у нас сын. Если дочь была, что обезьянка, резва и хулиганиста не по возрасту, то сын рос худеньким, плаксивым, тихим.

Когда он рождался, на этот раз в родильном доме железнодорожной больницы, я сохранял это дело в тайне, прежде всего в школе: молодой еще, за партой сижу, а уже отец-героиня!

Ребята и девчонки в нашем классе были в большинстве вчерашние школьники, поступившие на работу или не желающие учиться в нормальной, дневной, школе оттого, что там «строже». Ко мне они относились как к дядьке — почтительно и в то же время насмешливо. Помогали мне с физикой, математикой, геометрией и прочими тонкими науками, я же их выручал по гуманитарным предметам, давал списывать диктанты. Хотя я и кончил шесть классов черт-те когда и многое забыл, но вчерашние

школьники, беспечные и беззаботные, знали литературу, историю, географию хуже меня, продолжавшего запойно читать книги. Самый веселый урок у нас был анатомия: добрые молодцы, в основном семнадцатилетнего возраста, приносили в класс «шкелет», как они называли наглядное пособие, устанавливали его возле доски то в хулиганской, то в сексуальной позе, и хотя слово это в те годы было неизвестно, девчонки все равно догадывались, «об чем это», и которые хихикали, которые плевались, но все ждали учительку, как она-то отреагирует. Попалась нам учителька строгая, обстоятельная. Она молча ставила «шкелет» в нормальную позу и только после этого произносила: «Здравствуйте, товарищи. Начнем урок». Иногда, работавшая еще и в дневной школе, учительница по привычке говорила: «Здравствуйте, дети!» — и в классе тоже становилось весело.

«Дети» и я на второй год уже сделались не разлей вода. И хотя учиться и работать в горячем цехе мне было все тяжелей, я школу не бросал — она мне была доброй отдушиной в этой все более и более мрачнейшей жизни.

Урожай наш — картошку из Архиповки, а это шесть километров от города — мы весь переносили на себе по горным козьим тропам: три ведра в рюкзаке мне, два ведра — бабе. Шли мимо моей школы по шатким деревянным тротуарам. Жена доживала последние недели, но декретный отпуск не брала, боясь лишиться зарплаты, говорила, что заменить ее некому. Едва уж она плелась с грузом. Пытаясь взбодрить бойца, я нес что-то высокое про «мою» школу. Спутница заслушалась, споткнулась и сорвалась с высоко поднятого, досками, будто клавишами, играющего тротуара. Я заторопился снимать с себя мешок, но в это время вниз прыгнул лейтенант с серебряными погонами юстиции и поднял вверх мою жену с мешком.

Тонко, по-щенячьи скуля, жена навалилась грудью на штакетник. Лейтенант придавил меня, вконец растерянного, мигом потом покрывшегося, к ограде:

— Как же вы можете заставлять?..

Понял я его, понял: как это я, сознательный советский человек и муж, могу заставлять таскать грузы такую маленькую женщину, с таким большим брюхом, готовую не сегодня-завтра родить.

Прежде я что сделал бы? Послал бы его на три буквы, как говорят интеллигентно себя понимающие дамочки. Но был я уже такой усталый от жизни и от груза, навешанного на тощую спину, взмыленную под мешком, что не было сил у меня на гнев и ругань. Я начал сердито снимать мешок со спины жены. Она, слабо сопротивляясь, бормотала: «Ничего, ничего, я донесу. Как-нибудь донесу». Лейтенант помог мне снять с жены мешок и вдруг сраженно воскликнул: «Вы-ы! Так это вы!...»

Это был тот самый Радыгин, который ехал с нами в тамбуре соликамского поезда, когда мы возвращались с войны. Забросив мешок жены с картошкой за плечо, поддерживая ее под руку, он помог нам добраться до дому, до нашего знатного флигеля, по дороге рассказав, что очень трудно складывается мирная жизнь. Женат тоже, уже двое детей. Живут они в этой самой школе, в кладовке с одним окном. И жена у него не кто иная, а та самая учительница, что преподает нам анатомию. Пристально оглядев снаружи наши хоромы, затем и изнутри, лейтенант коротко вздохнул:

— У нас и такого жилья нет... Надо бы вызвать врача.

— Не надо врача. Ничего не надо, — как всегда в минуты беды или болезни сердитая, мрачно обронила супруга моя, легла на койку в чем была и прикрыла локтем лицо.

Ссыпав картошку в отремонтированное подполье, я поставил на давно отремонтированную печку — вот что значит угореть и чуть не умереть! — восстановленную из праха кастрюлю с овощами, сходил за дочкой к нашим. Она так и гнила в седухе, сделанной из дупла, играла кружкой и

ложкой. Иногда в седухе и засыпала. Теща зятяжно болела. Тесть летом на покосе, зимой во дворе колотится, им не до нашей девчонки. Да и устали они от своих детей, от внуков, от своей жизни, очень сердились на меня и на дочь за то, что затеялся у нас второй ребенок, потому как и с одним не управляемся.

Увидев меня, дочка запрыгала в седухе, протянула ко мне руки, залепетала: «Папа! Папа!» — и смолкла, не увидев встречной улыбки. Она была мокрая и грязная, преданно обняла руками в ниточках мою шею, дышала в ухо и не иначе как утешая меня вдруг сказала шепотом: «Слушай, папа».

Вода не успела нагреться. Я подмывал девочку почти под холодным умывальником. Изнеженная нами, как говорила теща, девчонка захныкала, начала вывертываться из моих рук, и в беспамятстве, не иначе — контуженый же! — я звонко ударил ее по мокрой заднице.

— Лучше меня бей. Ребенок-то при чем? — раздалось из-за перегородки.

У дочки было прелестное платьишко из разноцветной ткани, принесенной женой с работы. Когда эта пигалица была совсем маленькая, все тянула подол платьишка в рот, принимая нарисованные цветочки за живые. В платьишке чистом, сухом, не помнящая обид, не знающая горя, она уже сидела у меня на коленях и, сглатывая слюнки, ждала, когда я облуплю для нее картошку; сложив губы трубочкой, дула и дула на нее. Любящая посмеяться, пошалить, порезвиться, поиграть со мною — маме все некогда, — лишь под мои песни засыпающая, а пел я ей все, что помнил, начиная с «Гоп со смыком» и кончая «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», девчонка в этот раз угомонилась послушно, разметалась крепким телишком и чему-то во сне улыбалась, катая по румяным щекам — в маму удалась! — радостные ямочки.

«Во какая у нас картошка питательная! — мрачно отметил я, любуясь здоровым, жизнерадостным дитем. — У иных родителей с пряников дети хилобрюхи». Я так долго сидел и смотрел на дочку, что голова моя сама собой легла на брусок детской зыбки.

— Ступай ложись, — тронула меня за плечо жена в глухой уже час.

Утром она, хоть и медленно, бродила по кухне, делала домашние дела и, провожая меня на работу, мрачно молвила, что все в порядке. А мы еще хотели, чтоб после этого всего и второй ребенок родился жизнерадостный и здоровый. Но так бывает лишь в советских песнях и на плакатах.

Родился сын в марте, в хороший солнечный день. Привезли его с матерью в кошевке председателя артели «Трудовик» и на развороте к дому чуть было не выронили в снег.

Дочка топала ногой, кричала «анадо!», оттаскивала с колен матери новорожденного, как обезьянка, залезала с кровати в качалку и пыталась освободить ее от непрошеного постояльца. И смех и грех.

Я начал овладевать живописным искусством. Принес три краски из депо и ловчился на мешковинах и клеенках ладить «ковры». Удавался мне лишь один, волнующий мое сердце, сюжет — на мотив с детства любимой песни «Сидел рыбак веселый на берегу реки». Лебеди, олени, пасущиеся на зеленом лугу, и прочая тварь моей кисти не давались, и вообще ковров на базаре красовалось много.

В воскресенье уволокло мою жену вместе с ребятишками к нашим иль в детскую консультацию. Я сидел возле кухонного стола и в квадратных баночках из-под американских консервов размешивал в олифе краски, корочку с которых ночами съедала зловредная крыса, — и внезапно увидел, как вдоль железнодорожной линии, перед самым окном, веселой гурьбой куда-то следуют мои одноклассники, неся за синюю ленточку нарядную картонную коробку.

«Куда это братва наша подалась?» — и вдруг заметил, что парни и девки сворачивают к задним воротцам, возле которых и возлежал рылами окон на снегу наш живучий флигель. Не успел я пережить панику, как в дверь настойчиво забухали кулаками, дружно заорали, врываясь внутрь помещения, соученики мои:

— Можно к вам?

И я по глупости растерянно молвил:

— Можно. Только осторожно.

В это время дверь с пыхтеньем вернулась на место и вышибла вперед Люсю Вербицкую, выбранную старостой класса за ум и красоту.

— Ой! — схватилась староста за задницу и громко рассмеялась. Предостережение было своевременным. — Ну, молодой папаша, от имени восьмого «бэ»...

И все вдруг подхватили весело, будто козлята на лужке: «Бе-бе, бе-э!» — и закружили меня в хороводе, целуя в щеки, в нос, в лоб, и вразной кричали: «Скрыть хотел! Скрыть!.. Но мы в школе не зря сидели, того дожидались!..», «Обмывать! Обмывать!», «Где мама? Где новорожденный?..».

Они выставили на кухонный стол две бутылки портвейна и, презрительно сдвинув мои художественные краски, водрузили на середину стола торт, вязку сушек, пакет с конфетами! Я пригласил гостей в переднюю. Вваливаясь за перегородку, Вербицкая теребнула занавески:

— Какие милые! — а войдя в комнату, добавила: — И тут очень мило.

— Пировать-то у нас, ребята, не на чем — ни сидений, ни стола.

— А газеты есть? Какие-нибудь старые доски есть?

— Есть, есть! — оживился я.

И через десять минут или через пятнадцать ребята, на двух наших табуретках поместив железнодорожную, дырявую от болтов доску, вытерли ее тряпкой, на пол постелили газеты, расставили чашки-кружки, два стакана, углядели на умывальнике стеклянную банку из-под консервов, вытряхнули из нее зубные щетки и наполнили посуду портвейном.

Парни сидели на полу, и я, молодой папа-героиня, — среди них, девчонки на кровати, староста — посередине. Польского происхождения, уже в юности выглядевшая настоящей пани, в бордовом вышитом платье, она величаво и вельможно гляделась в нашей убогой обители.

— Люська! Речь говори! — потребовал народ.

Вербицкая не жеманясь встала, задорно и высоко подняла стакан:

— Ой, как я рада! Ой, все мы как рады! — И, видно вспомнив, что она все же не хурры-мухры, все же староста класса, уже строго, со взрослым достоинством продолжила: — За мирную жизнь на земле! За ее воплощение в живом виде! За счастье ребенка, мужика! За всех за нас! Вот им! Вот им, фашистам этим! — показала она фигушку в перекошенное сикось-на-кось окошко.

И все вдруг заорали «ур-ра-а-а!», выпили до дна и, пользуясь случаем, начали целовать девчонок. «Только не кусаться!» — предупредила староста.

Меня тоже целовали — и девчонки, и парни. Я что-то пытался сказать, но не сказывалось ничего, першило в горле, должно быть, от вина. Я отвернулся к окну, чтобы смахнуть рукавом слезы. Гости было примолкли, но потом зашущукались. Парни в кухню утянулись — «покурить». Вербицкая за занавеской скрылась. В кухне шуршали деньги и талоны. Парням понравилась наша игровитая дверь, и скоро под задницу шибануло и забросило в переднюю двух парней с бутылками портвейна, прижатыми к груди.

«Ур-ра-а-а!» — опять закричали гости. И пошли речи внеплановые, уже и я осилился, траванул какую-то складную хреновину. Все хохотали, в ладоши хлопали.

Когда жена моя с детишками приблизилась к нашему жилищу, в нем уже так ревели буря и дождь такой шумел, что труба над избушкой шаталась, потолок вверх вздымался.

«Ур-ра-а!» — снова заорали гости, отнимая детей у женщины и передавая новорожденного. А девица моя бойкая оробела от многолюдства, но скоро от папы передавшееся чувство коллективизма и в ней взяло верх, и она уже ерзала у меня на ноге, смеялась вместе со взрослыми. Когда я дал ей конфетку с цветочной оберткой, она потащила ее в рот вместе с бумажкой. Я развернул конфетку, она спросила: «Сё?» Я дал ей лизнуть конфету, и она сожмурилась: «Сла-адко!»

Жена моя выпила со всеми только глоток вина, сказала, что кормит ребенка, подержалась за голову и улыбнулась гостям:

— Какие же вы молодцы! Спасибо вам за доброту и ласку... А я думаю, с кем мой благоверный грамоте учиться? А он вон каких хороших людей выбрал, вон в какую добрую школу попал... Дай вам Бог всем здоровья, дай вам Бог всем счастья...

Долго, очень долго мы провожали гостей, целовались у порога, хлопали друг дружку, плясать пытались, и я опасался насчет западни, не свалились бы гости в подполье, но староста хмельно прикрикнула: «Ребенок спит», — плясать пришлось во дворе, меж подтаявших сугробов снега.

Они ушли обнявшись, и вдоль линии по железнодорожной улице в ночи разносилось: «По муромской дорожке стояли три сосны-ы...»

Жена моя, когда мы улеглись спать, гладила меня по голове:

— У нас все будет хорошо, все будет хорошо.

Но не может быть хорошо, тем паче все, когда кругом все так плохо.

\* \* \*

Начали продавать коммерческий хлеб и выдавать по карточкам сахар и масло без замены какими-то диковинными конфетами иль желтым жиром, не иначе как собачьим, масла — селедкой.

И в это время во всю мощь заявила о себе тварь, сопутствующая людским бедам, — крыса. Она прежде грызла картошку в подполье, шуршала под половицами, являлась лишь ночами, забиралась на стол и царапала, грызла столешницу, норовя влезть под чугунок и овладеть хлебной пайкой, брэнчала баночками с краской, по занавеске иль по выступам бревен взнималась в посудник, застигнутая врасплох, рушилась оттуда комом, гулко ударялась об пол и мгновенно исчезала в ближней дыре под полом. Дыр в нашем жилище дополна, жилые углы промерзали, мы их затыкали, чем могли, крыса прогрызла затычки; и груди простудила, мастит получила, оставив детей без материнского молока, моя супруга не без помощи этой твари.

Но вот пришла пора, и шмара, как я называл крысу, живущую в нашей избушке, обзавелась хахалем, не может шмара без хахаля, и пошла разгульная жизнь под полом, выплескиваясь и наружу. Возня под половицами, визг, драки, дележ имущества иль выяснение отношений, завоевание жизненного пространства!

Хахаль нам угодил пролетарского посева, из бараков пришел, не иначе, с детства, видать, привык он к содому, дракам и разгульной жизни. Ходил на сторону, иногда сутками пропадал и от блудного переутомления потерял бдительность. Я шел из дровяника с беременем дров, а хахаль не спеша брел с побрядок и уж достиг было сенок, хотел поднырнуть под дверцу, как я обрушил на него дрова и оконтуженного втоптал в снег.

Шмара, лишившись мужа, совсем осатанела и в мое отсутствие — мужиков она все же побаивалась — что хотела, то и делала. Разгуливала по избушке, взбиралась к тазу под умывальником, на стол махом взлетала, все

чугунок ей не давал покоя, и жена говорила — однажды застала ее в детской качалке, откуда она выметнулась темной молнией и злобно взвизгнула.

Возвращаясь ночью из школы, я услышал человеческий визг в избушке, и когда влетел в нее, увидел жену, сидящую с поднятыми ногами на кровати, к груди она прижимала ребенка. Обе мои женщины ревели и визжали — жена от страха, дочка оттого, что мама ревет. Никакие ловушки, мною употребляемые, шмару взять не могли, она каким-то образом спускала капкан — плаху, излаженную вроде слопца, съедала наживку и надменно жила дальше, отраву, взятую с колбасного завода, умная тварь игнорировала. Но как бы ни была тварь умна и коварна, все же человек — тварь еще более умная и коварная.

Я отослал жену с ребенком ночевать в родительский дом, поставил консервную банку к стене, в нее опустил хлебную корку, чуть раздвинул занавеску на переборке и сел на кровать, упрятав заряженное ружье под одеяло. Свет на кухне мы уже давно не выключали из-за крысы. И вот явилась она, обозначилась привычными звуками, взбираясь на стол, царапала ножки острыми когтями, оттуда — на подоконник, зазвякали баночки, — и к чугунку. Ах уж этот чугунок! Но о чем думала крыса, как проклинала она чугунолитейную промышленность, знать нам не дано, и со стола заметила на полу консервную банку. Всякий изредка возникающий в жилище предмет шмара немедленно обследовала, пробовала на нюх, на зуб, испытывала когтями.

Я разбил ее дробью так, что выплеснулось на стену. Я отскоблил пол и подтесал топориком бревно, но в полусгнившем дереве все зияла отметина со впившейся в нее дробью.

— Живите теперь спокойно, — сказал я жене утром.

— О-ох, не к добру все это, не к добру. И покой нам только снится, вычитала я в одной книжке.

\* \* \*

Н-нда, вещий язык у моей половины, вещий! Беда надвигалась на нас совсем не с той стороны, откуда мы ее могли ждать. На очередном медосмотре зацепили меня врачи и отправили на рентген. У меня открылся туберкулез, предпосылки к которому были всегда, предупреждали еще в госпитале врачи, да давно забыл я и про госпиталь, и про врачей всяких. Меня немедленно уволили из горячего цеха и сделали вид в вагонном депо, что работы, кроме как учеником плотника с окладом двести пятьдесят рублей, двадцать пять по новому курсу, для меня никакой нету. Похоронкой детдомовец, отпетая пролетарья, я с месяц поучился на плотника, бил чаще не по гвоздю, а по плотнику и стал назначаться на вспомогательные работы: убирать мусор, выскребать краски, мыть шваброй полы в душевой. Однажды, работая в колесном парке с таким же умельцем, как я, заправил подъемник под колесную пару, напарник мой без команды нажал на кран воздуходувки и раздавил мне до кости палец.

Меня какое-то время продержали на больничном. Я поднажал в школе, меня пообещали перевести в девятый класс, там уж и до десятого рукой подать, а с десятилеткой я — ого-го-го, хоть куда. Днями я сидел дома с ребяташками, и однажды постучали в дверь и вошли люди конторского вида. Двое. Они внимательно осмотрели избушку, меня с завязанной рукой, ребяташек и, потупившись, сказали, что нам необходимо выселиться. — Куда? — спросил я.

Конторские люди объявили, что не знают куда, но от железнодорожной трубы будет прокладываться канава для укладки городских сточных канализационных труб и канава та, по плановому чертежу, проходит аккуратно по нашему флигелю, который давно уже ни в каких реестрах и прочих деловых документах не числится. В центре города начинается возведение

новых домов, поэтому и стоки всякие упорядочиваются, начинается снос окрестных домов, люди, живущие в них, по закону получают квартиры, но коль мы вне закона, нам ничего не светит в смысле жилья.

— Но солнце и нам светит, солнце на всех одно, — мрачно пошутил я, и строгие люди подтвердили насчет солнца, что, мол, да, солнце на всех одно, и с этим удалились.

Экскаваторами тогда еще мало баловались, пришла бригада рабочих и начала копать лопатами землю от железнодорожной трубы. Правда, трубы под полотном уже давно не было. Вместо нее налажен короткий тоннельчик из тесаного камня, и у того тоннельчика даже и кокетливый ободок из серенького мрамора иль полированного камня сооружен.

Рассыпавшийся по косограм окраинами городишко все ширился. За линией возникли два жилых трехэтажных дома, неуклюже-кряжистых, без балконов и всяких там разных излишеств, — много народу они вобрали в себя, — внизу одного дома-баржи разместился колбасный завод, и вывел он трубу к железнодорожному стоку. Бушевала тут веснами стихия так, что горловина под полотном переполнялась, тогда несся поток через рельсы.

Огород тестя не раз размывало, когда и уносило дурновешней стихией веснами; летом, случалось, ливнями и гряды с овощью опрокидывало, разбрасывало. Как-то в предвоенные годы всю землю с огорода унесло — хорошо, был у Семена Агафоновича бесплатный железнодорожный билет, и он с девчонками, Клавдией и Марией, съездил на родину, закупил продуктов. В Зуевке, на Вятке, они были дешевле, чем в индустриальном крае. Не пропало с голоду в тот год большое семейство, но крепко поумнело. Ребята насадили вдоль задней ограды тополей, в угол огорода, в тот, что выходил к канаве, натаскали из лесу черемух, рябин, березу, даже осина одна попалась, смородинник, бузина, таволожник объявились здесь сами собой — и получилось в отдаленном углу что-то вроде сада. И тот сад да тополя немножко защищали огород от размыва, но вот пришли из Горзеленстроя люди с ножницами и так обкорнали тополя, что те лишь жидкие прутики из пней вымучивали, два или три дерева вовсе засохли.

И вот явились работяги, нанятые горкомхозом. Копают. Податливо. До ограды дошли, свалили. Папаша бунтарски себя ведет, не идет ограду поднимать и не замечает, что по саду бродят козы, даже корова чья-то пестрая затесалась, жрет прошлогодний бурьян, козы кусты жуют и кору на деревьях гложут.

Вот и до флигеля землекопы добрались, подкопали его с уличной стороны, две половицы на волю потекли. Я на койке сижу, с детьми играю. Жена рыщет, квартиру ищет, тесть с тещей всех знакомых обошли, нигде нас с детьми не пускают или требуют такие деньги, за которые можно свой дом купить.

— Поговорить надо, — сказал мне бригадир землекопов.

— Об чем?

— Об чем, об чем? Мы ж хоромы твои подкопаем, завалится халупа, тебя с ребятишками задавит на хер.

— Ну и пушай задавливает.

Бригадир привел милиционера. И тот с порога пошел на повышенных тонах:

— Ты почему не выселяешься? Почему волынку разводишь? И-эшь какой! Видали мы таких. Я наряд приведу, вышвырнем тебя без церемоний.

Я узнал его. Это был тот самый сержант Глушков, что спал беспросыпно под военкоматской скамейкой. На нем шинель сохранилась, только петлички были спороты, заношенное обмундирование, ишорканные на щиколотках до белесых дыр, рваньем означенные сапоги. Лишь картуз новый, милицейский, как-то вроде бы случайно и счужа провисал до ушей на его куцей голове.

В военкомате он, пьяный, спал под скамейкой до тех пор, пока его за ногу на свет не вытащили и сказали, чтоб он следовал в милицию. «Зачем? Что я наделал?» — ошарашенно вытаращил белесые глаза заспанный сержант. «Набор, дура». — «А-а, набор, тады ладно, тады я готов». И в милиции всегда был пьян или уж от природы гляделся пьяным, говорил утробно, непонятно, как бы не договаривая слова, но матерился и командовал разборчиво. Жил он через четыре от нас дома в пятом, подженившись на детной вдове, но ни с кем соседства не водил, никого из близлежащих домов не знал и не помнил.

Прошлой весной Семен Агафонович с моей супругой посадили картошку на свояком, Иваном Абрамовичем, отведенном участке и, чтоб коровы не вытоптали посадки — это уже случалось не раз, — загоразживали землю жердями, зимой еще заготовленными на Чусовой и приплавленными после ледохода к месту назначения. Жена, хоть и в положении, таскала из-под горы жерди, папаша городил городьбу, парнишки Ивана Абрамовича играли на поляне, старший прямил гвозди на камне и подавал деду из речки размоченные таловые и черемуховые перевязи.

Дело двигалось к концу, день клонился к вечеру, когда налетел на старика конный милиционер, едва державшийся в седле, и приказал разгоразживать огород.

— Дак этъ объехать-то на коне — всего ничего, — тихо сказал Семен Агафонович.

— Я кому сказал, растак тебя и этак! — заорал милиционер. — Пр-приказываю! — и вытащил из кобуры черный пистолет «ТТ».

Это был Глушков. Он здил на сплавной участок кого-то усмирять. Усмирил не усмирил, но набрался до бровей и впал вот в пьяный кураж.

— Разгоразживай, папа, — попросила помощница, и старик разбросал жерди в сторону.

Всадник аллюром промчался по посаженной картошке до второго прясла и заорал, пальнув в воздух:

— А эту преграду хто убирать будет?!

Убрал старик и второе прясло. И долго стоял опустив голову.

— Мокрая от пота рубаха провисла меж лопаток, — рассказывала мне жена, — он весь сник, ослабел. Я подошла, погладила папу по плечу, думала, он заплачет, но он лишь попросил старшего парнишку, внука своего, свернуть ему сигарку и, проморгавшись от первой густой затяжки, молвил: «Хорошо, что того варнака, — меня, значит, — тутотка нет, смертоубийство бы получилось». И на обратном пути наказал: «Ты уж ему не сказывай ничего...»

Но велико было унижение и без того униженных людей, жена не удержалась, рассказала мне о происшествии на огороде. «Ну, падла, встретишься ты мне на узкой дорожке!» — взъярился я, и хотя, оставшись живым, дал себе после кровавого фронта на госпитальной койке слово или клятву не поднимать ни на кого больше руку и кровь никакую не проливать, для Глушкова сделал бы исключение.

И вот она, узкая дорожка, вот оно, перекрестье, на котором нам, кажется, не разойтись.

Я поманил милиционера Глушкова пальцем в комнату и показал на ружье, висящее над кроватью.

— В патронташе, — сохраняя напряженное спокойствие, сказал я, — двадцать патронов. Все они будут ваши. Тебя, в порядке исключения, уложу первым. Я давно это обязан был сделать.

— Чего-чего? Да ты...

Еще мгновение — и я бы взорвался: звон в голове разламывал череп, внутри у меня все клокотало, рассудок мой темнел. Бригадир, как оказалось, тоже бывший фронтовик, уловил ситуацию и грудью, брюхом вытеснил в сенки милиционера, что-то бубнившего, пытающегося высказаться, пристращать меня.



\* \* \*

Бригадир попросил меня сварить картошек.

Вечером вся сводная бригада землекопов сидела за кухонным столом в нашей избушке и обмывала первую получку. Из горла тогда не пили ни работяги, ни даже бродяги. Желая гулять обстоятельно, не по-скотски, пить из посуды, работяги расположились на кухне тесно и дружно. Налили мне, я отказался, показавши на грудь — немощен, дескать. Бригадир, выпив водки, «заедал ее», как выразился, холодной водой из ковша. Работяги говорили обо всем и все громче. Большинство оказалось фронтовиками, не обретшими до сих пор приюта, остальные были из тюрем и лагерей. Один фронтовичок после пятого приема начал привязываться ко мне:

— Чё-то мне твое лицо навроде знакомо? Мы где видались-то?

— Я месяц назад с каторги бежал, может, там?

— Ты эту мудню брось городить! — начал сердиться работяга. — Я сроду в тюрьмах не бывал...

— Побудешь еще, кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет, гласит народная мудрость, — съязвил бывший зек интеллигентного склада телом и лицом.

— В военкомате, в военкомате я тя видел, ковды на учет становились, — заликовал вдруг работяга.

Конфликт, начавший зарождаться, угас, один из бывших зеков без колебаний и лишних слов свалился на пол.

— Пусть тут и спит. Больше ему негде. А вы, ребята, по домам. А ты, — поднявшись с табуретки, сказал бригадир, — на тюрьму не нарываешься. Там и без тебя тесно. Завтра мы подошьем тесом нижние венцы твоей избушки и больше пока подкапываться не будем. Обойдем. И по-стахановски двинем дальше. Но тебе все равно надо что-то смекать. Канаву из-за тебя не останоят. Хоромина эта подгнила снизу и сверху иструпела, но из нее, если подрубить два-три венца, собрать еще кое-что можно. Вели бабе ставить лагуху браги, я, так и быть, приведу тебе стервятников из бэ-тэи горсовета, ты их напоишь, они тебе место под застройку отведут. Все! — хлопнул меня по плечу бригадир. — Не раскисай. И не воюй. Наша война кончилась.

— Н-нет, не совсем еще. Я эту тварь в милицейском картузе все равно достану.

— Ну и сгниешь в тюрьме, а ребятишки твои и баба твоя здесь передохнут.

Н-нет, не будет мне покоя, пока эта тварь ползает по земле!..

Но всемилоостивейший Господь всегда был моим заступником и спасителем, не оставляет Он меня без догляда до сих пор.

В декабре того же года пошел дождь на мерзлую, снегом убранную землю. И склон Урала оледенел, а улицы и переулки, заулки, бугры и склоны в городишке превратились в катушку. И что меня в такую-то дурнопогодь понесло на рынок — не вспомню. Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах, под крышею, где еще местами сохранился тес, маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденого барахла и подозрительно розового свиного мяса, со скотомогильника, не иначе, увезенного. По деревянным рядам, свесив ноги, сидели здешние завсегдатаи: картежники, щипачи, наперсточники и просто блатары и воры. К ним вязался, грозил пальцем милиционер Глушков, как всегда пьяный, распоясанный. Должно быть, он в тот день дежурил по рынку и вот устанавливал здесь порядок. Был он при оружии, хватался за кобуру, из которой торчала наружу ручка пистолета «ТТ», того самого, которым стращал он мирнейшего человека, моего тестя, и мою жену.

— Хиляй-хиляй, мусорило, а то докорячишься, мы у тя пистоль отберем и положим тут баиньки, — услышал я, следуя по павильону мимохо-

дом, и никакого значения тому не придал. Город рабочий, буйный, тут и пьют, и бьют друг дружку трудящиеся давно и непрерывно.

Возвращался я с рынка задними, с петель сорванными воротцами, вмерзшими в лед, и вдруг услышал: «Стой! Стой, твою мать. Стой, стрелять буду!..»

Я обернулся — по грязному льду, скользя, бежал, но больше катился парень в распахнутой суконной куртке, с закинувшемся с шеи на спину нарядном кашне. Обут он был в новенькие блестящие сапоги-джимми, должно быть, с необкатанными еще кожаными подметками, и ход по льду у него не получался, скользящего же, его настигал товарищ Глушков, топая милицейскими коваными сапогами, с обнаженным пистолетом, с мерзло сверкающими тюленьими глазами, грозно раззявленным ртом. За задней калиткой стекленел небольшой спуск, по нему-то и катнулся вниз парень и, не сумев пойматься за створку ворот, упал, пробовал взяться, да фасонистые сапоги скользили. И тут настиг беглеца Глушков, рыча и матерясь, он засунул пистолет в кобуру, навис над парнем, схватил его за горло и начал душить. Парень был верток, ловок, милиционеру не давался, все глубже закатываясь под распахнутую старую шинель.

И вдруг грохнуло. Глушкова подбросило вверх, он еще продолжал сжимать и разжимать пальцы, еще недоуменно смотрел расширенными глазами и шевелил ртом, ругаясь, но рот уже вело в зевоту — выстрел был смертелен, прямо в сердце.

Парень отбросил упавшего на него милиционера, вскочил и, видимо сам от себя не ожидавший того, что сотворил, тыкал перед собой пистолетом «ТТ» и панически визжал: «Н-не подходите! Н-не подходите! Убью-у! Убью-у-у-у!»

Но в эту минуту никого, кроме меня, у задних ворот не было, из павильона на выстрел мчалась гулевая братва. «Убегай, парень! Уходи!» — негромко сказал я, и с пистолетом в руке убийца побежал в одну сторону, а я неторопливо почапал в другую.

Был некролог в газете со словами: «героически на посту», «достойный сын Родины», «верный закаленный дзержинец».

Парень-убийца был татарин, кажется, Хабибулин по фамилии, и он ночной порой на бакальском поезде уехал в Татарию, сумел там затеряться, но года через два попался на каком-то очередном деле, и тогда всплыло и чувовское убийство милиционера.

Ни того, ни другого на земле уже никто не помнит.

\* \* \*

Пьяницы из горсоветского иль пэтэи отвели нам место под застройку в устье оврага, возле дороги на Красную горку, на стихийной свалке.

По угошению и угодыя.

Я говорил и говорю, что Бог был за нас, все еще бросал всевидящий взор и на нашу нескладную семью, но уже начинал уставать, потому как много нас, жаждущих Его милостей, накопилось на русской земле.

Наследник ростовского капитана рос на руках бабушки и дедушки крепеньким, капризным и драчливым парнем. Наша боевая девица играла с ним и, ни в чем не желая ему уступить, ввязывалась с братцем в драку, он ее, конечно, одолевал, она ревела и, чувствовал я, копила силенки, чтобы со временем во что бы то ни стало побеждать этого папой брошенного бойца. Пришла парню пора идти в детский садик, и первое, что он сделал, занес в дом конъюнктивит и заразил свою сестрицу. О-о, какая это дикая, музчительная болезнь. Девчушка криком кричала дни и ночи, озорные глаза ее склеило гноем, лишь прижатая к груди моей или матери, она, измученная, вся завядшая, горячая, засыпала на минутку-другую, и снова взвивался ее уже слабеющий крик, к утру становившийся цыпушечьим писком.

Тем временем меня выдавили все же из вагонного депо, выписавши на прощанье в награду машину горбылей и два кубометра тесу. Мужики, узнав, что я начинаю строительство, под горбыль засунули с десятков бракованных плах. На деньги, полученные при расчете, и на декретное пособие жены я выписал в лесничестве шесть бревен. Возглавлял лесничество вернувшийся с теплого места старший брат жены. Привыкший обирать и объедать военнопленных, содрал он с меня такую плату, что впору было попускаться замыслом о строительстве своего жилья, но Семен Агафонович сказал: «Надо, парень, надо, иначе пропадете», — и помог мне огородить «нашу землю» вместе с мусором, стеклом: потом, мол, уберете, а сейчас главное, чтобы горбыль не растащили и бревна не увезли.

Напротив нас с размахом строился его старший сын. Лесничий. Шныряли там машины, тянули бревна лошади, отец едва кивал сыну, мне говорил: «Он еще во школе эким был, в пионеры поступил, дак иконы хотел выбросить, старуха ему: „Вот те Бог — во те порог“». На войне в чинах был, шибко поранетый вернулся, ну, думаю, теперя человеком станет, да, видать, горбатого и война не исправит...»

Забегая вперед, скажу: всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзыв, только она ему и поможет, чем может, и схоронит его, алкоголика, туберкулезника, чудовищно в одиночестве кончившего жизнь, опять же она, сестра. Ну, да это к слову.

Именно в эти дни, когда я крутился на стройке и вокруг нее, жена с уже подсекающимися ногами тетешкала дочку и всеми способами и силами сохраняла малого сынишку от конъюнктивита, к нам в избушку зашла женщина не женщина, девушка не девушка, одетая в парусиновую юбку, старую стяженную кофту, низко завязанная клетчатым полушалком, и не то спросила, не то утвердила, прикрывая ладошкой рот:

— Вам няньку ната.

Да как же не надо, во как надо, но мы сейчас платить нисколько не сможем, и девочка у нас болеет, мальчик слишком еще малой, так едва ли ты согласишься на такие условия, объяснили мы гостье.

— Кокта теньки путут, саплатите скоко-нибудь.

Она открыла лицо, и мы, повидавшие виды, не охнули, не ахнули, увидев два клыка, кончиками выступающие из-под вынесенной вперед верхней губы, желтое сморщенное лицо — в складках скорбных морщин, низкий лоб, сплюснутый в переносице, и широкими ноздрями вздернутый нос, широкий рот с синюшными мягкими губами. Ее можно было бы принять за ведьму, если б на ее лице не светились виновато и запуганно большие прекрасные глаза почти неуловимого цвета, что-то между голубизной и фарфоровой синью, лучистое, выпуклыми белками резко оттененное.

Мы ее приветили, покормили чем было. Она была голодна, но ела не жадно, опрятно. Состояла она в няньках с раннего детства у многих людей, последнее время нянчила племянника, и, как довела его до детсадовского возраста, братец согнал эту домашнюю рабу со двора.

Через час она уже включилась в дела, нагрела воды, выкупала мальчика в корыте, попутно что-то состирнула, забрала из рук изнемогшей хозяйки девочку, начавшую расклеивать глаза и жалко улыбкувшуюся тетеньке, которая назвалась няней. Засыпая на добрых руках, девочка с радостным успокоением, в лад шагов, повторяла, пока не уснула: «Ня-на, ня-на, ня-на...»

Они подросли, дети-то, на ее руках, при ее догляде и никогда, никогда не замечали уродства своей няни, любили ее не меньше, чем маму, помнили и будут помнить всю жизнь.

За два или три выходных дня я, тесть и Азарий обожгли, вкопали деревянные стойки под углы избушки, срубили и в углах скрепили два ниж-

них новых венца — и стройка остановилась: у строителя не оказалось вспомогательных материалов — моху, пакли, рубероида; гвозди, что притащил из вагонного депо, израсходовали на ограду, и молотка путного нет, и топор тупой, и пила не разведена, ножовки так и вовсе нету.

— Руберойду-то клок и надо, застелить стойки, моху я на подловке погляжу. Сходи к брату, — кивнул головой тесть в сторону стройки через дорогу, где не по дням, а по часам рос сруб с обтесанными, ровно подобранными бревнами. Азарий на предложение отца ответил, что он скорее пойдет к херу собачьему, чем к этому начальствующему хвату, вдруг обматерился и пошел, пошел валить, все громче и громче, чтоб на усадьбе братца слышно было.

— Не надо бы начинать со скандала, — почти отцовскими словами, с его точной интонацией попросила Азария сестра, убиравшая мусор на размеченной колышками площадке под дом.

Папаша обрадовал меня, сказав, что на подловке, на чердаке дома, стало быть, в сарае мешка три моху насобирает, но надо мне прогуляться в лес, с ружьем, раз оно есть, надрать там моху, посушить его оставить.

— Потом сносим в мешках на себе, а это — вот, — кивнул он головой на штабелем выложенные вагонные доски и на гвозди, вынутые из них, которыми были наполнены деревянные ящики и старые ведра, — я как знал, что пригодятся.

Ох, старый крестьянин, русский мужик, всегда-то он себе на уме, всегда живет с взглядом вперед, я-то, пролетарский ветродуй, еще и негодовал про себя, что папаша мой крохоборничает, собирая старые гвозди, и доски, которые получше, присваивает, а они, крашенные, сухие, так хорошо горят.

\* \* \*

На колбасном заводике лицом к желдорлинии возвели дощаной ларек и начали в нем продавать жилку — мясную обрезь и кости. Очереди там выстраивались с раннего часа, торговля шла дотемна. К вечеру из цехов прямо на улицу выставлялись лари-носилки, и в них уж были самые дешевые кости, можно их было самим набирать в мешок и взвешивать в ларьке.

Шустряк мужик с белыми вихрами, торчащими из-под клетчатой кепочки, набрал уже две сумки костей, норовил и третью набрать. При этом пиратничал, ловко, с хрустом отламывал, где и отвертывал ребра от сизой хребтины и ребра отбрасывал обратно в ларь, позвонки, из которых еще что-то может навариться, к себе в сумку заталкивал.

— Эй, ты! — прикрикнул я на ловкого мужика. — Чё делаешь-то?

— Чё надо, то и делаю, — окрысился он.

— Совсем обнаглел, падла, — гаркнул я на него, ослепленный внезапным гневом, ударил его иль толкнул, вспомнить потом не мог.

Мужичонка упал в носилки вместе с матерчатой, засохшей от сукровицы сумкой — давно сюда ходит, опытный стервятник. Он возился в костях и никак не мог взяться из ящика, мне же пришлось и помогать ему выбраться наружу. Нашарив кепку в костях, мужичонка насунул ее на голову и взял меня за грудки. Рука у него была крепкая, но на ногах стоял плохо, правая нога его коротка, и он провисал на правую сторону всем своим некрупным, костлявым телишком. Я понял, что имею дело с фронтовиком, и как можно спокойнее сказал:

— Кончай.

А очередь уже завелась, заволновалась, и кто-то был за меня, кто-то сострадал мужичонке. Громила с обликом древнего каторжника, только что вернувшегося к отчему порогу, в красном, не иначе как бабьем, колпаке и в опорках от резиновых сапог, выше которых неумело намотаны обмотки, для тепла, видать, презрительно сказал:

— Оглоеды!

А пожилой товарищ в плисовой толстовке, в круглых очках, треснутых на обоих стеклах, излаженный грубо и топорно под Ленина, разноглазо глядя в найденную щель и картавя, как Ленин, начал речь:

— Позорят честь советского человека.

— Че-эсть! — вдруг взъелся на очкарика мой супротивник. — Где была честь, там выросла шерсть.

Очкарик поджал губы и отвернулся, храня на лице несокрушимое величие. И вся очередь унялась, присмирела. очередь моя подошла раньше, чем у вихрастого мужичонки. Прежде чем перевалить через линию с мешком, я сказал ему, кивая на набитый рюкзак и сумки:

— Не донесешь ведь? Далеко идти?

— На Трудовую. Как-нибудь, — непримиримо буркнул мужичонка.

Надо было искупать вину, всю-то ее когда испушишь, вечно перед всем и всеми виноват, вечно всем должен, но хоть частицу можно ликвидировать. Когда я вернулся к ларьку, мужичонка уже приблизился к весам, очередь, в конце которой он приклеился, почти рассосалась. Надвигались сумерки, продавщица торопилась и нецензурно выражала свое недовольство.

— После смены? — спросил я новознакомца, чтобы хоть о чем-то говорить и размягчить разгневанное сердце человека, он и размягчился, давно уж забыл обиду, потому как много принял их в жизни, и спросил в свою очередь, глядя на мою грязно завязанную руку:

— Где покалечился?

— Да ханурик один раздавил подъемником палец.

— На больничном? — что-то явно смекая, спросил мужичонка.

— Вытурили уже и с больничного, и с работы.

— Загораешь?

— Загораю.

Я нес на спине дырявый рюкзак, набитый костями, новознакомец — две тяжелые сумки. Он часто останавливался отдыхать из-за ноги, и в пути я узнал, что зовут его Сана, фамилия у него довольно распространенная в здешних местах — Ширинкин, воевал он на Белорусском фронте, был в пехоте и навоевал недолго, подбили, вернулся домой еще задолго до Дня Победы, ныне работает в артели инвалидов «Металлист» жестянщиком, клепает хлебные формы и нештатно — пока — слесарит на хлебозаводе. Есть уже парнишка на третьем году, баба донашивает второго. Накопил немного денег, начал строить жильё, дело движется туго, в помощниках всего лишь один отец — довольно дряхлый, в горячем цехе поизносился, да и пил горячо и дрался пьяный, вот силу-то всю и израсходовал. Я понял так: узнавши, что я свободен от работы, Сана хочет привлечь меня на стройку в качестве помощайлы, но, узнав, что я тоже начинаю возведение жилья, сказал откровенно:

— С паршивой овцы хоть шерсти клок, окрести тогда мне парня.

Так у меня появился кум и на долгие годы друг и верный помощник. Он тоже сначала сделал ребятишек, уж потом догадался, что их надо кормить, обувать, одевать, но самое главное — не на улице держать, а в тепле.

Отец у Ширинкина был хоть и неказистым плотником, но многому научил парня в детстве, всему остальному этого удальца научила жизнь. Был он необыкновенно во всем ловок, ко всему уже приспособлен, тащил из артели «Металлист» и с хлебозавода все, что можно утащить. Купил вот по дешевке сарай на улице Трудовой, раскатал его и почти собрал избу на горе, по-над Усьвой-рекой. Домик, весело глядящий с высоты двумя окнами на закат, был уже под железной крышей. В тесно застроенном дворе скулёмана кухонька об одно окно, где и обреталось пока что семейство Ширинкиных, в стайке топталась и звучно шлепала лепехи на пол корова, велись тут куры, хрюкал поросенок подле огорода, мелкозубая, злая собачонка катала цепь на проволоке.

Костей, и как можно больше, будущий мой кум добывал для обмена на зеленые корма скоту, зерно же, отруби и прочее довольствие сгребал на хлебозаводе: выпишет пуд — увезет воз. Негодовать, презирать моего новознакомца или восхищаться им? В моем положении ничего мне иного не оставалось, как восхищаться.

После крестин кум мой посетил мою новостройку, благо располагалась она неподалеку от единственной действующей бедной церковки, насупился, узнавши, с кем и чем я начинаю строиться, обложил меня крутым матом и поковылял на Железнодорожную улицу, чтоб осмотреть флигель. Осмотревши хоромину мою, совсем помрачнел мой кум, однако на крестинах, где крепкушая брага с водочным колобком лилась рекою, полюбив, как он говорил, с ходу меня и жену мою, кричал, что советские бойцы нигде не сдаются, настоящие советские люди в беде друг друга не оставляют.

Бедный, бедный мой кум, как и все прочие фронтовики, развеявшись по земле, был так же, как и я, как и все вояки, одинок, в одиночку и бился, выплывал к жилому берегу, но, истинно русский человек, он хотел кого-то пустить в сердце, любить, жалеть, и тут подвернулись ему мы с женою, вовремя и кстати подвернулись. Мы пели песни военной поры, старый Ширинкин пускался в пляс, младший тоже истоиво стучал об пол ногой, но скоро понял, что на одной ноге плясать — все же дело неподходящее. Изрядно захмелев, иначе бы не решился, от обильной еды и крепкой выпивки, я исполнил соло свою заветную и вечную песню, сделавшуюся во мне молитвой, — «Вниз по Волге-реке», кум мой, целуясь и обливаясь слезами, кричал:

— Не было у меня брата, не было, ты мне брат, ты, хоть и по морде меня...

\* \* \*

Кум мой вообще не давал проникать в себя унынию, явившись на мою стройку, встряхнулся и произнес: «И не такие крепости одолевали большевики», — хотя сам был беспартийным и в доме его никаких партийцев не водилось, книг он не читал, а вот поди ж ты, партийной идеологией проникся; кум велел разбрасывать и свозить то, что называлось флигелем, что и было сделано с толковой его помощью в ближайшее воскресенье мной, тестем и Азарием. В разборке я показывал удаль, как-то будет в сборке. Кум подвез на стройку моху, лоскуток толя, мешок пакли, ведро гвоздей, каких-то железяк полный ящик. Я не понимал, зачем все это, потому как из железяк знал полезное назначение лишь шарниров, шпингалетов и дверного крючка. Еще подарил мне кум острущий плотницкий топор и умело насаженный фигурный молоток. Я радовался этим вещам, как моя девчонка редкостным в ее судьбе магазинным игрушкам.

В следующее воскресенье трое мужиков и я на подхвате скатали и посадили на мох два срубленных новых звена, и кум, который никогда не курил — Азарий тоже не курил, — следя за дымом, пускаемым мной и тестем, заметил:

— Легкими маешься, а смолишь!

Отпустивши тестя и Азария домой, кум еще поколотился на стройке, и, как я понял, с умыслом, да не с простым.

— Тебе край надо до осени влезть в свое жилище. Никому мы с детьми не нужны, кроме самих себя да баб наших. Сруб собрать, окна вставить я помогу, но дальше будешь колотиться один. У меня тоже работы с домом еще до полна, тоже надо до холодов в свою нору заползти.

\* \* \*

Я учился строить и жить в процессе жизни и стройки. Бил я молотком, как и прежде, чаще по плотнику, чем по гвоздю, рука моя была раз-

бита до кости. Порешив, что мешает плотничать раздавленный палец, я попросил снять с него напалок, сооруженный женою из доскута сапожной кожи. Она состригла напалок. Под ним оказался криво обросший розоватым мясом палец, из недр которого робким лепестком восходил ноготь. «Какова жизнь, таков и палец», — глубокомысленно рассудил я.

В начале осени, в сентябре, мы произвели «влазины» в недостроенную избушку с недокрытой крышей. Главной ценностью в избе была русская печь, которую сложил дядя Гриша, печник из заводского ОКСа. Он был большой затейник и рассказчик, или баскобайник, по выражению тестя, этот знаменитый на весь город печник. Играл на скрипке, ну, это ему так казалось, на самом-то деле он пилил смычком по струнам, плакал от жалости к себе и от сочувствия к музыке. Печник приказал, чтоб бабы и я вместе с ними собрали все битое стекло со свалки, избегая при этом аптечных флакончиков, стекло то измельчить кувалдой в жестяном корыте, да еще прикупить хотя бы сотню новых кирпичей, да еще сделать бак с «крантом» ведра на четыре, да запаять его.

Бак нам изготовил все тот же незаменимый наш кум, стекло я, надевши очки Азария, измолотил в крошку. Кирпич, купленный в ОКСе, окончательно подорвал наши капиталы, но я все же выставил на разогрев печи полагающуюся печнику бутылку водки и получил от него неожиданную похвалу:

— А ты хоть молодой, но умный хозяин. Вот попросил я у тебя пятьсот рублей, ты пятьсот и дал. Но если б стал рядиться, я тебе б полсотни уступил, но, етит твою ети, на четыреста пятьдесят и печку бы сложил, а эдак ты ту полсотскую за зиму оправдашь — на дровах. — Он сходил к печи, пощупал и погладил ее сзади, будто бабу, по пути отвернул кран у вделанного в дымоходы бака — вода текла, хозяйски оглядел свое сооружение, оно работало ровно и глубоко дыша, начинало обсыхать от чела и пестреть спереду.

Крупный, с виду неповоротливый мужик, за которым мы, две бабы и мужик, едва поспевали на подхвате, любовался своим творением. Мы любовались им, поэтом своего дела, под печи начинал малиноветь — это под слоем кирпича расплавлялось в горячую массу стекло, бак, нагреваясь, сперва заскулил по-щенячьи, потом зашумел паровую горячую песню, и мы поверили, что щи в загнете печи будут три дня горячие, бак не остынет и за четыре дня.

Рассказав историю своей жизни, очень путаную и романтическую, наполовину, как я теперь понимаю, им сочиненную, он на прощанье присоветовал, чтоб я заглянул на Чунжинское болото, где ремонтируются бараки и валяется много всякого добра. Ночью, отдыхая через каждые сто метров, отхаркивая мокроту с кровью, я принес с болот половину бухты рубероида и сам закрыл крышу, за что получил втык от кума, так как крыша у избушки получилась пологой: экономя материал, я не запустил с запасом края рубероида, в большие дожди и ливни, которые тут, на склоне Урала, на исходе гольфстрима часты и дурны, мы волокли на чердак корыта, тазы, всякую посуду, потому что в экономно мной заделанные края и прогибы захлестывало.

На сени и на кладовку не хватило материала, я отправлялся по старому адресу в вагонное депо, выбирал в отходах две-три доски, мужики совали мне в карман горсть гвоздей, и, протопав три километра по линии, прибывал принесенные доски. На этом работы замирали. Зато уж моя архитектурная мысль не знала предела, работала не только напряженно, но и с выдумкой. Туалет я разместил под крышей сенок, уличную лестницу встроил внутри тех же сенок, в кладовке пропилил окошко в досках с буквами, знаками, цифрами, означающими железнодорожную казуистику, вставил в дырку стеклышко и еще соорудил в кладовке топчан, что позволило называть сие сооружение верандой. Знай наших, поминай своих!

\* \* \*

Незаметно надвинулась зима. Подспорье наше — походы мои в лес за рябчиками — кончилось. Капиталы наши и здоровье оказались надорванными. Но мы еще как-то волокли жизнь, вытягиваясь в балалаечную струну. Главное, все выдержала и не ушла от нас наша няня Галина. Девочку нашу приняли в детский садик, в тот же, куда ходил внук тещи. Видимо, она, теща, в округе почитаемая женщина, замолвила словечко и за наше полуголодное дитё.

У жены заболела нога. Бегучая, стремительная, порой до бестолковости прыткая, она с трудом ходила на работу. Строившаяся по соседству заведующая тубдиспансером, к территории своего заведения усадьбой примкнувшая, в отличие от старшего брата жены, расположившегося чуть выше по улице Партизанской, нас по-соседски навещала и уволокла жену на рентген.

И удар, страшнее не придумать: туберкулез кости, коленный сустав поражен болезнью. Следом за женою соседка заставила и меня «провериться на рентгене». Нервотрепка, бесхлебица, тяжелая работа на стройке не прошли даром — туберкулез мой успешно развивался, легкие гнили на пропалую.

Жену завалили в тубдиспансер. Я остался один с двумя детьми, потому как братец Галины вновь женился, сотворил свежей, молодой жене свежого ребенка, ему снова понадобилась нянька, и он затребовал домой сестру.

Мы начали погибать. И кабы мы одни. Мое вновь возделанное жильё расположилось на пути к Красному поселку, стало быть — к кладбищу, и, поднимаясь в гору, духовой оркестр делал последний до кладбища проигрыш похоронного марша аккуратно под окнами нашей хоромины, в конце огорода духовики брали под мышку умолкнувшие трубы и следовали дальше. Но с музыкой хоронили мало кого, гроб за гробом на подводах, на грузовых машинах, когда на домашних тележках, детей под мышкой с деловой поспешностью волокли в гору. И чем дальше шла жизнь, тем чаще везли женщин. Молодых.

Самоаборты, подпольные аборты косили и валили советских женщин — партия и правительство боролись за восстановление и увеличение народонаселения России, выбитого на войне. По приблизительным подсчетам, за первые послевоенные годы погибли три миллиона женщин и столько же отправились в тюрьму за подпольные дела, сколько погибло детей — никто не составил себе труда сосчитать и уже не сочтет никогда.

О-о, русская доля, которую в старину называли точнее — юдолью, где же тот, кто наслал ее нам? И за что он ее нам наслал и насылает? Ведь без причины ничего на этом свете не происходит.

Наша соседка, начальница тубдиспансера, спасая нас, прикрепила меня к столовой на бесплатное одноразовое питание. Жена лежала в палате, меня к ней не пускали. Зараза ж кругом. Ужинал я вместе с тубиками и много встретил знакомцев по военкомату в столовой, самая ошеломляющая встреча — Рындин, лейтенант, который меня узнал, а я его нет. Он недотянул до весны — дошáял, будто слабая головешка во всепожирающей страшной печи социализма. И сколько моих знакомцев, фронтовиков, дошáяло в том небольшом тубдиспансере, знает только Бог и коновозчик тубдиспансера дядя Паша, крадучись ночной порой свозивший в казенных гробах иссохших тубиков в казенные могилы на участок, специально для них выделенный, за кладбищем. От посторонних глаз подальше.

Съевши кашу или омлет, винегрет либо запеканку из картошки, я разминал кубик масла на ломте хлеба, клал в карман полагающееся на ужин яичко, кусочек сахару, когда и яблоко, уносил все это детям. Однажды туберкулезные бабы, заметившие мои действия, подняли крик, заскандалили, что я не ем, где положено, таскаю пайки с собой и, поди-ко, продаю



их иль меняю на вино. Соседка-начальница подавила бунт окриком и велела мне больше не приходиться в столовую, а получать на всю неделю положенные мне продукты.

Сделалось чуть полегче мне с ребятишками. Появилась в одно воскресенье у нас кума. Посадив на салазки своих ребятишек, привезла их к нам, свалила в комнате на пол, и наш квелый, худенький мальчик охотно играл и спал вместе с ними, кума стирала, мыла, прибиралась в избушке, напевавшая при этом всякие разные песни, просила меня подпевать, но мне отчего-то не хотелось это делать, хотя, сколько помню себя, рот мой не закрывался от хохота и песен.

У хозяйки нашей сняли гипс с ноги, сделали тугую повязку на колено. Опираясь на палку, она, словно старуха, волоклась домой после обеда. Погас веселый румянец на ее лице, она сделалась молчалива и сердита. Я ставил корыто на две табуретки, наливал в него горячей воды, пристраивал жену рядом. Выкинув больную ногу на подставку, она принималась за стирку, потом мыла детей, ползком подтирала пол и отправлялась «к себе», в тубдиспансер. Я смотрел в кухонное окно и по вздрагивающим плечам жены догадывался, что она плачет. При детях, дома, она себе этого не могла позволить. Наша старшая дочь в детсаде сделалась говорливой, прыгучей, выучила стишки и все домогалась, спрашивая: «Ты куда, мама, соблаеся? Ты посему от нас уходишь?» А потом приставала ко мне: «А куда мама посла?» — «В больницу мама пошла, отстань!» — «А за-сем?» — не унималось дитя.

\* \* \*

Но как бы там ни было, перевалили мы ту очень длинную зиму. Глухой зимней порой, в каникулы, ученика, бросившего школу, навестила классная руководительница с двумя моими соучениками, намереваясь, как я усек, уговорить меня не попускаться учебой. Посмотрели соученики и учительница на мое житье-бытье и намерением своим попустились. На прощанье спросили: «Может, мы чем-то можем помочь?» — «Нет-нет», — поспешно ответил я и про себя подумал: «Нам только Бог может помочь», — но они и без слов все поняли. С чувством облегчения проводил я гостей до калитки.

Дотянули мы, дотянули-таки до весны!

Поддержанный в тубдиспансере лекарствами и питанием, я настолько окреп, что, дождавшись жену домой, ринулся искать работу. Мне рекомендовали легкую. Но в городе с тяжелой промышленностью легкие работы были редки и все нарасхват. Дело кончилось тем, что я начал ходить на шабашки, разгружать вагоны в железнодорожном тупике и на товарном дворе.

Зарабатывал иногда даже тридцатку в день.

\* \* \*

В конце апреля вытаял уголок нашего кормильца-огорода, тот, что был поближе к зашитому горбылем туалету, тушею выставившемуся наружу, но входную дверь имевшему из сеней. На кончике зачерневшей мокрой гряды вытаял, пошел в стрелку лук-батун. Как-то под вечер, вернувшись с шабашки, я увидел жену свою, ковьяющую с огорода. Она опиралась о стенку правой рукой, а левой зажимала пучочек луковых перьев, еще не налившихся соком, кривых, но уже зеленых.

— Ты чё? Что с тобой?

Она посмотрела на меня глазами, заполненными таким глубоким и далеким женским страданием, которому много тысяч лет, и, дрожа посиневшими губами, тихо молвила:

— Там, в огороде, в борозде, я сейчас закопала мальчика, нашего пятимесячного мальчика. — И потащила домой.

Надо было помочь ей подняться по лесенке, в сени, но я стоял, пригвожденный к месту, в капелю продырявленном снегу, меня било крупными каплями по башке, но я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести.

То-то, заметил я, последнее время зачастили к нам женщины с арстантскими мордами из пролетарских барачков. После их ухода жена моя как-то наполнила горячую водой корыто, с отвращением выпила банку дрожжей и лежала, дожидаясь результата. Не проняло. Тогда она выпила чепуху водки и, пьяная, чуть не утонула в корыте — ее натура оказалась крепче всяких изгонных зелий. Но вот, находясь в тубдиспансере, она, видать, нашла настоящих мастериц, они опростили ее каким-то чудовищным способом аж на пятом месяце беременности.

Деваться мне было некуда. Сквозь землю я не провалился, но шибко вымок под капелю и замерз на ветру, на поднатужившемся к вечеру морозце. Почти крадучись я протиснулся в наше жилище, думая, что жена легла на кровать за перегородкой. Но она одиноко лепилась за кухонным столом. Обычно форсила она в синей телогрейке с двумя боковыми карманами, сшитой в знаменитой на весь город артели «Швейник», но как ей становилось худо, настигали ее черные дни, она откуда-то извлекала материно пальтишко, выданное однажды дочери для спасения от лютого мороза и из-за ветхости не востребованное обратно. И вот сидела она в этом пальтишке, взгорбаченном на спине, с заплатами на локтях, с рукавами, подшитыми не в тон пальто бурыми лоскутками, зато имеющем меховой воротник, скатавшийся в трубочку. Не узнать уже было, из какого зверя мех присутствовал на пальто — вятская ли кошка, африканский ли леопард.

Я постоял возле дверей.

Жена не оборачивалась, не произносила ни слова. Перед нею на столе была кучка размятой соли, кусок черного хлеба и горячая вода в кружке. Она тыкала перья лука в соль, откусывала хлеб, подносила кружку дрожжащей рукой ко рту, в серое пятнышко соли пулями ударялись слезы и насквозь, до скобленого дерева, пробивали его, развеивая по столу серую соляную пыль. Прошлой весной такие же вот тяжелые, что пули свинцовые, слезы ронял в соль пленный немец, и так же расплывались пятна в сером крошewe. Боль, осевшая в слезы человеческие, оказалась тяжелее поваренной соли.

Я сорвал с гвоздя шинель, бросил ее в комнате на пол и прилег — в этот день я как-то уж особенно сильно устал на разгрузке, но зато заработал аж пятьдесят рублей, хотел обрадовать жену, да вот она опередила меня, обрадовала.

Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении на кривых послевоенных путях? Зачем лихие российские ветры сорвали два осенних листочка с дерева человеческого и слепили их? Для того, чтобы сгнили? Удобрели почву? Но она и без того так удобрена русскими телами, что стон и кровь из нее выжимаются. Жена старше меня, она успела хоть немножко отгулять молодость. До войны за ней ухаживал шофер иль даже механик гаража, будто бы и сватался, будто бы и сговор с родителями произвел. На войне, в боевом походе, подшиб ее в качестве недолговременного мужа какой-то чин, даже и немаловажный. Вот бы ей с ним быть-жить, так нет — подцепила обормота пролетарского пошиба, мыкается с ним, здоровье рвет, жизнь гробит.

Пока лечила больное колено, пожирая хлебальной ложкой лекарство, похожее на известку, под названием «пасх», посадила сердце. Был уже сердечный приступ, вогнавший меня в панику, а сколько их еще случится.

На шинели было жестко и плоско лежать. Совсем она выносилась, шов на ней проступил, будто старая, давно, еще в войну, зашитая рана. Не

держит шинель тепла, доступно мое тело холоду, проникает сквозь знаменитое сукно даже и малый ветер, а мне простужаться нельзя, сказывали врачи. Но еще послужит шинель, хорошо послужит куму Сане Ширинкину. Скоро закроется артель «Металлист», с хлебозавода его, подменного слесаря-нештатника, вытеснят более здоровые, напористые люди, умрет старик Ширинкин, все сильнее хромающий кум мой со свищами в том месте, где соединены суставы вместо вынутой коленки, не осилит управлять на покосе и по хозяйству. Туго, совсем туго будет куму, и однажды, во времена полегчания нашей жизни, на день рождения кума я отнесу ему в подарок нереализованный ковер с веселым рыбаком и мою заслуженную, бойкой бабенкой Анной изувеченную шинель. Кума тоже на все руки от скуки, как и моя супруга, — обрежет ту шинель, подстежит, и получится из нее тужурка, которую донашивать будет уже мой крестник, бегая в школу.

«Ах, шинель моя военная... на-на, шинель, у костра, в бою прожженная, кому не дорога», — зазвучало в моей расшумевшейся башке. Под лопатками камня. Ломит, гнетет мое нутро, преют, гниют мои легкие. Нельзя, нельзя мне ломить тяжелую работу, фершала категорически запретили. Сдохнуть они не запрещают. Скорее бы освободить себя от себя, всех, всех избавить от моего никчемного присутствия на земле. И забыть-ся бы, забыться.

Прошлой осенью, в октябре, когда пробрасывало уже снежок, брел я с ружьем, норовя обмануть повзрослевших и поумневших рябчиков. Заманили они меня в разлом каменного распадака, глубокий, заросший мелким густым ельником. Рысаком себя здесь чувствующий петушок, перепархивая в густолесье, затащил меня в такую непролазную глушь, что я, упарясь, сел передохнуть на серую каменистую осыпь. Из осыпавшегося каменного останца когда-то выходил ключ, выбил в камнях глубокую ямину, намыл вот эту осыпь, на которой я сидел, и куда-то делся, иссяк, другую щель нашел иль промыл, провалился ль в истоке, но не стало его — и все. Ложе глубокое наносное осталось, в него осыпался и осыпался рыхлый курумник. Красная смородина, путаные кусты жимолости, ломкого таволожника и всюду проникающего шиповника теснил со всех сторон уверенно наступающий ельник. Я мимоходом отметил, что если здесь, в этой каменной выемке, застрелиться, вовек никто не найдет. И прежде, чем вороны налетят, зверушки набегут точить зубами падал, засыплет труп мелким камешником, и в скором времени заволокет, укроет эту могилу темнолесьем. «Зачем не застрелился? Зачем? Забздел! Скиксовал, так вот теперь наслаждайся жизнью, ликуй, радуйся ее прелестям!..»

Но у запоздалой осени есть одно мало кем воспетое и отмеченное состояние — полный покой отшумевшей, открасовавшей природы. Птицы улетели в дальние края, зверь не бродит, не буйствует, дожди прошли затяжные, иinei еще не звонки. Как бы приоткрывается ненадолго загадка вечности, простая и никем почти не замеченная загадка. Суета, тревоги, заботы, страсти, дурные предчувствия и все-все прочее, земное, как бы отодвигаются иль вовсе куда-то исчезают. Ты остаешься наедине с ровно и умиротворенно дышащей природой, с облетевшим лесом, с покорно ждущим снега молчаливым уремом, который в тишине кажется не просто бесконечным, но как бы уходящим в молчаливое мироздание, в его непостижимую и оттого совсем не страшную тайну.

Сердце твое, доверяясь таежному покою, тоже успокаивается, дышит ровно и глубоко...

Ему сладко и печально.

Хочется остаться здесь, в уреме, навсегда и жить, жить, просто жить для себя, просто наслаждаться природой.

Я и жил до самого вечера. Сварил чаю, запарил его смородинником, надоил с кустов остатных ягод смородины, еще не сморщившегося шиповника и в ладони сминающейся черемухи.

Для задумчивых, к разным чувствам склонных людей дня, проведенного в добром месте, где нет зла и тревог, достаточно, чтоб укрепиться и жить дальше.

Я вслушивался, не упадет ли с табуретки моя спутница жизни, тогда надо ее волочить в постель и отваживаться с нею. Врача вызывать нельзя. Не тот клинический случай. Даже и к начальнице тубдиспансера не побежишь — она справедлива, милостива, но строга. Баба моя, если не свалится в лужу крови, перешагнет через меня, следуя к кровати. Я, если даже и усну, все равно услышу ее.

Мысль едва шевелится, вытягивается в тонкую нить, начинает рваться, я щиплю себя за руку — на кухне ни звука, ни движения.

Умерла моя жена-мученица? Иль жива еще? Жива! Шмыгнула носом, втянула слезы.

Да что же это такое? Чего ж она не определяется на место? Не успокаивается? Уже и ребятишки, что-то неладное чувствующие, присмирели, за печь убрались, в постель залезли, уснули, должно быть, а она все сидит и сидит, плачет и плачет.

А чего плакать-то, чего скулить?! Сами добывали себе эту жизнь. Сами! Почему, зачем, для чего два отчаянных патриота по доброй воле попались на фронт? Измудохать Гитлера? Защитить свободу и независимость нашей Родины? Вот она тебе — свобода и независимость, вот она — Родина, превращенная в могильник. Вот она — обещанная речистыми комиссарами благодать. Так пусть в ней и живут счастливо комиссары и защищают ее, любят и берегут. А я, как снег сойдет, отыщу тот распадок, ту ключом вымытую ямину. Оты-щу-у, отыщ-щуу...

Решение, конечно, толковое, своевременное, да, как всегда, сгоряча и непродуманно принятое. Больная баба, еще молодая, но вконец изношенная, останется тут с двумя ребятишками и с виною вечной передо мной, обормотом, — она ж умная, если не умом, то сердцем допрет, что не без вести я пропал в тайге, не улетучился в царство небесное, а ушел от них, испугавшись трудностей, поддавшись психу, ослабнув духом. Бросил их! Бросил!

Ар-рр-тист! Н-на, мать! Из погорелого театра. Все хаханьки да хухоньки, шуточки да смехуечки тебе. Как приперло к холодной стене, прижужлькнуло, так и повело наперекосяк мысли, свихнуло куцые мозги.

У меня ж через неделю день рождения, мне ж стукнет всего двадцать пять лет, и что ж, на курок нажал — и все? Х-х-эх, мутило, мутило! Был вертопрахом, как бабушка говаривала, вертопрахом и остался.

Я вскочил с шинели, решительно вошел в кухню. Жена лежала ухом на вытянутых руках и спала. Я подхватил ее, губами сдул с запястий ее соль и, держа под мышки, безвольную, несопротивляющуюся, будто пьяную, уволок и определил на койку. Подумал и закутал ее ноги тем стареньким пальтишком, еще подумал и осторожно, вытянув ею же стеженное одеяло, укрыл, подоткнул с боков и поцеловал в ухо. Она ни на что не реагировала.

Я постоял средь отгороженной вагонкой спальни, посмотрел на жену, на ребятишек, разметавшихся за жаркой печкой, и подмыло вроде бы как теплыми ополосками мое сердце: «Куда они без меня? Куда я без них?..»

Потом долго стоял, прислонясь к горячему боку печи спиной. Такую вот процедуру я сам для себя придумал и заполз с другой стороны от умывальника за печь на постель нашей няньки Гали, постель ту мы на всякий случай не убирали.

Во всем неумелые, никем ничему не наученные, кроме как героически преодолевать трудности, мы ни беречь себя, ни любить путем не умели. Ведь предохранялись. Тем примитивным жутким способом, от которого мужик становился законченным неврастеником, а женщина инвалидом.

Двое кровей, вятская и чалдонская, давали неизменный производственный результат.

Милостивое государство и направители советской морали снисходительно разрешили аборт. Те мужики, которым довелось носить передачу в больницу, расположенную, как правило, где-нибудь на задворках — все-то у нас прячут достижения наши, все глаз наш от неприличных видов берегут, все боятся травмировать наше ранимое сердце, — наслушавшись баб, да еще на пороге больницы, встретив только что в первый раз выскобленную молодку, пронзенные ее ненавидящим взглядом, решат, как и я не раз решал, пойти в сарай, выложить на чурку прибор свой, отрубить его по корень, да и выбросить собакам. Да где ж отрубишь-то? Свое единственное достояние. Жалко.

\* \* \*

Подступал мой день рождения. Дома ни гроша, ни хлеба, ни даже солений никаких. Картоху и ту доедаем. Ну и Бог с ним, с этим днем моим. Никто его в детстве не праздновал, бабушка раз один обновку сшила и постряпушек напекла, вот и все радости. Бабушки нету, умерла в прошлом году, и я не похоронил ее, не на что было поехать в Сибирь, и помнить о моем дне рождения больше некому, да и незачем. Случалось, я и сам о нем забывал.

Недавно совсем, в сорок четвертом году, народный маршал по весенней слякоти погнал послушное войско догонять и уничтожать ненавистную и страшную Первую танковую армию врага, увязнувшую в грязи под Каменец-Подольском. Но грязь и распутица, она не только для супротивника грязь и распутица, да еще грязь украинская, самая родливая и вязкая. Застряла и наша армия в грязи. И в это время, в конце-то апреля, когда цвели фиалки на радостном первоцвете и набухли сосцы у изготовившихся зацвести садовых почек, ударила пурга. Снежная. Обвальная. Завьюжило Украину. Завалило хаты до застрех. Завалило войска пришельцев-завоевателей, завалило и наше войско.

Врагу-оккупанту или погибать в чистом снежном поле, или выходить из окружения. И, без техники, без боеприпасов, голодный, драный, сплошь простуженный, противник пер слепо и гибельно сквозь снежные тучи, раненых в пути бросая, пер под пули, под разрывами мин и снарядов. Несколько дней длилась эта бойня, но остатки Первой армии из окружения вышли, куда-то скрылись, утопи в снегах и взбесившейся стихии.

Мы спали обморочным сном до тех пор, пока не пригрело нас ярким весенним солнцем, и друг мой вдруг начал щипать меня. «Ты чё, охренел?» — встревожился я, а он: «У тебя ж вчера был день рождения! Поздравляю! Поздравляю!» — и щиплет, обормот, щиплет.

«В моей жизни было много перепитий», — говаривал один мой знакомый остроумный писатель-забуддыга.

А у меня было много перипетий. Иногда совсем неожиданных и счастливых.

Накануне Первомая начался ледоход на Чусовой, и я ринулся через горы к Ивану Абрамовичу, схватил со двора сак и пошел им черпать воду. Ничего, кроме крошева льда, в сетку моего сака не попадалось. Прошвырнувшись до скалистого быка Гребешок, я изловил двух сорожек и пескаря, случайно спасшихся, потому как впереди меня прошло уже десятка два рыбаков с саками, на другой стороне через каждую сотню метров воду реки цедили саками фарту жаждущие рыбаки.

Я возвращался к усадьбе родичей и решил за только что спущенными поселковыми лодками, где завихряло воду, под лодки грядою набило колотый лед, сделать еще один заход и попустить рыбацкой затеей. С круто-

го глинистого высоко подтопленного бережка я сделал заброс и, притопляя, вел сак таким образом, чтобы краешек поперечинки заходил под последнюю в ряду лодку. Я подводил сак уже к глинистому урезу, когда под ним взбурлила вода, я мгновенно воткнул упорину в берег, приподнял сак — и выбросил на берег шуку килограмма на три. «Нет, Бог как был за меня, так Он и есть за меня! И к тому же я колдун», — возликовал я и с рыбиной в своем знаменитом рюкзаке, в этом неизносимом сталинском подарке, ринулся домой.

— Ну вот, — молвила жена, — я же говорю всем, что супруг мой — с чертовщинкой, а они не верят. Зови на завтра кума с кумой, да к нашим не забудь забежать. Я сделаю заливное из шуки, наварю кастрюлю картошки, бражка у меня в лагухе еще с помочи в подполье спрятана. Ох и гульнем, ох и повеселимся! Весна же! Весна!..

Кум с кумой, в прах разряженные, явились раньше всех гостей, принесли пирог с мясом, банку сметаны и горшок капусты. Редьку с морковкой тер я самолично, винегрет и хорошо сохранившиеся яблоки-ранетки из своего сада прислала с сыновьями начальница-соседка, передав, что заскочит к нам потом на минутку, пока ей, как всегда, недосуг. Приволокся Семен Агафонович в древней вельветовой толстовке и «выходной» белой рубаше с едва уже заметными полосками. В новом костюме, при вишневом галстуке явился Азарий, с пристуком поставил поллитру водки на стол и сказал, что мать не придет, она снова недомогает.

Ах, какой получился у нас праздник! И день рождения, и новоселье, и весна, и Первомай. Забежала Галя, нянечка наша, ее по случаю праздника отпустили из дома, сгребла всех ребятишек, и наших и Ширинкиных, утащила их на демонстрацию, где они угостились мороженым за ее счет, еще она им купила по надувному шарик и по прянику местной выпечки. Сияющие, счастливые вернулись ребятишки домой, где шла уже настоящая гулянка, и кум мой, вбивая в половицы каблук ботинка на здоровой ноге, все выкрикивал: «Э-эх, жись наша пропавшая!» А после, как всегда при праздничном застолье, пристал ко мне, чтоб я спел «Вниз по Волге-реке».

Ослушаться, отказать было невозможно, и я спел, на этот раз, может, и не совсем выразительно, зато уж переживательно. Кум мой, Сана Ширинкин, снова плакал, лез целоваться, снова называл меня братом.

\* \* \*

Вот с этого праздника, со шуки, вынутой из-под лодки и пойманной мною не иначе как по щучьему велению, начала исправляться и налаживаться наша жизнь. И на смерть я начал реагировать, и на похоронную музыку, только могилы больше копать не мог.

К смерти открылась и болью наполнилась моя душа еще после одной встряски. Той же весной, еще по большой мутной воде, решил я половить рыбу, хотя бы на уху, потому как Галю снова выгнал брат, она вернулась к нам, а у нас и жрать нечего. Рано, только-только рассвело, и от скрещенья трех разлившихся рек туманы легли на город так плотно, что ни заводского и никакого громкого шума не проникало сквозь него, лишь что-то ухало, брякало под горой, будто в преисподней готовили котлы и сковороды варить и жарить нас, грешников. Грузная одышка от заводских цехов почти не достигала мироздания, застревала в тумане, поглощалась им. Я шел по линии — от Вильвинского моста встречно шел и угрюмо сигналил поезд. Сдержанно стуча колесами, скрипя тормозами, он явился из мглы и утоп в недвижной белой наволочи. На лбу электровоза во всю мощь горели прожектора. Во весь путь следования по городу машинист не выключал звукового сигнала. Видимо, ночью туман был еще плотнее, но солнце, уже поднявшееся на горизонте, за хребтом, осаживало недвижную пелену, рассасывало, рвало и клочьями гнало в распадки, ущелья, в поймы рек, гнало

за горы. В разрыве белой пелены я и увидел за девятой школой, на пустыре, кучку людей, среди которой стоял милиционер и что-то записывал в откидной блокнот.

Любопытство русского человека — его особая мета. Я свернул с линии, подошел к стоящим кругом людям. Никто мне не удивился, милиционер кивнул головой: «Вот еще свидетель». Среди пятерки незнакомых мне людей, прикрыв рот ладонью, стояла женщина с непокрытой головой, у нее, прикинутая платком, лежала зарезанная поездом девочка. Осматривая погибшую, милиционер откинул уголок платка, и сделалось видно лицо девочки лет семи-восьми, на удивление совершенно спокойное и даже отрешенное. Лишь глаза, оставшиеся открытыми, расширило ужасом, и в них остановился крик. Холод смерти остудил глаза ребенка и сделал голубизну их еще голубее, прозрачней, соединил их цветом с весенним небом, пусть и заляпанным, как всегда над этим городишком, черными тучами да еще желто-седой смесью с ферросплавового производства.

Расписавшись на листке предварительного допроса, я спускался к реке и все силился вспомнить, где я уже видел такие же голубые глаза, которым ни дым, ни сажа, ни отравные газы не мешали проникнуть в высь неба и наполниться от него нежным светом, и вскрикнул: да это ж глаза моей крошки дочери, на могиле которой я не был года два и вообще перестал посещать кладбище!

С этого беспросветного, туманного утра меня начал преследовать кошмарный сон.

Спускаюсь я к железнодорожному переезду, за которым по правую руку третий магазин, по левую — садик. В этот садик ходит моя дочка, долго мечтавшая о самостоятельности, чтоб не за ручку ее водили. У переезда кучка народу, и я бегу, бегу, заранее зная, что там, на линии, лежит пополам перерезанная дочка и смотрит на меня и говорит: «Я так хотела одна ходить в садик». ...Я расталкиваю, нет, даже разбрасываю уже толпу любопытных и вижу там не эту, нынешнюю, детсадовскую, дочку, а ту, Лидочку, в крохотном гробике, перееханным тяжелым литым колесом. Из щепья и тлелых лоскутьев, закутанная, бестелесная вроде бы, девочка тянет ко мне ручки и силится что-то сказать. Зовет она меня, зовет, догадываюсь я и рушусь перед нею на колени, пытаюсь обнять, схватить, прижать к груди дитя, но пустота, всякий раз пустота передо мною. Я просыпаюсь с мучительным стоном, с мокрыми глазами.

Скоро, скоро займусь я «легким» умственным трудом, днем буду строчить в газетку басни и оды о неслыханных достижениях во всех сферах советской жизни, о невиданных победах на трудовых фронтах, о подъеме культуры и физкультуры, ночью, стараясь начисто забыть дневную писанину, стану вспоминать войну, сочинять рассказы о страданиях и беспросветной жизни этих самых советских людей.

Чтобы писать, сделаться литератором, пусть и в пределах соцреализма, мне необходимо было учиться грамоте, преодолевать свое невежество, продираюсь сквозь всесветную ложь, и я читал, читал, много ездил по лесам, селам, спецпоселкам, арестантским лагерям, в которые газетчику был доступ. Спал четыре-пять часов в сутки.

Вел я в газетке, в промышленном отделе, лес и транспорт, и изо дня в день, из месяца в месяц годы уже набегали, но я не мог позволить себе выспаться, потому как в воскресные дни должен был доделывать, достраивать, доглядывать избушку: дом невелик, но спать не велит — на практике познавал я эту истину; да еще и в лес таскался с ружьем за дичью, с корзиной за грибами, с лукошком по ягоды.

Кончилось это все тем, что я начал видеть во сне совсем уж ошарашивающий кошмар, будто темной ночной порою, пробравшись на старое кладбище, раскопав могилу утопленницы матери, рвал ее черную кожу и ел багрово-красное мясо.

Напарник мой по рыбалке, местный мужик, в войну выучившийся на хирурга, навидавшийся в рабочем городе, в деревянной больничке, такого, что не во всяком чудовищном сне увидишь, содрогнулся, когда я у костра, на бережку, рассказал преследующий меня сон. «Предел, — заключил он, — это уже предел, заболевание мозга, последствия контузии. Кончай курить, кончай сочинительствовать по ночам, уйди в лес, поживи там весь отпуск, выпишь как следует, иначе дело кончится плохо...»

Я послушался его, уединился в лесу, сперва неудачно, в избушке на отгонном пастбище лошадей, где меня осыпали мыши и на поверженного сном лезли, шуруша лапками по плащу, порой я зажимал под рубахою и давил пригревшуюся там мышь. Тут еще скорее, чем дома, с ума сойдешь.

И подался я на водомерный пост, где был когда-то покос теста, Семена Агафоновича. Уже несколько лет он не ходил на него, болели ноги, не хватало сил, коровы семья лишилась. Там, у старого знакомого, метеоролога, в просторной белой избе, где по углам и на стенах висели пучки пахучей травы, я спал по двенадцать — четырнадцать часов, поражая этим подвигом хозяев, и домой вернулся очнувшимся от затяжного недомогания; головная боль поубавилась, звенело в башке тоненько, шумело терпимо, но кошмары не оставили меня, потому как кошмаром была сама действительность. Однако мучили меня кошмары реже, война тоже годам к пятидесяти стала сниться редко, сны сделались полегче, сменились они снами разнообразными. Стал я часто спорить во сне с вожжами мирового пролетариата, как бы уж и не на этом свете пребывающими, и, следовательно, споры эти были бесполезными, и еще со старшими товарищами писателями. Тяжелый разговор вышел у меня с человеком, похожим на Шолохова, по поводу «Поднятой целины». Еще тяжелее, но тоже безрезультатный — с товарищем Фадеевым, у гроба которого довелось мне побывать в годы литературной молодости. Большое расстояние и горные выси разделяли нас, и сны получались боевые, но путаные и спорные.

На много лет пристанет один сон: где-то в Москве, сойдя с трамвая средь беззаконных домов из красного кирпича, я направляюсь на Хорошевское шоссе, к дому моего незабвенного друга Александра Николаевича Макарова. Вроде бы ищущу и путаюсь в Москве, облюком, однако, шибко смахивающей на город Чусовой с его грязными улочками и переулками, по окраинам превращенными в помойки и свалки. Всюду я упираюсь в дощатые непреодолимые загороди, и если мне удастся увидеть редкого прохожего, спрашиваю у него: в какой стороне Хорошевское шоссе? Прохожий чаще всего пожимает плечами или машет рукой в неопределенную сторону либо говорит, что нет тут никакого шоссе, вот улица Партизанская есть, и Трудовая улица есть.

Тем временем трамвай, на котором я приехал, разворачивается и уходит. Оказывается, я доехал до последней остановки с последним трамваем. Мне объясняют, что больше сюда трамваи ходить не будут, а в какую сторону возвращаться, я не знаю, и людей совсем нету, спросить направление не у кого...

\* \* \*

И тогда решил я съездить на Урал, в город Чусовой, побывать въяе на улицах Партизанской и Трудовой. Избушка моя превратилась в домик, под нее подвели бетонный фундамент, приподняли слуги, и крыша сделалась не нараскоряку, как это было прежде, крыша обрела крутые скаты, железом крытая, в швы не текла вода, у домика появилась верандочка, настоящая, с застекленной рамой, пристройка в виде сенок или тамбура, но кусты сирени и черемухи, мною и детьми моими посаженные, остались на том же месте, разрослись пышнее, черемухи успели состариться.

Я отчего-то не решился иль, скорее, не захотел зайти в домик, познаться с новыми его хозяевами.



А на улице Трудовой дом Сани Ширинкина хорошо сохранился, стоял все так же бойко на юру, только бревна почернели от времени и осевшей на них сажи, скособочилась и кирпичный венчик осыпала труба на крыше, две-три тесины свежо желтели на передней, высокой, завалинке, всегда плотно забиваемой свежими опилками.

Возле дома играли мячиком две девочки, по виду первоклашки, я спросил одну из них, беловолосую, скуластенькую, с приплюснутым носом, не Ширинкина ли она. Девочка сказала — нет, она Краснобаева, тогда я поинтересовался: куда делся хозяин этого дома — Ширинкин Александр Матвеевич? Девочка сказала, что никуда он не делся, это ее дедушко. Тогда ноги у меня ослабели. Я прислонился к тепло нагретой завалинке и, наладив дыхание, попросил позвать деда. Девочка юркнула во двор и скоро возвратилась, сообщив, что сейчас дед выйдет.

Спустя немалое время по настилу во дворе застучала неторопливая палочка, и знакомый мне голос в такт стуку палочки выдавал матюки, из которых складывался смысл и следовало заключение, что страховка за сей год выплачена, налоги все внесены, «так какого же х... нужно?».

— Ишшо осталось шкуру с нас содрать, мать твою!.. — отворив ворота, повысил голос Сана, но, увидев меня, уронил палку: — Ой, кум!

Без палки он уже был не ходок, повалился в мою сторону. Я подхватил его и ощутил руками почти бесплотное, костлявое, старческое тело. Сана, повиснув на руках моих, плакал и повторял: «Кум! Кум! Как же это, а? Как же это, а?» Он не облысел, а совершенно облез, и фигуристая голова его с выносом на затылок напоминала мозговую кость с колбасного завода. Появилась кума — эта, наоборот, раздалась вширь, приосела, укоротилась. Тоже всплакнув накоротке, отчетливо вздохнула и деловито предложила Сане:

— Старик, кончай нюнить, слетай в лавку.

Я приподнял форсистый дипломат, выданный мне на съезде Союза писателей, встряхнул им. В дипломате звучало. Пролетарская суть — не иметь добра, имущества — за мной сохранилась. Страсть как не люблю таскать чего-либо, тем паче валандаться с папками, портфелями, чемоданами. Но вот в Чусовой захватил модную средь интеллигентно себя понимающих людей эту хреновину — глядите, граждане чусовляне, какой я, понимаешь, форсистый сделался: костюм на мне французский, штиблеты шведские, галстук не иначе как арабский, чемодан у меня наимоднейший и в нем поллитра. И не одна, понимаешь.

Мы сидели в примрачневшей горнице за столом, кум, кума, дочь ихняя, вели неторопливую беседу, я, естественно, спросил: где же мой крестник-то? Кум махнул рукой и сказал нецензурно, мол, кто его знает, где этот бродяга.

— Не матерись за столом! — прикрикнула кума на кума и жалостливый повела рассказ о том, как рос и вырос их сыночек, женился, развелся, детей осиротил, до пьяницы дошел, шляется по чужим углам, глаз не кажет, вот, слава Богу, с дочерью век доживают.

Сана внезапно встрял в рассказ жены с дополнением:

— Не гонят пока ишшо из собственного дома, — и выпил, хотел это сделать махом, лихо, но поперхнулся, замахал рукою возле рта, отдышавшись, выразился.

Кума, как и многие еще дюжие женщины, состояла при дочери в ее семье в качестве домработницы и рада была этой доле. Кум, которому от кумы уже ничего не требовалось, поселился на кухне, сделав в виде нар просторную лежанку за печкой.

— Говорю тебе, не матерись за столом, Бог накажет.

— Не матерись за столом, не матерись за столом, — кривился Сана. — А чё мне делать-то? Жевать нечем, протез в собесе выписали худой. Ты уж

не поешь больше? — покачал он горестно головой. — А то ведь рот не закрывался, все хохотал, пел и выражался тоже. Вспомнишь — потеха. На крыше ты сидел своей великой новостройки, мимо ее теща твоя корову гнала, жэнщины, чтобы ее подначить, говорят: «Андреевна! На пустыре мужичонка строится, пьяница, видать, то поет на всю округу, то матерится на весь город. Не знаешь, чей?» Теща твоя поскорее шашть мимо новостройки: не знаю, мол, не ведаю, что там за мужичонка.

Все сдержанно посмеялись за столом.

— Я и ноне, Сана, хохотать не перестаю, уж больно жизнь потешная.

— М-на-а, вот если б ты пел, как прежде, то всех этих волосатиков-попрыгунчиков по углам разогнал бы.

— Разогнал бы, разогнал всенепреренно, — подтвердила кума.

— У меня работа веселее.

— Хорошо хоть платят-то?

— Всяко.

— Мы с бабой ту книжку, что ты прислал в подарок, вслух читали поперемемке. Ничего, забавно и наврано в меру.

— Я отбрехался, Сана, до дна отбрехался, когда в здешней газетке работал.

— Да уж, — уронил кум и поерзал на стуле: — Вот сидишь ты с нами, спасибо, что не забыл, пьешь, закусываешь, а да-алёко от нас находишься, ох как далёко.

— Я и от себя далеко, Сана, нахожусь. Ох как далеко!

Мы снова чокнулись, Сана трахнул рюмку до дна, я пригубил.

— Здоровье бережешь? — налаживая дыхание, сипло спросил кум.

— Нечего уже беречь. Все потрачено, все болит в непогоду. Голова и жопа в особенности. Голова от войны, жопа от литературы. Я ведь, Сана, одержимый, бывало, по двенадцать часов от стола не поднимался.

— Экая зараза, прости Господи, — довольно умело перекрестилась кума, а ведь первый раз в церкви побывала, когда первенца-парня крестили.

— Да-а, заводной ты был и в молодости, с ружьишком по сорок верст за день по горам ошевертывал, и бывало, одного рябца принесешь.

Мы посмеялись, кум, потрафляя моему настрою, начал говорить про наш покос и про то, как я плавил сено с тестем по Вильве, выходило, что был я лихой и бесстрашный плотогон, да вот пошел по другой линии, а то б, если не утонул, бо-ольшую денгу мог зашибать в ту пору. И к разу поманил меня в кухню, за печку, где, прибитый к стене крупными гвоздями, красовался ковер с рыбаком, закинувшим удочку в уже отцветшие воды.

— Узнаешь?

— Узнаю, Сана, узнаю. Я ж художник неповторимый, Ван-Гог российский, бля.

Мы долго и трудно прощались с кумом и кумой у дверей избы, во дворе, за воротами.

— Ты уж шибко-то не изнурайся, пожалей себя. Тебя-то никто никогда не жалел, — плакал кум, угадывая, что видимся мы в последний раз, и слезы, слабые и частые, катились по морщинам лица, уже забранным в сетку. — Работу не переменишь, жись не повернешь — проскочила она на коне. На каком коне — ноне не вспомню, ты читал, давно еще...

— На розовом, — подсказала кума, тоже плача.

— Во-во, на розовом, — подхватил кум и поправился: — На колхозной кляче со сбитой спиной проскакала она, мать бы ее ети...

Они, кума с кумом, умерли не в один день, но в один год и перебрались с улицы Трудовой еще выше на гору, в Красный поселок. Натрудились. Отдыхают. Им на горе ветрено и спокойно.

\* \* \*

И еще одна встреча, произошедшая в ту поездку, достала и достает мою память.

— Тебя Тая Радыгина, твоя учительница, непременно хочет видеть, просто умоляет повидаться, — сказала наша близкая знакомая, у которой я ночевал.

Пришла худенькая, в платок кутающаяся женщина, несмело припала ко мне, тронула сухими губами мою щеку.

— Настасья Ивановна. Вы учились у меня в вечерней школе, анатомии учились, хулиганили вместе с юношами. Помните?

Я согласно кивал головой и пытался воскресить в памяти школу, анатомию, соучеников своих и учительницу.

— А милой Веры Афанасьевны, вашей классной руководительницы, не стало. Совсем недавно, — сообщила она, завязывая разговор.

Кто-то сказал Настасье Ивановне, Тае, как звал ее муж, что я и жена моя хорошо знали ее мужа, а у нее нет о нем воспоминаний, почти нет: так нестерпимо и гибло жили после войны и так он, ее лейтенантик, быстро сгорел, что ничего-ничего не сохранилось от него и о нем. Выросли дети, подрастают внуки, просят рассказать что-нибудь об отце и дедушке, а она и не имеет чего рассказать, кроме как сообщить, что он был прекрасный человек и она сохранила ему верность, более не пыталась устроить свою жизнь.

— Да и как ее устроить бедной учительнице с двумя детьми? — печально улыбнулась она.

Я попросил накрыть на стол, наладить чай, и пока две женщины-подружки, обе бобылки, выполняли мою просьбу, пытался изнасиловать свою память, что-то выудить из нее, и стало мне ясно, что без сочинительства тут не обойтись, что на этот раз будет то сочинительство к месту и Бог мне его простит.

Основной упор в воспоминаниях я сделал на то, как вместе с лейтенантом Радыгиным мы ехали на соликамском поезде из Перми в Чусовой, и на то, как муж ее, Таисья Ивановны, вынимал мою беременную жену из канавы с мешком картошки на спине и как провожал нас домой. А вот про встречу в тубдиспансере я умолчал, зато рассказал о том, как шли мы, опять же с поклажей картошки, из Архиповки и видели, как нелепо и страшно тонули на реке Чусовой пьяные люди, пробовавшие плясать в лодке и опрокинувшие ее, как в холодные воды бросился человек — спасать людей — и спас молодую девушку с длинной косой, это был, показались нам, Радыгин.

— Да-да, я знаю эту женщину. Она живет в новом поселке, рядом с нами, тоже учительствует и до сих пор не ведает, кто ее спаситель. Я непременно сегодня же расскажу ей об этом. Ах, какой это был человек! Ка-а-ако-ой человек! — сжимая ладошками лицо и раскачиваясь из стороны в сторону, восторгалась бедная вдова.

— Ты набрехал насчет подвигов покойного Радыгина? — сурово спросила меня моя знакомая, проводив подругу.

— Чего-то набрехал, чего-то и нет.

— Ну и не винись — ложь эта во спасение. И теперь я свидетель тому, как ты здорово сочинишь, могу с читателями твоими поделиться воспоминаниями.

— Не стоит.

Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, потянуло жить на отшибе, вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уж без ужасов. Разгружая память и душу от тяжестей, что-то, тоже вялое, выкладывая на бумагу, совершенно уже не интересуюсь, кому и зачем это нужно.

«Отравляющая сладость одиночества» — назвал я однажды мое нынешнее состояние. Летом, находясь в деревне, поздним уже вечером, когда не мотаются по улице пьяные и собаки, спущенные с цепи, смиренные, не брехливы, когда все селяне от мала до велика сидят перед телевизорами, увлеченные очередными жгучими и бесконечными страстями, угадывая, кто кого на кровать повалит или в конце концов порешит, я люблю пройтись по-над рекой, по пустынной набережной. Если тиха погода, нет туманов и сырой стыни, если вышний свет спокойно ложится на Енисей и в нем отражается каменное веко Караульного быка, а перевальные, горные дали за рекой волнами уходят в небеса и призрачно соединяются с ними, в моей успокоенной душе часто повторяется кем-то давно присланное мне стихотворение:

Угасание дня, угасание жизни,  
 Приближение к тайне на крошечный шаг.  
 Между ночью и днем, между словом и мыслью —  
 Опускаются сумерки в мир не спеша.  
 Исчезает зеленых деревьев торжественность,  
 Исчезает приветливость ясных небес.  
 Отрешенность природы покойно-торжественна,  
 И в себя погружен скал ближайший отвес.

Какими чуткими, какими блаженство сулящими минутами одаривает вечер человека! Как разрывает грудь чувство любви ко всем и ко всему! Как хочется благодарить Бога и силы небесные за эти минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать!

Совсем недавно, в каком-то промежутке тягучих, сочинительски-бредовых снов, увидел я отчетливо и ясно палец в брезентовом заношенном напалке. Стянул зубами грязно-соленый напалок и увидел неуклюже обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато крепким, что конское копыто, ногтем, и безо всякого ехидства, без боли и насмешки подумал: «Да-а, все-таки они схожи: моя жизнь и этот изуродованный на производстве палец».

...Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, не изуродованный, молодое мое сердце жаждало горячего кровотока и было преисполнено надежд.

Село Овсянка.  
 1987, 1997.



---

---

## СЕМЕН ЛИПКИН



### Я ВИДЕЛ

#### Азийское небо

Дорожка посыпана галькой  
И движется вдоль миндаля,  
И небо мне кажется калькой  
Того, что зовется Земля.

Вглядишься — и, по окоему  
Глазами пошарив, поймешь:  
Задуман совсем по-иному  
Азийского неба чертеж.

Видать, из-за дерзкого сходства  
С Дарующим темень и свет  
Земли происходит сиротство  
Среди безучастных планет.

#### Прогулка

Старик, мне незнакомый сверстник,  
Остановился предо мной:  
— Я словно прошлого наперсник  
С умершей говорю женой.

Ваш возраст? — Будет девяносто,  
Коль я три года проживу.  
— А мне-то три осталось до ста,  
Со мною век вступал в Москву.

Но быть ли жизни благодарным,  
Когда я мертвого мертвей?  
В забытом камушке янтарном  
Так запечатан муравей.

Пока! — Ушел. Я стал завистлив:  
Какой он крепкий и прямой!  
И тут же вспомнил, поразмыслив:  
К обеду мне пора домой.

## У Финского залива

Спешат с работы запоздалые  
Работники домой,  
И пахнут сумерки усталые  
Карболкой и зимой.

На пляже лодки опрокинуты  
Вдоль скрывшейся воды,  
Где ищет Дед Мороз покинутый  
Снегуркины следы.

Иную веру исповедует,  
Пришел издалека,  
Людей спросил бы, да не ведает  
Чужого языка.

Все тихо. Только окна светятся  
Да лампы на столбах,  
Да в мутном небе спит Медведица  
С соломкой на губах,

Да отдыхающая пьяная,  
Раскинувшись в снегу,  
Поет про счастье окаянное  
На финском берегу.

## Земная звезда

Безмолвье твоего лица.

*Оссиан.*

Божественная, ты прекрасна  
Безмолвьем твоего лица,  
Ты звездам неба сопричастна,  
Ты облаками правишь властно, —  
И это не слова льстеца.

Еще ты в материнском чреве  
Сияла скрытой красотой,  
В травинке каждой, в каждом древе  
Рождались повести о деве,  
Земною названной звездой.

Но ты свой свет порою прячешь.  
Ты удаляешься? Куда?  
Нам слышен плач. Но ты ли плачешь?  
Кого зовешь? Кому назначишь  
Свиданье? Кто придет сюда?

Вернись. Тогда в ночном тумане  
Откроются Его врата,  
И горы в снежноглавом стане,  
И волны в грозном океане, —  
Откроется без одеяний  
Твоя святая нагота.

**Я видел**

Я видел катера морские  
 В бегстве безоглядном.  
 Я видел волны ледяные  
 В городе блокадном,

Я видел раны пулевые  
 Сгруженных останков,  
 Я видел в церкви мастерские  
 По ремонту танков,

Я видел штабы полковые  
 В трубах сталинградских,  
 Я видел веточки сухие  
 На могилах братских,

Я видел: торжествуют злые  
 Над бессильным плачем,  
 Я видел боль и срам России —  
 И остался зрячим.

**Короткая строка**

Так движутся ноги,  
 Как будто иду  
 По скользкому льду,  
 И голос тревоги  
 Сулит мне беду.

Душа не устала.  
 Всему вопреки  
 Не знаю тоски.  
 Но жизнь моя стала  
 Короче строки.

**Среди могил**

Среди востряковских могил,  
 Когда набежало ненастье,  
 Я понял, что мир позабыл  
 Закон сохранения счастья.

Склонись к родовому стволу:  
 Кем сделались нам дорогие?  
 Одних превратили в золу,  
 Фрагментами стали другие.

Когда в государстве могил  
 Не дряхлость преграда, не слякоть,  
 Есть горькое счастье — поплакать  
 Над теми, с кем близок ты был.

\* \*  
\*

Напротив школа. Игры. Крик и визг.  
Декабрь. Земля с белеющей присыпкой.  
Я сплю или проснулся? Я — Франциск,  
И ангел прилетел ко мне со скрипкой.

Явился волк. Я говорю: «С детьми  
Побалуйся, но только есть не надо».  
Вытаскиваю булочку: «Возьми», —  
И волк уходит. Тоже Божье чадо.

Но я и впрямь проснулся. Сквознячок.  
Закрыл окно. Квартира замирает.  
Я вижу ясно струны и смычок,  
И ангел все-таки играет.





---

---

ТЕОДОР ВУЛЬФОВИЧ

\*

## ТРИ ГЛАВЫ ПРО МАТВЕЯ

Рассказ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

— **И** у-ка, орел, иди сюда!  
Эти слова застали меня во внутреннем дворе первой административной зоны управления Вяземлага НКВД СССР, куда можно было пройти только через два поста охраны, по специальному пропуску. И дернуло же меня выйти в этот лысый двор! Я остановился.

— Иди, иди сюда, орел... — Голос был уверенный, надтреснутый и не слишком строгий.

Какой-то немалый начальник: роста среднего, густая рыжая шевелюра, а дальше все обычно: шинель внакидку, сапоги начищены, широкий командирский ремень, орден Красного Знамени чуть выглядывал из-под отворота шинели и (тут у меня чуть не вырвалось — ...) — четыре ромба в петлицах! *Четыре* — больше не бывает... Если по армейскому — командарм, а тут — комиссар государственной безопасности самого высокого ранга... В голом, вытоптанном как плац дворе, кроме нас двоих, не было ни души. Всех как ветром снесло.

— Ты как сюда попал? — спросил рыжий с четырьмя ромбами.

— У меня здесь папа... — Я привык, что в зоне надо отвечать четко, не мямлить, не заикаться.

— Вольнонаемный?

— Зека.

— А фамилия? — Я назвал фамилию. — Он, что... в самодеятельности?

— Работает здесь в конторе. И руководит самодеятельностью.

Рыжий чуть кивнул.

— Ну, пойдём, — и положил руку мне на плечо, но положил не так, как при аресте, а обыкновенно, даже покровительственно.

Он вел меня не к тому корпусу, где работал папа, а к соседнему двухэтажному главному зданию управления. Встречные останавливались, влипали в стенку, тянулись и козыряли.

Вошли в просторное помещение на втором этаже. Обычный рабочий кабинет: два письменных стола — большой и поменьше, стулья вдоль стен, сейф в углу, портрет товарища Сталина на стене и чугунный бюстик Феликса Дзержинского на сейфе. Усадил меня на стул посреди комнаты и сам сел напротив, широко расставил ноги.

— Кто пропустил тебя? — Я молчал. — Ну-ну, пионер-всем-пример... — (на шее у меня действительно был красный галстук с металлической застежкой и изображением пылающего костра). — Надо говорить. Говорить со мной надо, орел. — Он настаивал на моем крылатом происхождении, а я был невысок ростом, довольно хлипкого телосложения и с лицом, как говорили, немного похожим на девчачье, что меня изрядно удручало.

И вдруг оказалось, что никакого страха перед ним у меня нет. Или улетучился... И говорить с этим рыжим нужно как можно спокойнее. Он сам проникающими интонациями в голосе как бы предлагал держаться с ним доверительно... Но главное: он постепенно становился мне завораживающе интересен. А настоящая опасность заключалась в том, что я ведь и впрямь попал в административную зону лагеря, самым что ни на есть незаконным образом — привозил охранникам и их маленьким начальникам папиросы: нормальные картонные (25 штук) и сотенные коробки «Казбека» (а «Казбек» курили настоящие начальники), только-только вошедший в моду «Беломор», вплоть до дефицитной экзотики вроде «Тройки» и «Герцеговины Флор». Почти все охранники знали меня и передавали по вахте новеньким. Папиросы я копил и собирал по полгода кряду. Иногда мне дарили их самые близкие школьные товарищи и папины знакомые, хоть и знали, что я не курю. Так что у меня каждый раз собиралась целая коллекция.

— Надо говорить со мной. Отвечать на вопросы надо, — но в тоне не было слышно настоящей угрозы, наоборот, присутствовало даже что-то тоскливое.

Пришлось ответить:

— Не могу я сказать, *кто*.

— Почему?

— Потому что вы...

— Ну-ну... Что я?

— Накажете.

— Вот те на! Кого?

— Тех, кто пропустил.

— Резонно. Но ты же знаешь: детей в зону пропускать не полагается. И вообще, без пропуска...

— Знаю... — Раз у него четыре ромба, теперь он будет всегда прав.

Я ответил достаточно покорно, но еще не сдался.

— Вот видишь. — Внешне усталый и незлобивый, он мне кого-то напоминал, но я никак не мог вспомнить, кого.

— На каникулы я всегда приезжаю к папе, — проговорил я, а сам пока соображал, как бы не сболтнуть лишнего.

— Значит, не скажешь? — уже строже спросил он и чуть задрал при этом голову.

Я подумал-подумал и тихо ответил:

— Не скажу.

Решил вести себя, как революционер-подпольщик перед жандармом. Но беда была в том, что он на жандарма совсем не походил... А на кого же?..

— Ну!.. — неожиданно выкрикнул рыжий, хлопнул ладонью по коленке и широко, прямо замечательно улыбнулся. Он не скрыл, что ему такое поведение нравится. — Молодец, не хочешь фискалить... Да если мне понадобится, я и сам выясню. Значит, зовут тебя как, пионер-эсэсэсэр?

Тут я, конечно, сразу ответил.

— А вас? — спросил в свою очередь.

Рыжий поморщился, жестко потер густые волосы и не без труда произнес:

— Матвей... Давидович, — видимо, мало кто его здесь так называл.

— Спасибо, — проговорил я.

— За что же спасибо?

— Не знаю... Так полагается.

— Вот это да!.. — хохотнул он.

Надо заметить, что смеяться он умел. Хорошо смеялся.

— Здесь тоже живут люди, так же работают. — Он немного замялся. — Народец, скажем, несколько другой. Разный!.. Ты откуда приехал?

— Из Москвы.

— С кем?

— Ни с кем.

— Ну-ну... совсем самостоятельно? — Я кивнул. — А деньги где взял?

— Тетка дала. И зарабатываю.

— Но ты же учишься?

— Учусь, а зарабатываю как надомник. — Я уже знал, что всех взрослых удивляло и даже умиляло, что я зарабатываю деньги, «и не меньше, чем они». — Слышали, есть такое название — «надомник»?

— Что-то вроде «домушника», — странновато пошутил он и тут же спросил с недоверием: — Ну-ка расскажи?

А я подумал: наверное, совсем заняться нечем, если столько времени тратит на разговоры со мной.

— Мне дают работу на дом. А за деньгами должны приходиться взрослые — те, у кого есть паспорт.

— И что же, к примеру, делаешь ты?

Я стал рассказывать:

— Для начала дали штампик и рубил пластмассу на лепестки. Довольно нудная работа и плохо оплачивается. А потом доверили сборку. Вот перед тобой образец: например, клипс для уха или брошка — набор лепестков и листочков. Пинцет, ацетон, кисточка — тут внимание, и не промахнись, а то все переделывать. Ацетон очень быстро сохнет... Испаряется... А переделать труднее, чем сделать заново. — Я говорил, а руки сами двигались, становился ясен весь немудреный процесс сборки дешевых украшений.

Он заинтересовался. Стал расспрашивать: сколько можно так зарабатывать? а какая работа считается доходной? а сколько часов в день ты можешь работать? а кому дают самую выгодную? обманывают ли пацанов или все по чести?.. А кто они, ваши работодатели?.. Он отошел к столу и что-то записал в блокноте. Тут я стал сбиваться — ведь не на все его вопросы надо было отвечать... Так и заложить кого-нибудь можно. Потому что самую выгодную работу в этих небольших артелях или кооперативах давали под большим секретом семьям репрессированных. Из детей я вообще был один. Да еще оформляли под другими фамилиями и время от времени тихо переводили из одной артели в другую — чтобы не застукали. Все это делали какие-то пожилые артельщики с лицами удрученных академиков, почти все седые, не плохо и не хорошо одетые, и почти все без фамилий — только с именами и отчествами...

Перед этим моим приездом в Вязьму я работал уже в паре с одной очень старательной женщиной средних лет. Красивая, даже матронистая, спокойная — в цехе, сразу видно, чужая. Ее муж еще недавно был большим чиновником в НКВД. Но его посадили — и ни слуху ни духу. «Без права переписки» — а это навсегда. Теперь Анна Григорьевна бедовала с двумя детьми. Встретились мы в цехе наглядных пособий на улице Герцена, в крыле старого дворянского особняка, куда меня недавно перепасовали, — клеили азбуку для первоклашек на листы картона, а потом разрезали на квадратики и укладывали в коробки. Руки пухли и пальцы не сгибались от больших тяжелых ножниц, а резаков (специальных прессов) не было — все вручную. Знали бы сопливые первоклашки, во что обходится их начальное образование. Анна Григорьевна почти всегда приносила на работу в старом английском термосе чай, какие-нибудь бутерброды, печенье и частенько подкармливала меня. Было очень неловко, но у нее я всегда брал... Даже не знаю, почему.

Была одна рабочая операция, очень занятная и выгодная, — делали ее профессионалы с другого картонажного предприятия. Калымили и отлично зарабатывали. Бригада клейщиков из трех-четырех человек приходила в цех один раз в неделю, вкалывали они по несколько часов, заваливали нас

заготовками и уносили львиную долю нашей общей заработной платы. Я пристально наблюдал за каждым движением их рук и даже один-другой раз, во время перекуров, пробовал повторить их сноровистые движения. Это были настоящие мастера.

И вот однажды я попросил начальника цеха, сухого и сурового еврея, разрешить мне задержаться после смены. Мне хотелось попробовать самому выполнить работу профессионала. Начальник цеха колебался, что-то бурчал себе под нос, но согласился — и сам остался сидеть в своей конторке. Никто из работниц в мою затею не поверил. А вот Анна Григорьевна сказала:

— Правда, почему не попробовать?..

Я обрадовался:

— Поможете мне?

Тут обязательно нужна была хотя бы одна подсобница, а у настоящих мастеров бывало и по две.

— Я, пожалуй, не справлюсь... — засомневалась Анна Григорьевна. — Но давай попытаемся...

Я все повторил в точности, как делали клейщики: растопил на электроплите клей в тазике, промыл щетки, протер лист толстой фанеры и уложил его на большущий стол. Но взялся за саму работу — и ничего не получалось: то слой клея не ложился, то бумага топорщилась, а едва начинало что-то удаваться — ошибалась помощница. Горе — и все тут! Я уж было взвился и понес всех чертей по полкам, но Анна Григорьевна довольно строго одернула меня (впервые за все время нашего общения). Попросила передышки, изгибом руки откинула выбившиеся волосы и пошла мыть руки. Она разлила из термоса остатки чая по кружкам, достала две конфеты — мы пили чай, а она меня увещевала:

— Я же предупредила, что, наверное, не сумею. А у тебя все выходит не хуже, чем у них. Ты только обрати внимание, как они работают — размеренно и спокойно. А если начинают ругаться, у них тоже все идет на смарку...

Я уgomонился, и вскоре кое-что стало складываться. А еще через полчаса появился из своей каморки сам начальник цеха, спокойно осмотрел заготовки (весь брак мы успели вынести на помойку), глянул строго на меня, на Анну Григорьевну — и, как опытный врач, поставил диагноз:

— Получится... Со временем, конечно.

Так я стал квалифицированным рабочим с самой высокой оплатой в цехе, Анна Григорьевна — моей подсобницей.

С Анной Григорьевной мы познакомились гораздо раньше, чем встретились в этом цехе. Задолго до того я видел ее один раз — давнишний приятель отца почти насильно приволок меня в ее замечательную квартиру на Мясницкой улице, он хотел что-нибудь сделать для моего уже арестованного папы. Велось следствие — назревал большой политический процесс. Это был еще тридцать пятый год — или уже тридцать пятый год.

— Из *ничего*... Ты понимаешь, из *ничего*!.. — кричал он, как будто это я посадил своего папу. — Ты обязательно туда пойдешь! Пренебреженно!.. Ведь если кто-нибудь из влиятельных лиц вмешается или хотя бы даже заинтересуется и они там разберутся, то во всем их процессе и в обвинении камня на камне не останется. Это же все пустышка. Вот увидишь!.. Ты пойдешь туда. Пойдешь!.. И будешь просить!

Надо было идти.

Тетка металась, нанимала знаменитого адвоката (еще оставались знаменитые — не то Брауде, не то Лурье), папин друг искал могучих связей, еще на что-то надеялся, дядька по маминой линии как раз к этому времени был сшиблен со всех своих высоких должностей, и на его ромбы рассчитывать не приходилось. Да и ромбов, кажется, уже не было. Скорее всего, именно в поисках компрометирующих материалов на дядьку отца

тогда и взяли. И в этой ситуации некогда могущественному дядьке лучше всего было бы не рыпаться. Вот он и не рыпался. А я считал, что все непременно и непрерывно должны рыпаться. Я думал, что мой знаменитый дядька обязан был ринуться в бой за своего друга и обязательно спасти его. Дядька сгинул первым — его не стало ровно через месяц... А муж Анны Григорьевны еще был в силе, и ромбы, эти таинственные геометрические фигуры, способные, казалось, как-то магически влиять на наши судьбы, пока с него не осыпались.

Приятель отца привел меня и сразу куда-то скрылся, а меня вроде бы оставили ужинать... Целая вечность минула с тех пор, а я ничего не забыл. Как сидел тем вечером у них в столовой: все ждали появления хозяина и шептались, а я не находил себе места от стыда и унижения, ведь мне предстояло просить совсем чужих людей, в чужом доме — просить (я даже не представлял, как это делается) за самого справедливого, самого честного и ни в чем не повинного человека — моего отца... Я не знал, куда деть руки, куда сесть, что говорить.

С самого раннего детства я боготворил отца. Всю возможную любовь к рану умершей матери, даже лица которой я не мог вспомнить, к брату или сестренке, которых не было и в помине, всю любовь к окружающему миру, луне, солнцу, звездному небу — все это вместе взятое я превращал в боготворение моего отца, мужчины с теплыми ласковыми руками, доброй улыбкой и светящимися любовью глазами. Ничего выше и прекраснее я не знал. И не знал, что все это обозначается такими словами.

Меня посадили за стол. Ждали долго, или мне показалось... Появился хозяин — как темное облако — без лица, только два ромба в петлицах. Сел в торце — нас разделял угол столешницы. Меня, совсем постороннего человека, как бы и не заметил. Он приехал домой ненадолго: поужинать, может быть, немного отдохнуть после какого-то невиданно изнурительного труда. Я почти ничего не ел, не знал, как начать такой трудный разговор... Да еще при людях... Да еще все время забывал его самое обыкновенное имя-отчество... А ужин был по тем временам очень хороший. В самом конце ужина хозяйка едва заметно кивнула мне, и я обратился к ее мужу со своей бестолковой и путаной просьбой. Он сначала вроде бы и не понял даже, о чем идет речь. А когда понял, весь как бы окаменел, кожа на лице побелела, натянулась, он ухватил рукой затылок, словно ему туда выстрелили и я был причастен к этому выстрелу. Он что-то буркнул, поднялся (стул с грохотом отлетел в сторону) и вышел в соседнюю комнату. Хозяйка не спеша и очень осторожно вышла вслед за ним. Потом вскоре вернулась, передала извинение — де у него с головой сегодня что-то неладное... Ну так и без слов видно было.

Он ничего не сделал для моего отца — или не смог сделать... *Нет* — не сделал!.. А вот теперь мы, я и его жена, Анна Григорьевна, вместе трудились за одним огромным рабочим столом — я значился клейщиком, она — моей подсобницей; клей сох очень быстро, требовалась сноровка, которой у нее не было. Но она старалась... Как-никак осталось двое детей, и их нужно было кормить. И уже не было той квартиры, того ужина, того мужа. И кто-то все это понимал и как-то помогал ей выбраться из этого омота.

Я при помощи большой одежной щетки широким плавным и огибающим движением руки размазывал горячий клей по фанере; два легких касания — и большой лист бумаги покрыт тонким, ровным липким слоем; переворот листа — и отбрасываю его в сторону одним движением, как на воздушную подушку, — и чтобы место для него уже было освобождено!.. Она подхватывала, накладывала лист на картон (пока не остыло), разглаживала и отправляла на просушку... Но всего этого я не мог ему рассказать.

— Ты в какой школе учишься? — спросил он.

— В сто двадцать пятой на Малой Бронной.

— А моя дочка в сто пятой. Никакого слада с ней нет — бандитствует.

Я уже слышал, поговаривали среди заключенных: мол, дочка самого начальника ГУЛАГа каким-то образом спуталась с уголовным миром и он, всемогущий Берман, да и его дражайшая половина — работник аппарата ЦК, — не могли с ней управиться. И это не были слухи или сплетни — говорили как о большом горе.

— Фотоаппарат «ФЭД» знаешь? — неожиданно поменял тему Берман.

— Знаю.

— Вот эти аппараты делают на комбинате при коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, — с гордостью сообщил он, словно сам был конструктором этого аппарата или обнаружил признаки того, что я со временем стану одним из подопечных этой коммуны.

Вслед за тем я узнал, что горемычный отец Матвей Берман некоторое время управлял этой замечательной то ли колонией, то ли интернатом под названием «Коммуна»...

— Но недолго... А до того... Много всего другого...

Был, был у него, у самого Бермана, свой особый большевистский форс и повадки вождя! Но чего-то еще ему не хватало, ко всем ромбам, ордену, безмерной власти. Чего же? Трудно понять. Может быть, сочувствия? Может быть, чтобы кто-нибудь восхитился им — его трудолюбием, размахом свершений? Чтобы одобрил его самого и всю его деятельность?.. Но от кого он всего этого ждал? От заплутавшегося в дебрях ГУЛАГа школьника? Да еще сына заключенного? Мне кажется, ему нужно было какое-то независимое, беспристрастное признание его заслуг, что ли... Или он тосковал по обыкновенной мальчишеской привязанности. Или даже любви. Тогда, там, я ничего не мог понять. Недоумевал и пытался вспомнить, кого он мне так напоминает.

Все начальники в нашей стране (а возможно, и любые начальники — всегда и везде) тяготились тем, что обыкновенные люди постоянно их о чем-то просили. Если не просили сейчас — тяготились еще больше и ждали, что будут просить завтра. А если не просили вовсе, становилось совсем невмоготу: «Это что ж такое происходит?.. Даже не просят?!» Тут уж сердились.

— Есть у тебя какая-нибудь нужда? — не выдержал Берман, кожа на его лице натянулась, а под ней выступили желваки и образовались впадины.

Я поспешил и сказал:

— Нет!

— Что, совсем никакой просьбы нет? — Он не поверил.

— А вы кто?..

У меня перехватило горло — он добился своего. Кто — я давно догадался, но показывать этого не хотел. И не хотел ни о чем просить.

— Я — заместитель наркома, — как мог проще ответил он.

— А начальник Вяземлага вам подчиняется? — еле выговорил я.

— Думаю, что да. — Нет, он не важничал.

— Тогда... — кажется, я излишне поспешно выпалил: — ...отпустите папу.

— Как же это?.. — Берман даже обиделся, заговорил с укором: — Я с тобой как со взрослым человеком — а ты... Действительно, я заместитель наркома. Но ни одного человека — слышишь, ни одного, — сам я не арестовал. Не посадил. Ты веришь мне? Ну, и не выпустил на свободу. Не имею права. На это есть другие... Органы. Службы.

Тут я обрел часть прежней уверенности и почти перебил его:

— Что я, с луны свалился?! Я ведь не прошу отпустить насовсем. Я прошу — из зоны. Пока я живу здесь, в Вязьме. Он никуда не убежит и на работу будет ходить... как полагается. Я пока не того...

Берман чуть сконфузился, поворошил свою рыжую шевелюру и сказал: — Это другое дело... А то я подумал... — Он снова хохотнул. — Конечно, не обещаю, но... Наведу справки. Ты где живешь?

— Над железной дорогой. У паровозного машиниста. — Мне не хотелось называть ни имени, ни фамилии. — Я всегда у них останавливаюсь.

— За постой платишь?

— Пятнадцать рублей за две недели.

— Немало дерут.

— Ну что вы! Они как за стол садятся, так меня сразу зовут. Кормят. Очень хорошие люди.

— А вот по зоне тебе все равно лучше не шастать, — все-таки сказал он.

Вот тут я, кажется, скис — знал, что одного взгляда замнаркома хватило бы, чтобы меня отсюда выдворили навсегда. Да еще и наказали бы всех за послабления и потерю бдительности.

— Я вообще в первый раз в этот двор вышел... Уборная в корпусе сломалась, и ее заколотили.

— Знаю... — с пониманием заметил комиссар государственной безопасности.

Дверь распахнулась, и на пороге остановился высокий, грузный мужчина с одутловатым лицом — начальник Вяземлага полковник Петрович, его здесь знали все, и я его уже видел. Он буркнул что-то вроде: «Ррршите?»

— Мы в твоём кабинете, Петр Александрович, с пионером вот беседуем. Он просил на то время, что будет в Вязьме, отпустить отца из зоны... А теперь, — он обратился ко мне, — иди по своим делам, орел.

Я попрощался и вышел. В голове гудело, и ноги дрожали. Но ничего... Кажется, обошлось. Хотя — кто его знает. И здесь я наконец понял: выражением голубоватых тоскующих глаз Матвей Берман был похож на врубелевского Пана — картина в Третьяковке, рядом со знаменитым «Демоном». И это сходство не отодвигало, а как-то скорее приближало его ко мне.

В просторной комнате, переполненной рабочими столами, находилось около десяти относительно квалифицированных сотрудников управления (в том числе и мой отец) — все зеки. Тут был полный переполох: кто-то через окно видел, как меня увели в главный корпус.

— А ты знаешь, кто это? — кинулась ко мне Верочка Малиновская, в зоне — художник-оформитель, а некогда удачливая грабительница, опытная авантюристка и проститутка. Она промышляла на комфортабельных пароходных линиях Черноморья. (Прошу не путать со знаменитой артисткой немного кино.) — Знаешь?!

— Конечно знаю, — ответил я.

— Кто?

— Матвей Давидович. Замнаркома.

— Чудик, это Берман! — Ее голос слегка дрожал. — Комиссар безопасности! Начальник ГУЛАГа НКВД СССР! Ты понимаешь?! Это... это...

— Да он сам мне все сказал. — Я немного разыгрывал свою таинственную причастность к высокой фигуре, попутно наблюдал за общим смятением.

Один папа был спокоен. Верочка обняла меня, прижала и утащила в свой угол, к большущему столу. «Она хорошая женщина, — говорил отец, — правда, покуролесила изрядно, наверное, больше не будет...» — говорил, как о девчонке-проказнице.

— Ты хоть попросил его о чем-нибудь? — спросила Верочка, так, чтобы другие не слышали.

— Ну а впечатление, впечатление какое? — допытывался кто-то из мужчин охрипшим басом.

— Оставьте мальчика! — взвилась Малиновская. — Ему и так...

— Что, и спросить нельзя?

— Я тебе спрошу! Я тебе так спрошу! Подвести его хочешь? — Кажется, она вот-вот кинется на безобидного простуженного.

— Ну-ну... Я того... — Бас заткнулся.

Водворилась мрачная пауза. Верочку здесь побаивались. Только отец как работал, так и продолжал, не проявляя ни малейшей заинтересованности в происходящем. Через некоторое время он оторвался от работы и произнес:

— Поздравляю, — снял очки и откинулся на спинку стула: — Такое знакомство не каждый день сваливается. Только неизвестно, к добру или очередному казусу.

Я подошел к нему вплотную и прижался к плечу. Уж больно тоскливо без него мне было все эти годы. Папа потрепал меня по затылку и поцеловал. Я знал, что он был мне благодарен за что-то. Я только не понимал, за что. Поздравляли, подбадривали и другие, а на меня уже напознала какая-то затаенность, даже страх. Но, представьте, не за себя, не за папу, не за Верочку — трудно объяснить, — страх за самого Матвея Бермана...

Как я тогда отозвался о нем?.. Не помню. Все хотели знать мое мнение!.. Кажется, я сказал им: «А чего?.. Вполне...»

Верочка Малиновская ощерилась, гнала любопытных и чуть не колодила их. Она знала, что это опасно: стукачей и здесь было предостаточно. Она знала все об этих кобелях с ромбами. Они были не лучше, не хуже кобелей со шпалами и кубарями, ну, может, чуть получше, чем грязные кобели с сикелями-треугольниками — вот какая была геометрия... Мне тогда Берман не то что понравился, он... мог бы мне понравиться. В нем было столько от «настоящего коммунистического вождя», от справедливого устроителя жизни. Только что рыжий! А что бы ему стоило?.. — фантазировалось. — Ведь вот захочет — и сразу отпустят... Одно его слово — и все охранники будут меня пропускать и еще улыбаться: «Проходи, проходи, пионер-эсэсэр». А папа поднимет руки, и они его будут вежливо обыскивать. Даже шутить: мол, рельсу сигнальную не уносишь ли? И там, где я живу, у машиниста паровозного Михал Николаевича, все бы в доме знали, что есть у меня защитник — четыре ромба. Например, зовут к столу, ужинать, а я совсем просто так говорю: «Спасибо, я уже ужинал», — как бы невзначай... Но как же папа? Ведь Берман с папой ужинать не может... А мы с папой потом отдельно поужинаем, еще раз...

Не очень-то все вязалось, мешали шероховатости, намечалось какое-то неудобство, подобие небольшого предательства. Но в мечтах особые условия — никто не придирается. Если сам не взыщешь... Разве предательство может быть маленьким?

В этой большой комнате никто толком не работал, в основном делали вид. Правда, отец трудился нормально, и еще один — совсем занюханный, его здесь называли «наш ударник». Остальные осторожно перемывали кости разным людям и обменивались новостями. Но всегда тихо — один на один. Меня в расчет не принимали. Чего только тут я не наслушался... Рассказывали, что на лагпункте Баковка урки отказались работать. Очередной отказ — «зековская забастовка». Туда срочно была направлена бригада женсовета, состоящая из общественниц, жен командного состава. Они должны были выяснить причины отказа, по возможности навести умиротворение и хозяйственный порядок. А начальник Третьего отдела со своими сотрудниками в то же время должен был разобраться, нет ли там КР — контрреволюционной подоплеки. А если и нет — будет.

Урки лежали сплошняком на голых нарах и с женсоветом не хотели разговаривать.

— Вот пусть охрана уйдет, — ржали, — тогда мы поговорим с дамочками начистоту.



— На все вопросы ответим, каждой в отдельности... И всем хором!

— Отказников не будет!

— Перевыполнение норм обеспечено! — выкрикивали урки, как на демонстрации. — Восемьсот процентов! — При этом на нарах громко пердели и губами издавали еще более неприличные звуки. И опять ржали так, что выдавшие виды жены комсостава выскочили из барака, словно уже на смерть изнасилованные, с вытаращенными глазами и крепко сжатыми коленками. И охранники выкатились за ними тоже изрядно взмокшие.

Здесь, когда рассказывали, меня не стеснялись, это я иногда втягивал голову в плечи и делал вид, что не слышу... Только Верочка протестовала, как могла:

— Вы что, совсем с глузду съехали?! — налетала она. — Что? Что мелете при ребенке? Отщепенцы... — Рассказчик сразу затихал, но после паузы начинал вновь, точно на том месте, где его оборвали; это был их образ жизни, а с образом жизни нельзя бороться — бесполезно. Однажды Верочка дербалызнула своего хахалы-архитектора (она сама его так называла) тяжелой линейкой по шее. И не шутя, а так, что он малость окривел, долго бурчал, поругивался и держался за шею.

Отец внимательно смотрел на меня и никогда не просил отойти в сторону или не слушать. Только смотрел. Как будто ждал, чтобы я сам, без подсказки с его стороны, понял что-то еще — сверх отпущенной мне меры.

В беспределности пребывал весь ГУЛАГ: начальство, службы, охрана, зеки — от бывших партийных и государственных деятелей до последнего карманника. Так что не стоит удивляться тому, что со временем вся страна, со всем ее населением, погрузилась в глубокую уголовщину. Нынешние удивления, охи да ахи — излишни. Из ГУЛАГа было виднее. Мы все скопом шли к тотальной уголовщине десятилетиями. Целенаправленно и мощно.

Это там же я слышал, что одно из женских лагерных отделений находилось в большой церкви, разделенной перегородками на секторы. Мужчинам заходить туда не то что поодиночке, а даже малыми группами категорически воспрещалось: умучают бабы, растерзают изуверски, и все на почве сплошной «любов-вии». «Трю-ю-юп не найдешь!» — хотя, казалось, может ли быть большее надругательство, чем сама эта исправительно-трудова, лагерная система?

Это там и тогда я возненавидел уголовное сборище (по одному они бывают изредка вполне замечательные экземпляры), возненавидел их повадки, лексику, ставшую всенародной и партийно-государственной, их песни, уставы, *возненавидел навсегда*. Постепенно все эти художества перекочевали в научную среду, в искусство, в литературу, школу, просочились и затопили исконную деревню. Не говоря уж об армии. Армия переняла уголовные порядки.

— А я тебе подарок приготовила. — Верочка обняла меня и снова поволокла к своему столу. — Вот, сохнет... — Малиновская была какая-то порхающая, длительное лагерное сидение ее не сломило.

Про нее, про Верочку, все эти рыцари болтали без удержу. Друг другу, как бы невзначай (ведь знали, что я слышу). И неизменно вызывали во мне неприязнь — не к Верочке, нет, а к ним самим, рассказчикам. И правильно она делала, что почти всех их за мужчин не считала. Это там я уяснил: сплетничающие мужчины хуже самой грязной проститутки.

На Черном море Верочку долгое время не могли поймать. Она отличалась высоким профессионализмом и разнообразием грабительских приемов. Малиновская чистила уже самых матерых ответственных, побывавших за границей, и забиралась все выше, пока не перешагнула совсем уже запретную черту и не взяла «на цугундер» засекреченного бобра, имевшего скрытую личную охрану. Судили ее уже не столько по уголовному кодек-

су, сколько по всей строгости совершенно секретной революционной *совети*. И закатали полную «десятку», хоть ни одного «мокрого дела» за ней не числилось. Она смирилась. Хорошо еще, «вышку» не схлопотала.

В этой комнате мне случалось выслушивать признания от людей с фантастическими судьбами. Но у большинства биографии были самые заурядные, и торчали они в лагере не пойми за что — по невероятной дурости всей вычурной и ряженой системы. Папа говорил:

— Ты не очень впечатляйся и не осуждай. Они ведь друг другу осточертели, все давным-давно перерассказали. А пооткровенничать перед кем-то хочется. Вот и терпи. Пригодится.

Меня поражала их покорность судьбе и обстоятельствам. Наверное, они все очень устали. Настоящие уголовники-рецидивисты были куда шустрей. К отцу большинство зеков, да и вольняшек относились с редкой симпатией и даже заботливостью, а это не было свойственно зоне. Так выражалось идолопоклонническое отношение людей России к искусству вообще и к его носителям в частности. Одним из таких «носителей», видимо, считался мой папа. Шутка ли? Даже лагерное начальство невольно было подвержено этой магии, и участникам самодеятельности делались самые разные, хоть и пустяковые, поблажки... Мой отец всегда был внимателен к женщинам и не столько ухаживал за ними, тут я мало что знал, сколько восторгался ими и ценил, казалось, только за то, что они женщины. Эту замечательную странность он сохранил и в заключении. Хотя во многом он изменился там до неузнаваемости.

Верочка болтала со мной часами и очень сердилась, если кто-либо прерывал наши беседы. Ее законный жених отыграл свой срок (семь лет), остался вольнонаемным, жил на частной квартире и ожидал ее освобождения. Мужчина среднего роста, шупленький, с тоненькими усиками «рыцаря ресторанов», болезненно влюбленный в нее. По образованию он действительно был архитектор, и это Верочке импонировало. Она держала его в строгости и на расстоянии. Но, как я понял, наличие архитектора в ранге официального жениха ограждало ее от многих других посягательств. Мне рассказывали, что один раз архитектор даже вешался. Но повесился почему-то в проеме окна. С улицы увидели и вытащили из петли полуживого. Верочка сказала:

— Этот ничего сделать по-человечески не может. Разве что срок отхватил нормально...

Я удивлялся: почему люди так не любят неудачных самоубийц, почему обвиняют в неискренности? Словно тот им что-то пообещал и обманул, не выполнил. Словно доказательством полной искренности может считаться только смерть.

Однажды я спросил Верочку:

— А когда кончится срок, вы выйдете за него замуж?

— Никто не знает, кто за кого выйдет, — ответила она. — Только трепачи и гадалки. Ты вот на ком женишься?

Я не знал, на ком мне следовало бы жениться (и, кажется, до сих пор не знаю), но надо было что-то сказать, ведь мы беседовали.

— На ком? — снова спросила Верочка, как будто я должен был жениться только на ней.

— На негритянке, — ответил я.

— Это почему еще?! — Она очень удивилась.

— Их угнетают, — признался я.

— Неправильно решил, — вмешался в разговор отец, не отрываясь от работы. — Самые красивые женщины в Ростове-на-Дону и в Одессе. Учти. И это русские женщины.

— Ладно, учту, — отмахнулся я.

Верочка подарила мне вырезанную из картона и ловко склеенную эмблему строительства автострады Москва — Минск, украшенную двумя

жирными заглавными литерами «ММ». Ломаная линия изображала трассу, а сверху вниз все поле эмблемы пересекали тонкие контуры силуэтов Ленина и Сталина! Это художественное произведение было смазано каким-то великолепным лаком и присыпано золотистым порошком — походило на бронзовый рельеф. Я был ошарашен: от кого, от кого, а уж от Верочки такого пропагандистского подношения не ожидал. Но она гордилась и не скрывала этого. Мне даже показалось, что она рассчитывала на какое-то доносительство — так громко и торжественно преподнесла мне подарок.

На следующий день отца расконвоировали и до конца каникул разрешили ему жить на частной квартире — это была невидаль... Все поздравляли папу и главным образом меня. Больше всех радовалась Верочка — еще бы, идиллия осуществлялась наяву. «Представь себе, если и дальше так пойдет?! Сам Сталин все узнает, наконец восстановит в стране справедливость. И твоего отца выпустят! А следом и других!.. Вот будет песня!» — Верочка балагурила и, как могла, заводила окружающих.

Но я не разделял ее восторгов, а об отце и говорить нечего. Все было не так: жили в крохотном закутке, в доме паровозного машиниста. Отец вставал ни свет ни заря и плелся в гору километра два, в зону «А», где было место его работы. Всякие мелкие придирки к нему только участились — еще бы, любое исключение нарушает и усложняет стройную систему устоявшихся правил. Да и расшатывает дисциплину. Обычно я старался проводить папу на работу хотя бы полпути, потом возвращался и досыпал. Но чаще мрачными рассветами подолгу смотрел ему вслед и понимал: мой папа больше не распрямит сутулую спину, не будет заразительно веселым, никогда не разглядятся его глубокие морщины... Даже в Бутырках на свидании он не казался таким безнадежным. Папа шел в гору чуть подпрыгивая, вытаскивал разбитые ботинки из вязкой грязи. Было видно: с ним все кончено... А со мной? — жестокий мальчишеский эгоизм или инстинкт выживания, даже большое самолюбие не давали покоя: только бы не повторить унижений нищей жизни этого очень доброго человека. Только бы сделать свою жизнь ни в чем не похожей на эту. Вот тут, пожалуй, часть своих дерзких надежд я подспудно связывал с именем всемогущего Матвея Бермана. Если не в реальной жизни, то в мечтах и фантазиях. В этой надежде была какая-то таинственность и надтреснутый звук власти, на сторону которой, вот так вот, можно склизнуть. И застрять там... Нет, нет и нет! Ничего не должно быть в угоду словочной выгоде, а уж ценой какого бы то ни было предательства?.. Нет!

Это были весенние каникулы моих надежд и сомнений, трудного выбора.

Летом меня тетка отправляла в пионерские лагеря.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Весна в тридцать седьмом выдалась — чудо весна. Трамвай — дзинь-дзинь! Уже на Восьмое марта было тепло, мимоз навалом, учительницам дарили не веточками, а целыми букетами — нюхайте, наслаждайтесь, отдыхайте от нас, изуверов! Почти все мальчишки бегали в школу без пальто, а за шиворот — ка-па-ет!.. Сосульки с крыш нацелены на макушки, того и гляди — «шарах... и шопен!». В классах окна настежь и крик такой, что прохожие у Никитских ворот вздрагивают — попробуй не вздрогни, если бутылкой с веточкой, усыпанной нежными почками, по кумполу одному прохожему чуть не угодило: «Чуть-чуть не считается!» — из окна бросили на перемене, без злого умысла — «с приветом!». Пришла милиция — виновных нет. А на немецком в проходе между партами танцы-фокстрот! Настроение

шалое. Мы же всемирные! Если на то пошло, наши вожди САМЫЕ! Наш главный вождь САМЫЙ-ПРЕСАМЫЙ! Год 1937-й — всеобщее по-мрачение.

Тимирязев, который памятник, торчит — устоялся в даль Никитскую. Тверской бульвар весь зазеленел и все равно прозрачный — красотища!.. А в сумерках там прохожих раздевают. Умеют. Даже до наступления полной темноты. А при чем тут темнота? Фонари все перебиты. Пушкин (тоже памятник, но с другого конца бульвара) заложил руки за спину, насупился — знает, что его все равно пристрелят (здесь все всё знают). «К нему не зарастет небесная тропа!» «Небесную» на «народную» каменотесы переколупывают (это на памятнике-то!). Наплевать, что гранит, когда надо, и гранит крошим.

А тут май на носу, на школьных тетрадках картинки тиснуты для пополнения ежедневного образования: таблица умножения на последней странице обложки, картинка из народных сказок на первой: богатыри, русалки, попы и их работники-балды. И вот, «чтоб сказку сделать былью», все школьники неполной средней в этих немудреных картинках, в штрихах, в линиях и загогулинах отыскивают антисоветчину, пасквиль на вождей, призывы против Сталина и соратников, лозунги против советской власти. Ищут, ищут — найти не могут, по четыре-пять уроков кряду... До одури... Бдительность!.. Наконец один нашел: «ДОЛОЙ КАЛИНИНА» — в тридцати трех богатырях, среди волн и облаков. Даже кусочек лица всесоюзного старосты обнаружил: ну, не лицо, а бородка клинышком и вроде еще один глаз намечается, зато бородка самая натуральная из перевернутого шлема богатыря! Осталось выяснить фамилию художника, а там и до врага-редактора, и до типографии доберутся. Замаскировались?! Психоз! И хоть кто-нибудь сказал бы, хоть шепотом: «Опомнитесь, дети! Ну что за чушь?» Какой там! — вся школа включилась. Повальный сыск, разбирательство, телефонные звонки...

В один из праздничных дней в школе у Никитских ворот забежали по этажу учителя, завуч, старшая пионервожатая — кричали, искали кого-то. Я мчался сломя голову вниз по лестнице. Схватили и привели в учительскую. Ну, думаю, трояк за поведение обеспечен — «лестничная компания» началась, а я проморгал.

— Завтра торжественный вечер у шефов, их надо хорошо поприветствовать.

— А я тут при чем?

— Сейчас узнаешь. От имени всей нашей школы...

— Вот это да!

— Молчи и слушай. Ты хоть за последнее время... Но несмотря на... Одним словом, будешь приветствовать наших шефов в радиотеатре на улице Огарева — вход не там, где телеграф, а с противоположной стороны.

— Парадный вход с черного хода, что ли?

— Вот эти шуточки брось, самоучка! Учти: у наших шефов новый нарком назначен. Очень влиятельный! Это тебе не предыдущий... — А предыдущих двух уже расстреляли.

— Да там каждые четыре месяца нового назначают...

— Четыре месяца, пять месяцев — не твое дело! Подготовься хорошенько. Старшая вожатая Антонина тебе поможет. С последних двух уроков завтра отпустим. Ты как, по бумажке или так?

— Я по бумажке собьюсь.

— Ну, смотри не подкачай. Мы на тебя надеемся.

— А сегодня нельзя с последних двух? Я бы все продумал как следует.

— Ну, знаешь! Это уже!..

Радиотеатр — он же клуб наркомата связи — был набит до отказа. Мы стояли в проеме боковой двери, почему-то самой дальней от сцены, и пи-

онервожатая, долговязая крепкая связистка Антонина, двумя руками впи- лась в мои плечи, словно я гончая и могу сорваться в любую секунду в бега. Толпившиеся в проемах и вдоль стен люди заслоняли от меня сцену, стол президиума и трибуну я мог созерцать только по частям: или то, или это... Было очень душно. Сидящие в зале волновались, тянули шеи, таин- ственно перешептывались и кивали в сторону президиума. На трибуне ораторы все время менялись, зал взрывался аплодисментами, обстановка стояла какая-то вздрюченная. Но «Ура» и «Да здравствует» пока не крича- ли. Как-то само собой я отключился от всей этой кутерьмы, решил — луч- ше сосредоточиться и подумать, как произнести первую фразу, что бы им всем такое сказать... С чего начать?

Вот прямо через дорогу, напротив Центрального телеграфа, вот здесь — рукой подать, только перебежать Тверскую, жил и я вместе со своим папой, знаю тут каждый переулок, все проходные дворы... Команда у нас была разношерстная — «развитая шпана и не развитая, но не отпе- тая», как сказал заместитель начальника книгоцентра Лунинский. Он оби- тал по соседству с самим директором книгоцентра Скаловым (этого на «линкольне» возили), на четвертом, последнем, этаже нашего дома — в чердачной надстройке были нарезаны узенькие, с окнами под потолком, как в тюремных камерах, комнаты... Одного и другого уже след простыл: оказались «враги народа». Рядом во дворе торчал и возвышался над всеми дом писателей. Отпрыскам литераторов доставалось от нас, а с самими пи- сателями уже другие управлялись, постарше и помогущественнее. У каж- дого из нас был персональный самокат на громыхающих подшипниках, и когда мы гуртом вырывались из подворотни на улицу, визжали тормоза, у милиционеров свистки застревали в зубах, а ребята, словно смерч, пересе- кали главную магистраль столицы и с воплями скрывались в проходных дворах напротив. Если кого-нибудь хватали, считалось, что команда понесла потери. Поворачиваться и удирать восвояси считалось отступлением и позором... Но были и серьезные деяния: одни ходили по утрам здоро- ваться с Михаилом Ивановичем Калининым (в основном прогульщики — ведь по утрам). Огибали «Националь», по слухам, переполненный иност- ранными шпионами, трусцой мимо старого здания университета (Манеж слева, превращенный в циковский гараж), мимо приемной Верховного Совета, через улицу возле Библиотеки Ленина — и тут... От особнячка к приемной, всегда пешком, шел всесоюзный староста. Мальчишки, завидев Калинина, переходили на степенный шаг и вежливо, каждый в отдельнос- ти, произносили: «Здравствуйте, Михаил Иванович! Доброе утро, Михаил Иванович!» Калинин прикасался пальцами к фуражке, почти как Ильич, и отвечал: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» Такой спокойный, благо- стный, всеми почитаемый — «всесоюзный староста». А в эту приемную Верховного Совета, только чтобы записаться, люди (в основном родствен- ники репрессированных) выстаивали бесконечные очереди. И не день- ночь, не двое суток, а неделями и месяцами. Я видел эти очереди и гробо- вую тишину этих очередей слышал. И все в закрытом дворе приемной, скрыто от глаз прохожих, под круглосуточной охраной. Но как-то с самим Михальванычем лично это впрямую не увязывалось...

Еще любили приветствовать худого, высокого, носатого — в шляпе и длинном пальто. Он вышагивал обычно от Охотного ряда по улице Горь- кого. Его можно было издали заметить в любой толпе — такой был артист и так он шел. С этим здороваться бегала тоже не вся братва, а отдельные персонажи... Ровно в шесть тридцать вечера выдвигались к букинистиче- скому магазину и караулили:

— Во-он. Плывет!

Выскакивали из подворотни полукругом, сгибались в шутовских и мушкетерских поклонах, сдирали кепчонки, делали несусветные реверан- сы, кричали:

— Приветствуем Всеволода Эмилича! — и замирали «в позах».

Прохожие расступались, огибали, оглядывались. Всеволод Эмильевич всегда останавливался, чуть приподнимал шляпу над патлатой головой, не улыбался.

— Какая нужда? — строго спрашивал носатый Эмильевич, и кто-то всегда выставлял один, два или три пальца.

Всеволод Эмильевич иногда говорил: «Недосуг», — но обычно кивал, и двое или трое мальчишек шли за ним (чья очередь, сговаривались заранее). Над арочным подъездом здания всегда рано начинала светиться вывеска с рубленным шрифтом — ТЕАТР Вс. Эм. МЕЙЕРХОЛЬДА.

Это было его последнее пристанище. Он проходил не через артистический, а через главный вход. Там с ним здоровались зрители, пришедшие на спектакль. Но тихо, почтительно, иные даже подобострастно и пялили глаза на сопровождавших мальчишек. Мы, голодранцы, чувствовали себя его адъютантами и вышагивали мимо запретительных «Дети до 16 лет...».

Возле билетерши Всеволод Эмильевич говорил:

— Извините, это со мной. Им уже... много!

А дальше был «Лес», «Горе уму» или даже «Дама с камелиями» с Зиной Райх в главной роли — его последние спектакли, удержавшиеся в репертуаре.

Зал театра уже редко наполнялся, оставалось много свободных мест, начинался официально организованный закат всемирно известной театральной звезды. Так называемый «революционный авангард» становился не нужен — появилась потребность в новом официальном классицизме под социалистическим соусом. Мейерхольда уже вовсю шерстили, открыто ругали и поносили в газетах...

Пионервожатая Антонина толкнула меня: оказывается, объявили приветствие от подшефной школы. Я с трудом удержался на ногах (наверное, она волновалась больше меня и не рассчитала силу толчка). Впереди была ярко освещенная сцена с многолюдным президиумом, слева трибуна, прижатая вплотную к ступенькам, — уютный, но тесный зальчик радиотеатра, узкие проходы. Передо мной начали расступаться люди, и я уже свободно шел вдоль стены. Духоты как не бывало — сплошной кислород! — и только что ветер не дул мне в лицо... Когда взобрался на трибуну, обнаружил, что вот тут-то не мешало бы иметь какой-нибудь ящик из-под яблок или просто маленькую старушечью скамеечку. Большие, как черные тыквы, микрофоны оказались выше уровня моей макушки. Слова: «Дорогие и заботливые товарищи шефы!» — пришлось повторить два раза. В зале раздался смехок, и какой-то дурак зааплодировал. Тогда я нащупал ногой высокий внутренний борт трибуны и, широко расставив ноги, приподнялся на эти спасительные выступы. Стоял хоть и враскорячку, но микрофоны были теперь на уровне глаз — можно говорить. Опять хлопали — теперь уже меня подбадривали.

Зал слушал умиленно, сиял общим сиянием — большинство лиц было женских и восторженных. Несколько раз аплодировали, даже смеялись громко. Нельзя, да и не нужно вспоминать, о чем я говорил, это не имело никакого значения, главное, как бодро говорил. Зал был горд — вот-де растет племя, уже способное вскарабкаться на трибуну и произнести что-то если не членораздельное, то звучное!.. Промелькнуло лицо старшей пионервожатой — «как быстро она пробралась вперед», — коротко стриженная дылда озиралась по сторонам и выглядела такой счастливой, словно эти рукоплескания предназначались ей. А вот когда я действительно закончил выступление и нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущую обратно в зал, поверх аплодисментов услышал за спиной властно-отчетливый окрик из президиума:

— А ну-ка, орел, иди сюда!

Я оглянулся — и едва не загремел со ступенек.

В самом центре президиума, возле графина с водой, сидел начальник ГУЛАГа НКВД СССР Матвей Берман... Смятение, ощущение полного провала, у меня просто отнялись ноги, и я чуть не сел на пол. Но тут кругом было много заботливых рук: подхватили, почти понесли. Что-то сдвигали, уступали свои места, втискивали еще один стул в переуплотненное пространство, и я очутился — в президиуме! Стиснутое множество — и я в самой середине! А рядом — Берман.

Зал ликовал, и в моем воображении промелькнула четырнадцатилетняя Мамлакат, которую сам Сталин на съезде колхозников-ударников то ли поднял на руки, то ли поставил прямо на стол, и она его, кажется, облобызала. За что такое наказание? Я вообще терпеть не мог всяких лобызаний. Было ощущение захлопнувшейся ловушки и нестерпимая сухость в горле. И тут я услышал прямо у самого уха:

— Сиди ровно... Ну-ну, держись, орел!

Дался же ему этот пернатый с загнутым клювом!

Берман, слава аллаху, не лез с поцелуями. Он налил — не из графина, а из отдельно стоящей бутылки — полстакана минеральной и поставил передо мной. Я выпил залпом.

— Вот так, молодец, — одобрил он мою решительность. — Хорошо, хорошо говорил.

На трибуне уже взгромоздилась ораторша, но я не мог разобрать, о чем она говорила, хотя она и кричала так, словно выступала в обществе безнадежно глухих.

— Отца выпустили? — очень тихо спросил Берман.

Я покачал головой.

— Скоро выпустят, — пообещал Берман, будто что-то знал наперед.

— А в школе знают?..

— Нет.

— Правильно. Не говори... — Ничего себе. Сидим в президиуме — и о чем толкуем...

— А в комсомол?

Я и тут мотнул головой: мол, нет и нет.

— Зря, — хоть и тихо, но решительно произнес он. — Подавай. Пока суд-дело, отца выпустят.

— А не...

— Подавай, ни с кем не советуйся. А про отца — ни слова...

Ну и ну, это уж вовсе ни в какие ворота. Но не возражать же ему прямо здесь. Ведь Берман есть Берман!

— Никуда не уходи. После нее буду выступать я. Потом еще поговорим. Сиди жди.

Я постепенно приходил в себя и спросил:

— А вы теперь кто?.. — Опять этот дурацкий вопрос.

— Вот теперь нарком, — чуть поморщился Берман. И только тут я увидел, что на гимнастерке нет петлиц и ромбов нет, один орден Красного Знамени остался.

Берман выглядел довольно бодро, время от времени кому-то улыбался широкой ободряющей улыбкой вождя (такая улыбка уже прочно вошла в моду).

А ведь все в этом зале уже знали: должность народного комиссара связи стала должностью пересадочной, отсюда еще никто не уходил на повышение, отсюда все по очереди отправлялись или на скамью подсудимых — «на процесс», или в небытие. Три-четыре месяца нарком — и тютю. А Берман... Мне и по сей день кажется, что своей судьбы он не предчувствовал. Иначе вел бы себя как-то по-другому. Нет! Ничего он про себя не понимал. Ближайшие события это доказали.

Новый нарком стоял на трибуне и говорил: уверенно, по-кировски выбрасывал раскрытую ладонь, говорил не по бумажке, в ораторской ма-

нере, вроде бы широко охватывая весь зал. Он шутил — смеялись, — предлагал ввести плату за телеграфные бланки. Чтобы люди бережнее относились к государственному имуществу, даже если это линованная бумажка. Зал единодушно аплодировал: как это раньше никому в голову не пришла такая значительная мысль — драть с каждого по две копейки за листочек? А ведь и вправду, как здорово — сначала думать будут, а потом писать свои телеграммы. А то ведь сначала пишут, а потом думают...

Он вернулся в президиум всклокоченный, возбужденный — была вроде бы овация и всеобщий восторг! Но какие-то не вполне настоящие. Выкрики отдельные раздались: «Да здравствует...» — но без общего вставания... Берман сразу как-то сник и стал рассеян. Потом еще немного поговорил со мной, но уже напоказ, для окружающих. Вожатой Антонине велел беречь таких орлов и пестовать... Поблагодарил ее — она чуть не взвилась под потолок от счастья и дербалызнула меня ладонью по плечу довольно больно. А меня охватили тревога и скулящий озноб, теперь уже за папу. Все показалось шатким, ненадежным, ускользающим.

— На концерт оставайся... Хороший будет... Если что, дай о себе знать, — туманно произнес Берман.

Лицом он резко изменился, смотрел теперь куда-то вглубь, а не вдаль. Берман двинулся к выходу. Его сопровождала целая свита. Но я заметил, как неестественно, демонстративно выпрямлена его спина, и подумал: он как будто уходил вообще, в неизвестность, навсегда. И свита туда же...

Каждому свои подмости, каждому своя роль, каждому свой зритель. Вот вам и театр всеобщего абсурда и кошмара. Куда там Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду...

### Справка о Бермане Матвее Давидовиче

...Знаю, ЗНАЮ — страдальцы и терпцы (подлинные и фальшивые) с ужасом в лице прокричат: «Это же прямая реабилитация изверга! Одного из главных создателей Архипелага ГУЛАГ! „Кровавого мальчика“, как мы его называли в лагерях еще до войны!»

«Кровавым мальчиком», может быть, его и называли. После поздней осени 1937 года можно было бы назвать еще и «окровавленным». Не его одного... Одни гады всегда пожирают других, а третьи — оставшихся.

Выписка из послужного списка и автобиографии: «Родился... Рос в семье... Учился, но недоучился... В партии с... В 19 лет уже сотрудник контрразведки Сибирской Республики. В 22 — начальник контрразведки Дальневосточной Приморской. После присоединения и вхождения в СССР — начальник контрразведки Дальневосточного края. Перевод в Москву...»

Вскоре Берман — зам. нач. ГУЛАГа НКВД СССР. Был членом государственной комиссии по продаже полотен и ценностей из коллекции Эрмитажа. И сразу — замнаркома и начальник ГУЛАГа. Строительство Беломорско-Балтийского канала и превращение ГУЛАГа в самую мощную истребительно-трудовую стройку страны... Ни одного приговора — и десятки, сотни, сотни тысяч жертв... Ни одного собственноручного расстрела — и миллионы уничтоженных жизней... Вот вам и «МАЛЬЧИК».

(Конец справки.)

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Все, что в дальнейшем произошло, я узнал много позднее. Собственно, детали узнал позднее, а суть была на виду сразу. Матвей Берман недолго пробыл на посту народного комиссара связи. И его — о чудо!.. вот бывает и такое — отозвали и снова назначили заместителем наркома, опять начальником ГУЛАГа НКВД СССР. И задачи поставили доселе не-



виданные, и перспективы расширили, и штаты... Наркомвнудел был уже новый — ежовский.

Кругом все ахнули, усомнились поначалу, не поверили, а Берман и глазом не моргнул — знал, что без него в таком сложном, многогранном и запутанном хозяйстве не обойтись. Неугомонный Матвей опять влетел в лагерную преисподнюю, да никуда-нибудь, а на самый верх!.. Или на самое дно. Первое, что он сделал, — это стал собирать своих прокаленных чекистов, тех, на кого можно было положиться — положиться, как на самого себя. Так он сам говорил. Некоторые уже сидели как заядлые враги народа, их пришлось выпарывать из самых дальних лагерей и загонов. А кое-кого и молча помянуть следовало. Не ныл, не жаловался. Работал круглосуточно и сотрудникам спуска не давал. Ведь, с одной стороны, личный состав изрядно поубавился, а с другой — сильно увеличился (в три-четыре раза). Всего за несколько месяцев его отсутствия все гулаговское хозяйство, вся громадина, разрослось непомерно. Забот «полна пазуха и рот!» Однако у рыцарей революции нет ничего невыполнимого: «Любое задание Родины и лично Ваше, товарищ Сталин...»

Но, вернувшись на прежнюю должность, продержался решительный Матвей не так уж долго. Оглянуться не успел толком, десятой доли своих государственных замыслов не осуществил... Подкатил семейный праздник — день рождения дражайшей половины — у друга и соратника Петра Александровича Петровича. Того самого, что был начальником Вяземлага. Жена — это вам не хухры-мухры. Надо было отметить как следует — уж больно тревожное и трепетное время наступило, — и воспользоваться случаем, укрепить ряды уцелевших ветеранов, вдохнуть в них новые силы, подтянуть, а может быть, и к грядущему подготовиться... Чудаки — разве к нашему грядущему можно подготовиться? На то оно и грядет — не набегаёт, а ударяет внезапно! Дрожь трепетная была, но верили, что ему, Матвею, вот-вот снова несмотря ни на что удастся возродить или, точнее, отковать новый, невиданный доселе, *непрошибаемый монолит — ГУЛАГ № 2*. Похлеще первого. Всесоюзный прообраз Всемирного... А в личном плане поскромнее: день рождения — но какой! Это же надо изобретательность такую возыметь: в дни повальных обысков, арестов и расстрелов — запырить домашний *маскарад!*

Время действия — 15 сентября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Место — знаменитый доходный дом Неринзее в Гнездиновском переулке (там в полуподвале цыганский театр «Ромэн» находился), квартира дореволюционного размаха, в бельэтаже, с высоченными потолками.

Предполагалось гостей двенадцать пар — все чины с женами, надежные, проверенные.

Только Берман появился без жены.

Какое-то нехорошее предчувствие сидело в нем засадою и не давало покоя — буравило. Ну еще бы: настоящий контрразведчик — чутье! Он даже хозяину квартиры как-то намекнул об этом — приоткрылся. Но закадычный Петрович начисто отмел всякие наводки на какие бы то ни было предчувствия. А большинство гостей отнесли смурость Бермана на счет его неурядиц с дочкой и жenuшкой.

Маскарадные костюмы отбирали заранее, с учетом вкусов, должностей и размеров. Тут жены потрудились на славу — задействовали не только Гостеакостюм, но и специальное хранилище, и лучших театральных консультантов. Но в последний момент выяснилось, что Берман переодеваться не станет. Чем сильно озаботил хозяина торжества. В знак солидарности Петрович тоже переодеваться отказался. Маскарад вот-вот мог пойти под откос.

У Бермана действительно было не просто плохое настроение, с этим злом он бы всегда управился, а некая давящая сумеречность. На него все

это было мало похоже, а пуще того, он никак не мог этого наваждения скрыть.

Так вот, гулаговский демократизм победил — остальным мужчинам просто приказали: «Переодеваться! И никаких разговоров!» На том все согласились. Женщины сразу воспрянули, мужья встряхнулись — ожили. Все стали облачаться — расфуфырились, намалевались. И началось! Гуляли на славу, вразнос — без всякого удержу. Стол ломился, напитков не перечесть. Женщин под масками да в таких нарядах при малой толике фантазии можно было принять за кого угодно, если, конечно, не слышать особо наработанных модуляций в голосе и не вникать в смысл оборотов речи. Не только заботы, но и дурные предчувствия ухнули и разлетелись. Пили легко и много, танцевали все, кто умел и не умел, куролесили чадно и не стеснялись, даже песни пели — махнули рукой на то, что прямо над ними была квартира Алилуева — брата покойной жены Сталина. Какой там покойной — убиенной. И все знали, но тут — нишкни! Гуляй, лубяные-забубенные! «Грех в мех, да в мешок, да под лавку».

Во втором часу ночи, в самый разгар веселья, позвонил работник родного наркомата — поздравил, извинился за поздний звонок, спросил, как идет веселье. И попросил разрешения спуститься к ним с подарком и небольшим сюрпризом — он жил в этом же подъезде, несколькими этажами выше.

— Возражений нет?

Какие могут быть возражения? Свой и, как говорится, свежая кровь в компании. Способствует раскату веселья.

— Да еще с подарком и сюрпризом!

— Нашел кому сюрпризы делать, мы, брат, и сами умеем...

Ну, веселились! Даже Матвей раскочегарился. Но сосед-сослуживец вошел в квартиру не один, а с четырнадцатью вооруженными (да еще двое понятых). Ворвались так стремительно и воинственно, словно были готовы к бешеному сопротивлению. Ряженные протрезвели мигом. Дамы как плюхнулись где кого застало, так и окаменели. Только одна, жена оперода (начальника оперативного отдела), большая общественница и затейница — это она маскарад придумала и немало потрудилась над его осуществлением, — при вторжении взвизгнула:

— Ой! Да они нас разыгрывают! Константин, перестань!.. — Узнала Костю, начальника группы.

Но тут ей парик сдвинули на физию так, что уже и слова произнести не могла... Вот те и Костя! Боевых подруг смяли и разогнали по углам, сильно повредив маскарадные костюмы, прически, маски и даже грим; мужчин попросили не двигаться, во избежание... И сдать оружие (кое у кого под замысловатыми костюмами оказалось), а Бермана и Петровича сразу оттеснили и уволокли в последнюю глухую спальную комнату. Пять часов продолжался обыск. И шелохнуться не давали. Начало светать. Женщины еле держались, даже не на ногах, а на стульях — в уборную выходить не разрешили никому.

— Знаем мы эти клозеты-мазеты!.. Авось не обоссыси... — Вежливо и с достоинством: — Ты в уборную по-маленькому, а мне отвечать?

— Откуда такая жестокость? — Ах!

СО — всем отделам отдел. Оказалось, прошлой ночью пришли брать начальника Секретного Особого. Обыскивали. Вот так же: он попросился в уборную. Работали не лопухи — осмотрели, прощупали, в бачок заглянули. Шестой этаж. Глухое замкнутое пространство специального назначения. «Не святой же дух, не улетит по вентиляционному ходу», — пошутил ответственный работник, руководитель обыска и ареста.

СО направился по коридору, охранник за ним. Вдруг от самой двери туалета арестованный резко повернул направо и быстро прошел в кухню — окно там было распахнуто, — на долю секунды даже не приостановился,

перемахнул через подоконник и улетел в глубь черного двора. Вот вам и «не святой дух»! Оказывается, последние две-три недели начальник держал окно раскрытым круглые сутки. Несмотря на холодные ночи. Романтика!

— Недаром же он был СО, а не жопа с ручкой!

Потом хозяина квартиры и Матвея Бермана увели.

Конвой ополовинился, молодцеватый Константин, человек без возраста, всего с двумя шпалами в петлицах, сказал гостям:

— Разойтись. По домам! — Это прозвучало непререкаемо. — И чтоб не завернули куда-нибудь. Ни под каким видом! — А потом еще добавил: — Надеюсь, здесь все грамотные?

Гостей как паводком смыло.

Недели через три Матвея Бермана и Петровича расстреляли. Пришел их черед. Всё!.. Каково-то было ему, уверенному в себе и преисполненному самых радужных надежд, хозяину новой жизни и властителю замурованных миллионов жизней, становиться лицом к стенке и почувствовать своим круглым затылком дуло пистолета. Впрочем, наверное, так же, как и любому другому смертному...



---

---

МАКСИМ АМЕЛИН



## ЭЛЕГИИ НАЧАЛО

### Послание Николаю Михайловичу Языкову

Не время ли черкнуть письмо, не канителя,  
в заочный Вертоград  
Языкову, певцу отрадных нег и хмеля,  
божественных услад

причастнику, тебе, умом и веком выше,  
неметчины врагу  
неколебимому, когда дворы и крыши  
московские в снегу.

Уже который год — навеки неужели? —  
в отечестве зима, —  
состаришься, пока меж завитками *гжели*  
проступит *хохлома*.

Завидую: разгар в надмирных весах лета, —  
погодка хороша!  
Так горе-пассажир, шатаясь, из буфета —  
в кармане ни гроша —

выходит на перрон за отошедшим скорым  
следить разинув рот.  
А жизнь берет свое, берет свое измором,  
на понт свое берет.

По осени цыплят на том и этом свете  
неточно сосчитав,  
грешно завидовать, ведь в утренней газете  
напишется: «Состав

с рельс под откос вчера... в живых осталось двое...  
собака и петух...»  
Надежды семафор помигивал в пустое  
пространство и — потух.

Мне ничего не жаль и никого не жалко —  
я знаю, что вот-вот  
над сонным городом небесная фиалка  
пышнее расцветет.

Табачный фимиам на жар былых каминов  
похож. Куда ни глянь,  
счастливые к метро, дешевую накинув —  
грядут — американь,

торжественно, минуя церковку Николы,  
Пашкова дом в лесах. —  
У каждого свои напряги и приколы,  
един — торговый стяг.

В авто и без — ясней на утреннем морозе  
фигуры новых бар,  
что вечерять сюда в ирландский внидут «Рози  
O'Gredy's» — шумный бар.

Коль славны пиршества! Проплачено валютой  
за этот фианит...  
От счастья полного и от напасти лютой  
Господь меня хранит,

спускаться в прошлое, забыв о настоящем,  
и в будущее лезть  
мне заповедую, — за вещим сном и вящим  
тая Благою весть.

Пока. До скорого. P. S. Покуда вьюга  
хрущобы и кремли  
не замела, понять попробуем друг друга,  
ты — неба, я — земли

не обыватели, владеющие лирой,  
но воины: ладонь  
в огонь. Чуть что не так — пиши, телеграфируй,  
а лучше — телефонь.

Языков! я тебя по голосу узнаю  
и с яростью в крови  
в твою со временем перекочую стаю. —  
Прочти и разорви!

\* \*  
\*

Божественного напитка  
навязчивый вкус во рту.  
Попытка — почти что пытка —  
прикуривать на ветру.

Не робкого я десятка,  
но как-то не по себе:  
пульсируя, лихорадка  
вздувается на губе.

Единство противоречий  
и разница равных зол, —  
под волчьей шкурой овечий  
шевелится произвол.

Господня по своре вражьей  
пока не прошла метла,  
я должен стоять на страже  
высокого ремесла.

\* \*  
\*

«О том, что мы когда-нибудь умрем,  
деревья здесь рыдали янтарем,  
когда еще ничто не предвещало,  
что вызванные из небытия  
велением Господним — ты и я —  
сберемся жить...» — Элегии начало

оборвано, — ее продлить, увы!  
нет вдохновения, из головы  
не тщусь тянуть по строчке и подавно,  
пока выносит на берег волна,  
курчавая наследница руна  
златого, плач окаменелый плавно.

\* \*  
\*

Усеяны густо зубами дракона  
песчаные горы на Куршской косе,  
делящей бурливое надвое лоно  
упругого моря, — усеяны все.

В урочное время по всем косогорам,  
разбужены распрей, они прорастут,  
согбенными соснами встав под напором  
стихии безумной, — останутся тут

полоскою леса, угрюмой и хмурой.  
Так было, так будет — из жара да в дрожь  
при мысли: на них несуразной фигурой,  
на прошлых и будущих, сам я похож.

\* \*  
\*

Старый фотограф с треножником из дюрали  
бродит по пляжу тщетно в поисках тех,  
кто пожелал бы снимок на фоне дали  
Бельта ли, гор ли песчаных, но — как на грех —

никого: никому ничего не надо, —  
отдыхающих тыщи снабжены  
кодаками, полароидами — не досада  
неимоверной, но сожаление — глубины.

Бос, молчалив, минуя свалку людскую,  
он по песку одной, по волне другой,  
полон тоской, которой и я тоскую,  
не оставляя следов, ступает ногой.

Из сыновей приемных златого Феба  
самый последний — самый любимый ты! —  
брось свой треножник, фотографируй небо,  
море и солнце, блещущее с высоты.

\* \*  
\*

Четыре раза снег ложился, таял  
четыре раза, таял без остатка, —  
осямнадцатого только ноября  
лег намертво, надолго. — Мне придется  
и эту зиму перезимовать

в двенадцатиэтажной — не из кости  
слоновой — башне на последнем (или  
от меди неба первом — как считать!),  
одним окном в Коломенское, парой  
других на непроглядную Москву

побликивая. — *Золото в лазури*  
в том принимая, в этих провожая,  
как на душу положит Бог, живу,  
живу и не жалею. — 28  
на Рождество мне стукнет, — грабли в лоб

так незамеченные в огороде  
не раз, не два, на шишке с шишкой шишку  
закручивая рогом, *хлоп да хлоп*. —  
Глупея незаметно год от году  
и забывая то, что в детстве знал,

я становлюсь скорее неизбежен,  
чем отвратим, — не чувствую, не вижу,  
не ведаю, растителен и мал, —  
все чаще будни, праздники все реже,  
«все жижее стул», как Фрейдкин Марк поет

с иронией сантиментальной. Кстати,  
он лавочку *отныне и навеки*  
свою закрыл, а жаль! — Недоброхот:  
«В Москве немало книжных магазинов!» —  
шипя, прошепчет, я же промолчу

ему в ответ минуту, не заплачу,  
но заплачу, ком откатив от горла  
и слезы сублимируя в мочу,  
презрением. — Я болен прошлым, ибо  
у будущего будущего нет!

Урывками в метро читать *Омира*  
*полнощного, стран северных Пиндара,*  
 слагать из встречных лиц один портрет  
 и рвать его на мелкие кусочки,  
 считая прибыль. — Мой удел таков,

поэтому оставь меня в покое —  
*я сам себе, ты сам себе хозяин* —  
 без рук, без торга и без дураков!  
 Снег на поле не то, что снег на крыше;  
 страшна не так, как говорят о ней,

зима московская провинциалу, —  
 мне, гостю постоянному столицы,  
 нет этих страхов ничего смешней;  
 хоть подхватил противный от Катулла  
 я кашель, *дубоглотом* что зовут

(мне кашель больше насморка по нраву). —  
 Сумняешься ничтоже, многоточий  
 понавставлять бы где-нибудь вот тут,  
 да жалко места. *Каркалец* на кухне  
 бормочет нечто бранное. — Скажи,

что связывает кроме посторонних  
 рифм, синтаксиса вьющегося, метра  
 единого строф этих этажи? —  
*Все на соплях*, — в России связи крепче  
 не будет, нет и не было, а зря.

\* \*  
 \*

Эти бездонные ночи в июле,

*О!*

Ты вопрошаешь: — Меня обманули?  
 — Да, — отвечаю, — но как!

Лучше не спрашивай. Долго во власти  
 сам обаяния их  
 я находился, и на тебе, здрасьте, —  
 проза испортила стих.





---

---

ЮРИЙ БУЙДА

\*

## ЖИВЕМ ВСЕГО ДВА РАЗА

*Рассказы*

### БЕСПРИЧИННЫЙ ЧЕЛОВЕК

**Г**ромадный угрюмый кирпичный дом-утиг высоко возносил свои черепичные скаты над пестрядиной толевых и шиферных крыш сарайчиков, в которых вздыхали коровы, похрюкивали свиньи и бесшумно росли овцы. Поздним летним вечером Митя Северин выбирался во двор, садился на принесенный с собою стул, упирался босыми пятками в землю и подносил к губам трубу. Он играл «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», постепенно переплавляя мелодию во «Вниз по реке» или в битловское «Вчера». Время от времени он прикладывался к стоявшей под стулом бутылке и, выкурив маленькую папироску и смачно отхаркавшись, вновь брался за трубу. Играл он чудо как хорошо, поэтому ни доминошники в другом углу двора, ни жильцы дома, отходившие ко сну, на Митю не ругались. Из окна за ним наблюдала жена — цыганка Оля, сурового вида женщина с резкими чертами лица и копной крашенных волос на лошадиной голове. Когда в доме оставалось лишь одно освещенное окно, Оля спускалась во двор, брала стул в руку, мужа под руку — и вводила спать. Утром старуха дворничиха Кильманда убирала окурки и плевки, а бутылку сдавала в магазин Шурке.

Митя служил в пожарной команде, которая с утра до вечера спала или резалась в домино, а на пожары всегда опаздывала. В пожарные шли люди, обремененные семьями и державшие большое хозяйство, требовавшее времени. Митя же прирабатывал игрой в оркестре на похоронах да иногда на свадьбах. Сосед старик Яшин морщился: «Не люблю эти похоронные развлечения. Может, просто смерти боюсь?» Митя ухмылялся: «Да не смерти ты боишься, а жизни. Живешь как жук, жуком и помрешь. А смерти нету — есть только похороны». Яшин сердился: «Жук! А ты не жук? Или у тебя цель какая-нибудь такая есть?» — «Я в детстве бабке на иконе поклялся, — отвечал Северин, — ни за что никогда никакой цели не иметь. Чтoб жизнь меня не поймала».

Таких людей в городке называли «беспричинными» и не ставили ни во что. Зимой и летом они толкались у винного магазина, и в этих компаниях всегда торчал Митя.

В начале лета Тата Северина утонула в реке Лаве. Ее выловили у железнодорожного моста. Похоронив дочку, цыганка Оля надела поверх ситцевого халата норковую шубу, когда-то подаренную мужем, и ушла куда глаза глядят, оставив Митю в полупустой запущенной квартирке. Тем вечером он, как всегда, спустился со стулом, бутылкой и трубой во двор. Почему-то не игралось, и Митя, поразмыслив, отправился на реку. И только забравшись по грудь в воду, он ощутил подъем и разыгрался.

— Дочь погибла, жена ушла, а ты стоишь в реке, рыбами обосранный, и дудишь! — поругал его старик Яшин. — Что ты за человек!

— А я не человек, — хмуро возразил Митя. — Я, брат, игра.

— Одумайся да женись, Северин! И только не ищи какую-нибудь там раскрасавицу: тебе жена нужна, а не женщина.

Все лето он играл на реке неподалеку от старого шлюза. Городок сонно млел под луной, утонув по крыши в разливе лип и боярышника, под печальный напев Митиной трубы. На берегу собирались парни и девушки — они молча слушали Северина и угощали его вином, когда он выбирался из воды погреться у костра. Если его спрашивали, почему он тут играет, Митя отбуркивался: «Нипочему». Романтичные девушки намекали на смерть его дочери в реке: не отпевает ли он Тату? Северин смотрел на них с удивлением и лишь пожимал плечами.

В конце августа он исчез. Мужики с баграми обшарили дно у старого шлюза, где в последний раз видели Митю, но тела не нашли. Предположение о самоубийстве было отвергнуто с порога: с какой такой жизнью сводить счеты беспричинному человеку? Напился и утонул. Пожалел о нем разве что старик Яшин, который сказал: «Жизнь состоит из нас, а любят — его, как мать — больного ребенка. И это важнее для матери, чем для ребенка». Но чего не услышишь от старых болтунов, которые в томительном ожидании смерти давно забыли, что такое любовь и жизнь...

## ЖИВЕМ ВСЕГО ДВА РАЗА

— Простите, вы немец?

Андрей Фотограф обернулся.

Девушка спрыгнула с подножки вагона и поправила темно-каштановые волосы, с улыбкой глядя на рослого костлявого мужчину в черной широкополой шляпе, длинном черном плаще, с узким шарфом, щегольски обмахнутым вокруг шеи. Она была в ситцевом платье с кружевами, слегка пожелтевшими от долгой сундучной выдержки, в туфельках на высоких каблуках. На плечи наброшен легкий светлый плащ. В руках она держала новенькую дешевую сумочку.

— Последнего немца выслали из Восточной Пруссии два года назад, — растерянно сказал он. — Хотите, я вас сфотографирую... я фотограф...

— Стоянка поезда три минуты. — Она с улыбкой покачала головой. — Вы сумасшедший. И фотоаппарата у вас нету. Да и на немца вы не похожи, скорее — на цыгана.

— Это рядом. — Андрей попытался придать своему лицу умоляющее выражение, но сил не было даже на это.

Девушка по-прежнему улыбалась, но взгляд ее был серьезен.

— Это безумие, понимаете?

— Безумие, — согласился он. — Поезд стоит три минуты.

Он шагнул в сторону и наткнулся на этажерку, которую двое молодых людей в одинаковых крапчатых кепках с пуговкой собирались погрузить в вагон. Этажерка покачнулась — он неловко придержал ее рукой.

Девушка рассмеялась:

— Давайте я попробую угадать ваше имя, — предложил он. — Лотерея. Если угадаю, вы...

Она погрозила ему шелковым пальцем.

— Женя, — обреченно сказал он. — Евгения.

Она — уже без улыбки — смотрела на него.

Вот-вот должны были объявить отправление.

— Хорошо, — наконец сказала она. — Куда идти?

Он, разумеется, солгал: от вокзала до ателье было минут двадцать ходу. Они шли не торопясь, взявшись за руки, не обращая внимания на прохожих, удивленных такой фривольностью.

— Да вы не слушаете меня! — воскликнула вдруг она.

— Слушаю. Ваша мама юрист, отец погиб на фронте, вы насмерть поспорились с женихом и уехали из Саратова сюда, в Кёнигсберге у вас тетушка, вы везете ей в подарок шесть серебряных ложек и надеетесь с ее помощью устроиться на работу... Вас действительно зовут Женей?

Она расхохоталась:

— А как же еще! — У нее были мелкие голубоватые зубы. — Шесть ложек — подумать только!

В палисаднике перед фотоателье — это был серый двухэтажный домик под черепичной крышей — цвели алые и белые розы, за которыми ухаживала пожилая уборщица Кувалда, женщина одинокая, грубая, усатая, с огромными костлявыми кулаками. Она важно говорила, что однажды была влюблена, но история кончилась ничем. Пока Андрей обслуживал клиентов, она читала книги из его скромной библиотеки.

— Розы! — счастливым пустым голосом сказала Женя.

В прихожей она одним движением, не глядя — куда, скинула светлый плащ — Андрей подхватил — и прошла в зальчик, где на стрекозьем штативе стоял деревянный фотоаппарат. Андрей ногой отшвырнул стул, на котором обычно послушно деревенели клиенты, и придвинул к ней кресло с высокой прямой спинкой, украшенной резными химерами, драконами и змеями, сплетающимися чешуйчатыми хвостами и угрожающими друг дружке оскаленными пастьями и раздвоенными языками. Женя откинулась на спинку, закинув ногу на ногу и небрежно уронив тонкие прозрачные руки на подлокотники, и вопросительно посмотрела на фотографа, который только сейчас понял, как она высока ростом.

— Сейчас, — сказал он, мучась бессилием своей речи. — Момент. Только один момент.

Через несколько минут он вернулся с охапкой алых и белых роз.

— Это безумие, — вновь сказала она — и вдруг резко встала и, не спуская с него напряженно-темного взгляда, развязала пояс на платье. — Помогите же. — Повернулась к нему спиной: — Там крючки.

Разбудила их Кувалда, матерно горовавшая о загубленных розах. Бухая кирзовыми сапогами, она поднялась в квартиру фотографа, и не успел Андрей спохватиться, как баба вошла в комнату и усталилась на Женю, которая с улыбкой сидела в постели, держа перед собою простыню с алым пятном.

Кувалда шевельнула усами.

— Ну, — наконец сказала она, — раз так...

И ушла.

Наскоро перекусив, они бросились на вокзал. Вскочив на подножку, Женя спросила, приедет ли Андрей на следующий день встретиться с нею.

— Завтра в два я буду у памятника Шиллеру, — сказал Андрей. — Там все встречаются. Известное место.

Двое молодых людей в одинаковых крапчатых кепках с пуговкой, оттолкнув Андрея, едва успели втащить в вагон этажерку. Женя махнула рукой из-за их спин. Поезд тронулся.

Когда Андрей вернулся домой, Кувалда в кухне допивала вторую бутылку водки.

— Значит, счастлив, — отчетливо проговорила она, не поворачиваясь к Фотографу. — И любишь. И хочешь, значит, чтоб всегда так было...

Он с изумлением уставился на нее.

— А если хочешь, чтоб — всегда, — тягуче продолжала Кувалда, — больше с нею никогда не встречайся. Никогда. — Она наконец посмотре-

ла на оторопевшего Андрея и с беззлобной усмешкой повторила: — Никогда. Живем-то всего дважды.

— Дважды? — тупо переспросил Андрей.

— Всяк просит Господа перед смертью о второй жизни, точно зная, что вот уж она-то и будет настоящей, и успевая прожить ее в предсмертном хрипе, стоне и блеве. Так сделай это сейчас, чтоб не жалеть потом. Проживи по-настоящему. И тогда-то у тебя не будет ничего и никого, кроме нее. Не по силе? Мало кому по силе.

— Три минуты, — глухо пробормотал Андрей.

— Чего?

— Да я про жизнь, — сказал он, поднимая налитый Кувалдой стакан. — Неинтересно.

Эту историю Андрей Фотограф рассказал мне двадцать шесть лет спустя, когда мы пили пиво в Красной столовой. Он был известным в городке человеком, прославившимся тем, что делал блистательно лаконичные и трогательные надписи на надгробиях и обручальных кольцах (пятерка за строку прозы, десятка — за стихотворную). Весь городок знал надпись — его авторства — на могиле главного городского оборота и пьяницы Кольки Урблюда: «Лежал бы ты — читал бы я». На его фотографиях были запечатлены все жители городка, их жизнь от рождения до смерти. Раз-другой в месяц, подкопив денег, он исчезал на несколько дней из городка, но всякий раз возвращался — помятый, небритый, с виноватой улыбкой на обрюзгшем лице, — чтобы вернуться к обязанностям «мастера смерти», как он сам это называл, — вновь и вновь останавливать мгновения и выдавать их клиентам строго по квитанциям...

— И ты так и не встретился с нею?

Он странно посмотрел на меня и проговорил с улыбкой:

— Но зато у меня ничего и никого настоящего, кроме нее, в жизни и не было. А она — была. Понимаешь?

— Была?

— Была, — пьяно кивнул он. — Живем-то всего два раза, чего ж непонятного...

## ВАНДА БАНДА

До самой смерти ее мать была убеждена, что внутри у нее живет лягушка, которая проникла в желудок, оттуда в печень — головастиком, когда женщина однажды в лесу утолила жажду из придорожной лужи. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, она глушила лягушку водкой, пока в один прекрасный день взбесившаяся рептилия не укусила ее в сердце.

Ее отец был известен лишь тем, что, в отличие от других забойщиков скота, пользовавшихся ножами, приканчивал созревшую свинью ударом головы. Ничего не подозревавшее животное с недоумением взирало на невзрачного мужчичку, приближавшегося к жертве на четвереньках, и вот тут-то он хватал свинью за уши и бил лбом промеж глаз. На спор он заколачивал лбом же гвозди в стену. В конце концов его нашли в свином закуте, где у него разорвалось сердце. За ночь животные объели у него все выступающие части лица, поэтому хоронить его пришлось в закрытом гробу.

Люди как люди. Как все. Вот у них-то и родилась Ванда Банда, самая сильная в мире женщина, чью верхнюю губу украшали усы твердые и острые, как щучьи ребра, а левую ногу — до колена — сшитый отцом из свиной кожи грубый ботинок на шнуровке. Этот башмак, как гласит предание, Ванда никогда не снимала, не чистила и не мыла.

Ее необыкновенный дар проявился уже в раннем детстве, когда семилетняя девочка принесла домой упившуюся мать и только тогда обнаружи-

ла, что всю дорогу матушка не выпускала из рук мешок с украденной на ферме трехпудовой свиньей.

Одноклассники вскоре поняли, что с Вандой, получившей прозвище Банда, лучше не связываться: одним ударом она свалила десяток хулиганов и забор, возле которого случилась драка, а заодно и корову, забравшуюся в палисадник полакомиться цветами. Повзрослев, она для устрашения противников однажды голыми руками разорвала пополам живую кошку.

Созревала она пугающе быстро. Что бы она ни надевала на себя, даже если вещь была впору, одежда трещала по швам и лишалась пуговиц, сыпавшихся с Ванды, как переспелые вишни. Мальчики слепо преследовали ее, с хрустом дробя каблуками пуговицы и умоляя снять ботинок с левой ноги. Позднее на ее верхней губе пробились усики. Она украшала их крошечными серебряными колокольчиками, чей непрерывный тонкий звон вызывал у мужчин смещение сердца к мочевому пузырю.

Не понимая, что с нею происходит, Ванда потерянно бродила по дому, наткываясь на мебель и задевая дверные косяки. Висевшая на стене в гостиной гитара при ее приближении начинала гудеть, и однажды на ней полопались все струны.

Когда же она в женской парикмахерской спросила у немой Тарзанихи (получившей прозвище после смерти мужа, когда она приобрела привычку раз-другой в месяц забираться на дерево, чтобы насладиться одиночеством), что все это значит, парикмахерша припудрила зеркало и вывела пальцем на стекле: «лебовь».

— И что? — не поняла Ванда, ужасно покраснев. — Что это такое?

— Это что-то вроде уродства, — объяснила Буяниха. — То, без чего ты не можешь обойтись, хотя и хотела бы. Ну, скажем, горб. Или красота.

После смерти родителей Ванда устроилась грузчицей на мукомольный завод, где в одиночку за смену разгружала пять-шесть вагонов с зерном, и завела кота — черного зверя, вскоре ставшего грозой и любимцем кошачьей округи. От диких его воплей Вандино сердечко переворачивалось и гнало кровь в обратном направлении. Она думала, что кот мучается своей безымянностью, но предложение Буянихи назвать его Чертом отвергла:

— Этого? Тогда он обязательно станет чертом.

Она подолгу не засыпала, боясь темноты, как в детстве боялась цыгана, — от ее страха темнота становилась такой густой, что сновидения увязали в ней и не могли добраться до Вандиной постели. Среди ночи она вскидывалась и хохотала глупым оперным басом.

Измученная бессонными ночами и кошачьими криками, Ванда однажды кастрировала своего черного зверя и привязала его шелковой ленточкой к ножке стола в гостиной. Теперь, едва завидев ее, кот всякий раз испускал ужасный вопль и вставал на дыбы, норовя сожрать хозяйку, и с такой силой дергал стол, что ваза с цветами неизменно летела на пол. В конце концов Ванде пришлось оставить кота в покое. Она наловчилась покидать дом через окно спальни.

И вот наконец она влюбилась.

И в кого!

Это был мужчина тридцатисантиметрового роста. Она нашла его в саду возле свежей кротовины и решила было, что это крот какой-то неведомой породы. Преодолев мгновенное и произвольное отвращение, она подняла его на ладони к глазам и убедилась, что перед нею самый настоящий, самый всамделишный человек, мужчина со всеми его атрибутами (он был наг), дрожавший от холода и страха, явственно читавшегося на его личике. Он был гармонично сложен, красив и беспомощен. Протянув руки к Ванде, он что-то проговорил то ли на кротовьем, то ли птичьим языке. Девушка засмеялась, поднесла его ближе к губам, человек укололся ее усом — твердым и острым, как щучье ребро, — и вскрикнул. Девушка ис-

пугалась, сердце ее перевернулось, погнав кровь в обратном направлении, и тут-то она и поняла, что влюбилась, и произнесла это вслух таким голосом, каким говорят: «Я умираю», — или: «Я убила его».

Целый год человек прожил в ее спальне, прежде чем она убедилась, что это не ребенок, а зрелый мужчина, достигший предела в росте. Она назвала его Мыня, образовав прозвище от слова «мышонок». Соорудила ему одежду и постель, купила игрушечную мебель и посуду и заколотила дверь в гостиную огромными ржавыми гвоздями, чтобы человек случайно не стал жертвой кровожадного черного кота.

Влезая после работы в окно спальни, она испытывала неведомую ей прежде радость лишь оттого, что в уголке, где было устроено Мынино жилье, горит свет (в роли светильника выступал карманный фонарик), что человек цел и невредим и даже, кажется, рад ее возвращению. Ванда тотчас принималась готовить для Мыни что-нибудь вкусенькое, а потом с умилением наблюдала за тем, как он орудует кукольной вилкой и кукольным ножом...

Ванда мучилась немотой, постепенно осознавая, какая это опасная болезнь — любовь. Ей хотелось поведать Мыне о своих чувствах, и она не раз пыталась сделать это, однако ей не давалась даже простейшая фраза: «Я тебя люблю». Она выучила ее наизусть, но так и не смогла продвинуться дальше местоимений. Слово же «люблю» застревало в горле, вызывая удушье. Тогда Ванда попробовала обойтись без него: «Я.. тебя.. понимаешь? Я — тебя...» И строила умильную физиономию, на которой были глаза, нос, губы и усы с колокольчиками, но не было слова «люблю». Она попыталась выразить чувства жестами, но все кончилось тем, что, ткнув пальцем в грудь себя и Мыню, она упала в обморок, каковой мог означать что угодно. Она зажигала спички, чтоб объяснить Мыне, как она пылает. Она пила воду, чтоб он понял, как она жаждет. Наконец она прибегла к самому сильному средству, с трудом выдавив из себя единственную известную ей фразу на литовском языке: «Аш тавя милю».

Человек с любопытством и тревогой следил за Вандиными ужимками, но, кажется, ничего не понимал.

Ванда мучительно размышляла о слове «любовь», недоумевая, почему именно оно должно выражать то, что чувствует она, Ванда (а не тот человек, который, возможно, избрал это слово для себя и своих чувств), и не обман ли это, и нет ли более подходящих слов, которые не действовали бы на ее язык подобно уколу анестезина перед удалением зуба...

Наконец девушка сообразила, что они должны научиться понимать друг друга, и взялась учить Мыню русскому языку. Поскольку Ванда не читала ничего, кроме школьных учебников, Мыня вскоре освоил весь ее словарь. Теперь он понимал, что стул — это стул, но не понимал, что любовь — это любовь. Ванда прибегла к самому обыкновенному и самому пагубному средству: она записалась в библиотеку и принялась читать книги. Как и следовало ожидать, даже то, что было ясно вчера, отныне превратилось в нечто зыбкое и ускользающее...

Совершенствуясь в шитье лилипутской одежды и изготовлении миниатюрной мебели, Ванда думала о Мыниной родине. Откуда он? Где находится страна, населенная крошечными мужчинами и женщинами, щебечущими на птичьем языке, в котором слово «любовь», возможно, означает что-нибудь иное или, маленькое и слабое, вовсе лишено тяжести смысла, озабоченное разве что выживанием в слабосильном словаре? Разве сравнить их слово с «любовью» Ванды, голыми руками разорвавшей пополам живую кошку! А какие там птицы и кошки? Не может же быть, чтобы такие крошечные коты испытывали такие же чувства — к птицам ли, людям ли, все равно, — какие испытывает зверь в ее гостиной, вмещающий столько злобы в черном бесполом теле...

— Ты жил под землей? — спрашивала она Мыню.

— Нет.

— На небе?

— Нет. В гдетии.

— Кем же ты там был?

Ей хотелось, чтобы в этой самой «гдетии» он был принцем, хотя она не знала, где находится эта страна и каково там политическое и государственное устройство (как в муравейнике? в пчелином рое?).

— Я был аретом.

— Принцем?

— Аретом великой тэфелы. Я лепулил для такси.

Иногда она испытывала что-то вроде ревности к возможной сопернице из иного мира и готова была уничтожить неведомую страну, чтобы Мыня не смог туда вернуться. словно отвечая этому темному движению ее души, черный кот в гостиной грохал столом и гнусаво орал. Ванда спохватывалась, гнала дурные мысли, утешаясь тем, что Мыня по собственному желанию никогда не заговаривал ни о своей родине, ни о возвращении.

Мыня освоился в чужом мире. Он уже отваживался на продолжительные прогулки по спальне и кухне. А однажды вернувшаяся с работы Ванда обнаружила его в гостиной. Можно вообразить, каких усилий стоило Мыне взобраться по свисающему краю одеяла на хозяйкину кровать, перебраться на стол, с него на подоконник, спуститься в сад, а затем — видимо, его привлек тяжелый кошачий запах из открытого окна — по плющу подняться в жилище черного зверя. Кот кричал дурным голосом, встав на дыбы и разинув злую алую пасть, дергал стол и пытался когтистой лапой дотянуться до человечка, который дерзко бегал в опасной близости от зверя.

Ванда унесла Мыню в спальню. После этого случая она задумалась: как уберечь человечка от опасностей, подстерегавших его в этом мире? Выход один: надо поместить его в клетку Закона, управляющего этим миром.

Председатель поссовета Адольф Иванович Кацнельсон, по прозвищу Кальсоныч, отмалчивался, а у Ванды спрашивать было и вовсе бесполезно, поэтому так никто и не узнал, каким образом утрясли вопрос о документах, необходимых для бракосочетания. Скорее всего, Кальсоныч за бутылку самогона состряпал для мышонка бумаги, удостоверяющие, что тот действительно является человеком. Переговоры велись за закрытыми дверями. Однако уже на следующий день весь городок знал, что Ванда Банда выходит замуж за карлика. А может быть, за кролика. Или даже за ученую крысу.

По соображениям конспирации церемония была назначена на раннее утро, но Ванде стало известно, что поглазеть на ее суженого сбегутся все, кроме умирающих, новорожденных и заключенных местной тюрьмы. Это, однако, не поколебало ее решимости.

В белом жестком платье, хрустевшем при ходьбе, словно оно было сшито из лютейшего мороза, в грубом своем башмаке, ради такого случая покрашенном белой краской, сыпавшейся крошками на асфальт, с металлическим подносом в руках, посреди которого кусочком пластилина был закреплен Мыня, Ванда гордо, не глядя по сторонам, прошествовала в загс и вышла оттуда замужней женщиной.

— Ей бы коня в мужья, — проворчала Буяниха. — Первый раз в жизни вижу лошадь, которая выходит замуж за сено.

Очувшись наконец в спальне, Ванда рухнула на постель и долго отлеживалась в полуобморочном забытии.

Очнувшись, спросила у Мыни:

— Чего же ты хочешь?

Он ответил, для верности указав пальцем на ее левый башмак.

Ванда заплакала. С трудом расшнуровала ботинок. Сняла.

— Ты этого хотел? — спросила она таким голосом, каким говорят: «Я умираю», или: «Я убила его», или: «Я наделала в штанишки».

Известнейшие городские охальники несколько недель состязались в предположениях насчет семейной жизни Ванды и Мыни. Но вскоре эта тема наскучила даже женщинам. А Буяниха и вовсе всех озадачила, сказав: «Вы-то, большие и настоящие, чем лучше? Бедная девочка...» И заплакала.

В Вандиной жизни мало что изменилось. Она по-прежнему работала на мукомольном заводе, таскала на спине мешки с зерном, ходила за покупками, хлопотала по дому. Как и прежде, гостиная оставалась запретной зоной для Мыни. Как и прежде, вечера они коротали за чтением вслух. И лишь одно все сильнее тревожило Ванду: она не знала, о чем говорить с Мыней. Снова и снова она возвращалась к разговору о «гдетии», показывала пальцем то на пол, то на потолок (где?), но Мыня только пожимал плечами, давая понять, что нет таких человеческих понятий — верх, низ, право, лево, — которые помогли бы указать путь в «гдетию».

Теперь Мыня спал рядом с Вандой — в углублении на подушке. Глядя на его умиротворенное лицо, она засыпала с улыбкой на губах. Ей снилось, будто она постепенно, из сна в сон, становится все меньше, и это радовало ее, и с этой радостью она и просыпалась. Даже мерзкие кошачьи вопли, доносившиеся из гостиной, не омрачали Вандину радость. Даже смутное предчувствие того, что неомраченная радость не может длиться всегда, не причиняло ей боли, словно она перестала быть человеком. Когда она задумалась об этом, ей вспомнилась фраза из прочитанной недавно книги, и она произнесла ее вслух:

— Совершенная любовь убивает страх.

А в том, что любовь ее совершенна, она нисколько не сомневалась, хотя и не знала, хорошо ли это.

Тревога шевелилась в ее душе лишь в те минуты, когда она снимала левый башмак.

Произошло же то, что, наверное, и не могло не произойти. В отсутствие жены Мыня вновь забрался в гостиную, чтобы исполнить профессиональный долг арета. Увидев человека, черный кот обезумел. От его рывка стол упал набок, шелковая петля соскочила с ножки, и зверь одним прыжком настиг бросившегося бежать Мыню. Человек хоть и выхватил лепу, но слепулить уже не успел. Кошачьи зубы сомкнулись на его шее.

Вечером Ванда отыскала Мынины останки в гостиной. Она легла ничком. Не лежалось. Она пошла в кухню и долго пила из-под крана. Долго сидела у окна, зажигая спичку за спичкой. Наконец сняла с кухонного стола клеенку, тщательно выскоблила столешницу ножом и легла. И бесполой черная ночь объяла ее.

Там ее и обнаружили — на столе в кухне, со скрещенными на груди руками, с жалобной улыбкой, замерзшей на губах.

Пришлось звать десяток здоровенных мужиков, чтобы вынести из дома ее огромное тело. Под его тяжестью у грузовика полопались рессоры. Часа два, с пыхтением и руганью, мужики втаскивали Ванду на верхний этаж больницы, где женщину должен был осмотреть доктор Шеберстов. Но прежде надо было освободить ее левую ногу от уродливого грязного ботинка. Поглазеть на эту процедуру сбежался весь персонал. Доктор Шеберстов так долго возился с заскорузлой шнуровкой, что некоторые медсестры, не выдержав напряжения, попадали в обморок. Наконец башмак был снят, и мы увидели — да-да, мы увидели это: у этой огромной бабищи левая нога была ножкой — маленькой, изящной, божественно краси-



вой, с жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый бутон и благоухала, как три, как тридцать три, нет, как триста тридцать три роскошных августовских сада, плодоносящих в том краю, которого могут достигнуть лишь сердце, смерть и любовь...

## СТАРУХА ЦЕ-ЦЕ

Домик ее, обмазанный розоватой птичьей глиной (она натаскала глину с речного откоса, где были птичьи гнездовья), стоял чуть на отшибе, между старым запущенным парком и рекой, там, где вымощенная красным кирпичом улица Семерка переходила в серо-песчаную дорогу, тянущуюся вдоль железнодорожной линии к Вильнюсу. Звали ее Цецилией, но, поскольку выговорить это имя было мало кому под силу, старуху нарекли Це-це. Характером она была именно в зловредную муху, и хотя вреда никому не причиняла — в ее-то годы, — но поязвить, поругаться, непрощено встрять в уличную ссору — хлебом не корми.

Сколько себя помнили люди, старухе Це-це всегда было сто лет. Когда-то она жила с дочерью, но вскоре та уехала, где-то далеко вышла замуж и лишь изредка напоминала о себе праздничной открыткой.

Двор ее — единственный в городке — не был обнесен забором, поэтому собаки и куры чувствовали себя вольготно в старухиных владениях, а ничейные кошки всегда находили на крыльчке щербатую тарелку с молоком. Глядя на зверьков, жадно лакающих молоко, Це-це лишь ядовито цедила: «Что, проститутки? Не будь меня, сдохли б».

Огородик, пяток кур да коза поддерживали старухино существование.

Никто не понимал, зачем Це-це обмазывает свой кирпичный домик птичьей глиной, которая зимой трескалась и осыпалась, — но весной, по теплу, старуха вновь отправлялась на берег реки с ведрами, чтобы вернуть своему жилищу прежний вид. Если же мужчины предлагали ей помощь, она набрасывалась на доброхотов с руганью: «Выискался! Пьянь! Ты вон лучше своей бабе помоги, а то ей скоро с петухом спать придется: хоть кто-нибудь да потопчет!»

Во дворе у нее рос каштан, под которым летними вечерами собирались доминошники и выпивохи. Женщины знали, где искать загулявших мужей, но на старуху обид не держали. Дважды — весной и осенью — соседки приходили большой компанией, чтобы помочь бабке по-настоящему прибраться в доме, покрасить-побелить, выскоблить-оттереть. После чего откупоривалась бутылка-другая красного вина, пелись протяжные песни и плелись свежие сплетни. Це-це их всех, разумеется, облаивала с неутомимостью цепной собаки, но прогнать не могла, сил уже не было: последние двадцать лет она умирала.

Доктор Шеберстов без обиняков сказал ей, что у нее рак легких. «Ну да что ж, Цецилия, когда-нибудь надо и помирать». Она сердито посмотрела снизу вверх на огромного доктора и сказала: «Не дождетесь от меня». Даже узнав о неминуемой смерти, она не изменила своим привычкам. По-прежнему весной обмазывала птичьей глиной свой домик, по-прежнему летними вечерами привечала доминошников и выпивох, которые давным-давно не обращали внимания на старухину ругань, по-прежнему каждый день выставляла на крыльцо щербатую тарелку с молоком для бездомных мяукающих «проституток». Если же кому-то приходило в голову пожалеть ее, Це-це словно с цепи срывалась и так обкладывала жалельщика, что он не знал, как ноги унести. «Старая ты труперда! — не выдержала однажды Буяниха. — То тебе не так, это не так. Зачем тогда живешь? Плюнь да помри». Старуха сложила костлявые пальчики в фигу и сунула Буянихе под нос: «Выкуси! Не для того я родилась, чтоб так просто помереть!»

Впрочем, вскоре люди каким-то образом узнали, что Цецилия обзавелась причудой. Поздно вечером, оставшись одна и облачившись в «саванушку» (это была длинная простая рубаха грубой ткани — старуха называла ее саваном), она забиралась с ногами на широкий подоконник и пускала в сад мыльные пузыри. Что происходило в ее душе, о чем она думала и что чувствовала в такие минуты, никто не знал. Невесомые пузыри неслышно срывались с соломинки и легко плыли в свете догорающего заката — серебряные шары, золотые шары, алые цветы, лиловые цветы, и было удивительно, что дыхание этой злющей старушонки с большими легкими может породить такую красоту, пусть хотя бы и живущую лишь несколько мгновений...

Вопреки предсказанию доктора Шеберстова старуха Це-це прожила много лет. Проходя мимо ее домика, люди привычно спрашивали: «Ну что, все помираешь?» И Цецилия, днями сидевшая у распахнутого окошка, привычно же и даже почти беззлобно отвечала: «Да вот помираю...» Смерть стала ее жизнью.

В том, что она жива назло всему и всем, не было ничего необычного, загадку, тайну усматривали в том, что она — жива. А что это была тайна — в этом ни у кого сомнений не возникало. Суеверные люди, особенно больные или родственники больных, чтоб не сглазить, старались обходить ее дом стороной и избегать разговоров о старухе: не дай Бог однажды узнать, что ее прибрала косая. Поэтому никто и пальцем не шевельнул и ухом не повел, когда как-то летом двенадцатилетний Никита Арзамасцев сообщил родителям, что видел, как в распахнутые окна старухино дома вольно влетают птицы. Туда отправился участковый милиционер Леша Леонтьев и несколько мужчин покрепче, которые, впрочем, не отважились переступить порог дома Цецилии. Ждать им пришлось долго, Леша все не появлялся, и мужчины уже начали было нервничать, как вдруг Иван Арзамасцев проговорил сдавленным голосом, указывая рукой на открытое окно: «Плывет». И все увидели невесомый мыльный пузырь, легко поднимавшийся к закату, а за ним уже плыли другие: серебряные шары, золотые шары, алые цветы, лиловые цветы, — и в самом деле трудно было поверить, что эта красота порождена дыханием злющей умирающей старухи. «Жива, — выдохнул Арзамасцев. — Пошли отсюда». Мужчины ушли, не дожидаясь Леша Леонтьева.

Уехав из городка в семнадцать лет и не увидев своими глазами похороны Цецилии, я и до сих вспоминаю, как радовались люди известию о том, что старуха жива. «Может, она и до сих пор пузыри пускает, — посмеивался отец. — С такой станется. И слава Богу». — «Возьми да напиши соседям, — сердилась мать. — Кто-нибудь ведь видел похороны...» Отец лишь пожимал плечами: зачем? И впрямь — зачем? Как говаривала Буяниха: «Ты, может, и видел своими глазами, а я — знаю». Да и жалко нам, что ли, хотя бы мысленно длить и длить жизнь упрямой старухи, у которой не оставалось ничего, кроме мыльных пузырей — серебряных шаров, золотых шаров, алых цветов, лиловых цветов, — вспыхивающих у ее губ, переливающихся и гаснущих? Не жалко — пусть себе живет.

## ЯБЛОКО МАКСА

Городской сумасшедший Тихий Коля умер в десяти шагах от меня. Жалко улыбнувшись, он медленно, не спуская с меня взгляда, упал — сначала на колени, потом на живот — в алую пыль Семерки, подсвеченную закатным солнцем, из его разжавшейся ржавой руки выпало золотое яблоко, которое покатилося к ногам мальчика, объятого ужасом и замершего в

нерешительности; я лихорадочно соображал, бежать ли мне либо поднять яблоко; сверкавшее так, словно оно было облито жидким стеклом...

Нас связывала только память о прекрасной Магилене. Кому пришла в голову мысль назвать так эту девочку в голубом платье, с голубыми бантами в ярко-пшеничных волосах, с тщательно вымытой, ослепительно белой собачкой, клички которой я уже не помню? Магилена. Прекрасная Магилена. Была средневековая повесть о прекрасной принцессе Магилене, но эта девочка не имела никакого отношения к героине повести. Она была моложе меня года на три, то есть на сто лет, мы жили по соседству, она была внучкой или правнучкой Макса — единственного немца, которого не депортировали после 1948 года, потому что он владел секретом выращивания удивительно красивых роз. Таково было всеобщее убеждение жителей городка. Иначе как, в самом деле, объяснить, почему из бывшей Восточной Пруссии выслали всех немцев, кроме одного Макса? Из-за роз. Да еще, быть может, из-за яблок, за которыми он ухаживал в саду психбольницы. Яблоня к яблоне, яблоко к яблоку. Таких больше ни у кого в городке не было. Быстро выродились. Надо было знать, как за ними ходить. Знал только Макс. Яблоки, которые он выращивал в больничном саду, так и назывались: яблоки Макса.

Мы забирались в сад психбольницы вовсе не за яблоками. Здесь было немало укромных уголков, где можно было спокойно покурить, не рискуя нарваться на взрослых. А если нас застукивал Макс, мы знали: этот не выдаст. Мы валялись в высокой траве, дымили дешевым табаком и ждали, когда к Максиму прибежит Магилена, — ее голубое платье, ее голубые банты, ярко-пшеничные волосы, ее ослепительно белая кудлатая собачка вспыхивали за деревьями, мчались, нарастали, заполняли сад, словно сюда врвалась взрывающаяся на ходу комета... Мы обменивались иронично-скептическими репликами, боясь признаться себе, что она — прекрасна. Вкусны ли были яблоки — не помню, а вот ощущения света, блеска, яркости, сияния, связанные с Магиленой, живы и сильны до сих пор.

Сумасшедший Тихий Коля ходил за нею хвостом, по обыкновению жалко улыбаясь и всегда — наголове — с золотым яблоком в руке, густо поросшей рыжим волосом. С яблоком для Магилены. Если вдруг захочет. Над ним, конечно, издевались — он не обращал на это внимания. Когда она (мы жили по соседству) дразнила меня, плюхаясь тяжелой мякотью ягодиц на мои колени и требуя, чтобы я держал ее крепче, крепче, еще крепче, не то она упадет, черт возьми, — Тихий Коля подглядывал за нами в щелку, прячась за забором, сжимая золотой плод в ржавой руке с такой силой, что между пальцами проступали клочья яблочной кожуры.

Она умерла не достигнув двенадцати. Утонула. Ее хоронили в голубом платье, с голубыми бантами в ярко-пшеничных волосах. Умиленные старухи еще долго рассказывали историю об ослепительно белой собачке, которая тайком от хозяев бегала на кладбище — повыть на могиле прекрасной Магилены. Мне снилась кукла, похороненная вместо девочки, — ногами она вдруг вскидывалась в гробу и норовила укусить меня.

Смерть являлась мне во всем своем блеске и ужасе.

Сперва мне казалось, что она прячется за дверь, с поразительным искусством нарисованной в углу моей комнаты. Почему вдруг неведомому художнику взбрело в голову написать в углу комнаты чуть приоткрытую дверь, к которой я прикидал чуть ни каждую ночь, пытаюсь расслышать какие-то голоса, звуки, шепоты, шорохи, — о Господи, эта дверь! Мне так и не удалось открыть ее в своих снах, хотя теперь я, кажется, догадываюсь, кого мне предстоит там встретить.

Когда родители покидали дом, где я вырос, вдруг обнаружилось, что крыльцо имеет не четыре, как я всегда думал, а три ступеньки. Три. Но до сих пор, пытаясь в сновидениях вернуться в родительский дом, я спотыкаюсь — о четвертую ступеньку.

Кажется, Аристотель ввел в эстетику понятие *ta genota* — так и было, то есть было именно так, а не иначе, — понятие, до сих пор смущающее тех, кто в поисках гармонии факта и вымысла балансирует между игрой ума и памятью сердца. Иногда я с обескураживающей ясностью понимаю: был Макс, была Магилена, был Тихий Коля, сраженный любовью у моих ног, — а вот яблока, возможно, и не было. Я не уверен. Или все же было? Ведь без него не было бы этой истории...

Мне много раз доводилось видеть похороны и даже участвовать в похоронных процессиях. Мимо нашего дома на Семерке плыла, покачиваясь на выбоинах в краснокирпичной мостовой, выкрашенная черным лаком полупорка с откинутыми бортами, в кузове которой на блестящих еловых лапах и охапках пахучей туи стоял обтянутый ситцем гроб, — за машиной брели родные и близкие, в спины которым дышали полупьяные музыканты во главе с Шопеном, Вагнером и Чекушкой, выдувавшим из своей мятой трубы божественно печальные звуки...

Но вот так, лицом к лицу, я впервые столкнулся со смертью, когда вскоре после похорон прекрасной Магилены ко мне с жалкой улыбочкой ни с того ни с сего приблизился сумасшедший Тихий Коля с золотым яблоком на ладони — и вдруг упал и умер, уронив яблоко в алую пыль Семерки, — оно покатилося к охваченному ужасом юноше.

И что же?

Конечно же, я спотыкаюсь о четвертую ступеньку.

Та *genota*.

Умерла Магилена. Умер Тихий Коля. Умер Макс.

А яблоко — катится...

## БУЙДА

— Кто же селедку ест с белым хлебом?

Голос принадлежал старику, у которого на запястье правой руки темнела похожая на пуговку родинка. Казалось, руку можно расстегнуть и, отвернув голубовато-белую кожу, как манжету сорочки, увидеть алое мясо и желтую кость.

— На то он и Буйда, — со вздохом пояснила бабушка, не вынимая из рта курительную трубку, которая всегда висела у нее на пропахшей табаком груди. Трубка была прикована к старухе тонкой тусклой цепочкой, завязанной на тощей морщинистой шее. — Имя такое...

Старик был нашим соседом, иногда заглядывал к бабушке на чашку чая. Не помню, как его звали, — в памяти осталась фраза: «Кто же селедку ест с белым хлебом?» — да родинка-пуговка на его правой руке. И еще — ощущение загадочной, но неразрывной связи имени и судьбы.

В детстве я тайно страдал из-за странной своей фамилии. У соседей по Семерке были имена как имена: Иванов, Чер Сен, Дангелайтис, Лифшиц, — а у меня, увы, — Буйда. Вдобавок учителя поначалу ставили ударение на последнем слоге, усугубляя мои мучения. (Повезло мне разве что с именем. После полета в космос первого человека семилетний наглец дерзко заявил товарищам, что назван в честь Гагарина, о миссии которого бабушка узнала из Библии в день моего рождения.)

У меня не было даже мало-мальски приличного прозвища, в то время как в городке многие были обладателями роскошных псевдонимов, раскрывавшихся подчас лишь на кладбищенской плите. Колька Урблюд и Вита Маленькая Головка, парикмахер По Имени Лев и Машка Геббельс (которую называли еще Говноротой, поскольку была она великой ругательницей, а набравшись самогона с куриным пометом, требовала уничтожить «всех жидов», каковых в городке было трое или четверо: она считала,

что именно они насылают порчу на ее кур и поросят), сестры-близняшки Миленькая и Масенькая, Кацнельсон-Кальсоныч и болтливейшая старуха Граммофониха... И даже имя деда Муханова, курившего ядовитые сигареты с грузинским чаем вместо табака, воспринималось всеми исключительно как прозвище: Дедмуханов.

Наверное, я чувствовал бы себя парией, не случись истории с Мотей Ивановой. Все знали, что когда-то Николай и Катя Ивановы приняли в семью грудного ребенка, брошенного бессердечной матерью на железнодорожном вокзале. Иногда я встречал Мотю на Детдомовских озерах, где мечтатели могли поговорить вслух с собою, а убитые горем люди — выплакаться. И вдруг спустя двадцать лет в городке объявилась пьяница-бродяжка, которая назвалась Мотиной матерью. Ее было подняли на смех, однако тихая мечтательная девушка Мотя внезапно преобразилась и вступилась за женщину. Она готова была вцепиться в горло любому, кто отваживался на дурное слово о бродяжке. Николай и Катя Ивановы смирились и дали женщине приют в своем домике, поселив ее в комнате на чердаке. И уже на следующий день весь городок наблюдал за Мотей, которая тащила на себе домой упившуюся в Красной столовой «мать». Через неделю ее задержали при попытке украсть поросенка у соседей. Мотя плакала и отдавала пьянчужке свои деньги, но по-прежнему и с прежней энергией защищала ее от нападок. На исходе лета ее подняли баграми со дна Преголи — в зубах у нее был зажат дохлый окунь. В результате долгого пребывания под водой металлические части ее скелета были съедены коррозией: тронь — развалится, — поэтому хоронить ее пришлось в гробу, который безутешная Мотя изваяла из нежной ваты. Когда наконец лучшая подружка робко поинтересовалась причиной такого трогательного отношения к бродяжке, Мотя мечтательно сказала: «Она хотела назвать меня Лизой. Елизавета — мое настоящее имя. — И пропела: — Е-ли-за-ве-та!»

Эту историю рассказал мне школьный приятель и известный фантазер, которого мальчишки с нашей улицы прозвали Жопсиком. Никого, конечно же, не интересовало подлинное имя этого пухловатого близорукого мальчишка. В уличной компании его терпели только за умение сочинять занимательные истории — иногда это были разветвленные многофигурные авантюрные романы, тянувшиеся из вечера в вечер. Нередко он хитрил, пересказывая «своими словами» новеллы Боккаччо или Эдгара По, пьесы Шекспира или романы Достоевского, но я не выдавал его: мне было жаль Жопсика. Тем более, что он в совершенстве владел самым притягательным изо всех искусств — искусством лжи. В самом деле, ведь многие купились на его историю о пещере под Таплаккенскими холмами, где в полной темноте хранится мраморная женская фигура дивной красоты, которая предназначена для спасения человечества от одичания и вымирания, но вынести ее наверх и явить людям нельзя, поскольку она больна раком и погибнет, как только ее коснется хотя бы слабенький лучик света. И нашлись же люди, которые отправились на Таплаккенские холмы и даже обнаружили там какую-то яму — на дне ее, под слоем палой листвы и птичьих экскрементов, покоился скелет карлика без левой ноги и с янтарным мундштуком в черных зубах, но, конечно же, никакой статуи, никакой дивной богини там не оказалось. А история о рыцарях-крестоносцах, которые вот уже семьсот лет спят верхом на боевых конях (копыта их обгрызены мышами) в подвале полуразрушенной кирхи на центральной площади и ждут своего часа, чтобы в честном бою одолеть дьявола, вознамерившегося отнять эти земли у Святой Девы? Разве не полезли в подвал мужчины с лопатами, кирками и фонарями, чтобы своими глазами увидеть славного гроссмейстера Германа фон Зальца и его рыцарей в белых плащах с черными крестами, готовых по первому зову ринуться на защиту города и мира от врага рода человеческого? А, наконец, его выдумка о восьмом дне недели, когда именно — и только тогда — и случаются по-настоящему

важные события в человеческой жизни? «Как же он называется, этот день? — возмущенно воскликнул дед Муханов. — И почему раньше никто про него не знал?» — «Я не могу сказать, как он называется, — важно ответил Жопсик. — Никто не знает, что случится, если произнести это слово вслух, — счастье или беда. Скажу только, что в этом слове шесть согласных подряд и звук, которого нет в человеческом языке». — «Да знаю я это слово! — захохотал Колька Урблюд. — Взбзднуть! И звук, конечно, не человеческий — жопный. Убить тебя много!»

Когда я спросил его однажды, почему он лжет и при этом рассчитывает на всеобщую любовь и великое будущее (он сам мне говорил об этом), Жопсик посмотрел на меня с состраданием и после театральной паузы ответил: «Потому что у меня — зеленое сердце».

Он жил с матерью, имя которой в городке давно стало нарицательным. О ее пьяных выходках и связях с мужчинами судачили все, кому не лень. Случалось, что напившиеся ухажеры избивали ее, и тогда сын бросался на обидчика — маленький, близорукий, он в бессильном отчаянии кричал, что убьет негодяя, — кончалось все это подзатыльником или пинком: «Заткнись, выблядок, а то и тебе не поздоровится». Наконец случилось то, к чему, наверное, все и шло: трезвый мужчина с черной прорезью вместо рта и розовой щетиной на впалых щеках ударил шлюху ножом. Об этом знали все, включая участкового милиционера Лешу Леонтьева, однако улики и убедительные доказательства напрочь отсутствовали. Убийца чувствовал и вел себя как всегда: каждое утро являлся на лесопилку, где работал рамщиком, и каждый вечер пил пиво в Красной столовой, скучливо отмахиваясь от расспросов: «Да брехня все это. Нужда мне ее убивать...» Убедительность его словам придавало то обстоятельство, что, во-первых, он был трезв, а во-вторых, соседи не раз видели мать Жопсика с ножом, которым она то и дело собиралась зарезаться на крыльце, чтобы раз и навсегда покончить с поганой жизнью. Может, и впрямь «сама над собою сделала»?

Вот тогда-то мальчик впервые обратился за помощью к королю Семерки рыжему Ирусу. Вообще-то любой неполовозрелый житель Семерки мог рассчитывать на его защиту — таков был неписанный закон. При этом, однако, почему-то считалось, что Жопсика защищать незачем. Незачем — и все. На этот раз, после непродолжительных размышлений, Ирус согласился, вытребовав, впрочем, гонорар — на бутылку пива. «Можно без стоимости посуды!» — со смехом добавил он. На следующий же день состоялась кулачная дуэль между королем Семерки и предполагаемым убийцей, который, увы, одержал верх в поединке. Драка эта, однако, произвела на городок впечатление, и милиция взялась за черноротого всерьез. Его арестовали и увезли. А Жопсик явился к побитому Ирусу. «Ладно, — мрачно сказал король. — Можешь звать меня Игорем (этой чести удостаивались только самые приближенные его оруженосцы). — Подбросил на ладони мелочь, которую принес Жопсик, и уже с раздражением спросил: — Ну, чего еще ждешь?» — «Сдачу. Пиво без стоимости посуды, — не моргнув глазом ответил мальчик. — Ты тоже можешь меня звать по-настоящему — Глебом».

Бабушка рассказывала, что в их деревне было принято выкрикивать имена над животом беременной женщины, пока ребенок не зашевелится в утробе. Имя, на которое откликнулся плод, и было его подлинным именем. Мой отец откликнулся на имя Адам, но родителям оно почему-то не понравилось, и первенца назвали Василием (по-белорусски имя звучало — Базил) — вероятно, в тайной надежде приобщить мальчика к сонму великих басилевсов и святителей. Отец появился на свет жаркой июльской ночью девятнадцатого года в нишей малолюдной белорусской деревушке, где

слезы женщин были старше их на тысячу лет. Обладателю царского имени предстояло пережить великий голод, войну, сталинские лагеря. Когда я однажды заговорил о потаенной иронии истории, играющей с нами в слова, отец возразил: «Эта страна так просторна, что ни слова, ни мысли в ней не имеют никакого значения. Да и ее история — тоже».

Поэты возводят нерукотворные памятники себе, которые прочнее меди, но время, с его непостижимо жестоким милосердием, доносит до нас подчас лишь имя или обрывок строки — не слово, но славу. Мы ничего не знаем о возлюбленной Сафо — поэтессе Эранне, которая славилась среди современников поэмой «Веретено». Нам ничего не известно о Гомере и очень мало — о Шекспире. Мы знаем о безумии Свифта и Гаршина, о мерзости Хайдеггера и коллаборационизме Гамсуна... Иногда такое знание оказывает некоторое влияние на наше понимание истоков или особенностей творчества писателя, но по существу оно — ничемно. Подлинное имя Гомера — «Илиада». Шекспира зовут «Король Лир», а Достоевского — «Преступление и наказание».

Эмерсон в «Избранниках человечества» писал: «Иногда мне кажется, что все книги в мире написаны одной рукой; по сути, они настолько едины, что их, несомненно, создал один вездесущий странствующий дух». Так ли уж он не прав? Подлинное имя Гоголя — nihil. Гоголь больше чем человек, он — литература.

Gesang ist Dasein, как считал Рильке, — песня есть существование. Как Бог иудеев и христиан, создавший мир из ничего, возвышен до исчезновения, до уничтожения, — Он ни «кто» и ни «что», Он даже ни «все», Он именно Бог, то есть никто и ничто.

На могильной плите, под которой покоится прах Рильке, выбиты стихи, смысл которых можно передать так: «Роза, чистейшее противоречие, радость быть ничьим сном под столькими веками».

Для многих интерпретаторов эти строки — как бы голос самого небытия, того Нет, духом которого проникнута культура XX века. Но для Рильке тотального Нет никогда не существовало (истинное бытие frei vom Tod — свободно от смерти; в Седьмой элегии: Hiersein ist herrlich! — Тут бытие великолепно!), для него поэт — это Да, он — Всегда, это действительно — *радость быть ничьим сном*. Моим. Нашим. Человеческим. Божественным. Вечным, как жизнь.

Когда я напечатал в польской газете свою первую заметку, подписанную полным именем, — было это году в восемьдесят девятом или девяностом, — дежурный по номеру поздно вечером позвонил в панике главному редактору: «Чеслав, текст серьезный, а подписан первоапрельским псевдонимом! Может, заменим?» — «Но это его настоящее имя». — «Боже! Как же он с ним живет?»

Варшавянин мог бы и не обратить внимания на мое имя, но на севере и северо-востоке Польши большинство жителей — выходцы с западнобелорусских и западноукраинских земель, которым хорошо известно, что «буйда» означает «ложь, фантазия, сказка, байка» и одновременно — «рассказчик, сказочник, лжец, фантазер».

Что ж, приходится смириться с тем, что Gesang ist Dasein: Буйда — это буйда. Рассказчик — это рассказ, и в этом нет никакой моей заслуги. Я есть то, что я есть: nihil. Надеюсь, меня не обвинят в претенциозности и высокомерии, — я не выбирал имя, разве что — судьбу. А остается только имя, хотя значима только судьба.



---

---

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

\*

## БЕСШУМНЫЕ ШЛЮПКИ

\* \*  
\*

Смолоду нырнешь, пересчитаешь  
понову все ребрышки водице,  
то ли братом, то ли сватом станешь  
в стороне невестящейся птице.

Смолоду ведь всё определяет  
бытие — твердили ортодоксы.  
На обломе лета побеждает  
энтропия розовые флоксы.

Годы промелькнули с той разлуки.  
В два последних — что-то похудали  
так фаланги пальцев у подруги,  
что гулять свободно кольца стали.

И всё чаще, четче вспоминаю  
малую свою, как говорится,  
родину, которую не знаю,  
словно помер, не успев родиться.

Я из жизни всю ее и вычел  
и не хлопочу о дубликате.  
Но как прежде тянет плыть без вычур  
при похолоданье на закате.

Кинешма.  
3.VIII.1997.

### Возвращение с острова Цитеры

Четверть века минуло, а всё не позабыта  
ты, меня тянувшая за город в конце  
нудного семестра — в омут малахита  
с годовыми кольцами где-то во дворце  
графа Шереметева; и хотя народы  
ныне перемешаны, у тебя как раз  
много было русскости, кротости, породы  
прямо в роговице серых-серых глаз.  
Даже я поежился перед их пытливыми  
огоньками слезными, памятными впредь.



В молоке с рогатыми ветлами и ивами  
 можно неотчетливо было разглядеть:  
 на подходе к берегу придержали весла  
 немногоречивые тени в париках —  
 видимо, приехали повидаться просто  
 с вороньем некормленным в низких облаках —  
 с острова Цитеры. Помнишь, как приметили  
 две бесшумных шлюпки — по бортам огни.  
 С той поры опасные мы тому свидетели,  
 и притом одни.

6.I.1998.

\* \*  
 \*

Отошло шиповника цветенье —  
 напоследок ярче лоскуточки.  
 В Верхневолжье душно и ненастно,  
 что за дни — не дни, а заморочки.  
 И — остановилось сердце друга  
 на пороге дачного жилища.  
 Повезло с могилою — в песчаном  
 благородном секторе кладбища.

В нашем детстве рано зажигались  
 пирамидки бакенов вручную.  
 Под землю слышишь ли, товарищ,  
 перебранку хриплую речную  
 бойких приснопамятных буксиров  
 на большой воде под облаками;  
 внутренним ли созерцаешь зреньем  
 тьму, усеянную огоньками?

Словно с ходу разорвали книгу  
 и спалили правые страницы.  
 Впредь уже не выдастся отведать  
 окунька, подлещика, плотвицы.  
 Был он предпоследним, не забывшим  
 запах земляники, акварели,  
 чьи на рыхлом ватмане распятом  
 расплзлись подтеки, забурели.

Самородок из месторожденья,  
 взятого в железные кавычки  
 за́долго до появленья на свет  
 у фронтовика и фронтовички.  
 Пиджачок спортивного покроя  
 и медали на груди у бати.  
 Но еще неоспоримей был ты  
 детищем ленцы и благодати.

В незаметном прожил, ненатужном  
 самосоответствии — и это  
 на немереных пространствах наших  
 русская исконная примета.

И когда по праву полукровки  
я однажды выскочил из спячки,  
стал перекасти — известным — поле,  
ты остался при своей заначке.

Всё сложнее в эпоху мародеров  
стало кантоваться по старинке:  
гривенник серебряный фамильный  
уступить пришлось качку на рынке.  
И в шалмане около вокзала  
жаловался мне, что худо дело,  
там в подглазной пазухе слезинка  
мрачная однажды заблестела.

Словно избавлялся от балласта,  
оставлявшего покуда с нами:  
вдруг принес, расщедрившийся, «Нивы»  
кипу с обветшалыми углами,  
в частности, слащавую гравюру:  
стали галлы в пончо из трофейных,  
а точнее, замоскворецких шалей  
жалкой жертвой вьюг благоговейных.

Время баснословное! Штриховку  
тех картинок дорежимных вижу.  
В яму гроб спустили на веревках,  
как в экологическую нишу.  
Отошло шиповника цветенье,  
ты его застал недавно в силе.  
Стойкая у речников привычка:  
что не так — так сразу переключка,  
слышимая, статья, и в могиле.

1.VI.1997, *Девятый день.*

### Белка

Белка лапкой-грабкой стучит в стекло,  
по которому целый день текло.

Я один в своей конуре, и мне  
машет ель седым помелом в окне.

Поминаю тех, с кем свела судьба,  
кто poleg, меня обойдя, в гроба —

и чубастый гений с лицом скопца,  
и другой, угрюмый ловец словца.

Как когда-то за бланманже барон  
Дельвиг пообещал, что он

повидаться явится, померев,  
за чекушкой — то же и мы... Нагрев,

так никто с тех пор и не подал знак,  
не шепнул товарищу: что и как

*там* — но глухо молчат о том.  
Так что я всё чаще теперь с трудом

уловляю воздух по-рыбьи ртом,  
осеняясь в страхе честным крестом,

по сравненью с ними, считай, старик  
и ищун закладок в межлистье книг.

Горстка нас — приверженцев их перу,  
да и ту, пожалуй, не наберу.

Проще на дорожку из здешних мест  
собирать по крохам мира окрест.

### Минус тридцать

Тишина, озвученная лаем,  
мы его дословно понимаем,  
запросто берусь перевести  
про войну миров — и поражение  
нашего, чье кратное круженье  
у вселенной было не в чести.  
Поминают сплетные дворняжки  
из давно распущенной упряжки  
огонек последней из застав,  
где когда-то грешники спасались.  
А по хвойным лестницам метались  
белки, сатанея от забав.

...Кто про те вселенские разборки  
нынче помнит — разве в военторге  
окружном некупленный погон.  
Ты тогда пронизывала косу  
алой змейкой, стало быть, к морозу  
царственному, словно Соломон.  
Той фосфоресцирующей ночью  
волны снега притекли воочью  
на крыльцо.  
Кто-то вдруг вошел, сутуля крылья,  
раз — и вынул сердце без усилья,  
отвернув слепящее лицо.

С той поры, сказитель и начетчик,  
я еще и классный переводчик,  
хоть с, увы, не редких языков:  
грай вороний стал мне люб и внятен,  
в тишине всё меньше белых пятен  
в серый-серый день без облаков.  
Правда, разумею много хуже  
пересудов бобиков о стуже  
человеков выпренний глагол,  
но и их — сметливых и убогих —  
понимаю, пусть не всех, но многих,  
с хрипотцой из самых альвеол.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ



## ОБЕССОЛЕННОЕ ВРЕМЯ

*Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов*

4.1.79.

Сегодня в редакцию позвонил И. А. Иванов (зам. зав. отделом агитации и пропаганды обкома партии) и сказал, что необходимо выделить трех человек на курсы трактористов. Помню, года два назад мы посмеивались над тем, что редакция купила для летних работ несколько кос. Теперь дело посмешнее, но и посерьезнее. Радиокomiteт своих «трактористов» уже выделил. Можно себе представить, какая разрядка на этот счет направлена на заводы, фабрики и в крупные, многолюдные учреждения. Интересно, обком тоже займется подготовкой трактористов?

<...> Как же велика у нас тайная, сокрытая часть жизни, и станет ли она когда-нибудь явной?

7.1.79.

Читал сегодня М. Бахтина (публикацию в декабрьской книжке «Вопросов литературы») и лишний раз убедился, что значение этого человека не измерить его литературоведческими заслугами; он чрезвычайно много дает и как философ и психолог; никаксй стесненности, внутренней несвободы в нем не чувствуется; не верится, что он тоже «сын времени», настолько мысль его, наделенная паразитической анализирующей и обобщающей, сводящей способностью, независима.

Или свобода, вытесненная из действительности, все равно не исчезает и находит, где ей быть и через что воплотиться?

В книге А. Клибанова «Народная социальная утопия в России» («Наука», 1978) есть глава о макарьевском дьяконе Николае Попове и о его пастве, о его «Любви братства», т. е. его истолковании веры, которое он распространял. Меня заинтересовало, как костромской епископ и вообще церковная власть защищали своего человека от преследования со стороны чиновников Министерства внутренних дел, со стороны государства. Т. е. лишний раз убеждаешься, что структура жизни в старой России — к примеру, в середине прошлого века — была достаточно сложна, чтобы поддаваться безостаточной регуляции сверху. История Попова говорит также о постоянном присутствии в жизни неукротимой силы идеализма, противостоящей беззаконию, темноте, корысти, насилию.

О «Повестях Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик» — урок и пример нового стиля как инструмента, но наиболее существенное продолжение в русской литературе имел «Станционный смотритель» с его выбором и пониманием героя, всей жизни. Но урок этого стиля, хотя и преподан давно, оказывается, не устарел. Урок рассказывания рассказа, рассказывания про жизнь.

17.1.79.

Письмо и книга от В. О. Богомолова<sup>1</sup>, письмо с фотографиями и «Роман-газета» с «Нагрудным знаком» от В. Н. Семёиной. Согласился писать предисловие к трехтомнику Ф. Абрамова. Чрезвычайно интересная статья Л. Н. Гумилева («Биосфера и импульсы сознания») в двенадцатой «Природе». Прочитал несколько статей С. Н. Булгакова (о Н. Ф. Федорове, «Размышление о национальности», «Церковь и культура») из второго тома «Двух градусов»; проницательнейший был ум. Да и он один ли понял, к чему придет российское развитие. Я начинаю думать, что с года пятого-седьмого даль будущего стала проглядываться чересчур хорошо.

Из «Записок отдела рукописей» ГБ им. Ленина (1978, вып. 39) узнал, что Петерсон Н. П., издатель трудов Н. Ф. Федорова, был отцом профессора МГУ, языковеда М. Н. Петерсона. В 1952/53 уч. году М. Н. Петерсон читал нам «Введение в языкознание». Времена для языкознания были тугие, объявился специалист Всезнаец и Всеведец, и потому профессор Петерсон читал тихим голосом и извиняющимся тоном. Он словно ждал, что его вот-вот в чем-то уличат, но слушали его плохо, хотя, кажется, и жалели, и никому не приходило в голову уличать. Хотя как знать — за всех не скажешь и все не услышишь. Специалистов по уличенью всегда много; ничего не поделаешь, такое воспитанье.

Моей книжки все нет. Она у них пасынок. Мой черед после Чалмаева, Ланщикова, Толченовой, Глинкина. В самый раз. Вот оно — русское, национальное издательство. Нигде в Москве (в редакциях) я не чувствовал себя так плохо, как у них. Они не умеют уважать людей и не хотят уважать их; они не скрывают своего безразличия к «чужим», они любят только «своих», и к этой любви сильно примешана корысть. Вот и все принципы; им бы «кулачное право» вместо всех прочих прав, и тогда бы они навели порядок и выяснили бы ваш состав крови и наличие еврейской примеси.

Появился двухтомник А. Платонова («ХЛ», 1978). Читаю «Джан», сравнивая новый текст с редакцией 1966 г. («Московский рабочий», послесловие М. Лобанова). Редактором издания 66-го года был Н. Далада. Правка была произведена бездарная, трусливая и хуже того — выдающая мелкость души того, кто ею занимался. Этих героев издательского дела не мешало бы называть при удобном случае, чтобы не надеялись, что все сходит с рук.

25.1.79.

Новости такие: <...> прислали сигнальный экземпляр моей книжки и появилось известие о ней в «Книжном обозрении». Слава Богу, как говорится. Радость была, но быстро прошла; я не обольщаюсь и все время чувствую, что мера всему написанному другая — не через внешние результаты. Ждать — жду, а радуюсь недолго.

В связи с выездным заседанием секретариата СП РСФСР в Костроме (конец мая — начало июня) приезжал секретарь союза Ю. К. Комаров, и нас всех собирали на беседу. То есть он говорил, как сложно проводить такие заседания и что всем нам нужно будет принять участие. Большого энтузиазма я ни у кого не заметил. Рассказывал о новых ставках гонорара в издательствах и пр. Особо подчеркнул, что укрепился бюджет Литфонда за счет того, что содержание аппарата Союза писателей взяло на себя государство. По дороге домой я спохватился: как же так? общественная творческая организация перешла на содержание государства? О какой самостоятельности, независимости может идти речь? Да и вообще это противостоительно; того гляди, переименуют союз в какой-нибудь комитет или главк.

<sup>1</sup> Богомолов В. О. — писатель, автор романа «Момент истины» («В августе сорок четвертого...»), повестей «Иван», «Зося» и др.

<...> Прочел воспоминания К. Симонова в январской «Дружбе народов»: какие-то они служебные, и хотя, наверное, все это правда, но какой малый процент правды. И кое-что из писем Федина можно было бы не цитировать: отдают неприличием. Воспоминания о какой-то отвлеченной от жизни — жизни: внутрিলитературные, служебно-литературные, о многом забывающие или делающие вид, что ничего более существенного не было.

28.1.79.

Пытаюсь прочесть лихоносовский роман «Когда же мы встретимся?». На удивление раздражающее чтение. И сам автор, и его герои — захлебывающиеся в болтовне, чаще всего — пошлой, — не вызывают к себе ни малейшего уважения. Было бы возможно, вернул бы, забрал бы назад все добрые слова, сказанные или написанные мной об этом писателе.

Стараясь снять вызванное этим чтением раздражение, брался за Писемского («Масоны») и Лескова («Некуда») и так спасался, спасал душу, возвращался к миру здоровому и здоровой литературе.

И стыда нет — вот о чем думаю. — Прорыв бесстыдства.

Читая Писемского, вспоминал нынешние разоблачения масонства как тайной силы сионизма — на это, во всяком случае, намекают. У Писемского в романе вся нравственная сила сосредоточена или в героях-масонах, или в тех, кто близок к ним. Разумеется, Писемский не мог оценить, сколь потаенны и зловредны сии жидовские происки.

Шапошников, недавно вернувшийся из Москвы, сказал мне, что привез то ли конспект, то ли выдержки из большой рукописи — «уже набранной» и принадлежащей перу «члена ЦК партии» — о сионизме. Шапошников отозвался об этом тексте как о «потрясающем». Кстати, дал ему этот текст один из тех москвичей (сотрудник журнала «Искатель»), которые приезжали к Шапошникову некоторое время назад и после визита которых он объявил мне о грозящей победе сионизма к 80-му году.

12.2.79.

Насчет «Некуда», насчет здравости я, конечно, переборщил; современникам Лескова, особенно некоторым из них, этот роман вряд ли казался здоровым; не более, чем мне лихоносовское сочинение. Но с нынешней точки зрения (таков накопленный нашим отечеством опыт) роман Лескова нравственнее и ближе к здоровому смыслу, к здоровому пониманию жизни и литературной задачи, чем многие сегодняшние писания. И безусловно — художественнее, хотя нынешние бывают искуснее (но не Лихоносов, кстати).

<...> Читал А. А. Ухтомского о доминанте и думал, что М. М. Бахтин с пользой для себя слушал в свое время этого человека, и дело не только в понятии «хронотопа»; у Бахтина, мне кажется, откликнулось, отозвалось кое-что из внутреннего пафоса и даже стиля Ухтомского; во всяком случае, ощущение незаконченности и беспрестанного свободного, всепреодолевающего движения научной мысли.

1.3.79.

Прочел у Трифонова в «Нетерпении», как Желябов бросил жену и сына; жена побиралась, а что стало с сыном — неизвестно. Из меня такой революционер не вышел бы, ради жизни сына я бы всякую революцию бросил, ничего не надо, оставьте мне сына, оставьте сыновей, жену, и мне хватит смысла жить.

Во всяком случае, все прочее — потом, во-вторых. Жертвовать можно собой, но не другими. Начни жертвовать другими — во имя революции, справедливости, искусства, осуществления таланта, — и кончится это чем-нибудь отвратительным.

29.3.79.

Теперь у нас есть Библия, новая, издания 1979 года. Читаю ее ежедневно с огромным удовольствием и интересом. Жалею, что так поздно читаю. И стыдно. Надо было бы прочесть в юности или в молодости. Новый Завет я, конечно, читал прежде. Но с азов читаю впервые, и кажется, впервые так чувствую даль времени и библейские истоки заключенного в языке миропонимания. Прекрасное чтение!

Отрадное явление — повесть В. Кондратьева «Сашка» в февральской книжке «Дружбы народов». Автору лет 57 — 58, и это его первая публикация. На стиле повести заметно влияние «Одного дня Ивана Денисовича», да и сам характер Сашки с характером Ивана Денисовича из одного, по сути, корня.

На днях сгорела филармония. На глазах у города. Пожар начался около пяти часов дня, и потушить не сумели. Одна из причин — негде было взять воду. В люках краны не действовали. Филармония выглядит так, словно в самую середину ее, в зрительный зал, угодила бомба.

4.4.79.

Авторство, выходит, такое: «Малая земля» — А. Сахнин, «Возрождение» — А. Аграновский, «Целина» — А. Мурзин. И не единой встречи с главным Автором. Сказали: любые документы, любые факты, все шло — по бумагам. Ах, не клевета ли это? Клевета, должно быть, клевета. Но запишем и клевету.

Такую: ветеран войны спрашивает ветерана: ты воевал на Малой земле? Нет, отвечает тот, я отсиживался под Сталинградом.

Пришло в редакцию письмо: читатель сетовал, что многие улицы Костромы не приведены в порядок, и замечал: им никак не сравниться с «костромским БАМом». <...> костромской БАМ расшифровывается так: баландинская автомобильная магистраль. Именно с постройки этой отдельной дороги на Козловы горы, где обкомовские дачи, началась замеченная костромичами деятельность нового первого секретаря обкома.

30.4.79.

Двадцать шестого должен был быть на Совете по критике, впервые за все время, как меня туда включили. Собрание, на котором я присутствовал затем (совещание руководителей писательских организаций, секретарей парторганизаций и редакторов литературных изданий всего Союза), было малоинтересным, чиновным. <...> Заседание происходило наутро после того, как объявили о присуждении Ленинской премии Брежневу за его сочинения. Г. Марков и В. Озеров несколько раз от имени собравшихся поздравляли товарища Б., и возникали легкие, короткие аплодисменты. Операторы хроники зажигали свои лампы, но аплодисменты быстро иссякали, и снять аплодирующий зал, видимо, не успевали. И опять завязывались аплодисменты, и опять тотчас вспыхивал свет, и опять, видимо, не успевали, и снова вместе с аплодисментами зажигали прожектора, будто это было как условный рефлекс по Павлову. В заключительном слове Марков призывал изучать жизнь и говорил, как много пользы ему лично приносят поездки по стране в рамках Дней советской литературы. Рассказывал, как побывал в Донбассе, как летал на вертолете над самотлорским месторождением и т. д. Говорил о каких-то записях в своем блокноте, которые ему пригодятся, и т. д. <...> На второй день выступал лектор Цека по фамилии Смирнов, он толковал о международных делах. Этот ухоженный, благообразный, размеренный человек не говорил — пел и явно получал наслаждение. Наибольшее впечатление произвели на меня его некоторые выражения. Так, он сказал, что космические полеты помогают нам «управлять миром и наблюдать за миром». Выражение, с которым были произнесены эти

глаголы, явно говорило, что это не случайные слова... Голос этого велеречивого пастора так и звучит в моих ушах; вот ангелы небесные, а не правители; десятилетиями правят и не ошибаются, и пасторы упоенно славят их деяния как безупречные.

### 7.5.79.

Перечитал «Хранителя древности», историю Корнилова и Зыбина. Прекрасный тон; страшное, жестокое, нагло-глупое представлены как ненормальная, абсурдная примесь к нормальной жизни; сила на стороне абсурдного и жестокого, но это не дает ей превосходства над обыкновенной здоровой жизнью, тем более — над духовно богатой жизнью. Отсюда то, что мы называем оптимизмом. Какое скучное, однако, слово! Это такой оптимизм: они могут все, а мы ничего не можем, кроме одного: знать, что они — раздувшееся ничто, и из этого знания — исходить.

По телевидению прошел первый фильм из двадцатисерийной «Неизвестной войны», сделанной для американского зрителя. Для советского зрителя сделать подобную картину никто не сообразил. Когда смотрели, думал, что киноматериал позволяет сделать еще более подробную и серьезную ленту о войне. Но делать ее — объективную и откровенную — не в интересах тех, кто направляет нашу пропаганду. Были кадры, о которых наш зритель забыл, что они существуют: приезд Риббентропа в Москву, подписание пакта. Несколько раз держали в кадре Сталина. Например, у микрофона 3 июля 41 года. И я подумал, что даже в этот страшный час к нашему народу обращался человек, говорящий по-русски с акцентом.

Картину было очень тяжело смотреть. Всматриваться в лица наших — одного этого достаточно, чтобы расстроиться: худые, уставшие, какие-то обострившиеся лица. И веселые, веселящиеся, смеющиеся немцы... Они бодро шагают, едут, спешат, гонятся... И наши маршалы смотрят в бинокли... И портреты Ворошилова и прочих. И горящие деревни, и дед с мальчонкой, полураздетые, на пепелище, у остова русской печки... Как это все изобразить, как понять, чтоб согласились и мертвые?

### 13.5.79.

«Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека («Новый мир», 3 — 5) — высокий класс необходимого описания; уверенное, полное знание предмета; отсутствие беллетристики; отчетливость каждого характера, каждого строя речи и мысли, каждого материального предмета; разочарование всеми и каждым, все — заблудившиеся, надежда оставлена — на продолжение, на повторение того, что было до автобуса; доброе и то, что называют светлым, существуют на самом простом уровне: Хуан пожалует жену, Прыщ растрогается, что отныне он Кит, а не Прыщ, и т. д. Но все равно — люди заблудились; кто-то напишет: заблудившаяся Америка или заблудившееся человечество. Еще лучше — опустившееся, которому блага цивилизации не пошли впрок. Но какая завидная, потрясающая отчетливость — ничего размытого, неопределенного, смазанного, серого и монотонного, всё — отдельно, все — разные, ничего суммированного, типового. Натуральная, но обдуманная жизнь; мысль нигде не отслаивается от изображения и отдельно не существует. Она тоже едет в автобусе и сама — автобус. Художник и есть художник, иногда полезно убедиться, что это так и возможно.

### 16.5.79.

У Клары Болотиной муж работает главным конструктором завода «Строммашина». Недавно его пригласил к себе директор. У директора сидел зав. фин.-хоз. сектором обкома партии Большаков, бывший председатель Островского райисполкома (я его по этой должности немного знал). Директор ска-



зал, что вот нужно помочь обкому в получении мрамора. Болотин спросил, сколько нужно мрамора и для чего. Большаков объяснил, что речь идет о строительстве правительственной дачи. Но тогда, сказал Болотин, мрамор вам должны отпустить по госфондам. Большаков пропустил это замечание мимо ушей (это они умеют прекрасно), и просьба была повторена. («Строммашина» выпускает среди других машин и мраморообрабатывающие и потому находится в деловом контакте с соответствующими предприятиями.)

Видимо, обком собирается строить новую дачу или дачи. Поговаривают, что Козловы горы не устраивают товарища Баландина и отыскивали лучшее место.

### 21.5.79.

Вычитал сегодня, что В. И. Вернадский был активным деятелем земского движения и членом Цека партии кадетов. С какой-то отрадой узнаешь, что в земской деятельности участвовали многие выдающиеся русские ученые и литераторы. Им это было нужно, они этим не гнушались, это была важная часть их жизни. Но как ругана их эпоха, как унижена. А мы-то сами кто теперь? Все отдали: самостоятельность, ум, честь; одна словесная казуистика спасает, надо же как-то оправдаться. Оправдать свое безупречное послушание и покладистость.

### 2.7.79.

Вот мы и вернулись; кажется, это было вчера; жизнь вернулась в свое русло, будто и не выходила из него и ничего не менялось. А мы-то катали, летели за две тысячи верст, и глаза пытались привыкнуть к другому ландшафту, другой листве, другой траве, другому простору. И губы еще не забыли вкус морской воды. Закрывать глаза — открыть снова, и полная перемена, словно все смыто, и заново прочерчен наш проспект Мира, и заново нарисован и освящен каждый дом, забор, дерево, памятник, — да, да, знакомое, привычное русло, или так — наше пространство, жизнепространство, угол наш...

Пока совсем не стерлось: балкон на десятом этаже пицундского Дома творчества, где мы с Томой любили сидеть вечерами, перед сном; бледный, постепенно исчезающий очерк берега; звонкий хор лягушек с двух близких озер, не уступающий пронозящемуся реву пицундского шоссе; в паузах рева — ресторанная музыка, освещенная лестница и подкатывающие машины, романтическая полутьма, дуновенье и звучанье беззаботности, легкой, прекрасной жизни, забывшей обо всем, что было и будет; ночная гроза и реактивный свист сквозняка — из балкона в балкон, будто летим и зависаем во тьме; все двадцать четыре дня — зависанье, отрыв от дела, от привычек, перерыв, и уже — с половины — наскучил...

<...> Долго все лица были чужими, из знакомых — никого. Шахтеры, чиновники, еще кто-то. Литераторы — в меньшинстве. Но однажды увидел Юрия Селезнева, перемолвились несколькими словами: когда приехал, на сколько и т. д. Большого и не хотелось, хотя и было некоторое неудобство: все-таки единственный знакомый. В день предварительного заказа авиабилетов Селезнев представил мне стоявшего рядом с ним человека: Байгушев. Вы знакомы? Я вспомнил тотчас: мы виделись мельком в издательстве «Современник». Тогда Байгушев (зам. главного редактора изд-ва по критике) был сумрачен и не выказал ко мне ни малейшего расположения. Скорее, он сдерживал неприязнь, но не скрывал ее. Тогда я уже знал, что он — однокурсник Левы Аннинского и, по словам Левы, ознаменовал свой приход в издательство тем, что задержал книгу Аннинского и вмешался в текст книги, уже набранной и почти готовой к выходу. Еще я помнил критический диалог Левы и Байгушева в «Доне», где был выпад (со стороны Байгушева) и против меня, хотя имени моего там не называлось (выпад касался моей новомирской статьи 69 года). На этом мои знания о Байгушове заканчивались; впрочем, какие-то смутные

воспоминания побуждали числить этого человека за кочетовским направлением (условно говоря). В тот день состоялся наш первый разговор: сидели втроем на скамейке и Селезнев, иногда перебиваемый Байгушевым, рассказывал о том, как сионистские провокаторы пытались дискредитировать его и его товарищей в глазах власти и широкой общественности. Второй разговор произошел в баре, когда Селезнев уже уехал и мы сидели с женами, и был еще тульский писатель Александр Харченков (если не ошибаюсь в написании его фамилии). <...>

9.7.79.

В один из вечеров, уже после отъезда Селезнева, мы сидели в баре. Байгушев предложил выпить за мою книжку и за новые успехи. Потом же стал говорить в таком роде: я хорошо помню твою статью в «Новом мире», она мне понравилась, в ней было что-то свежее, и знаешь, мы уже тогда заинтересовались тобой. Мы изучили твою биографию, узнали все, что хотели, и могли доставить тебе много неприятностей (вот как понравилась статья!), но потом передумали. А скажи-ка, обратился он ко мне вполне по-дружески, много ли ты получил за нее сребреников? И тогда я — тоже по-дружески — сказал ему, что о н и при всем своем желании ничего мне не смогли бы в Костроме сделать, а во-вторых, вся их пресловутая русская партия сама пронизана духом еврейства как торгашества, то есть беспринципна, пронизана стремлением к должностям, карьере, заражена куплей-продажей, приятельством и прочим. И что касается сребреников и всякой выгоды, то я чист, и со мной этой партии не совладать. Что-то в этом роде сказал, и разговор сполз на другое. Однако Байгушев успел еще сказать, что книжку мою в «Современнике» мариновали именно потому, что я написал ту статью, и вообще, надо понимать, за мою жизненную и литературную позицию.

Самое любопытное в этом разговоре, как звучало в устах Байгушева это «мы». Он явно давал понять, что входит в это «мы» и не последний там человек. В свое время Байгушев был зам. редактора газеты «Голос Родины», и, хотя он подчеркивал, что был там представителем Цека партии, я не вполне поверил. Он слишком старательно отмежевывался от другой организации, имеющей к этой газете самое прямое отношение (я с этим сталкивался, когда ездил в Макарьевский район к некоему Смирнову, бывшему власовцу). Эта старательность выдавала его близость к этой организации.

Из разговоров: «А, этот Юрий Жуков! Старый, закоренелый сионист... Вы думаете, случайно, что Брежневу дали Ленинскую премию по литературе, не по журналистике, что было бы много разумнее? Это тоже дело рук сионистов, они хотят вызвать больше раздражения в народе... Резник — хороший футболист, но у него мне не нравится фамилия».

22.7.79.

Хорошо бы выбрать время и написать не думая об издателях, об изображении детей в современной прозе, о детях как «увеличительных стеклах зла». Наткнулся недавно на безобразную страницу в новом сочинении Ю. Семенова («ТАСС уполномочен заявить...»), после которой желание написать об этом стало еще отчетливее. В глубину мировой литературы я бы не пошел — до дна не добраться, но Достоевский и Толстой помогли бы мне понять происходящее. Может быть, и получится что из этого замысла.

В «Лит. газете» статья Евтушенко — два подвала — о международном фестивале поэзии на одном из итальянских пляжей. Фестиваль проходил в условиях абсолютной демократии. Выступали все, кто хотел, как хотел и в каком угодно виде. Евтушенко рассказал, как он и лучшие из присутствовавших поэтов мужественно противостояли террору толпы и т. д. Я же обо всем этом подумал, что никакого в этом мужества нет и нечего было там — поэтам — делать. Вряд ли на этом пляже бесновались те, кому в жизни приходится тя-

жело. Выступать там — значило выказывать распушенной, разнuzданной пуб-  
лике — уважение, т. е. косвенное признание ее права та к и м о б р а з о м  
жить.

На днях в Кострому на польские дни (35-летие Народной Польши) приез-  
жала делегация из Варшавы. <...> Любопытно, что в составе делегации был  
старый польский поэт Станислав Рышард Добровольский, имя которого до-  
статочно известно у нас в стране. Еще любопытней, что никто из костромских  
писателей не был приглашен на встречу с поляками. О какой-либо встрече с  
Добровольским не могло быть и речи: она не была предусмотрена. Поляки  
участвовали в двух собраниях, где они слушали речи и выступали сами.  
Остальное время их возили в колхоз, на ГРЭС и т. д., и повсюду их сопровож-  
дали руководители области, т. е. самый узкий круг одних и тех же лиц. Пред-  
ставить себе, чтобы кто-то из костромских писателей сопровождал гостя-по-  
эта, — невозможно. Все ритуалы подобных визитов в Кострому зарубежных  
гостей схожи: представителей творческой интеллигенции не подпускают и  
близко. С ней не считаются, ее — нет.

Читаю журналы 1909 — 1910 гг. Тогда и раньше тоже — русское прави-  
тельство боялось своего народа не меньше, чем нынешнее. Тому есть много  
признаков и примет — боязни. Среди них — масштабы деятельности тайной  
полиции, состояние внутренней и зарубежной информации, в том числе ста-  
тистики, размах цензуры и т. п.

28.8.79.

Была печальная весть: на 39-м году жизни умер Валерий Гейдеко. Пока не  
знаю, что случилось. Гейдеко не вызывал у меня большого расположения, был  
человеком практическим, но ко мне относился хорошо, не знаю, почему.  
Жаль его, очень уж ранняя смерть. Прерыв жизни...

...Только сейчас, сию минуту, «Голос Америки» около одиннадцати вечера  
передал сообщение о смерти К. Симонова. Мы же слушали программу «Вре-  
мя», и там не было сказано ни слова. Вот так — из чужих уст — узнали эту  
горькую новость. Константину Симонову нужно отдать должное: его развитие  
в послесталинские годы отмечено благородством. Его военные романы, днев-  
ники, его работа на телевидении («Солдатские мемуары»), его гражданское по-  
ведение — все это вместе представило его народу как крупную личность. По-  
пытки алексеевых, стадниюков и других умалить значение этой личности, заме-  
стить его, Симонова, как военного писателя собою всегда выглядели жалко.  
Беда, что крупное исчезает, остается мелкое и норовит укрупниться любым  
путем, любой ценой. Опечалятся многие мои друзья — Володя Леонович в Ка-  
релии непременно, а вот другие — тот же Бочарников, Шапошников или  
Стаднюк — может быть, втайне и порадуются: как же, пережили, вроде бы  
превозмогли, вроде бы и х сторона берет верх...

На кого надежда в нынешней литературе? На Быкова, на Абрамова, на  
Трифонову, на Залыгина. На кого еще здесь, в России? Потомки легче прими-  
рятся с тем, что какой-то художник был далек от общественных страстей и  
нужд, современникам такое дается хуже. Да и случись большой художник, ему  
многое бы прощалось, да нет его. А эти со своим тощим талантом, да и с та-  
лантом ли? — со своим лебезеньем пред властью, со своими мелкими страстя-  
ми хотят, чтобы их чтили и возвышали. Это Олегу Михайлову все едино, про  
кого сочинять: про Бунина или про Стаднюка. Каково-то Бунину от такого  
соседства. Нет уж, лучше надеяться на таких, как Быков и Абрамов, тут есть  
художническая независимость и порядочность, а это безмерно дорого.

В начале августа заходил Володя Леонович. Жить в Сумарокове и поку-  
пать там дом ему расхотелось. Что-то не понравилось. Показалось, что много  
запустенья, бурьяна и что слышно «военное присутствие»: леса перегорожены  
ракетчиками, слышны какие-то команды то ли в рупора, то ли по радио...  
Словом, раздумал. Жаль. Аля Чернявская потом смеялась: это не военные в

рупора кричат, а на лосеферме лосей заывают, покрикивают. Я был занят статьей об Абрамове, когда зашел Володя, но был рад ему, и мы хорошо разговаривали, и потом я проводил его до центра города. Володя подарил вышедшую в Тбилиси книжку своих переводов из Г. Табидзе.

Прочитал книгу Вяч. Вс. Иванова «Чет и нечет», изданную в прошлом году издательством «Советское радио». Подзаголовок: «Асимметрия мозга и знаковых систем». Очень жалею, что узнал об этой книге слишком поздно, чтобы ее можно было почитать. Придется сделать оттуда ряд выписок. Наибольший интерес книга представляет (во всяком случае, для меня) для самопознания. Например, даже для познания особенностей собственного стиля.

### 3.9.79.

Мир отмечал 40-летие начала Второй мировой войны. Наши телевизионные обозреватели без тени смущения всю ответственность сваливали на западные державы. Обозреватели явно рассчитывали на нашу забывчивость; забывчивость укрепляет устой государства. В мировой опере наша партия такова: мы всегда правы.

Прочел роман Ю. Семенова «ТАСС уполномочен заявить...». Сей писатель увлеченно доказывает, что все наиважнейшее в современном мире вершится руками «спецслужб», т. е. тайной полицией и разведкой. Ему, по-моему, даже нравится, что это так. Кто в романе просто шпион, кто — журналист, без конца путается, особенно когда речь идет о советских людях. Налицо популярное совмещение профессий. Скоро, что ни случись в мире, заинтересованная сторона объявит: это дело спецслужб таких-то государств. Уже по одному этому никаких революций уже не будет, никаких тебе порывов к справедливости, все — от спецслужб. Вот двигатель истории — интриган из ЦРУ...

### 12.9.79.

Объявился тут Виктор Калугин, мой редактор из «Современника» (на машине приятеля некоего Михаила Еремина, ленинградца). Некстати было, да что поделаешь. Устроил их в гостиницу, а наутро они уехали в Сергеево, к Старостину. Михаил был представлен нам как переводчик поэзии (без особого разбора, но в основном среднеазиатской, по подстрочникам). Он говорил о своих переводах как о работе, чтобы можно было жить. Даже как о минимально необходимом заработке. Ничто большее и серьезное его не интересует (в поэзии). Но дал понять, что верующий, что разбирается в иконописи и т. д. Такие пошли теперь верующие: непременно дадут понять, что верующие. Очень хотят, чтобы это им было поставлено в заслугу, очень хотят отличаться. Не понял я этого человека; кажется, он всячески прикрывает свое разочарование самим собой, свою неудачу, нежелание или неумение работать, — а может, я и не прав; по сути, этот человек, возможно, серьезнее Калугина. Виктор — весь приспособление к сильным; Тома сказала, что у него хитрое, лисье лицо. В первый вечер я немного прошелся насчет «русской партии»; Тома потом сказала, что все это зря, и вспомнила, как в Пицунде Байгушев — ну и говорун, однако, — сказал нам, что издательство посылало ко мне не просто редактора (Калугина), но «кагэбэшника». Честно говоря, я не верю в это качество Калугина, хотя зарекаться ни от чего нельзя. Все эти промонархические разговоры и намеки Калугина и его спутника вполне совместимы с предполагаемой его второй профессией. Это достаточно безобидно. Вот, однако, Калугин сказал, что гонения на «Наш современник» (снятие якобы грозит Викулову) связаны с тем, что нашли у Пикюля намек на салон «госпожи Брежневой», где, по словам того же Калугина, бьвают Арбатов и др., как я понимаю, по терминологии Байгушева и Селезнева, — «сионисты»...

Вчера опять читал лекцию пред пропагандистами области в Доме политического просвещения. Потом расстроился: слишком искренне говорил. Боль-

шая трата нервов, а иначе не получается. И все-таки надо сдерживать себя, не поддаваться чувствам.

Купил «Русскую беседу» (один номер за восемь рублей), вторую книжку за 1856 год, и был очень доволен: статьи И. Киреевского, Ю. Самарина, стихи и проза Аксаковых и т. д. Очень интересны карандашные пометки на журнальных полях, судя по всему, принадлежащие читателю той далекой поры. Если я правильно понял, этот читатель весьма критически воспринимал представленные в журнале славянофильские увлечения и отзывался иронически о «московских ученых педантах». Я подумал, что для человека, живущего в глухой русской провинции (журнал привезен откуда-то из районов области), это очень здоровое восприятие преувеличенных московских страстей.

Читал «Спасское-Лутовиново» В. Гусева. Я надеялся на лучшее и с сожалением думаю, что и этот человек не замечает, что впадает в какое-то бесперспективное мелкое психологическое копошение. Автобиографическое начало очень заметно, чувствуется «обеспечение собственной судьбой» чуть-чуть замуфлированной, и бывает просто неловко читать, потому что герой очень нравится себе, но мелкость его натуры, своекорыстие, эгоизм, грубость (не тонкость) чувств — все отталкивает, и чувство неловкости меня не покидает. Прежняя давняя проза В. Гусева мне нравилась, хотя, может быть, тогда я не замечал того, что хорошо вижу теперь: сделанности, рассчитанной, выверенной по самым непроверяемым рецептам литературоведения. (Правда, нужно это дочитать.)

Было очень хорошее письмо от Н. Скатова, и еще — от вдовы К. Воробьева В. В. Воробьевой, которая как бы попрощалась со мной, уезжая на преподавательскую работу в ГДР. Письмо Коли связано с ленинградским резонансом на мою статью о Ф. Абрамове. Не помню, писал ли я здесь о том, что А. С. Рулёва очень высоко ее оценила.

### 15.9.79.

В костромской госбезопасности смена начальства — прислали генерала, а прежде были одни полковники. Два знакомых офицера не скрывали радости и были неожиданно откровенны: оказывается, Макогина не любили и в последнее время подозревали, что у него не все в порядке с головой. Я подумал: а в чем это, интересно, выражалось? Судя по словам одного из офицеров (ни имени, ни фамилии его не знаю, такой знакомый; может быть, я знал его до его поступления туда? может быть, он бывал в редакции?), коллектив госбезопасности способствовал уходу Макогина, т. е. это означает, что кто-то что-то предпринимал. А это удивительно для военной организации. Так в чем же тогда выражались отклонения от нормы бывшего начальника? Занятно.

Сентябрь холодный, нескладный. То солнце, то дождь, и бабьего лета, видно, не будет. Посреди дня пошел сегодня в книжный. Небо — синее, трава на газонах зеленая, в листе желтизна, воздух холодный, будто издалека, с севера, тянет зимой. Такое счастье — просто идти по улице: какое-то хмельное чувство.

Прочел роман Апдайка «Давай поженимся». За исключением нескольких мест — бесперспективное психологическое копание. Кое-что Апдайку захотелось пережить еще раз, в словах, — тоже немалая сладость, не отсюда ли эротический пафос? Странная бесцельность всего сочинения. Такой литературный спорт — пробалтывание, проговаривание, проопределение того, что обычно не определяют для других, для чужого слуха. Хотя, чтобы человек был проговорен до конца, вывернут наизнанку. Апдайку далеко до стейнбековского искусства различать и описывать различных, отдельных друг от друга людей. Здесь людей трудно отличать, они похожи, а я не верю, что даже в наши выравнивающие времена люди похожи настолько. У Апдайка заметнее прочих написаны сексуальные различия людей; возможно, ему это кажется основным. Ну, тогда он недалеко уйдет.

В библиотеке мне сказали, что к сентябрю каждая сотрудница библиотеки уже тридцать раз ездила на работу в «колхоз» и неизвестно, когда поездки закончатся. Такое массовое привлечение людей к сельхозработам всех удивляет: прежде такого не было. А что будет дальше? — спрашивают себя люди.

Л. Колосов и В. Кассис в «Неделе» и других изданиях разоблачают эмигрантов, отщепенцев, предателей. Порою они пишут грубо, грязно, непорядочно. Одно из их сочинений в «Неделе» кончалось каким-то эффектным пассажем, где, между прочим, говорилось (не помню уж, в какой связи) так: мы знаем, что по ту сторону жизни ничего нет, — или как-то похоже, но очень твердо, с мужественным нажимом, что после смерти для человека ничего нет. Я почему-то удивился: откуда они так хорошо все знают, откуда такое бесстрашие? И еще подумал, что раз ничего нет, так ведь это развязывает руки: делайте что хотите, распоясывайтесь...

Возможно, лучший способ жить — не обращать внимания на всю политическую область: пусть творят что хотят. И вообще — не вмешиваться ни в какие решения и методы власти, любой, самой малой. И при этом заниматься своим единственным, предназначенным тебе делом.

30.9.79.

Заходил Леня Фролов, пробыл в Костроме один день и уехал по районам области собирать материал для очерка о подъеме Нечерноземья. Держался дружелюбно, был искренен, все-таки знаем друг друга не первый год, но не очень-то открыт; чувствовал, что ли, что здесь люди несколько иной веры; как не снял пиджак, так и не снял с себя некоторой осторожности, мне не совсем понятной. Может быть, помнил письма, которые я написал ему по поводу романа Пикуля и предполагаемых мной причин его публикации. Или другое что причиной... Или это в его характере, следствие неизбежной московской дипломатии и осторожности. Об одном он сказал неожиданно прямо и как бы косвенно объясняя, что за многое в журнале не отвечает: Викулов принимает категорические решения, т. е. последнее слово за ним, и спорить с ним бесполезно. Я сказал ему: уходи, проживешь. Он промолчал. Московские неохотно расстаются с должностями, им нужно много денег, да и должности позволяют лучше устраивать свои литературные дела. Другая жизнь.

Прочел, и быстро, книгу Ю. Кудрявцева «Три круга Достоевского», изданную Московским университетом. Читал я в свое время и другую его книжку: «Бунт против религии», тоже о Достоевском. Этот Кудрявцев — какой-то родственник (не двоюродный ли брат) Гектора Степановича Шепелева, бывшего директора культпросветучилища, от которого я впервые о нем и услышал. Новая его книга по нашим цензурным условиям — редкая. Вынесенные на суперобложку похвалы в адрес автора, подписанные член-кором и доктором наук, на мой взгляд, лишние и преувеличенные, хотя они, возможно, и прикрывают его вольности. Но в целом книжка очень живая и достаточно свободная; это как бы социологическо-философский комментарий к Достоевскому, чрезвычайно непосредственный и рожденный сегодняшними российскими сомнениями и муками; сама методология отдает схематизмом, четкое различение и обособление трех кругов невозможно; слишком универсальным кажется предлагаемый ключ; стиль очень живой — восходящий в отдалении к А. Беллинкову и помнящий о манере Н. Бердяева, — но литературной культуры ему все ж таки не хватает. Но читал с немалым удовольствием, вспоминая тексты Достоевского и радуясь сходству в понимании многих нравственных, политических и эстетических проблем. Редко приходится читать в нашей стране такие откровенные, напористые, широко берущие тексты. Вся наукообразность отброшена; прочесть и понять может всякий мало-мальски гуманитарно подготовленный человек или любой, имеющий навык к чтению внехудожественной литературы. Если донесут, то у кого-то в издательстве будут неприятности; но дело сделано.

28.10.79.

В нашем СП опять вздор и дрязг. Герои те же: Шапошников, Бочкарев, Кожевников. Послушать со стороны, что читал вызывающе-торжественным голосом насчет профсоюзов — школы коммунизма и дарованных нам Конституцией прав Бочкарев, можно подумать, что дело происходит в какой-нибудь заготконторе, а докладчик — из малограмотных. А повод-то каков: отчетное профсоюзное собрание. Нет, и в заготконторах такое не говорят, Союз писателей — самое место для такой пошлости и глупости. Хоть совсем в этот союз не ходи, так противно. Осваивают жанр кляузы, затем последуют доносы, остальные жанры, разумеется, труднее, дар Божий нужен, а его нет...

Ниоткуда что-то нет мне вестей; все остановилось. Гавриил Николаевич<sup>2</sup> прав: неудачи, беды и прочее в том же роде надо преодолевать работой. Так и стараюсь делать, но приходится читать чужие рукописи, чтобы развязать себе руки. Прочел большой роман неизвестного мне Н. Фомичева «Свидетель». Он написан в виде записок некоего князя Аристархова, который свидетельствует о первых семнадцати годах нашего века. Судя по всему, сочинен роман человеком молодым, но сильно смелым. Даже бесстрашным. Не писатели пошли — герои. Им все по плечу, никаких сомнений, никакого страха Божия, никакой ответственности. Знай строчат свое, а потом, настрочивши, — в издательство, скажем, в «Молодую гвардию». И я вот, и еще кто-то сидят, мучаются, читают.

А еще читал сегодня рукопись Л. Б. Шульца для ярославского издательства. Называется: «Общественная сила красоты». Первая глава из диссертации на докторскую степень; нечто серьезное; все остальное — во имя публикации, преимущественно политическая, оснащенная необходимыми ссылками на первых лиц в государстве, банальщина. Тоже ведь удивительно. Все вроде бы человек понимает, но понимание для себя — это одно, а дело (карьера, успех, престиж и т. п.) — другое. Популярное нынче раздваивание: и туда поглядишь — Янус, и туда — Янус. Вот и разгляди единственное естественное лицо человека.

8.2.80.

С первых дней января очень напряженная обстановка в мире. Говорят, что напряженней не было со времен войны. Некоторые западные обозреватели сравнивают ситуацию с осенью 39 года, когда немцы напали на Польшу. На самом же деле ситуация, разумеется, новая: впервые за последние годы наша страна оказалась почти в абсолютной изоляции. Даже среди соц<и>алистических стран нет былого, хотя бы внешнего единства. И Румыния, и, судя по отсутствию информации из Будапешта, Венгрия не очень обрадованы афганской историей. Да и кто обрадован? До сего дня версия афганских событий подвергается изменениям: пытаются связать концы с концами. История с Амином удивительная. В наших газетах можно было прочитать, что «по свидетельству» такого-то члена ЦК партии, Амин, еще будучи в США, был завербован американской разведкой. Вот и думайте: что значит «по свидетельству»? В присутствии этого члена ЦК? Так где же он был раньше? Что молчал? И несть числа подобным вопросам. Наша международная информация и пропаганда исходит более всего из надежды на нашу полную глупость и забывчивость, едва ли не беспамятство. Они думают, что мы ничего не помним. Вот где вера в неотразимость своих слов.

Недавно в Горький из Москвы выслан Сахаров, а «Сов. Россия» напечатала статью — удивительно бесцеремонную — против Л. Копелева. И тоже — в этой статье — расчет на незнание и забывчивость читателей.

Вот и год активного солнца: человеческая масса волнуется. Но впечатление такое, что более всего волнуемо относительно небольшое число людей —

<sup>2</sup> Троепольский Гавриил Николаевич — писатель, очеркист, автор повести «Белый Бим Черное ухо» и других.

госдеятелей, а уж они-то теребят и тревожат всех, то есть народы, и во всем расчет на ту же глупость и послушание.

Недавно в редакции вернувшаяся с какого-то сборища в Москве Протасова рассказывала о выступлении Цвигуна<sup>3</sup>. Он упоминал о разоблачении в Саратове студенческой группы «радикал-демократов» — о том Протасова и сообщила. И тут редакционная новенькая от души сказала: «Ну что ж, начнем опять, и опять на Волге. Начнем сначала».<...>

13.3.80.

Вчера вернулся из Шарьи, где выступал на районном съезде специалистов сельского хозяйства. Деваться было некуда, пришлось сидеть в президиуме. Потом еще выступил в педагогическом училище, был приглашен на ужин, устроенный местной властью, и вечером уехал домой. Первым секретарем в Шарье сын Е. Н. Ерохина — 43-летний Владимир Евгеньевич. Было любопытно наблюдать, да и послушать.

«Мы — люди временные». «Временные, зато могущественные», — сказал я. «Могущественные, но при ограниченных полномочиях», — ответил Ерохин, явно имея в виду свою зависимость от областной власти, от этой жесткой опеки.

В Шарье услышал новую периодизацию российской истории: допетровский период, петровский, послепетровский и днепропетровский.

Публика на съезде была молодая; вспомнил облик Троепольского, облик дяди Володи (Владимира Николаевича Плескачевского), т. е. агрономов старого закала; таких или отдаленно похожих на съезде не было. Ну, то поколение сошло, перевелось, но где же последующие? Словно пропущены, кем-то выбраны. Остались молодые, и ежегодно половина обновляется (одни уезжают, другие приезжают).

<...> 21 — 24 февраля был в Москве: на совете по критике, на правлении издательства «Советский писатель». Один вечер провел у В. О. Богомолова, и нужно об этом записать как следует. Пока откладывал, так как писал о «Карателях» Адамовича, нервничал, спешил. И отправил без уверенности, что это легко пройдет. Иначе не написалось; скучно писать критику, ограничиваясь фиксированием каких-то формальных элементов литературоведческого толка. Я воспринимаю книгу прежде всего как факт жизни, если она действительно им является. Разумеется, как факт литературы. Но значительная часть эмоционального и прочего восприятия связана именно с этим, с фактом жизни.

16.3.80.

Ю. Нагибин, выступая по телевидению, невзначай упомянул «пайки», за которые кто-то борется или за которыми кто-то «бегает» (он говорил о личных качествах писателей, о том, может ли человек с дурным характером и малодостойными склонностями быть хорошим писателем и т. п.). Кто-то из телезрителей подумал, что Нагибин вспомнил войну или другие трудные годы. А Нагибин просто проговорился, потому что это сегодня членов СП в Москве раскрепили по магазинам и они в определенные дни недели те магазины навещают. Мне передавали слова Ф. Кузнецова: «Снабжение писателей — дело политическое». Воистину так.

13.4.80.

Написал рецензию (внутреннюю) на рукопись Д. Дычко о Галине Николаевой. Изд-во «Советский писатель» заключило с Дычко договор и теперь вынуждено отказываться от этой рукописи. Сочинение Дычко заставило меня

<sup>3</sup> Цвигун С. К. — заместитель председателя КГБ СССР, генерал-полковник, покончил жизнь самоубийством в 1982 году.



задуматься: эта женщина многие годы работала в журнальных и газетных редакциях Москвы, оценивала, правила, отвергала, играла какую-то, пусть небольшую, роль, но уровень ее мышления и представлений о литературе и жизни столь невысок, а стиль столь беспомощен, что поневоле возникает вопрос: как же она ту роль играла? А ведь играла же, и вполне, значит, возможно, что рядом, выше и ниже, были такие же «артисты». Недаром говорил Черниченко: вы думаете, что там, в Москве, «вверху» (речь шла о государственных учреждениях), работают люди семи пядей во лбу? Неправда, там — самые обыкновенные, зачастую самые заурядные, невысокой квалификации люди. Конечно, я об этом догадывался. Но рукопись Дычко, московской литературной дамы, как-то очень ясно и наглядно представила мне истинное положение вещей. «Столичный уровень» — все это чепуха. Есть уровень людей.

Прочитали с Томой книжку Н. Решетовской. Там упоминается Кострома, где А. И. (Солженицын) учился на артиллерийских курсах в 1942 году. Кстати, где-то в эту же пору или годом позже в Костроме побывал Богомолов, приезжавший в Песочную набирать разведчиков. Вероятно, он кого-то сопровождал из офицеров, потому что сам тогда был крайне молод. <...>

В «ЛГ» появилась рецензия Бориса Баннова на книгу Н. Яковлева о ЦРУ против СССР. Там говорится чуть ли не о том, что ЦРУ сфабриковало, привело в божий вид сырую массу сочинений А. И. Вот уж где расчет на короткую человеческую память! Не сами ли выпускали в свет книгу Решетовской. Этого Бориса Баннова я помню по университету. Он и тогда вызывал у меня какие-то брезгливые чувства. Неприятный был юноша, гладкий, хорошо приспособленный. Ну а про Яковлева — я сразу вспоминаю его слова о приятной тяжести каски на голове, которые есть в его книге о 14-м годе. Ключевые — в психологическом отношении — слова.

Ничего нет, кроме работы. Все это газетное и мнимо общественное, активно-литературное (сборища, декады, дни, секции и пр.) тащит в какой-то омут. Все дурное там замешивается, взбалтывается и плещется через край. Не знать, не слышать, не видеть. Кому нравится — пусть их; образ жизни А. И., о котором рассказывает Р., напомнил мне о Любичеве; высшая правота — в такой отдаче работе, в таком «аскетизме».

Ну и снег сегодня!

Иногда приходит в голову: роман бы написать. И такая вдруг поднимается в душе надежда, что смогу, что нужно сесть и писать, но рассудок быстро отвергает: не твое дело, оставь. Но потом снова случается такой миг, и такая же поднимается надежда. Не знаю, не знаю.

Читаю всякую чужую галиматью (рукопись страниц в шестьсот Р. Солнцева), поражаюсь какой-то внутренней бесконтрольности, вседозволенности себе; как же так, думаю, ничего не сдерживает, все нравится автору и все важно, и нет конца словесному потоку. Потоп какой-то.

15.4.80.

Вот штрих к роману о наших днях: доктор наук, заведующий кафедрой литературы возвращается из Москвы в общем вагоне с рюкзаком за плечами. Ездил в министерство. Утром, с поезда, приходит домой, измученный тяжестью и бессонной ночью, и тут же, сразу, в прихожей становится, опускается на колени, чтобы снять с плеч битком набитый едой рюкзак.

Америка приняла решение о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Пока в Афганистане был Дауд, все было спокойно. Наше вмешательство в дела этой страны привело к тому, что Америка и Китай открыли друг другу объятия, под угрозой срыва оказались Олимпийские игры, многие страны отшатнулись от нас; к тому же мы не знаем, каковы потери там наших войск.

28.4.80.

Больше нет старого кладбища в Костроме. Вчера проходили с Никитой мимо, по другой стороне нашего проспекта Мира, и зрелище, открывшееся нам

на некотором удалении, поразило нас своей странностью: кладбищенский лес, казавшийся прежде таким густым понизу, вдруг просветлел и стал просматриваться далеко, и в глубине его повсюду что-то делали, во всяком случае присутствовали и как-то даже празднично, разбросанно размещались люди. Это уже явно шла к концу очистка парковой теперь территории от памятников, оград и крестов. На той части кладбища, что соприкасалась с улицей и где похоронены умершие в костромском госпитале воины, работы были в полном разгаре: множество солдат и школьников что-то делали на этой ископанной, исковерканной земле. Я слышал, что мемориал собирались реконструировать. <...> Теперь мы с Никитой увидели, как выглядит это черное, в сущности, дело. Казалось, что пустота, образовавшаяся среди деревьев, связана с тем, что память о множестве людей физически упразднена, стерта. Пока были эти ограды, имена и даты на камнях и железе, казалось, были, присутствовали, не исчезли до конца и люди, носившие эти имена. Теперь их не стало, словно прошел каток и выровнял место, освободилось пространство. Лес стал разреженным, и было странно, что в нем так просто и легко ходит много людей.

Шел с Аркадием Пржиалковским по улице Ленина мимо конторы костромского горпищеторга. Со двора этого дома навстречу нам дружно вышло много женщин — десятеро или больше, все широкие, плотные, большие и с сумками в обеих руках. Несколько лет назад со двора этого одноэтажного до-революционного дома был вход в закуток из двух комнат, принадлежавших Союзу писателей. Я еще тогда понял, какое важное, могущественное учреждение трещит пишмашинками и пронзительными голосами за писательскими стенами...

Странно устроена наша общая жизнь, но и к странностям привыкают, когда они длятся долгие годы и постепенно прибавляют в своем удивительном качестве. Я понимаю, почему в новом романе С. Залыгина аристократы (будь то полковник царской армии, противник революции, или рабочий человек, знаток своего ремесла, мастер) противопоставлены нэпманству как силе наглой, низкой, жадной — до еды, барахла, наслаждений, роскоши. Именно эта сила, называемая нынче потребительской, забирает все больше власти в нашем общем быту. Но нэпманы хотя бы умели делать свое дело, были предприимчивы, изворотливы, многим рисковали, многое у них получалось. Нынешняя чернь скорее всего или чаще всего бесталанна; она просто ловко использует свое служебное положение, она кормится сама и кормит тех, кто в свою очередь способен ее подкармливать. Чем больше она кормится, и чем больше кормит, и чем больше получает взамен, тем выше она оценивает свое значение в общей жизни, тем полнее ощущает свою силу и правоту. Она-то того и гляди объявит себя новой и подлинной аристократией, потому что умеет жить и знает толк в жизни, в ее ценностях. К тому же она хорошо знает, при ком кормится и кому обязана своими местами; уж в этом твердом знании ей не откажешь; тут она не ошибается и не ошибется. Впрочем, эта человеческая порода выведена не в последние годы, она всегда берет свое, сейчас же она распоясывается...

Пишу рецензию на повести и рассказы В. Поволяева, предложенные им издательству «Детская литература». Среди москвичей рецензента, способного отклонить это предложение, видимо, не нашлось. Не портить же отношения с секретарем Союза писателей РСФСР. Я же вот взялся, обещав единственное: напишу, что думаю, — в интересах издательства или нет, все равно. Пожалуй, моя рецензия Поволяеву не понравится, но если он — умный и совестливый человек, то что-нибудь поймет и примет. После сочинений Солнцева и Поволяева я думаю о недержании речи, которое именуется литературой.

8.5.80.

Сегодня в Белграде хоронили Тито. Умер на 88-м году жизни. Телекомментатор Потапов сказал, что в похоронах принимают участие руководители ряда государств. В этом «ряде» около ста государств мира. Сказать об этом лю-

дям наши органы информации не могут. Точно так же не могут они оценить подлинное значение ушедшего человека и его мужественного дальновидного акта сорок восьмого года. <...>

Вспоминаю Йоле Станишича, его ненависть к Тито. Наверное, в его рассказах о репрессиях в Югославии была правда. Идеализировать Тито, обольщаться на его счет — нет нужды. Но история, надо думать, высоко оценит его бунт против сталинского деспотизма, смелость его разрыва со своим могущественным соседом и многолетним политическим руководителем.

Йоле Станишич — высокий, худой, порывистый, глаза черные, пламенные, шевелюра черная, пламенная; ныне он в Ленинграде, член Союза писателей, поэт. А тогда учился в Костромском пединституте, приходил ко мне в редакцию, приносил стихи в переводах Валерия Благово, кажется, однокурсника. Стихи были антифашистские, с проклятиями по адресу извергов и палачей; я не сразу понял, что эти проклятия посылаются Тито. Станишичу казалось, что мы разделяем его взгляды; во всяком случае, не замечал, чтобы он на этот счет сомневался; вроде бы это для него само собой разумелось. Как я понял, Станишич бежал из концлагеря в Румынию, а оттуда перебрался в Советский Союз. Однажды он рассказывал о том, как в лагере расстреливали: построили, выбрали через одного... Другой югославский костромской политэмигрант, Джурович, по сей день работает в Костроме. Он закончил с/х институт и работает на опытной станции, даже стал каким-то начальником. Но в нем и прежде не было той страсти, что в Станишиче. Он, кажется, меньше политик и более приспособленный человек. Думаю, что если в Советском Союзе есть какое-то антититовское югославское «движение», то Станишич непременно к нему причастен; возможно, теперь он окажется в Югославии, чтобы бороться там, но вот вопрос: за что? За возвращение в лоно той церкви, из которой Тито вышел в сорок восьмом?..

#### 10.5.80.

Вчера, в День Победы, как всегда, на проспекте Мира было многолюдно. Сначала возлагали венки к так называемому монументу Славы на площади Мира, а потом все шло к воинскому кладбищу, где похоронены умершие от ран в костромских госпиталях. Необычно много вчера было выведено на улицы войск; что-то я не припомню, чтобы был когда в Костроме такой крупный проход солдатских колонн по городу. И училище шло, и десантники, и, возможно, ракетчики... в сравнении с прошлыми годовщинами все меньше на улицах участников войны. Раньше были заметнее и инвалиды на колясках, и старушки, чьи-то матери... Теперь заметнее всего молодые и какие-то обезличенно средние — наши и за нами идущие — возраста... Мир меняется, там, где стояли и шли одни, стоят и идут совсем другие, а тех уже нет совсем. Все происходит незаметно; перемена в фигурах: одних кто-то смахнул, другие пока оставлены...

Почему-то вспомнилось, как вчера мы стояли у здания горкома партии среди многих людей, ожидавших прохода солдат, и вдруг увидели, как на перекрестке, за оцеплением, одна за другой в крутых виражах разворачивались черные, блестящие на солнце «Волги». Этот разворот одной, другой, пятой, едва ли не десятой машины заметили многие и с любопытством следили: начальство приехало. И верно, пяти минут не прошло, как усиленный микрофоном командирский голос запел: «К торжественному маршу...» <...> Эта кавалькада лимузинов — интернациональное зрелище, вспомни «Зеленую стену», и цвет у этой кавалькады никак не определить — даже неинтересно, какой флажок трепещет на первой машине. Тут прямо кричат, настаивают, воем впереди мчащейся сирены предупреждают: мы такие-сякие, не вам чета. <...>

#### 21.5.80.

Вчера ездил в Красное. В пять часов пошли к первому секретарю Анатолию Алексеевичу Смирнову. Я заранее попросил Корнилова о содействии, и

он написал Смирнову письмо. А просьба моя была такая: помочь в оформлении покупки избы в деревне Демидково. В самой деревне этой из семи изб мало живописного, да и продаваемая (за шестьсот рублей) изба невелика и негорда. Но вокруг поля, леса, воля, в избе — русская печь, чуть в сторонке за двором — банька. Искать другую — значит ездить, бродить, тратить время, которого нет. Вот и подумал: а что? Взять и купить. И Никите радость, и нам отрада. Кажется, просто: договорились, плати деньги и переезжай. Да не тут-то было. Оказывается, продавать горожанам нельзя. Нельзя продавать, закон не велит. В колхозе ли твоя изба, в совхозе ли — все равно. Ничем не может мне помочь первый секретарь. Вы там с бабушкой этой договоритесь, куплю-продажу как-нибудь оформите, но ни в сельсовет, ни в совхозную контору не обращайтесь. Если же кто будет притеснять, мы заступимся. Нам писатели нужны... Можно было, пожалуй, и не ездить. Это мы и так знаем: обманывайте как можете, сочиняйте дарственные и прочие филькины грамоты.

О Смирнове я слышал прежде, и неплохое. Он не преминул заметить, что понимает творческих людей, поскольку сам... Продолжение было замято, я не стал показывать свою осведомленность: Смирнов пишет стихи и охотно читает, когда попросят. Разговор мне не очень понравился, и я подумал, что «подыгрывать» этому начальнику мне ни к чему. Самое же главное впечатление от этой встречи такое: лицо Смирнова, даже цвет его, все повадки, интонации напомнили мне другие сходные лица, принадлежность к одному клану, касте, как угодно, — проступает, словно это такая порода выведена. Правда, вся эта «породистость» исчезает тотчас, стоит им перейти на пенсионное обеспечение. Но пока они при должностях, с другими — не спутаешь. Если б приехал с такой же просьбой «свой брат», — впрочем, зачем им это нужно, когда есть казенные дачи, — но вдруг приехал бы, то все было бы обеспечено в лучшем виде. А всего-то и надо было, чтобы кто-нибудь предупредил в сельсовете: не препятствуйте, не ворчите, пусть оформляют, как получится. Бог с ним, оставим это.

Пучок редиски (пять штук) стоит на базаре пятьдесят копеек. Яблоки (там же) — четыре рубля. Шофер из красносельской редакции возмущался по дороге этими ценами. Он хотел купить в Костроме селедку, но не нашел. Вез в Красное (36 км от Костромы) спички, потому что со спичками перебои. Говорит, что масла и сыра в Красном нет, молоко бывает, но лучше всего снабжают водкой. У нас, в городе, опять нет масла, нет муки, крахмала, все реже удается купить кефир, творога нет. Все это в порядке вещей. Можно выдержать и такой порядок, но его нужно признать открыто и равно подчиняться ему всем, не устанавливая и не культивируя привилегии для правящего аппарата.

75-летний Шолохов, давая «интервью» корреспонденту телевидения, не смог сказать ничего связного: случайные фразы, вырвавшиеся из уст больного человека. В честь этого юбилея показывали фильм «Тихий Дон». Кое-что посмотрел и я, и тягчайшие ощущения вызвало это зрелище. По-моему, Никите было страшно это смотреть, не только потому, что много убивают, но потому что русские — русских, и не понять, где же, на чьей стороне, справедливость? А когда это не ясно, то становится много страшней.

Вчера купил в магазине за десять рублей книгу И. Наживина «Из жизни Толстого» (1911, изд. «Сфинкс»). К И. Наживину отношусь с уважением после его романа «Мэне... Текел... Фарес...».

11.7.80.

Вчера вернулись после «странствий». После Пицунды пробыли три дня в Москве, где нас ждал Володя. Возвращались домой впервые за последние годы все вместе — четвером.

Со вчерашнего дня прекращен свободный въезд в Москву на время Олимпиады. Пущены поезда типа Адлер — Вологда (мы встретили этот поезд в Александрове) в объезд столицы. В Москву же продают билеты по предъявлению паспорта (прописка).

На дверях почты прочел объявление о том, что на время Олимпиады бандероли в Москву, Ленинград, Таллин, Киев, Минск должны сдаваться в открытом виде (а вдруг бонба!).

В Москве в связи с Олимпиадой полно слухов и кривотолков. Девочек (Таню-Олю), прежде чем распустить на каникулы, предупреждали, чтоб не смели брать-подбирать на улицах, на скамейках жевательную резинку и все прочее, яркое и манящее (все будет заражено!). На каком-то собрании в ЖЭКе, где была мама, рассказывали, что на днях в Москве исчезла целая семья, что какого-то шофера такси какие-то иностранцы убили за несговорчивость, что-то такое прыснув ему в лицо...

Что правда, то правда, милиции в Москве стало очень много; это бросается в глаза; особенно заметно, когда милиционеры с рациями прогуливаются по тротуарам, стоят у каких-то домов.

Совершенно точно, что в дни Олимпиады в Москве и других городах будут действовать «олимпийские» милицейские (из госбезопасности — тоже) команды. Об этом мне говорил один из участников, т. е. член костромской милицейской команды.

Так бояться — зачем было устраивать? Да и не поймешь, кого бояться больше: иностранцев или своих собственных граждан? Своим по привычке — чем дальше, тем больше — не доверяют.

<...> Вчера прочел отвратительную статью Машовца в июньском «Нашем современнике». В этом журнале не следовало бы больше печататься, а Фролов и Авдеева настаивают в письме, чтобы я прислал им статью о Быкове.

Какая-то злоба и зависть жгут Машовца. Не статья, а лай какой-то. Масоны, обострение борьбы, космополит и сионист Корбюзье и т. д. А вокруг — частокол из правверных цитат: Ленин, передовицы «Правды».

Настанет день — и вспомним Михаила Лифшица с его «закоснелым марксизмом» и признаемся себе, что на тех путях — больше надежды и — гуманности? Надежды на гуманный вариант истории. На тот, который никак не осуществится. Национализм, националистическое мессианство такой надежды не оставляет. В этом случае никакой гуманный вариант невозможен.

Прочел повесть В. Катаева «Уже написан Вертер» («НМ», № 6). Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках... Страшные видения некоего «спящего»... Однако это страшные видения глубоко благополучного человека, который наблюдает страдания со стороны (безопасной!) и потому способен заметить, что по щеке терзаемого существа ползет «аквамариновая» слеза. Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует; то есть оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что все равно что отсутствует... И неожиданная в старике Катаеве злобность, и бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счета)...

Кто только не писал о 70-летию Твардовского: и Е. Исаев, и В. Туркин, председательствовал на вечере в Зале Чайковского М. Дудин...

На том вечере не дали выступить Адамовичу, хотя поначалу поручили сделать доклад, Можаяву, Залыгину...

Судьба мертвых... Судьба поэтов... Сколько было врагов, как ловко травили, теперь все — в друзьях, и тянут руки, и хотят прибрать к рукам: как же, как же, великий, народный, наша гордость...

И расчет на одно: на беспамятность, на то, что новые поколения не знают, не могут помнить и верят их сегодняшним словам, не сверившись, да и не зная, что были — вчерашние, сокращавшие дни Поэта. Убивавшие.

Время какое-то критическое. И в мире, и внутри страны. Уж слишком много откровенного вздора и лжи претендует быть правдой. Уж слишком далеко заходит недоверие к собственному народу и пренебрежение его мнением, какая-то потаенная ставка на глупость большинства, на то, что и эта ложь иль полуправда сойдет.

На обратном пути с нами до Харькова ехал железнодорожник из Читы, человек лет 50-ти или чуть более. Не просто железнодорожник, а даже заслуженный, с большим стажем.

Обычно я сдержанно разговариваю с незнакомыми людьми. Не получается иначе, что-то мешает. Так было и на этот раз. Но, возможно, этот железнодорожник почувствовал, что опасаться меня нечего, что слова его вызывают во мне сочувствие, и он разговорился. И удивил меня своей твердой, убежденной резкостью, своим неприятием взрослых игр на государственном уровне... Да, подумал я, это уже пошло по здоровым головам, это уже складывается накрепко, и величайшее заблуждение думать, что пропаганда достигает своего... И еще подумал: бедные наши русские головы, какой в них хаос... Хочется врать, и, отталкивая, цепляемся... И не за что, и не стоит того, а все-таки...

Валентин (Оскоцкий) прислал в Пицунду телеграмму, чтоб по приезде в Москву позвонил ему, не миновал бы. Не миновал. Но в Переделкино, где он снимает дачу, сразу же решил не ездить, и встретились мы в ЦДЛ. Наткнулись там на А. Нинова, и ужинали втроем. За соседним столиком оказался Юрий Убогий, и он, и я были рады встрече. С Убогим был Карлин, зав. прозой «Нашего современника». Обнаружив меня в компании с Оскоцким и Ниновым, он хмуро на меня поглядывал и, поглядывая, что-то говорил Убогому. Наверняка наутро в редакции было доложено, что Дедков окончательно продан евреям.

<...> Прочитали рассказ Ф. Искандера «Валтасаровы пиры» (из цикла о Сандро из Чегема). Можно только сожалеть, что он не напечатан. Не хотят печатать то, что расставляет все по своим местам. Именно этого не хочется. Чтобы все встало по своим местам и было названо по именам.

Отмечено 50-летие В. Кожинова. В «Лит. России» по сему поводу заметен С. Куняев. Я бы, пожалуй, так не смог: писать о друге. Мерещится неудобство. Сам же Кожинов напечатал в «Москве» статью о Н. Рубцове в кругу московских поэтов и выразился в ней достаточно откровенно и полно, он уже озаботился написанием истории, включив в нее своих друзей и себя, придав быту — значительность литературного события. Или он думает, что такую историю потом не перепишут? По С. Куняеву, справедливость и добро не совпадают, и Кожинов приводит эти строки; у Кожинова плохо и с тем, и с другим. Он вроде бы стремится к равновесию, чтобы должное было отдано всем (и «Октябрю», и Д. Старикову и т. д.), но равновесия нет ни в логике, ни в тоне, ни в идеях, а есть расчет с противниками, с инакомыслием, и всякий повод (Рубцов ли, современная ли песня и т. п.) для расчета хорош и потребен. И прорывается раздражение.

У Кожинова нет идей для всех. Ратуя за народность, он мало озабочен «всеми» (т. е. народом).

26.7.80.

Мои в деревне, я один. Утром ходил хоронить отца В. Г. Корнилова.

<...> Не в первый раз я думал сегодня о том, что хоронят не человека; человек остается, но на сколько — зависит прежде всего от него самого. Он остается не для себя и как бы помимо себя, но живущие — хотя бы несколько человек — знают, что он остается. На какое время и в какой мере — все от человека.

Вчера западное радио сообщило о скоропостижной смерти Владимира Высоцкого. Ему было сорок три года. Без помощи Лондона об этом, пожалуй, узнаешь через месяц. Дико, но нормально.

<...> Хочется освободить Тому от службы в редакционной конторе. Дальнейшее пребывание ее там становится оскорбительным для нее и меня. Если меня не подведет здоровье, то в ближайшее время мы решимся на этот шаг. Я и так виноват перед Томой, что мы живем здесь так непоправимо долго; обстоятельства же не улучшаются, и негде больше работать, как в «Северной правде».

Общее состояние окружающей нас жизни, т. е. жизни, внутри которой мы находимся и где истекает наше время, печально прежде всего тем, что множество людей лишено возможности реализовать заключенные в них силы. Лучшее всего чувствуют себя те, кто сделал ставку на приспособление и приобретение. На наших глазах эти люди все более разворачиваются, их становится все больше, и они уже не стесняются. Возможно, это и есть новый человек, которого воспитывает наша власть и обслуживающая ее литература. То есть воспитывает не тем, что провозглашает, а реальными обстоятельствами жизни, своим делом.

Время шустрых людей.

31.7.80.

Читал воспоминания А. Бенуа. Там — жизнь, которая нам и не приснится. Возможно, я читал что-нибудь подобное и прежде, т. е. из сходной жизни. Но только Бенуа заставил подумать о том, что в определенной, даже художественной, т. е. высокосоциальной и нравственно чуткой, среде монархизм может быть очень естественным и хорошо понятным убеждением. То есть понимаешь это настолько, что требовать чего-то иного кажется абсурдным.

Однако это не тот монархизм, который точнее всего называть деспотией и чья популярность ныне в иных пусть узких, но влиятельных кругах устойчива и даже растет. Тут представление иное: об устойчивом, традиционном, как бы освященном порядке и иерархии жизни, от которого веет домашностью, счастливой размеренностью и подтверждением твоей избранности. Несомненно, что это связано с богатством или родовой знатностью; другой мир, другой люд оказываются вне этого круга жизни; глаза не видят того мира и люда как жизни неполноценной, обслуживающей. Понимая монархизм родни Бенуа, я, однако, столь же понимаю и революционную страсть, которая может подняться в человеке этого же круга, но другого зренья, другой чувствительности. <...>

4.8.80.

«Зачем всё?» (А. Адамович, «НМ», 1980, № 6, 7).

Это тяжкий вопрос, когда спрашивают действительно про все — про войны, неизлечимые болезни, преступления, общественную ложь, всяческое насилие над человеком и т. п. — и тогда, в самом деле, зачем это все?

Трудно отвечать. Нужно долго подыскивать и долго выговаривать ответ. И уверенности, что прав, не будет. Очень может не быть уверенности.

Когда же спрашивают: зачем все? — и имеют в виду: зачем жить, работать, к чему-то стремиться, хотеть чего-то, мучиться, страдать и т. д. — зачем все, когда конец предрешен? И притом конец все уравнивающий, не знающий снисхождения и никого не пропускающий: зачем тогда все, если все так легко перечеркивается, и тебя не станет, и ты сольешься с землей? Вот тут, я думаю, здравый ответ один, и простой.

Все наше — существование, труд, мучения, старания и т. п. — ради продолжения — в детях, в близких, в отзвуке того, чем жил и что делал, как жил.

Быть звеном в цепи — уже оправдание.

«Смысл жизни есть, и именно тот, что каждый должен исполнять волю пославшего, исполнить свое назначение и умереть» («Прометей», 12, стр. 248), — так рассуждал Л. Толстой.

Это — про то же самое, но под другим углом зренья.

Насчет «пославшего» можно усомниться; не насчет Того, Кто мыслится за словом, а про то, что трудно счесть каждого — посланным.

Я бы сказал: не пославшего, а оставившего жить.

Раз оставил жить — то зачем-то?

Некоторые, многие считают: развлекаться, брать и брать. Они и учатся, чтобы научиться лучше брать, больше брать, пригребать к себе.

Они тоже, впрочем, рассчитывают на продолжение. Они-то не скажут, что жизнь бессмысленная: зачем все?

Затем хотя бы, чтобы — жить, жить удобно, пить и есть сладко, оставить наследство и т. д.

Впрочем, варианты не имеют большого значения.

Люди находят и утверждают смысл не потому, что слабы, трусливы, прячут голову под крыло... В самой нашей природе уже есть ответ на то самое: зачем все?

Все вопросы этого рода и развивающие их («как умереть?» — см. Адамович) — ничто рядом с вопросом: как жить?

Вот вопрос, на который вообще не подобрать ответа, его нет — достаточно универсального.

(Без даты.)

Телетрансляция закрытия Олимпиады. На поле стадиона вышло немного спортсменов, значительно меньше тех, кто участвовал в Играх. Но существенно не это.

Вся колонна спортсменов шла как бы обведенная замкнутой белой линией: наши юноши и девушки в белых костюмах образовали движущийся коридор, в котором шли спортсмены. Это было похоже на конвой; не хватало оружия. Удивительна боязнь, одолевающая нашу власть. Боятся чужих и боятся своих. <...>

П. Палиевский в «Прометее» (12) приводит слова Толстого об утрате чувства эстетического стыда. И далее призывает признать, что это чувство пусть не утрачено, но его «не хватает». Думаю, что деликатность тут неуместна. И во времена Толстого чувство это было вряд ли «утрачено» полностью; но он сказал именно так, понимая, что тут только стоит начать... Даже одного факта, который был снесен обществом, литературой, достаточно. Тут только пустить одного, за ним повалят другие — толпой. С той поры «прогресс в бесстыдстве чрезвычайен»; слова Толстого лучше повторить.

3.10.80.

История из жизни Октябрьского района (столица — Боговарово). В одном из колхозов самая дойная корова в стаде никогда не паслась вместе со всеми и мучила тем пастухов. Пастухи отказались иметь с ней дело, потребовав, чтобы ее сдали на мясо. Но председатель рассудил так: дает больше всех молока, пусть пасется одна где хочет. Так и пошло. Эту корову, столь гордую и независимую, прозвали Парторгом, но не за гордость и независимость. По утрам она вздумала являться к колхозной конторе на раздачу нарядов, присутствует и выпрашивает кусок хлеба. Вообще, говорят, где скопление народа, там и она. Парторг и есть. (Рассказано Сашей Даниловым, собкором «Северной правды».)

В. А. Старостина мужики спросили: «Что это, Василий Андрианович, в Костроме все пожары да пожары. То цирк, то филармония, то лучший ресторан?» — «Ничего, — ответил Старостин. — Главное, что Иван Сусанин как стоял, так и стоит».

В «Лит. России» была такая информация: объединение прозаиков Москвы начало «новый творческий сезон».

По телевидению показывают кадры кинохроники: горят нефтехранилища, нефтяные промыслы, черный дым во весь горизонт, ползут танки, перебегают вооруженные люди, а гладкий, излучающий мудрое спокойствие господин говорит: нет, мы, советские люди, не считаем, что между Ираном и Ираком идет война, мы называем это конфликтом. И в тот же день слышишь, что военные действия происходят на фронте в восемьсот километров, что в больницах полно мирных жителей и т. д.



Важнейшие перемены продолжают происходить в Китае, однако вся информация оттуда подается в неодобрительном тоне. Если это будет продолжаться долго, то за совершенную ошибку придется расплачиваться, разумеется, не нынешним руководителям внешней политики и теле- и прочим пропагандистам, а молодым поколениям, нашим детям и внукам.

Международный телеобозреватель Анатолий Потапов настолько увлекся обличением и настолько усвоил обличительную интонацию, что даже когда говорит: «Всего доброго», — то кажется, он и нам, зрителям, желает чего-то пакостного.

«Трибуна люду» по-прежнему не поступает в киоски, хотя в газетах и по телевидению говорят о нормализации положения в Польше. Наш народ так и не получил полной информации о том, что произошло в Польше. То, что сочли возможным сообщить, составляет, вероятно, процентов пять — десять от того, что следовало бы сказать о случившемся.

Прочел «Труды и дни Свистонова» Константина Вагинова («Звезда», 1929, № 5). Вещь ироническая, но о психологии творчества — много серьезного.

5.10.80.

Вчерашний разговор в магазине. Покупают ливерную колбасу третьего сорта (60 коп. кг). Одна женщина — другой: «Вот и поедем колбаски ради праздничка». Та отзывается: «Каков праздник, такова и колбаска». «И то верно», — соглашается первая<sup>4</sup>.

<...> Очень тяжело было читать воспоминания В. Лакшина о Твардовском («Октябрь», 1980, № 9). Они заканчиваются описанием болезни и смерти. По хорошо ощущаемой необходимости воспоминания сдержанные; многое опускается. Такие тексты читаешь с горьким чувством общей нашей с автором несвободы. Отсутствие Твардовского и его значение я понимаю так же, как Лакшин. В тоне воспоминаний есть спокойное сознание правоты. У наших националистов и прочих нынешних, что в силе, такого сознания нет; они нервничают, злобствуют, ёрничают, иезуитствуют...

Пишу о Быкове для «Нашего современника». Весной будет номер журнала, где ему будет посвящен целый блок материалов: его повесть, интервью с ним, фотографии, подборка писем читателей, статья о творчестве. Припоминаю номер, посвященный Василию Белову, где, в частности, была удивительно безвкусная, банальнейшая фотография под названием «Раздумье». Я еще подумал: как это Белов позволил и согласился. Даже через это сказывается распространенный ныне уровень писательской личности. Думаю, что Быкову не следовало бы соглашаться на такой «рекламный» «блок». Вот Залыгин отказался, и Леня Фролов говорил: «Мы его еще больше уважали». «Сами придумали, — сказал я, — сами провоцируете, а потом, выходит, сами больше уважаете не тех, кто согласился, а тех, кто отказался».

20.10.80.

<...> Какой непрочный в жизни покой! Всюду много людей, все чем-то заняты, живут, возятся с детьми, рассуждают, на что-то надеются, все благопристойно, и все — зыбко и ненадежно. От этого множества людей, ото всех нас ничего, в сущности, не зависит. В любое мгновение кто-то наверху может распорядиться, и начнется война или что-нибудь равноценное войне, и все мгновенно переменится, если, конечно, успеет перемениться. Но если успеет, то, как бы ни было это ужасно само по себе, самым ужасным будет послушание и покорность этого человеческого множества, его беспомощность, связанность по рукам и ногам, всецелая зависимость от чужой и верховной воли. Ничего страшнее этого — отчаянной этой беспомощности — представить себе не могу.

<sup>4</sup> 7 октября отмечался День Конституции.

2.11.80.

Не помню, записывал ли, что из Демидкова перевезли в середине октября два мешка картошки; стало как-то полегче, какое-то время не придется рыскать в поисках картошки: на базаре есть, да нужно приходить вовремя (и дорого́ к тому ж!), а в магазинах — небывалое дело — нет.

Когда приезжал Стасик, хотел купить коньяка, но не смог: нигде не было, да и водки не было; мрачные люди стояли у винных отделов, ждали привоза, а услышав, что где-то какое-то дешевое винишко есть, подхватывались и устремлялись в указанном направлении. Было во всем этом что-то унижительное.

Слышали в автобусе разговор двух молоденьких офицеров — лейтенанта и старшего лейтенанта. Чем-то возмущались — житейским, а потом один из них отчетливо сказал: «Военной диктатурки бы на них...»

Занятно: К. Г. рассказал, как его жена, преподавательница медицинского училища, шила спортивные трусы для сына, студента пединститута. Нужного материала купить нельзя, так выход нашелся такой: училищу выдали красный сатин для новых транспарантов на здание, и стоило лишь немного сузить эти самые полотнища, как прекрасно сэкономилось для желанных трусов.

Вчера отослал в «Наш современник» статью о Быкове. На очереди — предисловие к «Карателям» для «Роман-газеты».

В прошлое воскресенье начал читать бондаревский «Выбор»; там есть встреча главного героя — преуспевающего, пресыщенного советского художника — в Венеции с другом юности и фронтовым товарищем, ныне — перемещенным лицом, т. е. эмигрантом. Дочитаю до конца, тогда запишу подробнее, но вот что любопытно: в тот же день в свежем номере софроновского «Огонька» наткнулся на поэму Е. Антошкина «Чужие огни», а в том же номере «Нашего современника», где начало «Выбора», обнаружил поэму куйбышевского поэта Кожемякина «Старая ветла», где все о тех же «перемещенных лицах», обличение их, патриотический пафос, особенно дурацкий, какой-то озлобленный у куйбышевца. Сколько злой страсти растрачено на обличение таких слов, как «ностальгия» и «волнительно» (дескать, они из салонов «эстетствующих снобов»), и как глупо звучит хвала русской народной песне, под которую не удастся запустить какой-нибудь мультфильм. Праведный гнев таким мелким, убогим не бывает. Гнев выбирает себе более достойные предметы. Не говорю уже о том, что мелкая злоба и поэзия несовместимы.

Бочарников упорно внушает мне при случае, когда идем длинной дорогой по домам после какого-нибудь сборища, что всю войну был в солдатах и что, если бы написал он правду о той, известной ему, войне, никто бы не напечатал. «А вы все-таки напишите, — повторяюсь я, — когда-нибудь да опубликуете...» На этом тема обычно исчерпывается. <...>

Освобожден от обязанностей Председателя Совета Министров А. Н. Косыгин. Официальная версия: по болезни и по личной просьбе. Можно поверить. Но текст выступления Л. Б. на сессии Верховного Совета удивителен: дважды, пересказывая письмо Косыгина, он упомянул свое имя, полный свой титул, свое значение и не вместил в это выступление приличествующей случаю благодарности по адресу человека, с которым проработал не одно десятилетие.

Впрочем, входить в обсуждение всей этой бестактности, безнравственности, бесцеремонности и прочего, что объединяется словом «ненормальность», не хочется. Так не обсуждают очевидностей, если дорожат словами.

Неожиданно встретил в книжном магазине Володю Леоновича. В тот день он только что приехал и еще не успел мне позвонить; да и позвонил бы, какой толк, когда телефон отключаю. Володя привез надгробный камень на могилу матери; назавтра вместе с мужем двоюродной сестры он этот камень установил, а вечером зашел к нам. Разговаривали хорошо; при нашем несходстве — характеров, судеб — говорим и чувствуем себя друг с другом свободно и с абсолютным доверием. Жаль, что в последнее время Володя только переводит; только что закончил пьесу с казахского в стихах. Грузинская книжка

задерживается; не согласились с расположением текста: оригинальные стихи, переводы, оригинальная проза — в необходимом, одновременном движении, т. е. вперебивку. Возможно, смутило и что-то другое. Теперь рукопись отдана в другую редакцию издательства «Мерани», и есть шанс при поддержке Г. Маргвелашвили ее наконец вытолкнуть в свет. Было холодновато, сыпался снег, Володя ходил в толстом черном свитере, в узкой и коротковатой кожаной курточке и черном берете; разумеется, в джинсах. «Как же ты живешь? — спросил я. — На что?» — «Сам не знаю, — ответил Володя. — В долги влезая, не знаю даже и как...»

Я спросил его, не смог ли бы он выступить у меня на литобъединении. Оказалось, что он уже купил билет на автобус на четырехчасовой рейс, а у меня — занятие в тот же день в три часа. Думал он недолго, сдал этот билет, купил — на следующий день и выступил перед моими «учениками». Длилось это около трех часов, читал он довольно рискованные (правда, таких не много) стихи (особенно о Твардовском), вспоминал о Сергее Дрофенко, Дмитрие Голубкове. Надеюсь, что публике все это понравилось, и еще надеюсь, что донощиков в тот день среди слушателей не было. Простились мы с обоюдной неохотой. Мы дошли пешком до дома его двоюродной сестры на улице Ленина, уже стемнело, постояли, еще поговорили, расстались.

На заседании областного Комитета защиты мира, где присутствовала Тома, выступал уполномоченный по делам церкви М. В. Кузнецов. В частности, он сказал: «В стране сейчас около 20 тысяч религиозных объединений (церквей, молельных домов, общин). В нашей области 72 таких объединения: 67 православных церквей, 3 — старообрядческие, две общины евангелических христиан-баптистов, а также общины адвентистов седьмого дня, пятикнижников и др. К сожалению, многие объединения существуют незарегистрированно. Архиепископ Костромской и Галичский Кассиан почти все свои личные сбережения вносит в Фонд мира; ежегодно церкви области вносят в этот фонд около трехсот тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей на реставрацию памятников истории и культуры». Для сравнения: все промышленные предприятия вносят всего лишь около ста двадцати тысяч рублей.

8.11.80.

За несколько дней до праздников ехал на троллейбусе и слышал, как разговаривали трое мужчин, стоявших у окна. «Смотрите-ка, — сказал один, — строят новую трибуну, а я не знал». — «Да не какую-нибудь, — отозвался другой, — а из металла». — «Ну, это понятно. Если из дерева, то ведь поджечь могут. Явятся седьмого, а трибуны нет». Все трое смеются, а третий, молчавший, испытующе поглядывает на меня. (Причем тот, кто затеял разговор, двум другим явно не знаком.) Я невольно улыбаюсь. Общее взаимопонимание.

Стояли на Мавзолее. Шел крупный план. Один посмотрел на часы, взглянул на часы и стоявший рядом, и новый премьер, взглянув на многоопытных соратников, тоже быстро отогнул рукав пальто...

Заметал снежок. На равном расстоянии плыли портреты, как бы соблюдая дистанцию, в ближней к трибуне колонне... Все в том порядке, в каком представляют имена газеты... Косыгина, разумеется, не было среди имен и портретов. Обычное дело: жизнь для всех — кончилась, то ли был, то ли не было. (Написать статью, дать интервью — невозможно; исключение было для одного — для Микояна.)

21.11.80

Тринадцатого ходил к поезду встречать участников «круглого стола» «Лит. обозрения». Приехали: В. Хмара, В. Оскоцкий, В. Пальман, Н. Олейник, Ю. Куранов, еще казах, имя которого я не освоил, Л. Иванов. Днем появился В. Лебедев, потом вологодец Степанов. На другой день приехал Б. Можаяев.

Три дня пришлось отдать этому делу, если это можно назвать делом. Называется это — сопровождать гостей. Будь среди них чужие мне люди, я бы от этого занятия отказался. А так — что ж, хоть повидались, поговорили с Валентином, с Юрой, поближе познакомился с Хмарой, с Ивановым. Ну и с Можаяевым, который был ко мне внимателен и с которым мы много разговаривали. Разговаривал, разумеется, больше он, но это — по-московски. Оказалось, что он обо мне наслышан. Еще бы — Базиль Росляков, написавший роман «От избы до избы»<sup>5</sup> — его друг. Прощальное застолье было в Сосновом бору, в тамошнем баре. Как заведено, все говорили речи, т. е. тосты. Можаяев говорил, в частности, что-то вроде этого: «Мой друг Базиль Росляков, первый биограф этого молодого человека, написал о нем роман «От избы и до избы», как он, значит, жил-был в избе, а потом его выпихнули в зиму...» и т. д.

Мир тесен. Можаяев — морской инженер-фортификатор, служил и строил укрепления в Порт-Артуре. Потом работал соб<ственным> корреспондентом московских газет на Дальнем Востоке. В Хабаровске судьба свела его с Всеволодом Никаноровичем Ивановым, питомцем костромской гимназии, человеком сложной и, возможно, запутанной судьбы. В ту пору Иванов был уже стариком, но могучим, рост — под сто девяносто сантиметров. Когда-то он был в окружении ближайшем Колчака; по-нынешнему что-нибудь вроде зав. отделом пропаганды и агитации. Во всяком случае, сибирские газеты были под его началом. Потом — бегство в Маньчжурию и постепенный, а м. б., и совсем не постепенный переход на сторону Советам и служба советской власти — там, в Маньчжурии. Иванов с гордостью рассказывал Можаяеву, как его после разгрома Колчака ловили, да не выловили, как ушел. А потом рассказывал, как в Хабаровске, уже после возвращения, один из тех, кто искал его тогда, наткнулся на него на улице и стал выслеживать и, волнуясь, доносил, чтоб брали злейшего врага, да поскорее. Обмишурился.

Остались пять томов неопубликованных воспоминаний В. Н. Иванова. Два из них сейчас у П. А. Николаева, который готовит их к печати. Вот, подумал я, встретиться бы с Николаевым на съезде, взять бы почитать, да ведь двадцать лет не видел этого человека, да и будет ли время читать.

Какое-то время Можаяев жил в Рязани. Уже одно это объясняет его знакомство с А. И. (Солженицыным). Юра Куранов поглядел на него, поглядел — как ходит, говорит, как пел в колхозном, чернопенском, застолье, а потом сказал мне: «Знаешь, на кого он похож? На разорившегося помещика. Давно уж разорился, но держит себя, играет, хорохорится. И еще знаешь, под кого играет и на кого еще похож? На А. И.». Я рассмеялся: «А что — похож. Гоголевский такой помещик, эпизодический персонаж, голову закидывает, бороду оглаживает, глаза голубые, поет как русак неистовый, исконный. А голос, и верно, — тонкий, не крепкий, нервный (не когда поет, а когда говорит), как у А. И.».

Посмеялись мы с Юрой, но без зла. Играет маленько, но не бездарно же играет. Хуже, что большой ругатель. Не от Базиля ли заразился? Или тот от него? И меня — впрочем, хороший признак: в глаза, — тоже обругал: за какие-то (не очень-то я понял, за какие) места в статье о Залыгине. Единственный из писателей, о ком он отзывался безоговорочно сочувственно, — Белов, да и то, я думаю, потому, что недавно напечатал статью о нем в «Сов. культуре». Он привозил с собой и эту статью, и речь свою на секции московских прозаиков, — как я думаю, привозил для меня. Что ж, я этому рад; не столь уж я избалован вниманием. Но думаю, что на отдалении и в чтении я лучше, чем вблизи, потому хотя бы, что долго чувствую себя с новым человеком неловко, несвободно, не вполне самим собой.

Можаяев о Троепольском: у него фигуры резаны из жести, так и громыхают все эти короли жестянщиков. О Носове: «Усвятские шляпоносцы».

<sup>5</sup> Росляков В. В. От весны до весны. М., «Советский писатель», 1967. Прототипом главного героя, студента Виля Гвоздева, автор считал Дедкова.

Когда ехали в автобусе в Сосновый бор, сидели и разговаривали втроем: Борис Можаяев, Юра Куранов и я. Можаяев рассказывал о разговоре Ю. Любимова с Демичевым в его присутствии. Демичев высказывал недовольство линией театра, который слишком далеко заходит в критике — насколько я понял — всего, что связано со Сталиным. На это Любимов ответил: «Не мы начали. Не я требовал выноса тела Сталина из Мавзолея». (Намек на то, что на 22-м съезде партии Демичев, как первый секретарь Московского горкома, выступал с требованием об удалении тела Сталина из святого места.) Демичева, как свидетельствует Можаяев, после этих слов перекошило от ярости. После этого Юра рассказал, что Крупин, автор «Живой воды», служил в Кремле, когда Сталина вытаскивали, и был в ту ночь разводящим караула у Мавзолея. Он сопровождал новую смену, когда у Спасской башни их остановили и сказали, что дальше идти нельзя. Это было потрясением, Крупин пытался что-то доказывать и продолжать движение, но его и солдат взяли под конвой и заперли в какой-то комнате. Крупин рассказывал Юре, что всю ночь они не спали, думали: переворот. Наутро их как ни в чем не бывало выпустили. И дальше Юра сказал, что, судя по тому, что ему однажды рассказывало некое значительное лицо, гроб с телом Сталина был сплюснен полуторатонным прессом (что-то я тут прослушал в автобусном шуме, но про «сплюснен» и про «полторы тонны» слышал хорошо). Можаяев в ту памятную ночь был на площади в толпе. Он учился на ВЛК<sup>6</sup> и предлагал товарищам по комнате идти с ним. Никто не пошел. На площади стояла толпа (т. е. на площадь можно было пройти!), и Можаяев видел, как рыли могилу и как нечто, бывшее когда-то Сталиным, проплыло над людскими головами от Мавзолея в ту сторону. Тут же Можаяев сказал, что существует версия о захоронении в той могиле пепла.

Жаль, не приехал Адамович. Перед самым отъездом упал возле дома и сильно ушибся. Видимо, испугался, что сломал что-нибудь, может быть, проверялся. Теперь уехал в Железноводск, в санаторий.

Разговоры о деревне постоянно упирались в 1929 год. Леонид Иванов зачитывал мне из своей записной книжечки сравнительные цифры поголовья скота по 1928-му и 1933-му годам. Сокращение произошло катастрофическое, непоправимое.

На заседании (проходило в зале заседаний обкома комсомола; от обкома партии был В. А. Неймарк; зав. отделом Соколов, как я думаю, из опасения, как бы чего не вышло, от этого смутного дела уклонился) Можаяев говорил о русской церкви, о месте, которое она занимала в деревенской жизни и которое по сей день пусто, и это — непоправимая утрата. (Ну, насчет «утраты» — это от меня; но смысл — этот.)

(Чтобы не забыть: встретил недавно Виталия Дьячкова. Он спросил меня, читал ли книжку некоего чеха о Солженицыне? Я сказал, что не читал и никак не соберусь попросить ее в библиотеке Дома политпросвещения. И в свою очередь спросил, не там ли он ее брал. А я, отвечает, был в командировке, и начальник мантуровской госбезопасности дал почитать. Я искренне удивился, что в Мантурове есть такой начальник. Раньше, говорю, был уполномоченный, например в Шарье, — но начальник в Мантурове! Да, говорит, и в Шарье, и в Мантурове, и в Нерехте, и в Буге, и в Галиче, и, кажется, еще где-то теперь как бы кустовые отделения (?), и в каждом помимо начальника (члена бюро райкома!) — три офицера, водитель и автомашина. Вот так, подумал я. Все возвращается на круги своя, а мы и не знали.)

3.12.80.

<...> Сегодня пришло письмо Валентина Оскоцкого. О книжке моей вести плохие. Редактор мой — Е. И. Изгородина — считает, что у меня есть причины для беспокойства. Но ведь ни она, никто другой на мои письма не отве-

<sup>6</sup> Высшие литературные курсы.

чали, ничего не объяснили мне. Книга должна была выйти еще в первом квартале, верстка же прошла в мае, теперь декабрь, и полная неясность. Вот они, преимущества моей здешней жизни и моего характера. За преимущества и расплачиваюсь. Я словно знал, что будет такая весть, и еще с утра как-то горько жилось и писалось. Отослал сегодня же короткое письмо Еременко. Он-то ответит? Ведь это издательство даже за рецензию на рукопись Д. Дычко, написанную еще в марте — апреле, забыло мне заплатить. Неплохо.

Вчера «Книга-почтой» прислала переписку В. И. Вернадского и Л. Б. Личкова за 1940 — 1944 годы. Первый выпуск писем (1918 — 1939) у меня есть. Вчера же стал читать. Вот делаю эту запись и помню, что потом опять буду читать эту переписку, и как-то успокаиваюсь: укрепляющее чтение. Сугубо геологическое (очень специальное) я пропускаю, но остальное читаю, и с большой пользой. И с чувством радости за этих людей, за то, что они так жили, думали, держались. (Ну а горечи тут тоже не миновать.)

На днях открыл для себя Льва Кривенко («Незаконченное путешествие», послесловие Ю. Трифонова). Начинать читать после Трифонова с легким предубеждением: нет ли преувеличения и посмертной снисходительности? Ни того, ни другого. Может быть, и мало сказал этот человек, проживший 59 лет (две книжки при жизни), но ни в чем не погрешил, говорил свое и по-своему. Тоже читаю с радостью за человека, который смог так трудно и упрямо жить и работать. Одновременно читал бондаревский «Выбор», книга Кривенко дает мне больше. Это чистый и достойный собеседник, а про того этих слов повторить не могу.

«Выбор» — книга самовлюбленного и переоценивающего себя человека, возможно, немало эгоиста, пресыщенного и мало кого вокруг замечающего. Рассуждения — малодостойные и примитивные — о смерти, а также картины любви («усовершенствование» схожих картин в «Береге»), пожалуй, лучше всего указывают на подлинный уровень этого сочинения — уровень тщеты, неподтвержденных претензий, мнимой, какой-то напрасной, самоцельной «художественности». А ведь превознесут! <...>

18.12.80.

Четырнадцатого числа вернулся из Москвы, со съезда. Виделся, разговаривал с Л. Фроловым, Ф. Абрамовым, Б. Можаяевым, С. Залыгиным, Г. Троепольским, А. Турковым, Л. Лавлинским, В. Хмарой, В. Личутиным, В. Афониным, Н. Яновским... На дне рождения у Валентина Оскоцкого познакомился с Д. Граниным, Б. Анашенковым, В. Золотавкиным. Там же был А. Нинов. <...> Виделись на съезде с Феликсом Кузнецовым; перемолвились несколькими словами. О жизни моей он не спрашивал, я также ничем не интересовался, ни о чем не просил. В президиуме Феликс сидел отвалившись на спинку стула, почти лежал-полулежал, как в теплой ванне... Если б не Федор Абрамов, подозвавший меня, когда они с Феликсом стояли, нам бы и словечком не переброситься. А тут ему пришлось. Вспомнили, что с пятьдесят пятого года знакомы.

Делегатам съезда и гостям выдали талоны в «сувенирный киоск» при гостинице «Россия». Я бы туда не пошел, да показал дома тот пропуск-талон, и все единодушно решили, что идти непременно нужно и следует брать с собой больше денег. Пришлось пойти, стоять в очереди вместе с Абрамовым, проходить тройной (!) контроль (всюду дюжие молодцы), болтаться в подвальном помещении гостиницы от парфюмерного киоска к книжному, от книжного — туда, где продают рубашки, японские зонты, дамские сумки, лезвия, платки, магнитофоны и т. д. Купил всякой ерунды — всем в подарок. Унизительное, однако, занятие. При входе в последние двери тот пропуск отобрали и порвали, чтобы, не дай бог, по второму разу не пошли... Абрамов выбирал себе галстук и смеялся: «Ты у нас революционер, тебе галстук, конечно, не нужен». — «Конечно, — отвечаю, — Федор Александрович, не ношу я их, избегаю». И

вообще смягчило это наше дурацкое занятие, что посмеивались друг над другом, пошучивали. Часа два потратил в тот вечер на «сувениры». А сколько народу сбежалось — едва ли не весь аппарат большого и малого Союзов.

И еще большое впечатление: прием в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов. Шли туда вместе с томскими сочинителями Василием Афониним и Вадимом Макшаевым. Корнилов предупредил меня: не приходите раньше времени, ждатель — унижительное занятие, когда-то официанты к столу подпустят. Мы так и пришли, минут за пять, и прогадали. Народу толпилось много, и мы стали толпиться позади всех. Зал огромный, а посреди наша оживленная толпа, состоящая из групп и группок беседующих людей. А потом глас под сводами: просим пожаловать — и т. п., и все беседующие, враз перестав беседовать, устремились куда-то вперед, в скрытое от нас, ниже лежащее пространство, по трем спускам — какие-то несколько ступенек, да не будешь же прыгать... Устремились и мы в хвосте толпы, встревоженно вслушиваясь в мгновенно возникший и нарастающий звяк ложек, вилок, ножей, тарелок, рюмок... Тут были знатоки приемов, и не случись на нашем пути Володя Личутин, не знаю, где бы мы и пристали, потому что, казалось, ни к какому столу уже было не приступить. А Володя, сам приставший к торцу вместе с Дмитрием Балашовым, на уголке стола сам державшийся, нас окликнул, и мы втроем у того же уголка обосновались. И налито нам слегка было, и копченой колбасы отыскано, и Федор Абрамов, неподалеку за тем же столом оказавшийся, нас к тому же опекал, и дело приема пошло для нас как следует: многого мы и не желали, а с хорошими людьми почему рядом не постоять и лишним словом отчего не перемолвиться? Где-то за рядами голов впереди вдоль сцены, задернутой хорошо видным нам занавесом, стоял стол для высшего начальства, и все наши столы были к нему перпендикулярны. Из-за того стола раза три раздавались какие-то обращающиеся к нам голоса, но мы не очень-то брали в толк, о чем это и кем это там говорится... Помню лишь голос зычный и молодецкий Егора Исаева; уж очень этот голос мне успел надоесть своей настырностью и приторностью. Не раз в дни съезда слышал я слова о «лакеях» и «лакейской» — от разных людей; так вот, в голосе Исаева было что-то от этого ремесла, от угодничества...

Остался я доволен вот чем: Д. Балашова увидел (он, кстати, сказал, что высоко ценит взгляды Л. Н. Гумилева на историю и что можно выписать из какой-то (он-то назвал, да я не мог там записать) люберецкой всесоюзной научной конторы наложенным платежом его главную — т. е. гумилевскую — работу, размноженную ротапринтным или каким-то другим способом в целях научной информации), с Залыгиным увиделся и успел хорошо поговорить, с Федором Абрамовым лишним словом перекинулся, с Амлинским познакомился (он, оказывается, в свое время, в 69 году, читал мою рецензию в «Северной правде» на его повесть об Эрнсте Шаталове, кто-то ему переслал)...

Можаяев говорил мне о своей беседе с «большим начальником» насчет меня. «С Феликсом, что ли?» — спросил я. Сначала Можаяев отрицал это, но потом сказал, что да, с Феликсом. Он сказал Феликсу, что нужно давать мне квартиру в Москве, нужно мне помочь, как он, Феликс, помог А. Ткаченко и еще кому-то. Я же в ответ сказал Можаяеву, что я благодарен ему, но что я не верю в это дело, не верю, что это может состояться.

Вася Афонин, напившись, ругал всех писателей подряд, даже Льва Толстого, который его чем-то не устраивает. Странно, как он устраивает сам себя, ведь устраивает же!

Покупаю по возможности «Трибуну люду», но приходят номеров пять-шесть за месяц. Видимо, остальные номера нам читать вредно. Уже около двух месяцев не доставляют нам «Пшкекруй». Обязаны доставлять подписчикам, что бы там ни печаталось, — деньги же заплачены, наш договор с государственной организацией, другими словами, заключен, — так нет же! — хотят — доставля-

ют, не сочтут полезным — не будут доставлять. Хоть начинай тяжбу, спрашивай, на каких конституционных основаниях прекращена доставка издания из дружественной социалистической страны? Может быть, и это нарушение элементарных прав — признак силы нашего государства, признак его доверия к собственным гражданам, веры в нашу идейную стойкость? Наоборот: все это — от слабости и страха.

Два дня назад умер Косыгин. Наше радио и телевидение сообщили об этом сегодня. Мы слышали об этом по западному радио вчера, а сегодня мне сказали, что впервые западные радиостанции сообщили об этом еще позавчера. Так — опять же — как выглядят в этом свете наши отечественные службы информации? Кажется, они сами вынуждают, толкают нас слушать, прислушиваться к тому, что вещает за граница. Сами. А потом кого-нибудь винят. Так всегда оправдываются те, кто виноват сам. Из костромских анекдотов: армянин спрашивает, все ли можно купить в Костроме. Ему отвечают, что, в принципе, все можно. Армянин приезжает, ходит по городу, спрашивает: где такой магазин — «Принцип»? <...>

27.12.80.

24 декабря хоронили Татьяну Шувалову. Руководитель Союза художников А. П. Белых заседал на областной партийной конференции, и его оттуда на похороны не отпустили. Начальство было представлено Ермаковым, заместителем начальника Управления культуры. И все. А ведь прощались с художницей, которой Кострома будет долго гордиться. Припоминаю похороны Е. Ф. Старшинова. Он был членом горкома партии, секретарем писательской парторганизации. Бывший офицер-фронтвик, безукоризненно идейно правильный человек. И помню, мелькнуло в толпе лицо Шевцовой, секретаря райкома по идеологии, и никто, кроме нас, его товарищей, доброго слова о нем не сказал. Да и просто памяти не почтили, у гроба не постояли. Странные нравы в нашем королевстве.

Шувалова умерла, как и Семин, в пятьдесят один год <...>.

Разослали в эти дни сто или чуть больше новогодних поздравлений. Все-таки — праздник, да и черта какая-то, которую переступаешь — миг, и считай себя на год старше.





---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

\*

## ОСКОЛКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Дробь человека

**О**дной из самых замечательных эпох в истории культуры, ренессансом, считал духовную жизнь начала XX века Николай Бердяев: «В эти годы России было послано много даров». «Вместе с тем, — добавлял он, — русскими душами овладели предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир». И дальше он называет имена поэтов-провидцев: Александр Блок и Андрей Белый.

Андрей Белый — этот псевдоним выбрал себе московский студент Борис Бугаев, начиная свой путь в литературе. Имя символическое, что вполне естественно для одного из основателей и ярких представителей символизма — новаторского и самого значительного течения в поэзии того времени. Конечно же, Андрей Белый при всем своем даре предвидения не мог предполагать, какую опасность таит в себе его имя, что придет час, когда слово «белый» станет равнозначно слову «враг».

1920 год. Измучившись от голода и лишений в революционной Москве, поэт хлопочет о выезде за границу — отказ.

«Вы, сколько Вам о России ни рассказывай, все равно ничего не поймете, — исповедуется он в письме жене, антропософке Асе Тургеневой, жившей тогда за границей. — ...Ощущение при первых снежинках 19-го, 20-го года, например, что — засыпает, засыпает, засыпает выше головы; засыпает и засыплет — отрежет от всего мира; что вся многомиллионная страна — страна обреченных, что это остров, отрезанный навсегда... И я, перемогая тьму, давал другим силу переносить тьму... Холод, голод, аресты, тиф, испанка, нервное переутомление сводило вокруг в могилу целые шеренги людей... А я и сказать ничего не мог о том, в каких тяготах мы живем: цензура писем!.. Мы все выглядели оборванцами... Мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди... Все, что я писал о России, не рассказывай... помни, что за нами, русскими, и за границей следят агенты Чрезвычайной Комиссии».

1921 год. Белый снова подает заявление о выезде, и опять не пускает Чрезвычайка. Доведенный до нервной болезни, он решается на безумный шаг — бежать, но вездесущая Чрезвычайка узнает об этом — план рухнул. А между тем происходят грозные события: умер Александр Блок, прошение которого о лечении за границей тоже не удовлетворили, расстрелян Николай Гумилев. Общественность волнуется: «Пустите Белого за границу, а то и он, как Блок, умрет!» Пособили друзья — и Белый оказался в Берлине.

Однако заграничная жизнь его не сложилась. Оставленный женой, разочарованный в западных антропософах и в Западе вообще, не принятый за свои широкие взгляды и белой эмиграцией: «Предатель, пособник большевиков!» —

он оказался между двух огней и, неприкаянный, не приспособленный к жизни, снова заметался в отчаянье. Спасение пришло в лице другой антропософки (вскоре она станет его женой) — Клавдии Николаевны Васильевой; узнав о бедственном положении Белого, она специально приедет к нему из Москвы и уговорит вернуться на родину. Как же ей удалось добиться этого, ведь всего год назад оттуда были вытолкнуты целых два «философских парохода» с нежелательными для Советов элементами?

А дело в том, что политика большевиков была не столь прямолинейной, как может показаться, и со временем становилась все гибче и хитрей. Изгнан за пределы страны тех интеллигентов, которые считались неисправимыми, власть тут же потянула домой других, которые могли, как ей казалось, при соответствующей перековке пригодиться. Вскоре с Запада покатались «покрасневшие» эмигранты, сменившие вехи, среди них и писатели вроде советского графа Алексея Толстого. Кампанию, получившую название «возвращенчество», не без оснований считали большой интригой, задуманной ГПУ.

Видимо, из-за неладов Белого с эмигрантской публикой и его отнесли к потенциальным если не друзьям, то приятелям советской власти. Есть свидетельство, что разрешение Васильевой на поездку за ним выдал сам заместитель председателя ГПУ Менжинский, который якобы высоко ценил талант Белого, на самом же деле просто забрасывал сеть на золотую рыбку. Так или иначе, для самого Андрея Белого такой исход в тот момент казался единственным спасением.

Но как только он оказался на родине — ловушка захлопнулась.

1923 год. Большевистский вождь Лев Троцкий, подозрительно оглядывая литературный фронт, метит грозным перстом Андрея Белого: «Самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым». Эта идеологическая резолюция — сигнал для ГПУ: взять на прицел! И взяли, конечно, иначе не объяснить, почему рукописи Белого начинают попадать в руки чекистов и оседают в их бездонных хранилищах.

В архиве Лубянки обнаружили его известное эссе «Как мы пишем» и считавшиеся пропавшими, до сих пор не опубликованные исследования по истории и философии культуры — «Тема в вариациях: музыка» и «Душа ощущающая и рассуждающая в свете души самопознающей». В этой, последней, рукописи Белый говорит: «Мы — книга, которую сами же написали». Если это так, то попробуем прочесть книгу «Андрей Белый», открыв ее на извлеченных из секретных архивных недр страницах<sup>1</sup>.

Вот письмо Белого литератору Иванову-Разумнику (псевдоним Разумника Васильевича Иванова) от 24 ноября 1926 года. В нем Белый делится своими переживаниями по поводу работы над вторым томом романа «Москва»:

«Для меня это „пекло“, первый том ободрал меня, а что будет со мной после второго тома, если сумею его написать, и не знаю, боюсь, что таки не сумею: 1) тема его сложнее, ответственнее, 2) условия цензурные почти непреодолеваемы...»

Белый живет в это время в подмосковном селе Кучине, его только что навестил актер и режиссер, художественный руководитель МХАТ-2 Михаил Чехов, положение которого не лучше:

«Сейчас меня очень, очень волнует М. А. Чехов: 1) измучен до психического расстройства, 2) затерзан интригами внутренними в МХАТе, где одолевает линия халтурная, 3) его в МХАТе начинают систематически травить... 4) на него косятся и „свыше“ (о „Дон-Кихоте“ и речи не может быть, „Смерть Иоанна Грозного“ разрешили с условием, чтобы Чехов в пьесе не иг-

<sup>1</sup> Во время работы над книгой «Рабы свободы» некоторые рукописи А. Белого, обнаруженные в архивах КГБ, были опубликованы в журнале «НЛО» (1995, № 14) и в сборнике «Андрей Белый. Символизм как миропонимание» (М., 1994).

рал). Положение его таково, что хоть уходить со сцены... М. А. сейчас имеет самый жалкий, затерзанный вид, он едва ли не изотчаялся... и страшно беспокоюсь, все придумывал, чем бы помочь ему. Он слишком категоричен и абсолютен для изолгавшейся действительности... Живешь в такой атмосфере, что подумываешь о новом Обществе. „Обществе спасения на водах”. Над людьми прямого пути разверзлись просто потопные хляби!..»

Отчаянье Белого все нарастает. Недаром 19 марта 1928 года он решает на всякий случай распорядиться судьбой своего творческого наследия — пишет завещание.

#### «Завещание Андрея Белого

В случае моей смерти я, озабоченный тем, чтобы бумаги мои, рукописи и неоконченные произведения (труд всей жизни), попали в руки людей меня знающих, — завещаю весь инвентарь бумаг и все дело разборки их и хранения следующим друзьям и близким:

1) Клавдии Николаевне Васильевой, 2) Алексею Сергеевичу Петровскому, 3) Разумнику Васильевичу Иванову, 4) Дмитрию Михайловичу Пинесу (последние двое проживают: Иванов — в Детском Селе, Пинес — в Ленинграде), 5) Петру Никаноровичу Зайцеву (Москва).

Завещаю им, по данному уговору, сортировать, хранить, если понадобится, уничтожить или, наоборот, печатать те или иные следы моей умственной, моральной и литературной жизни, а также передавать этот материал тому или другому литературному архиву. В частности: если в минуту моей смерти выше-названные лица не окажутся в состоянии исполнить моей просьбы о хранении и сортировке бумаг либо вследствие их отсутствия, невозможности приехать или даже кончины, то я завещаю весь материал бумаг „Пушкинскому дому” в Ленинграде; ни в каком другом архиве не желал бы я видеть этих бумаг.

Надеюсь, что эта просьба будет уважена представителями власти. Писатель, труды которого не печатались в течение последних лет, имеет право на уважение его воли, а эта воля в том, чтобы ничего не понимающие в моей литературной физиономии не свалили бы в кучу моих бумаг и не погребли бы их, сыпав куда попало».

Писатель тревожился не напрасно: грозное будущее размечет не только листы его рукописей, но и тех, кому он доверял их. Все душеприказчики его попадут под косу репрессий. Печальная участь — неоднократные тюрьмы, ссылки — постигнет ближайших друзей Андрея Белого: и Иванова-Разумника, и переводчика Петровского, и поэта Зайцева, литературовед Пинес будет расстрелян в 1937 году.

Всем им на следствии, помимо прочего, инкриминировали «преступную» связь с Белым и его окружением и чтение его сочинений, у всех при обысках отбирались бумаги, возможно, таким образом и оказались на Лубянке завещание Белого и некоторые другие рукописи.

Посмертная воля его не была исполнена. В Пушкинский дом попала лишь часть его наследия, остальное рассеялось по различным архивам, а что-то, как мы видим, люди, «ничего не понимающие» в его «литературной физиономии», действительно «свалили в кучу бумаг и погребли, сыпав куда попало». И немалую долю наверняка уничтожили, обратили в пепел.

А в 1931 году «потопные хляби» разверзнутся и над головой самого Белого. Лишь недавно были рассекречены документы, позволяющие восстановить этот трагический эпизод.

Он связан с так называемым «Делом антропософов». В начале мая агенты ГПУ заявили на квартиру, где хранился архив Белого (сам он в это время жил в Детском Селе под Ленинградом у Иванова-Разумника), и конфисковали сундук с его рукописями. При обыске в доме Петра Зайцева забрали пищу-

шую машинку Белого — орудие производства. А очень скоро пришли и за его женой Клавдией Николаевной.

Когда ее уводили, он бился и кричал в бешенстве:

— Почему ее, а не меня?!

«О себе не пишу, — сообщал он в письме Зайцеву, — ибо меня — нет... Как тело без души... После того, как взяли ее, сутки лежал трупом; но для нее в будущем надо быть твердым... Письмо разорвите...»

Потом бросился хлопотать — отправил письмо Горькому. Рассказав о потере своего архива — результата десятилетнего труда, — писал: «Полагаю, что материал для изучения моей сложной литературно-идейной физиономии будут штудировать высокообразованные люди; ...разгляд моего „Дневника“ поставит в известность агентов ГПУ, что между мной и Кл. Ник. — нет грани в идеологии; если приехали за ней, почему — не за мной? Если не за мной — при чем здесь изъятие моей литературной работы?»

Нетрудно догадаться, почему ГПУ его не трогало: опасались, что будет слишком много шума.

Горький обнадежил: рукописи непременно вернут.

Белый мчится в Москву, добивается встречи с Аграновым — одним из главарей ГПУ, странного «друга и покровителя» писателей. Шел — волновался: на каком языке разговаривать, до какой откровенности доходить? Вернулся окрыленный: заявление приняли, долгий, взволнованный рассказ внимательно выслушали: и о жене, и о других антропософах, и о сундуке с рукописями, и даже о трудностях с жильем. Рукописи обещали вернуть — дело не в них, а «в тех деликатных мотивах, которые с ними связаны». Дали телефон — для повторного разговора.

Агранов даже очаровал Белого. Сказал об антропософах:

— Вы сами не понимаете, как далеко от них сейчас ушли...

— Он прав! — убеждал себя Белый. — Да, кажется, он прав!

В заявлении, оставленном Агранову, Белый предлагает следователям познакомиться с отобранной у него рукописью «Почему я стал символистом», предназначенной, как он оговаривает, не для печати, а только для себя и узкого круга посвященных. И пусть они, следователи, потом решат, совместим ли тон рукописи с «опасной» политикой.

И пошла волынка! Идет июнь. Дело принципиально решено, но лицо, от которого все зависит, уехало, а заместитель неуловим. Белый виснет на телефоне, гадает: «Случилось что-то роковое в смысле архитектоники судьбы».

Июль. Клавдию Николаевну отпускают, но с подпиской о невыезде из Москвы. Остается выволочь сундук.

Белый подает еще одно заявление — в Московское управление ГПУ. Молчание. Дело ни с места.

«Я из всех „без вины виноватых“ наиболее „виноватый“ — сижу на свободе, — делится Белый своими переживаниями с Зайцевым, — о чем я и говорил члену Коллегии ОГПУ т. Агранову в беседе с ним, стараясь в меру сил и разумения дать объяснение инциденту с арестами... Было отрадно узнать, что рукопись моя „Почему я стал символистом“ по моему ходатайству изъята из сундука и прикреплена к делу; ...есть надежда, что приговор будет мягче, чем мог бы быть...»

Август — новое заявление в защиту антропософов, с просьбой приобщить это заявление к их делу. А 31 августа, уже отчаявшись чего-нибудь добиться, Белый пишет письмо самому Сталину. Он рассказывает о своем бедственном положении — жене запрещен выезд до окончания дела антропософов, а жить в Москве негде: «То, что я переживаю, напоминает разгром... Деятельность литератора становится мне подчас невозможной; и на склоне лет подымается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа... требует с моей стороны вот уже скоро десять лет постоянных оправданий и усилий ее провести; каждая моя книга проходит через ряд заце-

пок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено...

Возникает горестный вопрос: неужели таким должен быть итог тридцатилетней литературной деятельности?

Случай с женой заостряет мое положение уже просто в трагедию...»

Конечно, приходит на ум и судьба другого писателя — Михаила Булгакова, который в те же годы тоже борется за возвращение арестованных рукописей и пишет свое знаменитое письмо Сталину с просьбой о трудоустройстве, чтобы иметь средства к существованию.

Друзья запомнили фразу, которую Белый однажды бросил:

— Булгаков стал режиссером МХАТа, а я пойду в режиссеры к Мейерхольду!

Вероятно, письмо возымело действие: в начале осени Клавдию Николаевну открепили от Москвы, разрешили выезжать и тогда же, после отчаянных хлопот, доведивших Белого «до сердечной боли», отдали драгоценный сундук. Отстоять друзей-антропософов не удалось — их разбросали по ссылкам.

Рукописи вернулись. Но не все. Кое-что чекисты все же оставили себе, например ту самую — «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития», которая, по мысли Белого, могла оправдать антропософов. Должно быть, содержание ее вовсе не показалось безобидным.

Вариант этой рукописи каким-то образом попал за рубеж и был напечатан в 1982 году издательством «Ардис». Однако лубянский список — машинописная рукопись с авторской правкой — и полнее, и точней.

Книга эта чрезвычайно интересна: в ней Белый прослеживает свой духовный путь на протяжении всей жизни, подводит ему итог и пытается найти себе место в советской действительности. Человек и общество — вот главная тема его раздумий. Анализируя свою эволюцию символиста, члена антропософской общины, ученика Рудольфа Штейнера, он делает более широкие выводы о месте человека в коллективе вообще, о возможности, будучи частью социального организма, сохранить свою индивидуальность, творческую независимость.

Создается впечатление, что Белый по необходимости многое не договаривал, зашифровал этот гжуче современный мотив, хотя однажды все же проговорился: «Говорю образами и притчами, потому что не все еще печати сняты мной с еще опечатанной Мудрости; еще намек — не прогляден; и не все трупные пелены сброшены с выходящего из гроба».

Эпиграфом к книге Белый берет слова из дневника Льва Толстого: «Люди, свое стремление к истине приурочивающие к существующим формам общества, подобны существу, которому даны крылья для того, чтобы летать, и которые употребили бы эти крылья для того, чтобы помогать себе ходить».

Итак, что же делать крылатому человеку в бескрылом обществе? В обществе, которое все более и более превращается в послушное стадо?

Когда советскому правительству нужно было зарегистрировать Всероссийский Союз писателей, оно долго искало, к какой отрасли труда причислить писательский труд. И распорядилось зарегистрировать по категории типографских рабочих.

— Совершенно нелепо! — возмутился тогда Николай Бердяев. — Вот пример, что революция не щадит творцов культуры, относится подозрительно и враждебно к духовным ценностям...

А Белый на этот счет шутил:

— Справедливо! — и показывал средний палец руки, на котором натерлась шишка от держания ручки. — Это моя рабочая мозоль. Я и емь рабочий!

Вспомним Марину Цветаеву, которая на укору ее в барстве восклицала:

— Это я, а не вы — пролетарий!

Да, Белый был одним из тех художников, которые на первых порах приветствовали пролетарскую революцию и ее лозунг «Вся власть Советам!».

«Когда же мне стало ясным, — пишет он теперь, в книге „Почему я стал символистом“, — что средняя часть триады (совет — власть — ритм), или власть-лозунг, перерождается в обычную власть и в этом перерождении становится из власти Советов советской властью, стало быть, властью обычной, ибо суть государственной власти не в прилагательных („советская“, „не советская“), а в существительном, старом, как мир, я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность...

...Мы же были без раковины: без уже прошлого, но и без ясно видимого будущего, в стихии настоящего, кидającego и туда, и сюда и взывающего к мгновенной, всегда индивидуальной ориентации... Жить личной жизнью в России я отвыкал; наша личная жизнь чаще всего определялась термином не: не ели, не спали, не имели тепла, денег, удовольствий, помещений, здоровья и т. д.; но это не было предметом слезливых жалоб, потому что громадное „да“ осмысленно-духовной жизни с радостью преодолевало все эти „не“...»

И вот итог:

«В день 25-летия со дня выхода первой книги (в 27-м году) несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо в месте „общественность“ и „Андрей Белый“ стоял только безвестный могильный крест... В „могилу“... меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все „истинно живые“ писатели; ...„крупные“ заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что само появление мое в общественных местах напоминало скандал... Я был „живой труп“; „В. Ф. А.“<sup>2</sup> — закрыта; „А. О.“<sup>3</sup> — закрыто; журналы — закрыты для меня; издательства — закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате... с протянутой рукою: „Подайте бывшему писателю“...

Уйдя из Москвы, я... с 25-го года переселился в Кучино, место моего всяческого выздоровления... Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась правда... Надо говорить правду, прослеживая ее в ее индивидуальном восстании... а это — трудно; этого не умею я еще и сейчас.

Но я учусь этому...

Я ушел в Кучино прочистить свою душу, заштампованную, как паспортная книжка, проездными визами всех коллективов, с которыми я работал; каждая виза — штамп той или иной горечи, того или иного непонимания...

Все фальшиво, насквозь фальшиво — там, где начинает действовать принцип „общества“; ...партийный человек есть дробь человека, иль — антропoid, аптекарский фабрикат из разных вытяжек человека (мозгового фосфора, семенных желез и т. д.). Только в раскрепощающем ритме, в вольном ветре освобождения, в робком намеке — „ассоциация“ — встает недостигнутый горизонт новой „общинной“ жизни, которого в „обществе“ нет и быть не может...

...Наш склероз: склероз „общественности“ с его звездой — Государством...

...Установка гигантской душечерпательной машины, проводящей душевную жизнь в „общий“, но от всех закупоренный бак. При этой неправильной системе себя связывания с механизмом „общества“ менее активные, менее умные, менее горячие не только не рискуют, но даже теплеют „чуть-чуть“ за счет жарких и умных; а те — разрываются, откуда картина бесплодных бунтов, катастроф, до... героических смертей...

...Я сказал: „Возьмите всего меня“; мне ответили: „Мало, давай и то, что сверх сил“. Отдал — сказали: „Иди на все четыре стороны; ты отдал все и больше не нужен нам“...

<sup>2</sup> «В. Ф. А.» — Вольная философская ассоциация, председателем которой был Белый.

<sup>3</sup> «А. О.» — Антропософское общество.

...Через „бывшего человека” 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзают меня?..

...Люди... были ценнее и лучше собственных „мировоззрений”, их облакавших в рога, бычьи морды и прочие маски; маски надеты — предрассудки... в обществе рост предрассудков — невероятен...

„Я”... становится пассивно увозимую кладью в места, куда... „Макар телят не гоняет”. Трагедия людей внутри коллективов: разезд платформ или разрыв ценных „индивидуальных” связей по воле „платформы”. „Хотел бы дружить, да... платформа увозит”...

На протяжении 30 лет я имел пышный опыт зрелища разложения утопий и коллективов; коллективы менялись, а причины разложения оставались теми же. Напоминаю себе, что действительность разрыва отношений с рядом любимых (и где-то еще любимых) друзей, — не действительность охлаждения потенциалов связи от „Я” к „Я”, а — криво растущая и слепо несущая „Я” платформа; таковы мои действительные охлаждения: с Мережковскими, Блоком... с Бердяевым... со сколькими еще...

...А все — в „чуть-чуть”; в „чуть-чуть” — черта, отделяющая дела бездарные от дел гениальных (опять истина, принятая на кончике языка, то есть не принятая)...

В медном пятаке сжата сила, способная прогнать поезд по экватору четыре раза (междуатомная теплота); и такая же сжата сила в невытравленном предрассудке...

...Теоретические „чуть-чуть” упущения и „чуть-чуть” недоглядки имеют следствием не „чуть-чуть” давимые жизни, а жизни... вовсе раздавленные, как жизнь моя периода 21 — 23 годов, раздавленная молчанием и впусую вымотанной у меня жертвы, поступившей вместе с „интуициями” в общий „бак”...

Все, о чем говорю, есть намек и импрессия к толстому тому исследования, которое могло бы возникнуть...

...Тома — не напишу.

Пора написаний прошла; наступает пора прочтений уже в сердце написанного; нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Но кто не имеет писем в сердце и откажется от понимания слов апостола („вы — письмо, написанное в сердцах”), тот меня не поймет.

Мне это хорошо ведомо.

И оттого я — кончил: кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать или, вернее, продолжить себя в другом: в символическом.

Кучино. 7 апреля 1928 г.».

Начать себя в другом отношении Белому уже не довелось — впереди у него оставалось только шесть лет жизни. И хотя он продолжал неустанно трудиться и книги его выходили, ездил по стране, пытался сотрудничать с советскими учреждениями и был провозглашен персональным пенсионером, эти годы стали для него медленным удушением, со все более и более редкими попытками найти нишу в обществе, из которого он был выбит красными вождями и в котором, не желая быть «дробью человека», вынужден был стать внутренним эмигрантом.

В нем видели то полусумасшедшего витию, то ходячую реликвию, он то заблуждался и прекраснодушествовал, то притворялся и сознательно шел на компромиссы, — а это и были маски — те самые «рога и бычьи морды», которые пыталось надеть на него общество. Необходимость все время играть, лицедействовать, для искреннего человека, поэта самоубийственная, репрессии, обрушившиеся на близких, конечно, сильно укоротили его жизнь.

Как-то на встрече в редакции журнала «Новый мир» один из государственных вождей — Валериан Куйбышев — заметил ему:

— Как жаль, что вы, товарищ Белый, не с нами!

Тут уж всего полшага до: «Кто не с нами — тот против нас!»

И вот уже «наши» писатели под пьяную лавочку передают друг другу слухок, что Белый... умер. А «Вечерняя Москва» печатает заметку об архиве «по-смертных» произведений Андрея Белого... Торопят смерть, хоронят заживо!

А смерть и в самом деле уже подкрадывалась. Зимой 1934 года в «Известиях» появилась его фотография — впервые он был удостоен такой чести, но... при некрологе. «8 января, в 12 ч. 30 мин. дня умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых... Творчество Андрея Белого — не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, он — создатель громадной литературной школы. Переключаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джеймс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джеймс Джойс — ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый... перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения...»

Под некрологом — три подписи: Борис Пастернак, Борис Пильняк и Григорий Санников. Они называют себя учениками Белого и напоминают, что им написано сорок семь томов! Никогда — ни до, ни после — подобного панегирика Андрей Белый не удостоивался.

Когда через несколько лет арестуют Бориса Пильняка, это ему припомнится. Некролог тот будет вменен в вину как «антипартийный». И если бы не ранняя смерть, Андрей Белый вряд ли б рубеж 1937-го перешагнул.

#### «Молюсь за тех и за других...»

Они были схвачены летом 1936 года в Москве, двое друзей — Наталья Ануфриева и Даниил Жуковский. Оба обвинены в антисоветской деятельности, шли по одному делу. Соединяло их, однако, нечто совсем другое — страсть к литературе. Оба были талантливы, писали стихи, а посему позволяли себе независимость взглядов. И еще: у них был общий кумир и учитель — поэт Максимилиан Волошин.

Когда-то он говорил:

Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!  
 Почетней быть твердым наизусть  
 И списываться тайно и украдкой,  
 При жизни быть не книгой, а тетрадкой...

После обыска в НКВД попала целая груда тетрадок, рукописей и самих арестованных, и бережно хранимые ими других авторов, а среди них — машинописные копии стихов Волошина с правкой и подписями, сделанными его рукой. В основном это уже известные, много раз печатавшиеся стихотворения, хотя и здесь есть интересные варианты и разночтения. Но, как оказалось, томилась на Лубянке и неизвестные до сих пор строки поэта.

«Приложенные к делу стихи Волошина у меня обнаружены при обыске 1 июня 1936 года... 45 листов разных размеров», — сообщит судьям Жуковский. Конфискованные рукописи стали главной уликой, на которой строилось все обвинение.

Молодым, образованным, одержимым поэзией людям была уготована страшная участь. Человек за человеком с русской земли люто сдирался культурный, плодоносный слой творческой интеллигенции. Раздумывая о парадоксах русской истории, Максимилиан Волошин находил разительное сходство двух политических врагов — самодержавия и большевизма: «...Так же, как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед... так



же, как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским Приказом и Тайной Канцелярией и Чрезвычайной Комиссией нет никакой существенной разницы...»

Сначала была арестована тридцатилетняя Наталья Ануфриева, работавшая младшим экономистом в учреждении с типично советским языколомным названием Главметиз Наркомтяжпрома. За ней — двадцатисемилетний учитель математики Даниил Жуковский. Первое, на что нацеливались в НКВД, — происхождение. Если родословная Ануфриевой была вполне нейтральной: отец — инженер, мать — медсестра, — то от ее друга попахивало классово чуждым духом: сын Аделаиды Герцык, поэтессы, и Дмитрия Жуковского, бывшего дворянина, литературного переводчика, до революции — владельца книжного издательства, а после — не раз попадавшего в руки чекистов контрреволюционера.

Но это родители, а что же сами арестанты? Что натворили они?

Оба попали в тюрьму по доносу их товарища, тоже поэта, артиста театра имени Вахтангова Николая Стефановича. Чекисты вызвали автора доноса к себе и основательно допросили. Почему он сообщил в НКВД? Потому что убедился в резких контрреволюционных настроениях Ануфриевой и Жуковского. Факты? Факты последовали:

«28 апреля на квартире Жуковского на мой вопрос Ануфриевой: „Вот вы восхищаетесь Петром, построившим Петроград, почему же вы так ненавидите Сталина, перестраивающего Москву?“ — она резко враждебно отозвалась о личности товарища Сталина и высказала по его адресу гнусную клевету. Тогда же Ануфриева стала восторженно говорить о Колчаке и прочла собственные стихи, посвященные ему. При этом сказала, что записывать свои стихи она боится. Смысл ее разговоров в тот вечер сводился к следующему: „Колчак и вообще белогвардейцы — настоящие герои, мученики за великие идеи. Они шли на борьбу, не считаясь с тем, есть ли шансы на победу или нет. Чем меньше шансов, тем отчаяннее надо действовать. Смерть от руки врага — это величие...“ Свои высказывания она пересыпала цитатами из Шпенглера, Гумилева и Блока...»

8 мая Ануфриева, при встрече, заявила, что надо твердо и непоколебимо придерживаться своих взглядов, „беречь огонь своей свечи“, как она выражалась, и не идти ни на какие примирения с Соввластью. Она сказала: „Я не могу себе найти места вообще в советской жизни. Мы варимся в собственном соку, и даже обмен мыслями строжайше воспрещен. Жизнь идет мимо нас, а если кто хочет в эту жизнь прорваться, то его расстреливают. Такого гнета, как теперь, не было ни при Бенкендорфе, ни при Екатерине. Мы живем в полном мраке. Но я очень верю в Россию, в ее силу, верю, что она не даст без конца себя втаптывать в грязь. Надо терпеть, ждать и хранить чистоту своих взглядов. Мою ненависть к Соввласти питает неотмытая, неискупленная могила Колчака...“ Тогда же Ануфриева прочла мне четыре собственных стихотворения, посвященные Колчаку, сказав, что она эти стихи кое-кому читала и само чтение этих стихов другим расценивает как удобный способ для обмена мыслями, как „сигнализацию своими свечами другому“...

Встреча 12 мая 1936 г. Ануфриева, выбирая, куда бы нам пойти, заявила: „Наше правительство всюду рассылает своих секретных агентов, все деньги ухлопывает на шпионаж. Очень характерно, Красная Армия на втором месте, а ГПУ на первом. Это очень разумно. Внутренний враг, конечно, опасней для Соввласти, чем внешний...“

16 мая она продолжала говорить „о страшной тоске вынужденного бездействия“, что „хочется умереть на баррикадах, а баррикад нет“ и что нет „вождя, ибо вождем должен быть мужчина“... То, что вы, мужчины, ощущаете как тоску, бездействие, то мы, женщины, ощущаем как ужас, бесчестие. Я не могу жить и работать с людьми, убившими Колчака. Надо смыть этот позор бесчестия. Есть несколько путей. Путь бесчестия — служить людям, убившим вождя

дя. Другой путь эгоистического спасения — бежать за границу, оставив Россию в лапах большевиков. Третий путь — копить силы и ждать или броситься отчаянно в пропасть вниз головой, как это сделал Николаев, убив Кирова. И здесь Ануфриева стала говорить, что последний, то есть николаевский, путь есть мой рок, страшный и печальный, но неизбежный, и рассказывать о Раскольникове из Достоевского... Тогда же Ануфриева заявила, что она является горячей поклонницей Шарлотты Корде, и стала рассказывать ее биографию. Перед прощанием Ануфриева рассказала мне о зверствах большевиков в Крыму: „После занятия красными войсками Крыма был объявлен декрет об амнистии добровольно явившимся белым офицерам. По этому декрету явились тысячи офицеров. Их всех забрали и тут же расстреляли, причем многих закапывали живыми в землю, отрезали им уши и т. п.“. Рассказ свой Ануфриева закончила следующими словами: „Таких вещей нельзя ни забыть, ни простить. Вы продумайте это посерьезнее, вникните в это...“

Свидетелем и летописцем кровавых зверств коммунистов в Крыму был Максимилиан Волошин. В его коктебельском доме одно время поселился глава Крымского ревкома Бела Кун, который по какому-то странному капризу давал поэту расстрельные списки, разрешая вычеркивать одного из десяти приговоренных. Это было страшное мучение — выбрать, кого спасти. Числилось в списках и имя Волошина — его вычеркнул сам Кун...

Пронзительные, обличающие подпольные стихи Волошина тех лет доходили до Натальи Ануфриевой и были для нее образцом не только высокой поэзии, но и личного мужества. В одной из ее тетрадей, изъятых при обыске, читаем: «У М. В., переложившего мудрые вещания Достоевского в четкие и простые стихи, есть стихотворение „Русь гулящая“. Буйствует, пьянствует Русь, а после бьется в иступлении, плачет о каких-то „расстрелянных детях“, и из самого сердца вопль:

Пусть всемирно, всесветно, всезвездно  
Воссияет правда Твоя!..»

Стефанович на допросе описывает каждую встречу с Натальей, день за днем. Она говорила ему, что хотела убить какого-то видного члена советского правительства, что занималась расклейкой контрреволюционных прокламаций, но об этом узнал комсомолец, и этот комсомолец на ее глазах кем-то был убит из их преступной группы. И все упорнее подбивала его, Стефановича, стать террористом.

«Убедившись, что Ануфриева определенно обрабатывает меня для преступных действий, я счел своим долгом подать заявление в НКВД...»

Наталья Ануфриева держалась на допросах героически, бескомпромиссно. Своих взглядов она не скрывала:

— Да, я подвергала критике мероприятия Советской власти. Я доказывала, что у нас существует зажим индивидуальностей, что у нас нет свободы творчества, что произведения, не соответствующие господствующей идее (марксизм), не печатаются, и поэты и писатели этого толка не могут проявить своего таланта. Между тем своей культуры у Советской власти нет...

Следователь — старший лейтенант Новобратский — задает вопрос о терроре.

— Я высказывала отрицательное отношение к террору, как и мои знакомые...

— Кто именно?

— Я отказываюсь называть какие-либо фамилии, потому что не хочу, чтобы НКВД кому-нибудь причинял неприятности по моей вине. Я буду говорить об этих лицах в том случае, если следствие само назовет их, и тем самым я увижу, что следствие о них осведомлено.

Тогда ей приводят показания Стефановича. И вот как она передает их доверительные разговоры:

— Да, мы говорили на политические темы, довольно часто встречаясь последнее время, до ареста. Я рассказывала Стефановичу свои прошлые настроения... Во время разгрома белых я жила в Крыму и в то время была романтической поклонницей Шарлотты Корде, убившей Марата. Разгром белых ожесточил меня против Соввласти. Я считала, что моим долгом является убийство видного в то время представителя Советской власти, который, по слухам, должен был посетить Крым. Я рассказывала Стефановичу о тех переживаниях, которые я испытывала, готовясь к совершению этого убийства. Убийства этого я не совершила ввиду неприезда этого лица в Крым, а в дальнейшем это намерение у меня заглохло.

Стефанович говорил, что у него большая масса неиспользованной энергии... Я, не считая Стефановича способным на такой акт... говорила ему, что человек, совершивший теракт, должен стремиться сейчас же покончить с собой, но если это не удастся и человек этот будет арестован, то он должен на допросах молчать и никого из своих знакомых при допросах не называть... Я говорила, что убийство руководителей Соввласти, и главное — Сталина, возможно следующим образом: либо самому проникнуть в Кремль в качестве заслуженного стахановца, либо завербовать какого-либо стахановца и там совершить убийство. На это он приводил пример Николаева, который убийством Кирова достиг только того, что пролилось много крови...

Активное сопротивление, террор — вот на чем делается акцент, следовательно пытается добыть у Натальи подтверждение того, что она подговаривала Стефановича на совершение теракта.

Что же донес Стефанович на своего друга — Даниила?

Он обвиняет Жуковского в смертных, с точки зрения НКВД, грехах. Контрреволюционно настроен, сравнивает вождя СССР с Гитлером. Был связан с арестованным и приговоренным к расстрелу поэтом Всеволодом Харузиным, возмущаясь приговором, говорил, что «он был опасен для Соввласти своей гениальностью, и его контрреволюционность есть не что иное, как подлинная культура». О себе же заявляет, что не может творить и начнет писать подпольно, «так как это единственный путь в условиях СССР для действительного поэта и писателя. Ибо настоящей культуры у нас нет и, более того, ее не терпят и не прощают...».

Ярлык контрреволюционности — для большей убойности доноса, а остальное... Ведь только так и мог мыслить и переживать происходящее истинный интеллигент, несущий свет той культурной среды, в которой вырос, корневая суть которой теперь нещадно выкорчевывалась, отстаивать которую приходилось ценой свободы и жизни.

И еще Стефанович докладывает:

«Жуковский хранит у себя контрреволюционные стихотворения Волошина и читает их своим знакомым, в частности такие махровые контрреволюционные стихи, как „Северо-Восток“, „Благословление“, „Россия“ и др. Жуковский заявлял, что стихи Волошина для него — весь смысл его существования, и когда его жена Ходасевичева требовала, чтобы он прекратил чтение контрреволюционных стихов в ее квартире, он, Жуковский, заявил, что скорее разойдетсЯ с ней, чем расстанется со стихами Волошина, несмотря на их контрреволюционность...»

Это уже донос на «махровую контрреволюционность» самого Волошина, но того уже нет в живых, и его арестовывают, так сказать, посмертно, путем изъятия его рукописей и учеников.

Именно о волошинских стихах особенно дотошно расспрашивал Жуковского следователь:

«Вопрос. С какой целью вы хранили у себя контрреволюционные стихи Волошина?»

Ответ. Я признаю, что хранившиеся у меня стихи Волошина являются контрреволюционными, черносотенными. Хранил я эти стихи из-за любви к ним».

Правда в этом ответе — только любовь к стихам Волошина. Первую фразу в протокол вписал следователь. Его изобличит сам арестованный. «На следствии записано неверно, что я считаю стихи Волошина контрреволюционными, я такого не говорил», — заявит он на суде.

«Вопрос. Кому вы давали эти стихотворения для чтения?»

Ответ. Никому для чтения я этих стихов не давал.

Вопрос. А сами кому вы читали эти стихи?

Ответ. Я действительно сам декламировал эти стихи своим знакомым...

Вопрос. Какие разговоры происходили у вас с вашей женой Ходасевич по поводу стихов Волошина?

Ответ. Жена требовала, чтобы я уничтожил стихи Волошина.

Вопрос. Почему она это требовала от вас?

Ответ. Потому что опасалась неприятностей от НКВД.

Вопрос. Почему она опасалась неприятностей от НКВД?

Ответ. Потому что стихи эти контрреволюционные.

Вопрос. Какую позицию занимали вы в этом вопросе?

Ответ. Я заявлял жене, что я скорее уйду от нее, чем расстанусь со стихами Волошина, несмотря на их контрреволюционность, так как поэзию Волошина я любил и упрекал жену в трусости...

Вопрос. Вы пытаетесь представить себя на следствии советским человеком. Как же вы в таком случае готовы были пойти на разрыв с женой, лишь бы сохранить контрреволюционные стихи Волошина?

Ответ. Я не знаю, что на это ответить».

Когда Жуковскому дали на подпись протокол, он увидел подтасовки следователя, искажающие истинные его ответы. «Будучи контрреволюционно настроен, я высказывал свои настроения, но я искал пути примирения с Соввластью...» И вместо подписи под протоколом стоит: «Отказываюсь подписать».

В тюрьме с Даниилом произошел какой-то важный духовный перелом.

— Я не могу примириться с Соввластью в одном пункте: это то, что я верю в Бога.

— Когда вы начали верить в Бога?

— После ареста, три-четыре дня тому назад. Да, я уверовал в Бога уже после своего ареста.

Следователи решили сломить стойкость молодого поэта. Взяли его в крутой оборот, не щадили. Уже в июле дежурный Внутренней тюрьмы рапортовал начальству:

«Доношу, что в час 25 минут 7-го июля сего года арестованный Жуковский... начал кричать в камере № 23, лег на пол, начал кататься по камере. Когда его привели в приемную комнату, лекпом ему дал лекарство, он начал кричать: „Убейте меня!“ ...Арестованного посадили в изоляционную камеру».

Только в январе 1937 года следствие было закончено. Оба обвиняемых виновными себя не признали. Жуковский еще и добавил: «Прошу записать, что помимо того, что я не могу примириться с материалистическим мировоззрением, я еще объяснял своим знакомым невозможность своего полного принятия Советской власти благодаря тому, что мое мировоззрение и мирозерцание слишком наполнены прежними влияниями русской интеллигенции (в частности, периода символизма), которые мешают мне вполне безраздельно отдаться молодым зарождающимся стремлениям, причем в разговорах я высказывал совершенно определенное отрицательное отношение к этой своей старой закваске, которую сознательно пытаюсь изжить...»

Так он писал, а внутренний голос кричал совсем другое. Ведь он должен был изжить в себе — изжить, чтобы выжить, — лучшее, что у него было, то прошлое, которым он на самом деле гордился. Память об отце — Дмитрие Евгеньевиче Жуковском, блестящем издателе, выпускавшем в годы революции журнал «Вопросы жизни», который Николай Бердяев называл «новым явлени-

ем в истории русских журналов», «местом встречи всех новых течений» и в котором участвовали лучшие писатели того времени: Блок, Белый, Сергей Булгаков, Мережковский, Розанов... О матери — очень своеобразной поэтессе Аделаиде Герцык, близкой подруге Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина. О своем родительском доме, где все его звали Даликом и где ему с детства суждено было видеть и слышать лучших мыслителей и писателей серебряного века.

Отдельные, похожие на фотографии крохи воспоминаний об этом талантливом и жадном до впечатлений мальчике сохранились в мемуарах тетки Даниила, переводчицы Евгении Герцык. Вот он со своей матерью устроился на широкой тахте: она — в сизом халате, с тетрадью и карандашом, он разрисовывает большие листы цветными лабиринтами... А вот взобрался с юной Майей Кудашевой (потом она станет известна как жена Романа Роллана) на фисгармонию, чтобы послушать поэта Вячеслава Иванова... А сколько незабываемых минут в Крыму, в Судаче, где они строили дом! Держа мальчика за руку, мать ведет его по доскам, перекинутым через ямы, и нашептывает сказку про будущий дом и про то, какая в нем будет жизнь, — сказку, которая так и останется сказкой... Наезды гостей. Бердяев с его малопонятными, но вдохновенными импровизациями и нервным тиком. Макс Волошин, нагруженный, словно букетами, новыми стихами...

После революции семья жила в большой нужде, нищенствовала, еле сводя концы с концами. Отец Даниила писал философу Льву Шестову: «Мой сын... имеет несомненный писательский талант и художественную восприимчивость. Очень тонко чувствует и любит природу, но, к несчастью, любит аффектацию. Страшно думать, что он не получит образования...»

Настоящая катастрофа обрушилась на дом, когда в 1925 году внезапно умерла мать Даниила. «Радость воплощенная ушла из жизни, — писал Шестову Дмитрий Жуковский. — Это было гениальное сердце... Если прибавить к этому ее ум и дар творчества, питающийся натурой, то приходится сказать, что это был совсем исключительный человек... Далику 16 лет. Хороший мальчик, хотя безвольный, недисциплинированный... По-видимому, имеет литературный талант. Писал и стихи. Выработал стиль... Увлекается... путешествиями. Исходил весь Крым пешком. Делает по 60 верст в один день. Очень любит природу...»

А скоро Даниил расстанется и с отцом, объявленным контрреволюционером и отправленным в ссылку. Последней нитью, связывающей юношу с этим родным, на глазах гибнущим миром, были поездки в Коктебель, к Волошину, чтение ему стихотворных опытов и ответное дарение мастером — своих стихов, которые быстро затверживались наизусть...

Они лежали сейчас там, в крошечной папке следователя. И среди них были строки, предсказавшие судьбу Даниила:

Кто написал на этих стенах кровью:  
Свобода, братство, равенство  
Иль смерть?..  
Среди рабов единственное место,  
Достойное свободного, —  
тюрьма...

Даниил решил защищаться. Он направил из тюрьмы в спецколлегию Московского городского суда, где должно было слушаться дело, заявление, в котором просил затребовать и приобщить к делу экземпляр «Литературной газеты» со статьей по поводу смерти Волошина и официальные справки о том, что тот до последних дней был персональным пенсионером и что его дом в Коктебеле превращен теперь в Музей имени Волошина, — «данные, которые помогли бы установить мое незнание того, что хранение и чтение стихов М. Волошина может подвергнуться репрессиям со стороны органов НКВД». Кроме того, он

просит приобщить к делу и его дневник, отобранный при обыске, где он высказывал свое отношение к советской действительности. И еще — произвести медицинское освидетельствование его состояния.

Из всех этих просьб была исполнена только одна: Жуковского показали врачам. Медицинский акт гласил:

«Жуковский... душевными заболеваниями не страдает, обнаруживает склонность к истерическим реакциям. Кроме того, отмечается прогрессирующая мышечная атрофия с поражением мышц плечевого пояса. Болезнь хроническая, прогрессирующая и неизлечимая. К физическому труду не годен. Как недрушевнобольной — вменяем».

Заседание суда откладывалось дважды по одной причине: из-за неявки главного свидетеля обвинения — Стефановича. Он испугался предстать перед глазами друзей, которых предал, и посылал вместо себя письма, подтверждая свои показания. Суд потребовал объяснения неявки. И Стефанович сослался на тяжелое нервное расстройство.

Суд проходил 13 апреля.

Ануфриева, отвергая свою вину, объясняет, что она вовсе не подговаривала Стефановича к террору, наоборот, остерегала и вспоминала Раскольникову как отрицательный пример. И не она, а Стефанович все время провоцировал разговоры о терроре, хотя ей это надоело. Да, в юности она увлекалась французской романтикой, готовилась к совершению теракта над представителем из центра, но это была детская мечта — теракт кухонным ножом... И если бы были все возможности совершить теракт над Сталиным, например, он был бы поставлен рядом со мной, то и тогда она бы этого не сделала...

Жуковский тоже виновным себя не признал. Подтвердил только свои слова о том, что для искусства нет свободы. Что же касается стихов Волошина, то и тут от них не отрекся. И в своем последнем слове он сказал:

— Стихи Волошина дороги мне как память о поэте, которого я знал лично. Хотя стихи Волошина не печатались, имеют религиозный оттенок, но именно они повлияли на мою психику в смысле поворота к Советской власти. Я увлекался изучением стихосложений, политикой не интересовался. В разговоре о стахановцах я говорил, что имею идеалистическую жилку, мешающую примкнуть к общему движению. Показания Стефановича о Сталине — выдумка, такого разговора не было... О фашизме говорил только он, Стефанович, что там возникает новая религия, огнепоклонство, — в ответ на мои слова, что у нас религия отмирает.

Объявлен приговор: тюрьма, восемь лет — Ануфриевой и пять — Жуковскому.

Однако и на этом суд не закончился. Осенью того же года по жалобе Жуковского состоялось еще одно заседание. На сей раз Стефановича все же заставили прийти, он страшно вилял, стараясь и чекистам угодить, и перед друзьями обелиться, мямлил, например, что его друг Даниил, с одной стороны, несоветский, а с другой — совсем наоборот...

— Обвинение мне понятно, виновным себя не признаю, — сказал судьмя Жуковский. — Чтобы я когда-нибудь вел контрреволюционные разговоры — и не могу себе этого представить. Литературу я имел, но хранение ее не считаю преступлением. Волошин свои стихи читал в Москве, в Коктебеле, даже якобы читал и в Кремле...

Такой эпизод в биографии Волошина действительно был. Он читал стихи в Кремле, на квартире Каменева, в попытке получить разрешение на их публикацию «на правах рукописи». И выбрал самые острые, те, что теперь, на суде, именовали «антисоветскими». Один из свидетелей этой сцены, музыковед Сабанеев, вспоминает, что поэт — со своей огромной фигурой, пышной шевелюрой и бородой, со своим громовым голосом — был похож на пророка Илью, обличающего жрецов. После соответствующей паузы Каменев изобразил литературного критика, пустился в обсуждение отдельных образов и выра-

жений. О содержании — ни слова, будто его и нет. Потом подошел к столу и настроил записку в Госиздат: всецело поддерживаю просьбу поэта Волошина об издании стихов «на правах рукописи»...

Довольный Волошин распрошался и ушел. А Каменев подошел к телефону, вызвал Госиздат и, не стесняясь присутствия свидетелей, распорядился:

— К вам придет поэт Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения...

Вернемся к суду.

— Стихи от Волошина я получал в 1929 — 1930 годах, когда бывал у него на даче, — рассказывал Жуковский. И, как на первом суде, опять уличит в подделке следователя: — Его стихи я не считаю антисоветскими, черносотенными... Я говорил, что склоняюсь к идеализму, и пожаловался на то, что в нашей стране доминирует материалистическое мировоззрение. Желания возврата прошлого времени я не высказывал...

В результате приговор был оставлен в силе, но с отбытием наказания не в тюрьме, а в лагерях. И отправили в гибельное плавание — по кругам гулаговского ада.

Наталья после Лубянки и Бутырок пройдет через ярославскую, горьковскую и суздальскую тюрьмы и только потом попадет в колымский лагерь. Она отсидит свой срок «от звонка до звонка», а через пять лет после освобождения будет повторно осуждена по первому делу, сослана в Сибирь. Реабилитируют ее уже посмертно. Стихи будет писать до последних дней жизни, которая оборвется в 1990 году.

Жуковский уйдет из жизни намного раньше. Вместо лагеря он окажется в Орловском центре и там будет еще раз осужден. За что же теперь? Как сказано в обвинении, «среди заключенных проводил контрреволюционную агитацию, оскорбительно отзывался об органах Советской власти, извращенно истолковывал советскую конституцию».

В деле подробно излагаются эти преступления.

1 ноября 1937 года ретивый охранник с престоном неуклюжестью докладывал начальнику тюрьмы о возмутителях спокойствия, среди которых был и Жуковский:

«Довожу до вашего сведения о том, что камеры № 1 и № 3 повседневно, систематически нарушают тюремный режим, систематически занимаются шипками, разговорами, шумом и т. д. Не дают отойти от двери, обратно шумят за весь день, не отходишь от их дверей. На первую камеру мной был написан вам рапорт, но ответу нет. Прошу принять меры».

Резолюция начальника тюрьмы: посадить в карцер на пять суток!

Вскоре — еще один сигнал, от другого стражника. Через месяц — новый рапорт, от третьего:

«Доношу до вашего сведения, что при моем дежурстве в камере № 1 з-к Жуковский все время нарушал тюремные правила... Собирая з-к по углам, восхвалял Германию Гитлера, и он же производит этим же моментом переступкивание с соседними камерами. Несмотря на неоднократные предупреждения, он все равно продолжает все эти похабные явления в своей камере».

В начале нового, 1938 года к штатным охранникам присоединяется нештатный, посаженный в камеру в качестве «наседки»:

«Жуковский продолжает в камере ругать органы Советской власти, ни за что сажают в тюрьмы невинных людей. Конституцию рассматривает как обман народа, которая выгодна только сталинскому руководству, заставляет народ заниматься доносами друг на друга».

Тут уж чаша терпения тюремщиков переполнилась! Довольно церемониться! На Жуковского заводят новое дело. 15 февраля 1938 года Особая тройка выносит приговор: расстрелять!

Дорого стоила Наталья и Даниилу любовь к поэзии! Участь учеников бывала порой горше судьбы учителей. Тем еще оставляли право доживать под

присмотром властей и умереть своей смертью, в собственной постели. А кто хотел, пытался перенять эстафету творчества (на языке Натальи Ануфриевой — зажечь свечу от свечи) у поэтов серебряного века, должен был или отречься от них, или погрузиться в тюремно-лагерное небытие.

При реабилитации Жуковского в 1958 году будет указано, что его погубитель Стефанович «в настоящее время страдает шизофренией» и что «обнаруженные у Жуковского стихи поэта Волошина контрреволюционной литературой не являются». Но вот горькая несправедливость: сочинения самого Стефановича сейчас печатаются, а вот стихов его жертвы мы уже никогда не узнаем — они были уничтожены, как и их автор<sup>4</sup>.

Наталью Ануфриеву реабилитируют только в 1991 году, как раз в те дни, когда мне в Прокуратуре удалось познакомиться с ее делом. Стихи ее, слава Богу, уцелели. Встреча их с читателями, надеюсь, уже не за горами.

Для Натальи Ануфриевой поэзия Волошина была постоянной спутницей всей жизни. В дневнике ее, изъятых чекистами, это имя возникает то и дело.

Вот в этой тетради, без обложки:

«М. Волошин говорит о России:

Осталась ты страну иступлений,  
Страной, взыскующей любви...

Лет семнадцати или позже, не помню, у меня был афоризм: „Вера есть только высшая ступень любви”...»

Другая тетрадь:

«Я хотела поставить эпиграфом к этой вещи стихи М. В.:

Мы зараженные совестью. В каждом  
Стеньке — Святой Серафим...»

Думала о Волошине Наталья часто, писала много, а вот встретила только раз.

Эта встреча описана в ее дневнике, но прежде, чем рассказать о ней, Наталья вспоминает себя в тот момент, когда на одно мгновение параболы их судеб соприкоснулись:

«Я хотела бы, чтобы эти воспоминания были проникнуты тем, чем полна была моя юность, — ритмом и лирикой...

Это случилось в августе 1926 года... Мне было двадцать лет, и почва колебалась под моими ногами...

Прежде чем описывать свою юность, я должна описать себя. Трудно сделать это объективно. Я должна отметить здесь свою непохожесть на других людей. В ней, этой непохожести, причина всех моих несчастий, унижений и неудач и объяснение моей судьбы. Эту непохожесть отмечали и окружающие, называя меня „чудачкой”, „юродивой”, „не от мира сего”. Моя непохожесть в том, что моя внутренняя жизнь протекает в такой глубине, до которой не доносятся голоса жизни. Все, что случается со мною, случается где-то глубоко во мне, все внешне не имеет для меня значения. Отсюда вытекает совершенная детскость, несерьезное отношение к жизни, самое серьезное отношение к мечтам... И с детства же обостренное чувство своего „я”, уже в детстве ошущающееся как бремя. Это свойство людей на последней грани культуры, таким же был Александр Блок. Это чувство, рождающее идеи обреченности, искупления, судьбы и любви к судьбе... И я тогда совершенно поверила, что искусство и жизнь не могут ужиться вместе, надо выбирать что-нибудь одно. Я хотела выбрать жизнь, но жизнь отвергла меня, творчество меня покинуло. И вот тогда пошатнулся мир...»

<sup>4</sup> Автобиографический этюд Д. Жуковского «Под вечер на дальней горе... (Мысли о детстве и младенчестве)» опубликован в «Новом мире» (1997, № 6) по рукописи, сохранившейся у родственников автора.



Тем летом в Симферополь, где жила Наталья, приехал на несколько дней из своего Коктебеля Макс Волошин. Встреча произошла у родственников Натальи, с которыми он был знаком.

Когда-то Волошин видел стихи пятнадцатилетней Натальи, но ничего о них не говорил. Потом — ей уже было семнадцать — кто-то из друзей носил ее стихи в Коктебель, и Волошин сказал, что она стала писать гораздо увереннее.

Теперь она прочла ему свою поэму «Царица» — о любви прекрасной и жестокой царицы к гордому Ивану Царевичу. Тут был весь романтический арсенал: муки неразделенной страсти, пиры и убийства, светлицы и темницы, ангел и черт...

«Когда я читала, я все время внимательно смотрела в лицо Волошина, и два раза что-то дрогнуло в его лице. При словах: „О, меня ль испугал ты? Под твоею ногою испытаю я сладкую дрожь... И я жду того часа с безмерной тоскою, — поцелуешь меня и убьешь...” И — „У меня же для белого тела только дыба да грязная плеть...” и, кажется, еще в самом конце, но наверное я не помню.

Когда я кончила читать, он сказал, что я напрасно говорю о черте и ангеле, что, если б я умолчала о них, они чувствовались бы сильнее (в этом, конечно, он был прав). Потом он сказал, что чувства царицы совсем не от сатаны. Он сказал, что это у меня христианское — „жесточая жалость, Голгофа” и что это часто бывает у молодых девушек. Заговорили о черте, о католицизме, потом стали собираться гости, и разговор прервался.

За чаем был у нас спор, он говорил, что не надо служить, работать, надо жить подаяннем и самим давать, я спорила и говорила, что от этого могут пострадать близкие люди, которые от нас зависят. Потом Максимилиан Волошин читал стихи. О моих стихах он не сказал ничего.

Я видела его еще раза два... Там были мои знакомые поэтессы, девушки лет двадцати двух, Юля и Надя. Волошин хвалил их стихи, особенно Юлины, и просил читать еще. Но мне он не говорил ничего.

Я слышала от людей, знающих его, что это был очень чуткий человек, особенно чутко относившийся к молодым поэтам. Не знаю, почему он так со мной поступил. Он мог бы сказать, если ему не понравились мои стихи, что мне не стоит их писать, он мог бы сказать хоть что-нибудь, но он не сказал ничего и прошел мимо меня, как мимо пустого места.

Он прибавил новую обиду к той обиде, которой началось мое вступление в жизнь. Теперь, когда я вспоминаю все это, я вижу, что жизнь для меня была огромной обидой, которую я хотела преодолеть. Я не хотела быть обиженной. Я продолжала писать стихи. Я ждала необыкновенного человека, который полюбит меня. Я не хотела уступать свою любовь к жизни.

Тогда у родственников Волошин сказал знаменательные для меня слова. Он сказал, что поэт никогда не пишет о своем настоящем или прошлом, но только о будущем, и тот, кто любит, не сможет писать о любви. В тот же вечер я говорила с Юлей. Юля сказала, что больше не пишет стихов. Все знали, что Юля влюблена. Я спросила: „Потому что теперь у вас жизнь?” Она отвечала, что да и что теперь стихов не надо... Я убедилась в этом окончательно. Я совершенно поверила, что искусство и жизнь исключают друг друга...»

«Я пишу эти воспоминания для себя и для того, кто будет любить меня по-настоящему, любить меня за меня, — исповедуется Наталья. — Может быть, будет в моей жизни такой человек...»

Увы, читал эти строки следователь.

Наталья Ануфриева и Даниил Жуковский — только два имени, две судьбы. Но расправа с несущими «свет свечи» была повальной, и охота на них не прерывалась ни на миг.

В 1955 году, перед самой хрущевской «оттепелью», на Лубянке допрашивали писателя Эмилия Львовича Миндлина, арестованного за антисоветские

разговоры. Копали глубоко. Писатель был словоохотлив, и протокол допроса превратился в своеобразный мемуар. Своим учителем в литературе Миндлин называл поэта Максимилиана Волошина.

Это имя, на котором десятки лет лежало табу, скорее всего, было совершенно незнакомо новому поколению следователей. Хотя обывательская масса не знала имени поэта и при его жизни, как, впрочем, мало что знала она и о своих новоявленных кумирах, портретами которых увешивались даже самые захолустные конторы.

Курьезный случай произошел однажды с Волошиным в Москве. Жена, потеряв его из виду в сутолоке вокзальной площади, стала звать:

— Макс! Макс!

Поблизости стояли красноармейцы. Услышав необычное имя и увидев человека с пышной седой шевелюрой и большой бородой, они встрепенулись:

— Ребята, глядите, Карл Маркс!

Подошли к поэту, отдали честь и торжественно отрапортовали:

— Товарищ Карл Маркс! Да здравствует ваш марксизм, который мы изучаем на уроках политграмоты!

Поэт с улыбкой ответил:

— Учите, учитте, ребятки!

Итак, Эмилий Миндлин «показывал»:

«...В 1919 г. я переехал в Крым, в Феодосию, и здесь завел знакомство с обосновавшейся возле Феодосии — в Коктебеле — литературной колонией, которую возглавлял... поэт-символист и художник Максимилиан Волошин. Среди известных писателей в этой колонии были: Илья Эренбург, которого мы знали тогда только как поэта, писатель Вересаев, петроградский поэт Осип Мандельштам, поэтесса, стихи которой мы изучали еще в школе, тогда очень известная, Соловьева-Аллегро и другие. К этой же основной группе лепились едва начавшие писать молодые люди вроде меня.

Очень велико было обаяние Волошина не только как поэта, но и широко образованного человека. На меня лично большое гипнотическое впечатление производили и такие факты, как личная дружба Волошина со всемирно известными писателями вроде Анатоля Франса, книги которого с его надписями я находил в библиотеке Волошина, и многих других.

Основное кредо Волошина сводилось к тому, что поэт-художник должен стоять над схваткой — вне политики. Именно в этом направлении в наибольшей степени Волошин и влиял на нас — молодых. Его кредо выражено было в следующих строках:

А я один стою меж них,  
В военном пламени и дыме,  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

Было известно, что эту свою программу Волошин проводил и в жизни. В период, когда Крым занимался Красной Армией, Волошин на своей даче укрывал иногда белогвардейских офицеров. В период господства белогвардейцев в Крыму на даче Волошина с его помощью находили приют многие подпольщики-коммунисты...

Таким образом, основное влияние Волошина на меня сводилось прежде всего к аполитизму... Однако этим влияние коктебельской группы писателей на меня не исчерпывалось. Второе, что я, к сожалению, вывез из Коктебеля в себе, — это был довольно прочно угнездившийся и развившийся скептицизм. Скептицизм этот сводился, в общем, к тому, что отрицалась способность человека, как тогда выражались, „проникнуть в тайну бытия“, отрицалась познаваемость природы и действительности и вообще сомневаться во всем считалось как бы признаком хорошего литературного тона. Все это сочеталось с известного рода эстетством, которое приводило к тому, что все мы считали только искусство реальной жизнью, а саму жизнь нереальной...»

Позиция Волошина «над схваткой» — в этом Миндлин был абсолютно прав, но вот что касается скептицизма и эстетства, тут он явно занижал образ своего Учителя.

Как раз в то время, в 1919 году, Волошин работал над большой поэмой «Святой Серафим», полной веры в Бога и человека, полной космической мощи. Перелагая в стихи житие одного из самых почитаемых русских святых, великого подвижника и исцелителя XIX века Серафима Саровского, поэт обращался не столько к прошлому, сколько к настоящему, напоминая озлобленным, одичавшим в междоусобной кровавой схватке современникам о высших ценностях. «Эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой, — говорил он о своих сочинениях. — Поэтому же они распространялись по России в тысячах списков — вне моей воли и моего ведения».

Когда белые бежали из Крыма, он передал рукопись с одним знакомым поэтом, чтобы тот попытался опубликовать ее за границей. Потом поэма исчезла и обнаружилась вновь только в 1963 году, была опубликована, но с большими пропусками. Еще через двадцать лет издательство «Имка-пресс» в Париже выпустило в свет двухтомник Волошина (самое полное издание его стихов на сегодняшний день) — там, как сказано, поэма «публикуется полностью».

Теперь выяснилось, что долгий путь «Святого Серафима» к читателю еще не завершен. Список поэмы с неизвестными фрагментами нашелся среди бумаг Даниила Жуковского, изъятых при обыске.

Слово Волошина вышло на свободу. И теперь можно услышать строки, недостающие в прежних публикациях.

Богоматерь посылает Серафима с неба на землю: он должен воплотиться из духа в человека, спуститься к людям с миссией Божьей любви. Перед тем как ринуться на Землю, Серафим просит дать ему познать судьбу человеческого рода. И Божья Мать произносит вещее слово — гимн о высоком предназначении человека:

— Каждый дух, рожденный в тварном мире,  
 Воплощаясь в человеческой плоти,  
 Сквозь игольное ушко проходит.  
 Боли нет больней, чем боль рожденья:  
 Каждый шаг твой будет крестной мукой,  
 Каждый миг твой — смертью.  
 Смерть — рождением...  
 Быть рожденным значит быть извечно  
 Названным по имени Творцом.  
 Девять есть небесных иерархий.  
 Человек — десятая: всех меньше,  
 Но на нем все упование мира.  
 Человек — единая из тварей —  
 Создан был по образу и по подобию  
 Господа.  
 Единому ему дана свобода.  
 Ангел — преисполнен воли Божьей:  
 Он — лишь луч, стремящийся от солнца.  
 Человек подобен капле влаги,  
 Отразившей солнце — в малом,  
 Но вполне.  
 Божий Лик поручен человеку,  
 Чтобы он пронес его сквозь бездны  
 Мира преисподнего.  
 Каждый человек — темница.  
 Пламя в нем плененное,  
 Должно проплавить,  
 Прокалить, прожечь, преобразить  
 Толщу стен слепой и косной глины.  
 Посмотри на этот малый сгусток  
 Тусклых солнц и стынущих планет:  
 Этих звезд морозные метели —  
 Только вихри пыльного потока,  
 Ледяющего и гасящего жизни  
 И с собою увлекающего в бездну  
 Безвозвратного небытия.

Этот мир  
 Был создан из чистейшей  
 Славы Божьей!  
 Ни одна частица  
 Не должна погибнуть и погаснуть.  
 Божий Сын был распят на кресте  
 Человеческого тела и Голгофой  
 Выкуплен Адам у жадной плоти.  
 Человек же должен плоть расплавить  
 И спасти Архангела — Денницу  
 От смертельных вязей вещества.  
 Я — Мария — мать и материя!  
 Из меня возник  
 И вновь в меня вернется  
 Земной мир, пылающий страданьем.  
 Я — Мария — роза всех молитв,  
 Память мира, целокупность твари,  
 Я — сокровищница всех имен...

«И, взметнув палящей вьюгой крыльев / И сверля кометным вихрем небо, / Серафим низринулся на землю», — повествует Волошин.

Воплотившись в человека — купеческого сына Прохора Мошнина, — герой поэмы принял монашество (иноческое имя Серафим), нашел себе обитель, которая звалась Саровская пустынь, — здесь он проповедовал и исцелял, сюда к нему стекались паломники со всей Русской земли.

...Стала жизнь его  
 Одною непрерывной  
 Ни на миг не прекращаемой молитвой:  
 «Господи Иисусе, Сыне Божий,  
 Господи, мя грешного помилуй!»  
 Ею он звучал до самых недр,  
 Каждую частицей плоти,  
 Как звучит  
 Колокол  
 Всею толщей гулкой меди.  
 И как блавест —  
 Тяжелыми волнами —  
 В нем росло и ширилось сознание  
 Плоти мира — грешной и единой...

Серафим Саровский говаривал: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Не эту ли миссию старался нести и сам поэт?

Те же чувства испытывал и друг Волошина по жизни и слову — Андрей Белый: «Все чаще и чаще мне начинает казаться, что старец Серафим — единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент. Величина его настолько нужна, что у меня неоднократно являлось по отношению к нему особое неразложимое чувство — чувство Серафима, — напоминающее в меньшей степени... Христово чувство, но о другом...» А еще один поэт серебряного века, Вячеслав Иванов, заметил удивительное совпадение: чудотворный дар Серафима достиг своего пика в одно время с необычайным подъемом творческого вдохновения Александра Пушкина — знаменитой Болдинской осени (1830 год). Гений поэта и дух святого старца как бы соединились в едином порыве.

Серафим Саровский после множества духовных подвигов и чудесных деяний закончил свой жизненный путь в 1833 году. Его канонизировали как святого. Но нагрянула революция, и обитель Серафима была закрыта, а мощи его исчезли. И молитва его, звучавшая как колокол, ушла на дно души верующих.

Церковные колокола объявят врагами социализма. Их будут сбрасывать, раскалывать и плавить по всей Руси. Главными застрельщиками и тут станут чекисты. В 1929 году НКВД примет историческое, но совершенно секретное решение «Об урегулировании колокольного звона»: «Встать на путь применения в отношении к церковному колокольному звону строго ограничительных и даже запретительных мер... В интересах широких слоев трудящихся... 1. За-

претить совершенно так называемый трезвон или звон во все колокола. 2. Разрешить... звон в малые колокола, установленного веса и в установленное время...» Тогда в стране было 49 015 церквей и монастырей. Из колокольной бронзы предполагалось получить 69 660 тонн меди и 14 440 тонн олова.

Прошло семьдесят лет безбожной власти. И вот случилось чудо: в 1991 году мощи святого Серафима нашлись! И где — в фондах Музея атеизма в Ленинграде!

Обретение и перенос мощей в Серафимо-Дивеевский монастырь, близ которого когда-то обитал православный герой-подвижник, происходили при огромном стечении народа и вылились в христианский праздник — это был знак воскресения веры, религиозного Возрождения. Звонили во все колокола. И выросший за послевоенные годы в тех местах закрытый, окруженный колючей проволокой и контрольно-следовой полосой город Арзамас-16 — здесь создавалось ядерное оружие и двадцать лет работал академик Сахаров — получил прежнее историческое наименование — Саров.

Удивительное совпадение — именно в те же дни произошло обретение полного списка волошинской поэмы о святом Серафиме... Из запасников Музея атеизма и из архива сыскной службы вернулся к людям опальный пастырь.

Среди многих пророчеств Серафима Саровского есть и такое:

«До рождения антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое изображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты разинский, пугачевский, Французская революция — ничто в сравнении с тем, что будет в России. Произойдет гибель множества верных отечеству людей; разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатств добрых людей; реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...»

И еще:

«Сей данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камени, сей при пути, сей и в тернии: все где-нибудь да прозябнет и взрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле...»

Кроме «Святого Серафима» на Лубянке томились два неизвестных стихотворных фрагмента Волошина, которые были написаны в один день — 25 января 1923 года — и входят в цикл его философских поэм-медитаций «Путями Каина. Трагедия материальной культуры». Однако они настолько цельны по содержанию и чеканны по форме, что воспринимаются как отдельные, вполне законченные стихотворения.

Первый фрагмент — из поэмы «Пролог» — о происхождении человека, портрет его — еще бездуховного, лишенного веры, забывшего свое предназначение:

Восхищенный в духе,  
 Видел я ступени,  
 Ведущие из бездны в высоту.  
 И каждая ступень отмечена была  
 Особым знаком:  
 Зверем или рыбой,  
 Растением, кристаллом, камнем, —  
ниже  
 Клубились солнца и туманности.  
 И был мне голос:  
 «Вот лестница, по ступеням которой  
 Шел человек»...  
 Он врос в материю, не возрастая ввысь,  
 Он пересоздал косную природу  
 По своему подобию, и мир  
 К нему оборотился лютым зверем,  
 Ощеренным свирепым двойником.

Настало время внутреннего зверя  
 Убить в себе и вновь сойти с ума.  
 Благоразумные вернутся мирно в стадо,  
 Безумец вновь пересоздаст себя.  
 Иди и возвести о том, что знаешь:  
 Надо,  
 Чтоб каждый раб был призван к мятежу.  
 Иди освобождать, но помни —  
 Правда  
 Должна в душе, как семя, прорасти...

И другие строки — из поэмы «Пророк», звучащие в кровавой смуте и вражде, во взаимном уничтожении тех лет гласом вопиющего в пустыне:

Люби врагов,  
 Молись за палачей,  
 Но помни, что пылающие угли  
 Ты собираешь на головы им:  
 Любовь безжалостна,  
 Любовь язвит и мучит,  
 Любовь целит,  
 Любовь сжигает зло.  
 Любовь — вся жизнь.  
 Апостол Павел учит,  
 Что если ты владеешь знаньем тайны,  
 Имеешь дар пророчества  
 И веру,  
 Способную сдвигать устои гор,  
 Раздашь имение  
 И плоть отдашь на муку,  
 Любви же не имеешь, —  
 Ты — ничто.

В своей дневниковой исповеди Наталья Ануфриева произнесла очень важные слова о «людях на последней грани культуры», их обостренном чувстве судьбы — как личной, так и общей, судьбы Родины. Ученики Волошина жадно впитывали его слово, но между ними и Учителем в результате исторического сдвига, землетрясения выросла трещина и, стремительно расширяясь, навсегда разделила серебряный век культуры и железный, советский, век. На краю культуры они и оказались, эти юные дарования. Учитель-то остался на том берегу, а они, унесенные бездной, провалились в пропасть между двумя берегами.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

## В. НЕПОМНЯЩИЙ



### ФЕНОМЕН ПУШКИНА В СВЕТЕ ОЧЕВИДНОСТЕЙ

— ...Я спрашиваю тебя так, как спросил бы, ну, например, об отце: раз он отец, то ведь непременно доводится отцом кому-то? Если бы ты захотел ответить на это правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда доводится отцом дочери или сыну, не так ли?

— Конечно, — отвечал Агафон.

— И мать точно так же, не правда ли?

Агафон согласился и с этим.

— Тогда ответь еще на вопрос-другой, чтобы тебе легче было понять, чего я хочу. Если брат действительно брат, то ведь он обязательно брат кому-то?

Агафон отвечал, что это так.

— Брату, следовательно, или сестре? — спросил Сократ.

Агафон отвечал утвердительно.

— Теперь, — сказал Сократ, — попытайся ответить насчет любви...

*Платон, «Пир», 199 D, E.*

#### 1

**К**огда В. А. Жуковский готовил к печати неизданные стихи своего покойного друга, некоторые места ему пришлось, как известно, переделывать из опасения, что они могут насторожить цензуру: за автором сохранялась слава «великого либерала», репутация вольнодумца и маловера, если не полного атеиста. Одно из таких опасных мест Василий Андреевич усмотрел в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» (октябрь 1830, Болдино):

.....  
Жизни мышья беготня...  
Что тревожишь ты меня? —

писал Пушкин, —

Что ты значишь, скучный шепот?  
Укоризна, или ропот  
Мной утраченного дня?  
От меня чего ты хочешь?  
Ты зовешь или пророчишь?  
Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу...

Настораживала последняя строка: ее слишком легко было прочесть: «ищу, но не нахожу», «ищу, но безнадежно». Пришлось ее заменить:

Я понять тебя хочу,  
Темный твой язык учу...

Из собственного ли понимания исходил Жуковский, делая эту замену, или перестраховался на всякий пожарный случай, неизвестно, но правка явно опирается на убеждение, что в стихах выражено сомнение в «смысле жизни», что Пушкин снова тянет ту же песню, как и за два с лишним года до того, в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный...». И Жуковскому не оставалось ничего, как сочинить другой финал — если не благочестивый, то хотя бы благонамеренный.

Но это — последняя строка. А все дело — в другой, которая и составляет центр (даже, можно сказать, концентр) стихотворения:

Жизни мышья беготня...

Строка эта была понята (и по сю пору нередко понимается) как единый слитный троп, а именно — метонимия (замещение целого — частью); то есть: вся «жизнь» и есть «мышья беготня». И вот ее-то, жизнь как она есть, поэт силится «понять», ища в ней — и притом без особой надежды — какого-то «смысла». Выходило и в самом деле что-то близкое к хуле на дар Божий.

Но «Жизни мышья беготня» — вовсе не метонимия, а точное выражение того, что автор имел в виду бук в а л ь н о. Вообще, если что и обрекает Пушкина часто на неверные истолкования или недопонимания, то как раз вот эта его неслыханная, до педантизма, геометрическая какая-то точность в выражении<sup>1</sup>. Мы к ней никак не приспособимся, она то и дело входит в противоречие с повальной привычкой понимать поэтическое как заведомо отличное от обычно-человеческого, как непременный перевод безусловного на условный язык, «туманну даль», размывающую в дымке своей «поэтичности» определенность прямых значений и смыслов. Мы не замечаем, что Пушкин слишком часто является нам поэтом, который «все движенья, все слова / *В их переводе* ненавидит» («Евгений Онегин», 4, LI), предпочитая выражаться прямо и просто. Так и здесь. Пушкин под «мышьей беготней» вовсе не понимает всю «Жизнь», он ясно говорит лишь о низшей реальности «Жизни», составляющей ее часть — неотъемлемую и утомительную, необходимую и эфемерную; и вот эта часть вдруг выделяется, в глухой ночной час, из целостности «Жизни» и крупным планом вдвигается в сознание, претендуя на суверенность, на некий самостоятельный «смысл».

Между прочим, в том же болдинском октябре, в «Домике в Коломне», автор именно с этой материей вступил в единоборство — афишированное как военная кампания — и одержал-потерпел блистательное поражение, победоносно им самим продемонстрированное в финале<sup>2</sup>. Можно сказать, шутливая поэма и сумрачное стихотворение составляют пару и связаны как близнецы<sup>3</sup>. У них много общего по теме и атмосфере. В «Домике в Коломне» есть свой таящийся в щелях сюжета «мрак» (в стихотворении — «Всюду мрак и сон докучный») и есть трубы Бытия, прорывающиеся или готовые прорваться сквозь усмешливый «шепот» бытовой истории, — а весь «смысл» издевательски укладывается в «мораль», в пожиманье плечами и разведение рук; в стихотворении — «сон», «ход часов», «бабье лепетанье», но это не «моя старушка», дремлющая «под жужжаньем / Своего веретена», а грозная Парка, прядущая нить

<sup>1</sup> А если нужна «неточность», она создается необычайно точными средствами. На тему точности и неточности см. мой анализ «Осени»: Не помнящий В. Поэзия и судьба. М., 1987, стр. 416 и сл.; а также: «Литература в школе», 1996, № 2, стр. 3 — 4; и некоторых мест «Онегина»: «Московский пушкинист». Вып. II. М., 1996, стр. 152 — 156, 162 — 163.

<sup>2</sup> См. об этом: Поволоцкая О. Я. Самосознание формы. («Домик в Коломне» и «Повести Белкина»). «Московский пушкинист». Вып. II.

<sup>3</sup> Другая болдинская «пара» — «Моцарт и Сальери» и стихотворение «Герой»; см. в кн.: «„Моцарт и Сальери“, трагедия Пушкина. Движение во времени...». (Серия «Пушкин в XX веке». Вып. III). М., 1997, стр. 874.



судьбы, — и все кончается чуть ли не тем же жестом, только это не издевка, как в «Домике в Коломне», а недоуменное вопрошание.

Стихотворение, собственно, все состоит из вопрошаний. Замечательно притом, что диалог начат не автором, вопрошания следуют в ответ на что-то: его ведь тревожат, ему шепчут, его укоряют, может быть, ропщут — и вот теперь он хочет «понять»: что же все это «значит», где «смысл» этого шепота, этой тревоги? чего от него хотят? Непосредственность его ощущения «Жизни» как Собеседника, как Лица — поразительна; и так же непосредственно ощущение неких требований, от этого Лица исходящих: «Укоризна, или ропот / Мной утраченного дня?» Мотив тревоги — не «утратил» ли напрасно дня — с определенных пор прямо-таки преследует его: «Мои утраченные годы» (1828), «Утрачена в бесплодных испытаньях... младость» (1835) и проч. Этот мотив — один из многих примеров его ощущения своей вписанности в некий План, Замысел, который имеет Цель и предполагает мое участие в ее достижении, мою волю к этому, который возлагает на меня Задание, требующее честного — без единого «утраченного дня» — труда; а иначе — «Укоризна, или ропот»: опоздал, не достиг, не совершил — спеши, иди, делай! (В черновике: «Знаю знаю — ты торопишь».) Это — ощущение ответственности, обремененности Доверием; это слышание Зова.

И вот в «Стихах, сочиненных ночью...» он вопрошает: «Ты ЗОВЕШЬ или пророчишь?»

Точность различения и названия — опять же до педантизма. Звать и пророчить — вещи разные. Пророчество иерархически восходит к Зову, оно дается по Зову, — но они не одно и то же. Зовут — это значит, что нечто зависит от тебя, должно произойти не без твоей воли. Пророчат — когда нечто имеет произойти с тобой, от тебя и твоей воли не зависит. Зов — целеполагание, Зов телеологичен, это голос Духа, дело воли и свободы, область вертикали, звук вечности. Область пророчества — горизонталь времени, сфера природы с ее неумолимой властью причин и следствий, механизмом кармы, — что и позволяет пророчеству быть занятием человеческим, посильным — включая механизм магии — тварному уму, смертной плоти. Пророчество имеет дело с областью Закона, правила, Зов — дело Благодати, вместилище смысла.

Пушкин эту иерархию чувствует. Ему известно, что такое — воззвать и Кто вызывает; впервые это ясно записано в «Пророке». Там же ясно, что пророчествовать может тварный ум, смертная плоть.

Но вот — «Стихи, сочиненные ночью...»; они спрашивают: «Ты зовешь или пророчишь?» У кого они спрашивают? Кто «пророчит», а главное, «зовет»?

Он пытается вслушаться в «шепот» и «ропот»; находит «Парк пророчиц частый лепет», «Парк ужасных будто лепет»; но он стремится расслышать нечто большее, высшее: «Топ небесного коня», потом — «Топот бледного коня» и еще — «Вечности бессмертный трепет»; однако уверенности нет, все это — на правах вариантов и позже, в беловике, исчезнет.

Зато от начала до конца как свинец лежит строка «Жизни мышья беготня»: центр текста, его черная дыра. Ей-то и задается вопрос: не зовет ли?

То есть — он задается жизненной материи как таковой: он направлен по горизонтали. А ответа нет («ищу...»). И я осмелюсь предположить, если не утверждать, — что шанс найти-таки то, что он «ищет», «понять» «мышья беготню» как таковую, то есть усмотреть в ней «смысл» суверенного порядка, — такой шанс должен привести его в смятение и, может быть, ужас. Если такой «смысл» есть, если «мышья беготня» сама по себе способна не только «пророчить», но и «звать», — тогда следует немедленно повеситься. Ибо «мышья беготня» временна и конечна, ее удел — брение и прах, и «звать» она способна только в эту сторону: к смерти. Но смерть не есть «смысл». И вопрос повисает в ночи без перспективы ответа.

«Домик в Коломне» выглядит пародией и на абсолютную серьезность «Стихов...», и на их безответный финал: в поэме явно клубится что-то серьезное и сумрачное, но автор настойчиво игрив, а на финальный вопрос следует шутовская оплеуха:

...Больше ничего  
Не выжмешь из рассказа моего.

Игривость и насмешка — оттого, что автор и не думал в поэме делать то, что попытался сделать в «Стихах...»: «выжать» из «мышьей беготни» жизни — в данном случае из самой по себе фабулы рассказа — какой-либо «смысл», — а если кому так вначале и показалось, то это очень смешно. Вся поэма, с ее триумфальным поражением «стихотворца» (который «Тамерлан иль сам Наполеон»), — издевка над глубокомысленной иллюзией, что фабульная горизонталь может заключать в себе что-либо сверх копеечной «морали». Серьезность же — в том, что горизонталь сама заключена в некий смысл, предназначена служить некоему замыслу — как, например, прямая служит одной из сторон ну хотя бы треугольника. Замысел как раз в том, чтобы путем «эксперимента» (слово О. Поволоцкой) посмотреть и показать, чем может кончиться попытка «выжать» что-нибудь из самой по себе прямой: «Что, если можно?.. вот забавно...» — как говорилось в другой поэме-шутке.

А кроме шуток: может быть, «Домик в Коломне» так же травестиен, если не пародиен, по отношению к «Стихам...», как «Граф Нулин» по отношению к «Лукреции»? Рожденная ночью во время бессонницы («Не спится графу. Бес не дремлет»), попытка стихотворного вторжения в «смысл» «мышьей беготни» не представляется ли автору «Домика...» поэтическим аналогом предпринятого «Тарквинием новым» (теперь это — «Тамерлан» и «Наполеон») ночного похода — уподобленного, кстати, мышьиной охоте и кончающегося бегством с отягощенной оплеухой (а теперь — «намыленной») щекой?

Есть смысл предположить в таком случае, что «Стихи, сочиненные ночью...» появились не просто в октябре (академическая датировка), а — до 9 октября, даты в конце рукописи «Домика...»; то есть что «Стихи...» писались одновременно с поэмой и нашли в ней отклик. Коллизия «Стихов...» воспроизведена поэмой, но уже при других условиях.

В поэме — две реальности, они иерархически разграничены. Одна — объемное (горизонталь и вертикаль) авторское пространство, выплескивающее время от времени «бытийственные» протуберанцы (отступления о пожаре, о графине, о русских песнях и проч.). Другая — фабула забавного рассказа, намеренно выделяемая и подсвечиваемая в качестве «чистой» горизонтали. И вот в конце выясняется, что сама по себе она ничего не «значит» («Что ты значишь?..» — «...ничего / Не выжмешь...»); она и существует-то лишь за счет объемного авторского пространства с его вертикалью.

А в стихах было иначе. Горизонталь («Жизни мышья беготня») претендовала на самоценность, мало того — стремилась втянуть в себя и апокалиптические мотивы, и вечность, сделать их своей функцией; то есть — упразднить иерархию.

Но из этого ничего не вышло. И всю высшую реальность пришлось в конце концов железной рукой вычеркнуть — для ясности, — оставив только «Парки бабье лепетанье» и «Жизни мышью беготню». Но — остались и вопрошания: «Что ты значишь?.. чего ты хочешь? Ты зовешь...» Почему?

Скорее — для чего. Для обострения коллизии, для предельности, для «чистоты эксперимента», состоящего в том, чтобы проверить: а нельзя ли, устранив из поля зрения вертикаль, обнаружить в оставшемся, полностью горизонтальном, что-либо безусловное, осмысленное, вечное, зовущее? Вообразить горизонталь вне вертикали, материю вне Духа, смысл вне Замысла? Найти, так сказать, истину вне Христа? Формула не пушкинская, но Достоевский тут как нельзя более кстати: «эксперимент» (термин, конечно, условен) уж очень в его духе.

Результат оказывается в отсутствии результата, по крайней мере видимого: вопросы остаются не только без ответов (это-то у Пушкина часто), но даже без возможности оных. Потому что от начала до конца выдержано «условие некорректности»: в черновике объемный контекст бытия разрушен, отменена его иерархичность, в беловике же верхний план вовсе упразднен — а без него и самого-то бытия (с «мышьей беготней» в том числе) быть не может. Оттого и ответа нет. Что-то вроде: «Контакт? — Нет контакта», — стрелка не двинулась.

Это в некотором смысле сходно со случаем Понтия Пилата. Его вопрос об истине (послуживший, напомню, эпиграфом к уже упоминавшемуся «Герою», написанному, опять-таки, в том же октябре) был задан заведомо некорректно — по неведению: Истина ведь стояла перед ним, — и не получил ответа. Вопросы стихотворения тоже заведомо (если не умышленно) неверно поставлены, заданы не туда.

Так что Жуковский кое в чем оказался прав: в строке «Смысла я в тебе ищу...» и впрямь слышится: «...но безнадежно». И это обнадеживает; в темном царстве ночного стихотворения это словно лучик света, в нем эхо истины: искать «смысла» в ошметках бытия, вырванных из его контекста, в бытии, лишенном вертикального измерения, — все равно, что искать пресловутую черную кошку в темной комнате... которой нет. Нельзя же измерить площадь фигуры, имея лишь одну сторону.

Почувствовав такое «поражение», можно и пошутить, пародийно сдублировав коллизию стихотворения в озорной поэме. Право на шутку честно заработано автором стихотворения, где он со своей, чисто пушкинской, отвагой пошел, в духовной жажде, по пути наибольшего сопротивления и, дойдя до конца, до края, до попытки диалога с неодухотворенной витальной стихией, лично убедился, что тут «...ничего / Не выжмешь...» — кроме небытия. Зато в поэме, ставя все — в первую очередь самого себя — на место, он позволяет себе роскошь вволю позабавиться, как кот с мышами, победоносным походом на «тревожащую» его «мелкую сволочь» литературы (о чем достаточно написано). Поистине, «Перед собой кто смерти не видал, / Тот полного веселья не вкушал...» («Мне бой знаком — люблю я звук мечей...»).

## 2

То, что было предпринято Пушкиным, в порядке самоотверженного «экзистенциального эксперимента», в художественном пространстве стихотворения о бессоннице и должно было, в случае «удачи», привести автора в отчаяние, всерьез совершается в мировоззрении современного человека и создает ситуацию, обозначенную поэтом (опять в том же Болдине, тою же осенью) как пир во время чумы. Я имею в виду устранение вертикального измерения бытия, устремление к состоянию полной горизонтальности (о чем с восторгом пишут идеологи постмодерна). Вертикальное рассматривается и толкуется в координатах плоской одномерности, бытие лишается объема, «топ небесного коня» заглушается «мышью беготней» — она уже не только «пророчит», но и «зовет»: культ «пророчеств» (колдовство, гадание, магизм, гороскоп, «пришельцы», сайентология, «здоровый образ жизни» и проч.) приобретает статус религии. «Эзотерическая» вакханалия, лишаящая человека его последней — внутренней, «тайной» — свободы, свидетельствует не менее наглядно, чем культ «прав человека» типа «живите без боли» и «разрешено все, что не запрещено», что лестница ценностей сброшена в сознании людей плашмя.

Это и есть обстановка, в которой я попытаюсь поговорить о проблемах — прежде всего методологических — пушкиноведения как гуманитарной науки.

## 3

Увидев — уже вторично<sup>4</sup> — в заголовке «феномен», иной внимательный читатель, может быть, усмехнется; ниже, думаю, будет ясно, почему нельзя без этого слова обойтись — как и без некоторых переключек с предыдущей моей новомирской статьей.

<sup>4</sup> См.: Непомнящий В. Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России. — «Новый мир», 1996, № 5.

Первая из них состоит в утверждении, что о Пушкине, центральной фигуре русской культуры и, более того, в значительной степени — русского самосознания, у нас нет целостного научного представления (не путать с тотальным единомыслием). Диалоги о Пушкине слишком часто сравнимы по безысходности с ситуацией пушкинского «Глухой глухого звал к суду судьи глухого». Немыслимое количество накопленных наукой знаний, часто драгоценных, напоминает о подвале Скупого рыцаря, их непрерывное возрастание чревато центробежной энергией, возрастанием энтропии. Это способствует наращиванию методологических амбиций эмпиризма, что органически вписывается в постмодернистскую идеологию.

На этом фоне неудивительно сгущение давнего облака меланхолии вокруг одной из насущнейших проблем пушкиноведения — проблемы научной биографии поэта. «Особенности нашей новой посткультурной эпохи и современное состояние профессиональной пушкинистики не оставляют надежд на скорое появление такого труда», — справедливо пишет И. Сура<sup>5</sup>. Если под биографией разумеется лишь систематизацию максимально полной суммы эмпирических знаний — а именно это характерно для современного состояния пушкинистики, — то появление такого труда надо отложить на будущее, которое не наступит никогда. В профессиональной пушкинистике нет устремленности к целостному — а не суммарному — представлению о своем предмете. Тот очевидный факт, что Пушкин есть центральная фигура, оставаясь очевидным на историко-литературно-эмпирическом уровне («основатель реализма», «создатель литературного языка», «родоначальник...» и прочие многочисленные фактические констатации и расхожие комплименты), никак не влияет на способы изучения этой фигуры. Природа ее центральности привычными научными средствами непостижима, и это делает сам факт методологически несущественным: очевидность методологически приравнивается к небытию; о печальном уделе очевидностей вообще мне уже приходилось рассуждать почти двадцать лет назад<sup>6</sup>.

Но ведь факт не перестает быть фактом, даже если его не учитывают. Целостный образ Пушкина как явления центрального, да и вообще сверхобычного, существует в народной интуиции, которая на всех уровнях едина: от «профанного» сознания<sup>7</sup> до выдающихся художников и мыслителей (да и некоторых профессиональных пушкинистов — впрочем, чаще всего опять-таки вне пределов методологии); «мнение народное» опережает науку.

Без интуиции, разумеется, и наука немыслима, но отношения у них сложные — в той мере, в какой интуиция осознается как область веры. Ведь по распространенным представлениям, научное мировоззрение неизбежно и необходимо материалистично, научная методология мыслится как позитивистская по определению (хотя корни и начала науки уходят в доматериалистические, допозитивистские времена); а такая установка рано или поздно приводит к кризису науки, моральному и методологическому. Это с наглядностью явлено в кризисе пушкиноведения традиционной позитивистской ориентации, не знающего другой формулы «целостного» подхода к своему предмету, как «Жизнь и творчество Пушкина» (или «Пушкин и...»).

Кстати — о выражении «творчество Пушкина», которое не может стоять в заголовке этих заметок, поскольку искажало бы представление о предмете и теме. Ничего дурного в нем самом по себе нет, оно удобно — и необходимо — в повседневном научном применении; но в процессе такого применения оно отполировалось до термина — в то время как нагрузки термина (который должен быть по возможности однозначен) не выдерживает. «Творчество Пушкина» — категория чисто эмпирическая, применимая как к ученому исследо-

<sup>5</sup> Сура И. Биография Пушкина как культурный вопрос. — «Новый мир», 1998, № 2.

<sup>6</sup> «Новый мир», 1979, № 6.

<sup>7</sup> См.: Анненкова А. А. Пушкин в «простонародном» сознании. «Московский пушкинист». Вып. III. М., 1996.

ванию, так и к концерту самодеятельности. Вот этот-то безразличный к иерархии смыслов «плюрализм» формулы и порождает иллюзию научной универсальности представляемого ею эмпирического подхода к предмету, создает впечатление, что предмет — «Творчество Пушкина» — «схвачен» целиком и теперь дело лишь за «недостающей информацией» (без которой невозможно, мол, построить ту же «полную научную биографию» поэта): целостность подменяется дурной бесконечностью.

Но это лишь вершки проблемы, касающейся филологии в целом. Тема, интересующая меня в этих заметках, такова, что мне не раз придется обращаться к смыслу употребляемых нами слов и понятий — отполированному, стертому или иным образом искаженному. В данном случае речь идет о самом понятии филологии. Оно привычно толкуется в духе чисто позитивистском: узкоспециальном, «словесническом» — вербальном. То есть толкование сущности филологии связывается с узко частичным переводом греческого логос как «слова» в смысле единицы речи (*verbum*). Но в эпоху, эсхатологичность которой уже не предмет убеждений, даже веры, а просто непосредственная данность, когда самые актуальные проблемы суть проблемы глобальные, из них же главная: сохранит ли человек свои изначальные родовые качества как существа вертикального, то есть руководствующегося не только интересами, но и идеалами, — в такую эпоху настала пора вспомнить изначальный, полный и истинный смысл слова логос, означающего, как известно, и слово, и смысл, и разум, и закон, и творящую силу, организующий принцип и т. п., — и соответственно истолковать высокое назначение занятий филологией.

Как соотносится то или иное явление литературы с сущностью и назначением слова как онтологической реальности, как ценности, как родовой характеристики человека? каков логос этого явления, обнаруживающийся ныне, на фоне и в итоге духовной истории человечества и его культуры? — вот, мне кажется, «идеальный» предмет филологии; и его-то наша эпоха делает самым актуальным (не отменяя, разумеется, чисто «вербальной» составляющей — просто возвращая ее на надлежащее место). Но это не осознается, и здесь в конечном счете причина кризиса — и морального, и методологического.

Распространено справедливое, думаю, мнение о механизме кризиса: гуманитарная наука, стремясь к предельной «объективности», понимаемой в позитивистском духе, пошла по пути заимствования методологии «позитивных» наук, имеющих между тем дело с предметами совсем иного рода; этот путь и привел ее в тупик, где, по выражению покойного нашего филолога Е. Лебедева, сознание гуманитариев перестало быть гуманитарным.

Продолжая эту мысль, добавлю, что такой удел постиг нашу науку еще и потому, что — как это ни парадоксально выглядит — уподобление позитивным наукам (раз уж оно состоялось) не было доведено в методологическом смысле до конца. Ведь ни одна из естественных и точных наук — если она хочет оставаться естественной и точной — не станет произвольно «сокращать» свое представление о предмете: не станет, к примеру, рассматривать трехмерный предмет как заведомо двухмерный или одушевленный как совершенно не одушевленный или удовлетворяться понятиями Эвклида там, где не обойтись без Лобачевского, и т. д. Но слишком часто именно так и бывает в традиционном академическом литературоведении, в данном случае — пушкинистике.

Для литературы, помимо прочих ее качеств, специфично то, что она есть деятельность ценностная и духовная, — но именно это ее вертикальное измерение, сохраняясь в качестве «объекта» изучения, подвергается «сокращению» на методологическом уровне. Происходит это в двух основных планах.

В одном, где господствует историко-литературный (по существу — комментаторский) метод, Пушкин рассматривается как явление, целиком расположенное на горизонтальной историческом процессе с его детерминистски понимаемыми связями и замкнутое в отрезке времени, равном личной биографии поэта. Весь объем явления «Пушкин», включая смысл и дух произведений,

«творчества», помещается в «его эпоху», в ней ищутся все начала и концы, ею все объясняется — так, чтобы по возможности не выпускать Пушкина из исторической ретроспективы.

В другом плане господствует — назову это так — сциентистский эстетизм: все в пушкинских произведениях стягивается в особый внутрифилологический мир, где обитает не поэт, а, скажем, «лирический герой» или иначе называемая условная фигура, где действуют не люди, а «образы», царит не динамика человеческого бытия, к которому причастен и исследователь, и его читатели, а статика «структуры», не целостность, а разъятость, где реальная духовная проблематика рассматривается в условных внутрилитературных координатах (так, применительно к XIX веку, все метафизически или религиозно окрашенное принято относить на счет «романтизма»). Вертикальное же измерение — смысл и дух — остается вне методологической досягаемости — там, где все записит от вкусов и идейной школы исследующего.

Попытки «нарушить конвенцию», вернуть Пушкину голос «поэта действительности» не только «исторической» («пушкинская эпоха»), но и непреходящей, вернуть ему свойства вечно живого и движущегося явления (Белинский), принимаются позитивистской догматикой в штыки как заведомо ненаучные, профанические посягательства, во-первых, на «историзм», во-вторых, на «специфику искусства».

Эмпирическому подходу противостоит, как уже говорилось, народная интуиция; позитивизму противостоит национальный миф, в котором Пушкин — явление сверххудожественное и сверхисторическое, совершенно особое в масштабах не только России, но и всего мира (А. Ахматова: «Я считаю, что Пушкин — поэт, которому равного нет во всей мировой литературе. Он — единственный...»; пинежские поморы: поэт, какого «не бывало от сотворенья»). Именно этому представлению — а ему позитивизм сопротивляется особенно упорно, как подрыву своих основ, — более всего отвечает термин «феномен Пушкина» — категория не эмпирическая, а философская и методологическая, подразумевающая исследование предмета целостно, в возможной полноте «измерений», в онтологических связях, в масштабах не внутриисторических, а бытийственных, — как феномена бытия.

Здесь мне могут возразить, что не стоило бы ломиться в открытые двери, что мы окружены феноменами бытия, это очевидно, что не только Пушкин — всякое великое искусство в какой-то мере превышает искусство, это также очевидно. Однако со времен Сократа именно всматривание в очевидности, размышление над ними как феноменами бытия считалось необходимым шагом к пониманию — в том числе и того, что представляется неочевидным, будучи реальным. Поэтому постараюсь исходить из очевидностей.

#### 4

Одна из ближайших очевидностей состоит в том, что мера, в какой Пушкин больше чем искусство, непредставимо высока. Однако уяснить эту меру для себя или продемонстрировать ее другим, «доказывать» путем анализа «художественных особенностей» или сопоставлять Пушкина с другими мировыми гениями — дело безнадежное: слишком тонка материя, слишком грубы инструменты.

Но есть область, где очевидность не так иррациональна, материя более доступна анализу, критерии осязаемы и сопоставления возможны. Это — реальное место художественного гения в национальной истории, его роль в духовном самосознании народа, в судьбах нации; иными словами — образ гения, «мнение народное» о нем. Как и в упомянутой выше статье «Удерживающий теперь», я продолжаю стоять на том, что в этом отношении мы среди великих представителей мировой светской культуры равного Пушкину не найдем: никто из них не стал, в той мере, как Пушкин в России, национальным мифом, вместившим «наше все» — от «сочинителя» до пророка, от виртуоза слова до учителя жизни, от освободителя крестьян, погибшего в тюрьме, до

героя анекдотов, от революционера до советника царя, от святого до лешего (см. названную работу А. Анненковой); никто — кроме, может быть, Гомера или (в Средние века) Аристотеля и Платона — не стяжал такой царственности, едва ли не сакральности, национального культурно-духовного статуса, не был осмыслен в качестве «солнечного центра... истории» народа (И. Ильин).

Но даже и эта очевидность не дает оснований толковать о каком-то превосходстве художественного гения Пушкина как такового над другими мировыми (да и русскими) гениями. Дело явно не в самом по себе художественном даровании, во всяком случае не только в нем. «Центр нашей истории» — понятие вовсе не из эстетического ряда; и в национальном мифе эстетическое, понятно, не играет решающей роли. Очевидно, исключительность места Пушкина в национальном сознании связана с его исключительной национальной миссией, особым историческим заданием.

Выделенные слова обычно применяются наукой в качестве метафор, содержание которых если не иллюзорно, то по крайней мере условно. Здесь они употреблены в нефигуральном смысле. В этом не было бы необходимости, если бы «пушкинский миф» был объясним в позитивистских координатах: если бы речь шла, скажем, о культуре, имеющей, в качестве света в окошке, одну фигуру общечеловеческого масштаба, утоляющую жажду национального самоутверждения. Но русская культура — не такой случай; горизонтально-детерминистская логика тут бессильна, остается путь по вертикали, именно в сферу мифа как глубинной реальности бытия, где решающую роль играют не внутриисторические причины, а сверхисторические цели и где миссия и задание — не метафоры, а... Зо в как реальность. Иначе говоря, вопрос о месте и роли автора «Пророка» в нашей истории следует ставить в телеологический, а не причинно-следственный контекст.

Тогда обретет естественность, пусть и странную, еще один очевидный факт, который если и подвергается сомнению, то, как правило, потому, что никак не укладывается в привычные логические рамки: «Как это — непереводем? Шекспир переводим, а Пушкин — нет?!» Речь о том, что центральная фигура русской культуры — это писатель, который в истинных своих масштабах и качествах наименее доступен остальному миру и постижение которого предполагает особые пути и требует особых усилий, выходящих притом далеко за «филологические» пределы. И вот если учесть, что Россия по сию пору составляет тайну — то восхищающую, то раздражающую — для всего мира (со своей знаменитой и загадочной «русской душой», вечными поисками «своего пути» и неустрашимым мессианским самоощущением), то придется признать в своем роде «естественным», что такая страна является «отечеством пророка» — поэта, наделенного некоей исключительной миссией и также составляющего тайну для мира. В том числе — и для самой этой страны; о чем и говорит полуторавековая борьба мнений вокруг Пушкина.

В нашем веке — особенно явственно к настоящему времени — борьба эта обогатилась любопытной чертой. Самая острая полемика может захлебнуться, стоит лишь примирительно напомнить, что у каждого свой Пушкин; в этом случае разномыслящие вполне могут, вопреки пресловутой русской привычке спорить чуть ли не до первой крови, мирно разойтись — оставшись между тем каждый при своем.

«Мой Пушкин» (об этом я писал в предыдущей работе) — безусловный уникум в мировой культуре, что является очередной очевидностью. Подобно зеркалу, разбитому троллем, «портрет» Пушкина разлетелся на множество осколков-автопортретов, поступивших в собственность тех, кто в них отразился. Порой даже мнится, что именно здесь, в любви к Пушкину, составлявшей в глухие годы одну из областей «тайной свободы», зародился сегодняшний наш «плюрализм», приобретающий подчас совершенно противоестественные формы (отстаивать свое суждение как верное считается почти неприличным, следует всегда подчеркивать, что хоть я и считаю вот так, «но это мое мнение»;

даже вопросы о вещах очевидных и ценностях безусловных следует представлять делом «мнения»: «вам кажется так, а мне представляется иначе»).

Любопытно, однако, что сам «мой Пушкин» этому этикету подчиняется лишь светски-формально, внутри-то все полыхает. Разность «мнений» о нем (я имею сейчас в виду «научных» «моих Пушкиных»), означающая, что логика позитивистской науки трещит, не выдерживая целостного объема предмета, восходит к разности мнений ни больше ни меньше как об основах бытия. Спор о Пушкине — если он не прекращается названным выше способом — по накалу и неизбежности может сравниться с дискуссией на вероисповедные темы, да еще — о сущности, путях и судьбах России; при том, однако, и это особенно замечательно, что ведутся такие споры вокруг самого, пожалуй, «светского» на Руси писателя.

Последнее — еще одна безусловная очевидность. «Мой Достоевский», «мой Гоголь» или «мой Толстой» выглядели бы — при любых мировоззренческих различиях между дискутирующими — хоть и объяснимой, но причудой. Духовное, религиозное «обеспечение» творчества каждого из этих или других русских писателей — а стало быть, и образ автора, и его картина мира — в общем, более или менее на виду; свобода интерпретации тут весьма ограничена, касаясь, как правило, деталей, — при полной свободе в наших оценках «позиции» писателя, в согласиях и несогласиях с ним. С Пушкиным не то. Наша «свобода критики» в его адрес едва ли не абстрактна; теоретически безграничная, на практике она почти не реализуется (за исключением, пожалуй, лишь некоторых политических тем да ряда осознанно запальчивых, дразнящих выходов типа: «Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостью вижу»); Пушкин-художник редко провоцирует на несогласия, да и то чаще всего поверхностные, поскольку на глубине всегда оказывается прав — но вовсе не по причине духовной «настойчивости». Как раз «интерпретировать» эту свою правоту он позволяет чуть ли не на каждом шагу, точно играя в поддавки и всякий раз как бы говоря: «Ба! право? может быть...»

И происходит это не только в приватной сфере. Атеистическая религия, марксистская вера могли подвергнуть остракизму иные сочинения Гоголя, или Толстого, или почти всего Достоевского, внушать неприязнь к ним — но целостного образа каждого из них разрушить не могли. Никакого «советского» Гоголя («нам нужны Гоголи и Щедрины» — был такой лозунг), или Чехова, или даже Толстого (зеркала русской революции) у нас не получилось, они оставались самими собой при всех искажениях, умолчаниях и перетолкованиях: все это — как и прямая марксистская «критика» — открыто висло у них на вороту. А «советский» Пушкин был; сразу вслед за ним шел Маяковский; и формировался такой образ не частным и стихийным манером, а организованно, целенаправленно и «научно», путем квалифицированной комбинации действительных черт, изымаемых из целостного контекста, — и настолько успешно, что, скажем, «сословные» и некоторые другие «предрассудки» поэта нисколько не «висли» на этом образе, напротив, как-то отскакивали от него. Перекраивания смысла, передержки и подтасовки, причинившие Пушкину (точнее, его восприятию — особенно учащимися) больший ущерб, чем запрет — Есенину, производились на виду у всех, часто на самых известных текстах и очень нередко — не за страх, а за совесть, что имело свое значение. Все, что увидели в Пушкине Гоголь и И. Киреевский, Ап. Григорьев и славянофилы, Анненков, Достоевский и другие, все глубины, открытые в нем русской философией начала века, вся «мудрость тысячелетий» (Гершензон) — все это пропало, будто вовсе не бывало, из научного (и учебного) обихода. Уцелели дружба с декабристами, любовь к Пугачеву, «уроки чистого афеизма», «дивная художественная красота» (Чернышевский), реализм и народность, «веселое имя» (Блок) и прочие осколки, из которых был сконструирован «наш Пушкин» (В. Ермаков).

И все это, как и прямые напраслины, наветы и утайки, Пушкин принимал и переносил без всякого, казалось, сопротивления — словно с тем смирением,



с каким повиновался прихотям своей Старухи герой сказки, столь часто за это упрекаемый как носитель прискорбных национально-характерных качеств «пассивности», унижительной покорности, «резиньяции» и проч.

Нечто подобное вменяется Пушкину издавна — по-разному, впрочем, толкуясь. В нем видят то безразличную покорность эха, то почти цинический артистизм перевоплощения во что угодно, то олимпийство и потусторонность добру и злу — одним словом, мировоззренческую безразмерность и этический релятивизм. Автор «Пророка» («Глаголом жги сердца людей») и «Памятника» («...чувства добрые я лирой пробуждал») уподобляется «равнодушной природе»; «наше все» Аполлона Григорьева представляется «пустотой» Абрама Терца.

Все это оттого, что у Пушкина ищут — и не находят — его точки зрения на мир: находят ее неопределенность, или невыявленность, или переменчивость, или, наконец, «множественность» таковых.

И все это тоже в своем роде «мой» («наш») Пушкин: автопортрет метода, то есть позитивистского подхода, с его принципиальной «множественностью», фрагментарностью, с его «равнодушием» к целостности предмета, к духовному измерению, с его «пустотой» отчужденно-лабораторного отношения к предмету.

По известному закону природы, пустота должна чем-то заполняться. Она заполняется некоторой идеей о предмете, которая связана прежде всего с мировоззренческими предпочтениями исследователя (играющими роль «вертикального измерения»); она заполняется идеологией. Предмет оказывается помещенным в контекст и перспективу идеологии исследователя. Тут-то и зарыта... проблема «точки зрения» Пушкина.

Дело в том, что идеология кое в чем сильно похожа на поэзию. Вернее, она отвечает тому представлению о поэзии как «переводе» жизни на «условный» язык, о котором шла речь в самом начале этих заметок и которому совсем не отвечает пушкинская поэзия с ее прямоотой и точностью выражения. А именно: язык идеологии, будучи заведомо прагматичным, столь же заведомо условен; идеологическое слово употребляется не как содержание, не как смысл, а как орудие, имеющее подходящую форму. Поэтому слова, термины, выражения идеологического языка могут быть чрезвычайно далеки от своего буквального смысла («министерство Любви» Оруэлла). Язык идеологии — это язык метафор. Таково и выражение «точка зрения». Мы почти никогда не употребляем его в изначальном, прямом смысле точки, с которой обзревается предмет, этот смысл стерся почти бесследно: говоря о «точке зрения», мы всегда имеем в виду готовое мнение о предмете. Безусловное подменяется условным, методологическое — идеологическим.

Но в применении к Пушкину, речь которого в своем существе не метафорична, скорее «формульна»<sup>8</sup>, слова должны иметь свое собственное значение. Здесь и ответ на претензии к нему. «Точки зрения» на мир у Пушкина не находят потому, что и не думают таковую искать. Ищут готового мнения о мире. Ищут идеологию, а не исследуют способ созерцания, то есть методологию. И делают это, зная — теоретически, — что пушкинское искусство не идеологично.

Но ведь самое главное в любом искусстве (если оно истинное искусство), в религии, в науке, в любом творчестве, — не «идеи» сами по себе, а способ мышления — методология. Отношения идеологии и методологии — это отношения буквы, которая «убивает», и духа, который «животворит» (2 Кор. 3: 6). Методология порождает живые идеи, идеология оперирует «готовым продуктом», трупами идей, отсюда ее «метафорический» язык. Идея живая — несущая печать породившей ее методологии — для идеологии не годится, она не может быть мертвым орудием; для идеологии она есть фикция, не подлежащая рассмотрению. Оттого и принято считать, что исследование

<sup>8</sup> См.: Роднянская И. Б. Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней. «Московский пушкинист». Вып. III, стр. 63.

духа пушкинского художества — дело мутное, «субъективное», в общем, «ненаучное». Это — ненаучная постановка вопроса. Дух — вещь безграничная, но вовсе не неопределенная. Дух является в методологии — способе мышления и созерцания, способе творчества.

Вот почему ключевой проблемой пушкиноведения является проблема «точки зрения» Пушкина — но не в условном, метафорическом, идеологическом смысле «мнения», а в изначальном, буквальном — методологическом. То есть в смысле точки обзора. Так будет нагляднее, без всяких метафор давая верный образ пушкинского способа созерцания. Познается же он, как водится, по плодам. Кое-что очевидное обнаруживается и здесь.

## 5

Наиболее наглядная из очевидностей — пресловутая лаконическая точность Пушкина («ни одного лишнего слова»). Вряд ли есть какой другой писатель, в чьих текстах решительно все столь же необходимо и достаточно и начисто отсутствует что-либо необязательное: уникальное и, отметим, глубоко индивидуальное качество — американская переводчица Лили Уэст недавно дала ему название «ангельской точности».

У этого качества есть оборотная сторона: материя пушкинского письма беспримерно чувствительна к малейшим вмешательствам, к самой несущественной «редактуре», к любому «уточнению» или изъятию. Это может быть незаметно с первого взгляда, как незаметны бывают природные события, ведущие к тектоническим сдвигам: замена Жуковским последней строки «Стихов, сочиненных ночью...» не кажется грубой (раздражая, может быть, лишь самим фактом) — но при попытке понимания стихотворения мы обнаружим обесмысливание идущего в нем лирического процесса, который переворачивается «редактурой» с ног на голову.

Не удивительно, что мало кто из писателей представляет такие непреодолимые трудности для перевода на другой язык, как Пушкин, и нигде, как в обращении с ним, столь не чревато ложными построениями и выморочными спорами внеконтекстное цитирование.

Говоря о сверхчувствительности, я вовсе не имею в виду, что текст Пушкина нельзя, скажем, сократить — к примеру, в звучащем исполнении (спектакль, композиция и проч.); речь идет не о «правилах применения», а об условиях понимания. Нужно знать все свойства материала, из которого строишь, глины, из которой лепишь; что же говорить о художественном тексте? Применение текста, пусть частичное, возможно при верном понимании его как целого. В частности — при понимании того, что на всякое нарушение порядка элементов, характера их сцеплений, их внутренней иерархии, пушкинский контекст реагирует как вряд ли какое другое художественное целое: он изменяется во всем своем семантическом строе — где искажается или обесмысливается, где приобретает чуждый смысл или входит в противоречие с самим собой, где порождает вопросы без ответов, — он отзывается весь целиком.

И это есть, на мой взгляд, основное качество пушкинского контекста. Пушкинский контекст есть принципиально сплошной контекст.

Говоря иначе, это такой контекст, в котором все — насквозь и наперекрест, по горизонтали и вертикали, от начала и до конца — вяжется, соотносится, резонирует, взаимодублируется, рифмуется, зеркально взаимоотражается, так что та или иная связь способна быть нитью, могущей вывести к центру замысла. Это сплошь функциональный контекст, в нем на замысел «работает» все без исключения, до мельчайших деталей<sup>9</sup>, до авторских купюр

<sup>9</sup> Выразительные примеры — в работах Н. В. Перцова «О языковом иконизме Пушкина. (Из комментариев к „Домику в Коломне“» («Московский пушкинист». Вып. II) и «Об одном афоризме» (там же. Вып. IV. М., 1997).

(наглядный пример — оборванная III строфа главы 3 «Онегина») и пустот (их функциональность прямо декларирована отмеченностью «пропущенных» строк в том же романе). Вообще, сплошность — качество, суть которого как раз и выражается прямым смыслом латинского *contextus* — «сплетение». Здесь кстати уточнить в очередной раз понимание термина.

В обычной практике контекст чаще всего — просто совокупность элементов, обуславливающих те или иные качества текста (в «Поэтическом словаре» А. Квятковского контекст — «законченный отрывок, в котором находится данная строка, фраза, выражение, цитата»). Понимание термина сводится скорее к сумме, чем к системе. Между тем прямой смысл термина — методологический, ибо указывает не на состав, а на способ.

В упоминавшейся работе «Удерживающий теперь» мне приходилось уже писать о том, что пушкинский контекст не «сшит», но «соткан», а лучше — «связан». Это (по слову Мандельштама) «период без тягостных сносок», который «на собственной тяге... держится сам». Пушкинская художественная постройка создается по технологии Кижей — без гвоздей.

Для наглядности — пример «от обратного».

В изумительном стихотворении Блока «Девушка пела в церковном хоре...» речь идет о молитве, которая, как верят все, будет услышана («И всем казалось, что радость будет»); но:

...только высоко, у Царских Врат,  
Причастный Тайнам<sup>10</sup>, — плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад...

То есть «радости» не будет, прошениям не суждено быть выполненными; плач ребенка — пророческий.

Атеист и верующий прочтут стихотворение по-разному. Для неверующего оно не более чем развернутая метафора бессмысленности человеческих надежд, в частности всякой молитвы (я разумею последовательного атеиста). Но Блок рассчитывает на другого читателя — знающего о мистическом смысле церковного богослужения и всерьез к нему относящегося; смысл стихотворения разворачивается на этом непререкаемом фоне. Смысл мрачен; это неотъемлемая часть блоковской идеологии — вспомним другой хор и другой голос: «О, если б знали, дети, вы / Холод и мрак грядущих дней!» («Голос из хора»). Он подкреплен авторитетом младенца, в христианстве метафизически высоким.

Дети иногда и в самом деле плачут перед причастной Чашей (гораздо реже — после Причастия). Иные расценивают это как чисто бытовой факт, лишенный мистического смысла; другие, опираясь на христианское учение, отрицающее «чистую» случайность, самодостаточность «чисто» бытового факта, видят в таком плаче (особенно после Причастия) мистическое указание на духовное неблагополучие — предположим, в семье (если причащается младенец). По святоотеческому учению, благодатное действие Причастия распознается по устанавливающемуся в душе миру; в противном случае следует, что называется, глубоко задуматься — самому причастнику или (если это младенец) его родителям. Это с необходимостью вытекает из полноты церковного учения (которое было хорошо известно Блоку, как, впрочем, почти любому человеку его времени): Христос, заповедавший ученикам Причастие («Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь, пребывает во Мне, и Я в нем» — Иоан. 6: 56), в прощальной беседе с учениками сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущаетесь сердце ваше и да не устрашается... Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» (Иоан. 14: 27; 16: 33). Тяжкое, мрачное состояние человека, не обретшего мира в душе

<sup>10</sup> В оригинале, в прижизненных изданиях — именно с прописной: ребенок только что причастился Св. Таин — Тела и Крови Христа.

причастившись, свидетельствует только о самом этом человеке и не может быть свидетельством об Истине, то есть содержать пророческий смысл всеобщего характера.

В стихотворении Блока ребенок причастился Св. Таин, стало быть, он пребывает во Христе и имеет Христа в себе, именно оттого плач его представлен как пророческий, причастный последней истине, в нем окончательный смысл стихотворения. Но сам плач говорит о том, что ребенок пребывает не в мире и не имеет мира в себе. Делая это условием смысла стихотворения, Блок тем самым входит в решительное противоречие со смыслом центрального события литургии — Евхаристии, а значит — с сущностью христианского мировоззрения.

Христос — Спаситель мира, «Свет истинный», «Свет миру» (Иоан. 1: 9; 8: 12); и любое событие земной жизни — жизни мира, — все ее драмы и трагедии, христианство осмысляет в этом свете Христовой «благой вести о спасении», о Жизни вечной: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16: 33). Но финал блоковского стихотворения окутывается «холодом и мраком», в нем «Роковая о гибели весть», в нем не Христос побеждает мир, а мир, его «скорбь», побеждает Христа, оказывается последней истиной. От этого финала «смущается» и «устрашается» сердце человека — ибо совершается «пророчество» вне света и мира; от имени Христа «пророчествуется» истина вне Христа.

Самое замечательное — к чему я, собственно, и веду — это то, что вводного оборота «Причастный Тайнам» могло и не быть. Попробовав представить это себе, мы увидим, как возрастает степень нашей свободы в понимании прекрасных стихов, каким объемным, живым и трепетным становится их смысл без жесткой идеологической «маркировки» этого детского плача!

«Дитё плачет!» Мало ли от чего надрывается? А мне так жалко, что в пору заплакать самому под сладкое пение летящего голоса — над ребенком ли, над собой, над всеми... «Дитё плачет»... Не над горьким ли неблагополучием всего нашего мира, погрязшего в грязи и злобе, в бездне, откуда и молитвы, кажется, уже не доходят?.. Или это только мне кажется, что молитвы не доходят, — и тогда только надо мною плачет, жалея меня, ребенок?.. да мало ли как можно было бы прочесть эти шемящие стихи, если была бы в них та же свобода, что в тех стихах, сочиненных ночью во время бессонницы (сходство с которыми — по духовной коллизии — нетрудно заметить в стихах Блока), если бы это был текст, который так же в воздухе держится сам, на собственной тяге, без помощи автора, если бы это был целиком сплошной контекст!

Но в финале Блок не доверился своему художественному гению, уступил «точке зрения», «мнению»; и, не уверенный, что «мнение» «дойдет» в том виде, в каком он хочет его непременно внушить — а именно «смущающем» и «устрашающем» душу, — опасаясь, что его гений чего-то недопонял или недоговорил, наносит читающему удар ниже пояса, чтобы он не смел своевольничать в понимании смысла: «Причастный Тайнам» — нечто вроде «истинно, истинно говорю вам», низведенное на степень жеста принуждения, «тягостной сноски», призванной заявить то, что не сказалось само собой, то есть по интуиции гения; гвоздь, вбитый на всякий случай, для вящей крепости, но лишь расколовший доску и попавший в пустоту.

Это, конечно, не случайный или непредвиденный «прокол» художника (с кем не бывает). Это сознательный «перебор аргументации» в целях усиления позиции — ведь Блок хорошо знает, на что идет. Он предпринимает поход, напоминающий пушкинскую атаку на «мышью беготню» жизни; только Пушкин, пытаясь усмотреть «истину» в «мышьей беготне», сознательно отвернулся от источника истины — «верхнего» плана бытия, дабы соблюсти «чистоту» опыта; Блок же, утверждая отсутствие истины в бытии — утверждая по крайней мере в этих стихах, — Христа оставил (в образе Причастия «Тай-

нам»), настаивая тем самым на безусловном отсутствии истины даже и в «верхнем» плане, во Христе. Пушкин на вопрос об «истине вне Христа» в своих «Стихах...» ответа не дал — потому что, подобно Пилату, ответа не услышал. Блок сам дал ответ — не задавая, не слыша и не ожидая вопроса: он хорошо знает, что для последовательно христианского сознания «его» Христос, скрыто присутствующий в этом стихотворении, — «Христос вне истины». Но именно на этом он и настаивает: на пересмотре системы религиозных ценностей христианства, — этим и продиктован его «силовой прием».

Прием оказывается не столько художественным, то есть методологическим, сколько идеологическим. Русскому поэту, впитавшему христианскую генетику, «бороться» с христианством чисто художественными средствами не под силу — не позволяет собственный художественный гений; ибо христианство есть высшее искусство, оно не идеологично, а методологично, и его ценностная система есть сплошной контекст. «Взломать» его можно попытаться только с помощью идеологического напора — проделав вербальную дыру в сплошном контексте стихотворения.

## 6

Этот затянувшийся экскурс, мне кажется, дает более или менее конкретное представление о том, что разумеется под сплошностью контекста, под контекстуальностью вообще. Возвращаясь к Пушкину (у которого подобные «проколы» в контексте если и есть, то главным образом в черновиках, и притом там, где он не летит, а двигается ощупью, словно в поисках дороги в темноте), можно сказать, что фундаментальная методологическая черта пушкинского искусства и есть контекстуальность — качество, в моем понимании противоположное вербальности и дискурсивности. Пушкинский контекст есть невербальная система связей.

Разумеется, любое произведение есть система связей некоторых элементов; однако в применении к Пушкину слово «элементы» можно, пожалуй, и опустить: пушкинский контекст есть система связей, и это главное. А «элементы» — заменяемы; так заменяемы в грамматике лексические значения, когда речь идет о морфологии и синтаксисе: известно пушкинское обыкновение «проигрывать» одну и ту же, по существу, ситуацию на разных уровнях и в разном материале. К примеру, те позиции, в которые поставлены Онегин и Татьяна в главе 8 романа в стихах, в VIII главе романа в прозе занимают соответственно Пугачев и Гринев; другой пример — «Стихи, сочиненные ночью...» и «Домик в Коломне», третий... впрочем, примерам несть числа. Не «лексика», а именно «морфология» и «синтаксис», не «элементы», а связи имеет в виду и сам Пушкин, когда говорит: «Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности».

Отсюда, повторяю, следует, что семантика пушкинского контекста, что воплощенная в нем картина мира могут быть уяснены только в целом; вынуженный из контекста фрагмент, сколь угодно совершенный и целостный внутри себя, может быть понят неверно — как, например, сплошь и рядом неверно понимается: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман» (не случайно, кстати, мы сплошь и рядом неверно — вслед за Цветаевой — цитируем: «...нам дороже»). С другой же стороны, Пушкин, словно «взамен», как бы выполняя работу «изъятия» за нас, предлагает множество «готовых» фрагментов: известно его тяготение к «отрывку» как жанру, к «незавершенности» как форме оконченности; известна также внутренняя завершенность большинства брошенных, оборванных набросков. Такая фрагментарность — проявление сплошности: пушкинский фрагмент содержит, так сказать, логос целостной пушкинской картины мира — но именно *logos* (*греч.*), а не *verbum* (*лат.*), хотя и то и другое переводится как «слово»; иначе говоря, логос этот невербален; чтобы верно постигнуть даже имманентное содержание фрагмента — капли из океана пушкинской картины мира, — мы должны дер-

жать «прилежно в уме» (Мандельштам) ее всю, отдавать себе отчет в абсолютной вписанности фрагмента в ее целое.

Другими словами, точка зрения на фрагмент должна определяться (в идеале — совпадать с) точкой зрения на контекст в целом — и притом как локальный, так и «большой»; А. Чудаков удачно определяет это как «явление *равномасштабности*» у Пушкина<sup>11</sup>.

Нечего и говорить, что качество сплошности свойственно как локальному контексту (произведения) Пушкина, так и «большому» — всего корпуса произведений. Это ясно хотя бы из пристрастия поэта к цикличности — как сознательной («Подражания Корану», «Повести Белкина» и проч.), так и «стихийной»: «зимние» и «дорожные» стихи, «лицейские годовщины», стихи о поэзии и поэте, «воронцовские» и «оленинские», «кавказские» и «польские», — при том еще, что все они к тому же и между собой многообразно переплетаются и рифмуют. Собственно, весь корпус сочинений представляет собою цикл и к л о в, где связи пронизывают как тексты, так и межжанровые пространства. Опыт показывает, что, запустив руку в этот «алфавит» (или «периодическую таблицу») почти не глядя, можно порой зачерпнуть новый, не ведомый никому еще «цикл», который заключает в себе новое, неожиданное, может быть, парадоксальное, но непременно содержащее пушкинский логос единство.

Впрочем, «содержать» — слово не самое подходящее. Пушкинский контекст не столько «содержит» свой логос, сколько объемлется им. Уточнение это необходимо для того, чтобы на его фоне подчеркнуть следующее качество пушкинского контекста. Это не есть внутренне стабильное и готовое целое (если говорить о контексте произведения), не есть также целое, однородное на всем протяжении (если иметь в виду как произведение, так и весь большой контекст Пушкина). Пушкин, по счастливому выражению Цветаевой, «поэт с историей». Его контекст — это динамический контекст: достаточно бросить общий взгляд на путь поэта от лицейской, а затем ранней романтической лирики к таким, например, вещам, как «В начале жизни школу помню я...» и «Осень», к последнему, «евангельскому», циклу, чтобы увидеть это отличие Пушкина едва ли не от большинства лириков. Более пристальный взгляд (сошлюсь снова на свой опыт<sup>12</sup>) обнаруживает эту динамику почти на «клеточном» уровне, во взаимоотношениях разных стихотворений.

То же относится к локальному контексту произведения, в частности и в особенности лирического. Пушкинское стихотворение отражает не статичную данность лирического «я» (что в лирике чаще всего), а протекающий в пространстве текста процесс, в котором «я» проживает внутреннюю коллизию, устремленную к разрешению в высоком духовном плане (см., например, «Желание», 1816; «Роняет лес...», 1825; «Безумных лет...», 1830; «Я памятник себе воздвиг...», 1836 и др.) и может явиться в финале иным, чем было в начале. Пушкинский контекст — это непрерывное поступательное движение, «пространством» которого является время. Оно и «содержится» в пушкинском контексте, и «объемлет» его, в нем реализуется пушкинский логос, обуславливающий динамику, поступательность, энергию становления.

Таким образом, пушкинский контекст есть сплошная система связей динамического характера: целое, становящееся во времени как определенный порядок и последовательность, поскольку время предполагает последовательность. Это диахронический контекст, в котором каждый элемент и каждая связь адекватно постижимы лишь на своем месте — то есть в зависимости от предыдущих связей, в своей функции разворачивать последующие, в своей включенности в целостный порядок движения (речь, напоминая, идет не о «правилах применения» текстов, а об

<sup>11</sup> Чудаков А. П. К поэтике пушкинской прозы. — «Болдинские чтения». Горький. 1981, стр. 58 — 62.

<sup>12</sup> Непомнящий В. Из набросков о лирике Пушкина. 1. Время в его поэтике. 2. Три сонета и вокруг них. «Московский пушкинист». Вып. IV.

условиях понимания их). Многочисленные споры и недоразумения в понимании Пушкина берут начало в пренебрежении этим фактом: логос контекста как процесса становления вытесняется логикой и статикой поставленной исследователем задачи.

Только не следует понимать диахроничность порядка связей у Пушкина в обычном детерминистском духе «дискурса». От причинно-следственных законов никуда не денешься — но все же, скажем, дерево не является причиной выбрасываемых им ветвей, как и следствием посаженного в землю семени. Диахронический пушкинский контекст есть контекст телеологический.

В «плане логоса» пушкинского контекста это означает, что мы имеем дело не с причинно-следственным, а с порождающим контекстом, который наращивает свой объем не путем присоединения чего-то «нового», еще не бывшего в нем, а — обнаруживая новое в уже бывшем и разворачивая из недр бывшего: например, «проигрывая» одну и ту же ситуацию в разных условиях; или развивая уже высказанную мысль дальше, порой — до видимой противоположности. Пушкинский контекст — это не тетрадь, к которой подшиваются новые листы, а свиток, который развивается. В этом смысле пушкинская диахрония есть постижимая нашим конечным сознанием форма экспликации всеобщей бытийственной синхронии, где ничто не уходит безвозвратно в небытие, все живо и все рядом: прошлое, настоящее и будущее, — и где высшие истины и ценности имеют вневременную природу, существуют ныне и присно — и лишь в нашем опыте и сознании являются и действуют как нечто свойственное диахроническому порядку человеческого, земного бытия. Постижимый адекватно лишь как диахроническое целое, пушкинский контекст устремлен — через время — к «синхронии» вечных смыслов и ценностей как к цели. Это и есть его телеологичность. Именно в силу этого качества Пушкин «запрещает» нам постигать его контекст «вразброс», игнорируя его временной порядок, — но зато «позволяет» (если этот порядок соблюден в процессе нашего постижения) едва ли не как угодно комбинировать в «циклы» (произведений, цитат и проч.) отдельные участки контекста, почти не рискуя получить бессмыслицу: если нами верно услышан логос целостного процесса, мы нигде не попадем не в тон и не в такт.

В плане же исследовательской методологии понимание телеологичности Пушкина важно в самом конкретном смысле.

Анализ собственно художественного содержания произведения (его внутренней логики, механизмов поэтики и проч.) чаще всего опирается на детерминистский подход, проще говоря, руководствуется вопросом «почему?». Вопрос же «для чего?» связывается, как правило, с «внешней» волей автора, его намерениями, «идеей» и «целью». Именно в таком плане понял Пушкин вопрос Жуковского о том, «какая цель у *Цыганов*», и ответил: «вот на! Цель поэзии — поэзия...»

Пушкину и в самом деле претит внешне-идеологическое целеполагание («„Думы“ Рылеева и целят — а все невпопад»). Но зато необычайной целеустремленностью пронизано внутреннее, собственно художественное движение: поступательный импульс исходит словно из глубин самой поэтики, которые в значительной мере автономны от сознательной авторской воли. Наиболее известный пример — изумление Пушкина по поводу замужества Татьяны; на самом же деле буквально весь текст «Онегина» представляет собой сложнейшее — и, что особенно поразительно, чуть ли не на каждом шагу осознаваемое — взаимодействие авторских интенций и разнообразных непредсказуемостей «свободного романа», проявляющееся на разных уровнях: от поворотов сюжета до отношений соседствующих строк. Когда же внутренний, собственно художественный телеологический импульс отсутствует и автору ничего не остается, как что-нибудь «придумать», чтобы продолжать или закончить, — Пушкин бросает начатое либо сразу, либо после попыток подменить волю своего гения «личной» волей. В таких случаях («Египетские ночи», или «Мы

проводили вечер на даче...», или та же «Осень») получают вещи, внутренний «объем» которых сам не допустил замкнутости, что бы там ни предполагал в начале автор.

Иначе говоря, поэтика Пушкина — живой организм, в самом себе содержащий синергию — едва ли не тождество — причины и цели.

Однако все же для того, чтобы проникнуть в «логику» произведения, прикоснуться к логосу пушкинского контекста, на первое место следует ставить вопрос «для чего?» — вопрос о телеологии вещи. Почему, к примеру, Григорий видит свой сон? — этот вопрос, в пределах текста трагедии и ее обстоятельств, едва ли имеет смысл: налицо данность, которую каждый, в том числе и сам герой, может осмыслять как угодно. Зато вопрос: для чего в сюжете вещей сон, привидевшийся (при первом же появлении) будущему Самозванцу, который сном же и завершит свое пребывание в действии (сцена «Лес»? — этот вопрос открывает путь к постижению, во-первых, конкретной динамики сюжета — как важнейшей сцены в келье (завязка), так и всей трагедии в целом; во-вторых, механизма исторической катастрофы, служащей сюжетом трагедии; наконец, высшего смысла и высшей цели этого сюжета. Ибо именно сон Григория есть метафизический «первотолчок», действие которого длится сквозь всю трагедию.

Телеологичность не есть предопределенность; это — поступательная энергия, с такой энергией мы, долго блуждая по лесу, устремляемся на долгожданное «ау!», это устремленность на зов. В конечном счете именно телеологичностью объясняется, думаю, излюбленное Пушкиным предъявление читателю «вариативности» бытия («Быть может... А может быть, и то...» и т. п.), которой некоторые исследователи придают абсолютное значение. Рукописи Пушкина — зрелище того, как он словно продирается сквозь заросли «вариантов» в направлении собственной интуиции, на голос своего же художественного гения, логос которого отнюдь не тождествен человеческому разумению «Александра Сергеевича» и у которого абсолютный слух на Смысл. Пушкинский контекст — это, помимо прочего, процесс отношений между «Александром Сергеевичем» и данным ему гением, между «я» натуральным и «я» идеальным; эти отношения и есть движущая сила лирического контекста Пушкина как контекста динамического, как процесса, в котором «я» стремится к себе лучшему, к себе высшему, как процесса познания себя и открытий вокруг себя, себе же самому — а не только читателю — сообщаемых. Пушкинский контекст (и в этом природа «вариативности») есть диалогический контекст.

Вне этого качества попросту невозможно верное понимание многих как фундаментальных, так и элементарных моментов — от «Гений и злодейство — две вещи несовместные» и всего, что с этим связано в «Моцарте и Сальери», или — от «Тьмы низких истин мне дороже...» до «Чем меньше женщину мы любим...», вообще — начала главы 4 романа, где идет сразу несколько диалогов: героя с XVIII веком, героя с самим собой, Пушкина с героем и Пушкина с нами, читателями. В сущности, весь пушкинский контекст — сплошной диалог с читателем, и это чувствует, абсолютно непосредственно, каждый из нас — потому что Пушкин к каждому и обращается, позволяя каждому понимать его на «своем» уровне. Такое обращение было бы невозможно, если бы обращение ко мне было адресовано моему «натуральному я» (ведь общим знаменателем всех таких «я» может быть, пожалуй, только биологический, во всем остальном мы различны). Обращение к каждому — но и ко всем — возможно потому, что конечный «адрес» есть «идеальное я» каждого: ведь оно — при всех отличиях от других — причастно, как и другие, одному высшему Смыслу. «Мой Пушкин» — это результат обращенности к моему «идеальному я»; а вот реальное качество этого «Пушкина» зависит от отношений «натуры» и «идеала» внутри меня, от того, какова моя собственная «телеология».

Телеологичность пушкинского контекста — это его о-смысленность; будучи неисчерпаемым, пушкинский контекст лишен «гениальной темноты» и пи-



фического «бормотания», это поэтика одухотворенно-умная и, так сказать, ответ-ственная за каждый свой шаг, от начала и до конца: финалы пушкинских произведений бросают проясняющий свет на все, происходившее в сюжете, событийном или лирическом, словно вбирая в себя поступательную энергию его хода, объясняя и итожа порядок и логику его. Телеологичность предполагает со-ответ-ствие результата — замыслу, завершения — началу, в телеологичности есть своего рода симметрия; не случайно композиции Пушкина феноменально симметричны, что является одним из конструктивных условий знаменитой пушкинской гармонии. Гармония есть созвучие, рифма; поэтому, в частности, у Пушкина нет праздно висящих «ружей», а все, что «стреляет», перед тем честно предъявляется в тексте. Поэтому в сюжете, событийном или лирическом, все гармонически (телеологически) обусловлено и, в общем, объяснимо, притом — в пределах внутритекстовых связей (есть исключения, но они это правило подтверждают). Пушкин, как известно, многое недоговаривает, нередко прямо хитрит, но «концы» его хитростей — не в воде, а в тексте, и недоговаривает он потому, что каждый раз это отсылка к контексту, порой очень большому, где «досказано» все, необходимое для верного понимания. Поэтому решительно некорректны попытки уяснить собственно художественную логику текста, «дополняя» контекстуальные указания соображениями и догадками извне художественного пространства вещи, той «сообразительностью», что нужна при разгадке ребусов. Текст Пушкина совершенен потому, что совершенство, по определению, все свои конструктивные основания содержит в себе самом.

При всей телеологичности пушкинского контекста, осмысленности его, мы никогда не сможем схватить автора за руку, имея в виду какую-то, пусть малейшую, принудительность конструкции или хода. Пушкинский контекст, будучи объективно телеологичен, есть субъективно свободный контекст, предполагающий возможность открыто волевого творческого акта, то есть выбора того или иного пути на слышащееся из-за зарослей «ау!». Мне довелось разбирать один такой случай, очень показательный в смысле характера пушкинской свободы<sup>13</sup> — на грани «своеволия», когда автор «Онегина», демонстративно, вопреки тщательно выстроенной композиционной логике главы 2, внезапно резко прерывает ее течение, бросает на полуслове тему Ольги, чтобы «Заняться старшею сестрой», а потом так же внезапно бросает и тему Татьяны, чтобы вернуться к прерванному сюжету. Весь контекст главы выстроен так, что Татьяна могла бы не появиться, а прерванный сюжет продолжается так, словно она и не появлялась; Татьяна возникает и исчезает почти чудесным — то есть абсолютно свободным — образом, и без этого акта свободы роман не мог бы состояться как сюжет, как картина мира, как исповедание ценностей, как «свободный роман». Пушкинский контекст есть не «предопределенный», а целеустремленно-свободный контекст.

Здесь природа еще одного, необыкновенно очевидного, свойства пушкинского контекста — это контекст музыкальный. Как известно, музыка — тот род, в котором особенно тесна и наглядна связь целеустремленности со свободой и пространством которого является время. Фоническая музыкальность Пушкина есть внешнее выражение его архитектурной музыкальности; последняя такова, что есть основания видеть в его композициях признаки такой фундаментальной формы, как сонатная, несомненно воспроизводящая важнейшие стороны бытийственного «синтаксиса».

Наконец (говорю так не потому, что претендую на законченность или полноту обзора), пушкинский контекст есть биографический контекст. Но вовсе не в смысле «отражения жизни» и вообще «теории отражения». Пушкинский контекст не «отражает» жизнь, а ею является — если иметь в виду жизнь как духовный процесс, который есть не что иное, как процесс вза-

<sup>13</sup> Непомнящий В. «...На перепутье...». «Евгений Онегин» в духовной биографии Пушкина. Опыт анализа второй главы. «Московский пушкинист». Вып. I. М., 1995.

иоотношений «натурального я» и «идеального я», иначе говоря — взаимоотношений человека с образом Божиим в себе. Пушкинский контекст — это духовная жизнь, высшей интенсивности, полной реализации достигающая именно под пером, на белом листе. Я даже допускаю, что импульсы, породившие многие потрясающие стихи, «в жизни» были значительно слабее, размытее, как изображение за мутным стеклом. Не случайно Пушкину свойственна временная дистанция между переживанием и его словесной плотью, возникающей на бумаге, а также — между разными редакциями одного произведения, что не так уж часто у поэтов. Замечательно и другое: Пушкин бывает скрытен, и даже очень, но — не в духовной сфере: здесь «все наруже, все на воле», беспощадная исповедальная открытость — она же диалогичность — невероятна, что иных и «соблазняет» (вон что Пушкин про себя говорит!), но на деле знаменует беспредельную совесть, неспособность лгать в своем искусстве, свободу и непредумышленность пути — этого продвижения навстречу зову «духовной жажды».

## 7

Но ведь все это связано, собрано в той самой пушкинской точности. Очевидно, что она индивидуальна до уникальности; но так же очевидно мы ощущаем некую вне- или надличность, что дает поводы приписывать Пушкину отсутствие «личности» или «индивидуальности» (о чем одним из первых, кажется, Гоголь сказал). Дело, думаю, в том, что сама-то по себе точность — это ответственность некоторому образцу, требованию, идеалу — каким-то условиям объективного характера. Ощущение снятости индивидуальной воли — это ощущение того, что контекст Пушкина основан не столько на сочинении, сколько на подчинении, то есть соответствии чему-то, чему необходимо подчиняться, чтобы получилось. Пушкинский контекст, с его «соразмерностью и сообразностью», — это иерархический контекст. В точности Пушкина есть то, что характерно не для сочинения, а для записи: черновики напоминают в своей стремительности процесс стенографирования или синхронного перевода: что-то в спешке не dokonчено, какие-то слова недослышаны, пропущены (или сами собой разумеются), иные вовсе не уловлены. Когда он переходит к «сочинению», из почерка исчезает летучесть; начинается «запись» — он снова летит.

Пушкинский контекст строится по закону свободного послушания. Он послушен, «покорен общему закону» онтологической «грамматики» непрерывно становящегося бытия. «Язык» бытия — для него идеальный «образец», или «прототип». Языку пушкинского искусства не очень соответствует определение «языка образов» — это язык контекста. Контекст бытия — не «образный», а сущностный. «Законопослушность» Пушкина позволяет ему с точностью и свободой оперировать элементами и связями сущностного состава бытия как «словами» онтологического лексикона — не по произволу, а в соответствии с «общим законом» грамматики бытия. Он ничего не «придумывает»: его манера как бы дает понять, что в бытии все уже «придумано», надо только проникнуться тем, как прекрасно придумано. Это отсутствие претензий на неслыханное «свое слово» ведет к парадоксальному результату: слово Пушкина — будто впервые сказанное, Адамово, впервые назвавшее знакомую нам сущность. Оно не взято в готовом виде, не «вставлено» в текст там, где надо; а словно в тексте и рождено. «Бездна пространства», которую «в каждом слове» Пушкина увидел Гоголь, наследуется Пушкиным от породившего это слово бытийного по качеству контекста. Пушкинское слово не вербально, а контекстуально.

Говорится об «объективности» Пушкина (она же — повод обвинять его в отсутствии «точки зрения»). Заменяя для ясности «точку зрения» на «точку обзора», можно, опять-таки для ясности, заменить малообязывающую, ибо стертую, «объективность» другим словом: аутентичность пушкинской карти-

ны мира. Что значит — ответственность ее бытию как «исходному» образцу, идеальному прототипу.

Здесь кстати вспомнить характерную пушкинскую привычку беззастенчиво использовать «чужой» материал, в чем никто, включая Шекспира, с нашим поэтом в сравнение не идет. Взять хоть «Повести Белкина», авторская характеристика которых выглядит просто издевательством над пушкинистами («...писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно»<sup>14</sup>), которые, кстати, не случайно так заняты литературными «источниками» и соотношением с ними «Повестей...» (пародирование, новаторство, реализм и проч.). В самом деле, тут и русские повести, и французские комедии, и немецкий «анекдот»<sup>15</sup>, и мало ли что еще. Выходит: вы, господа, все писали повести, но — не так; а надо «вот этак».

Но это он говорит Василию Панаеву и Мариво, Мармонтелю и Карамзину. Но Софокл, Шекспир и Расин! Он пишет в наброске предисловия к «Борису Годунову», первой своей трагедии, что трагедия есть «наименее понятый жанр»! Он, мол, мог бы написать предисловие, где объяснил бы всем им, «как надобно писать» трагедии, — но просто не хочет «скандала». Более того, он намекает на какое-то «ошибочное понятие об поэзии вообще»...

Но и это не все. Он берет вымышленную историю, роман Загоскина «Рославлев», и пеняет автору, что тот неверно все написал, что на самом деле все было не так, а «вот этак»!

Одним словом: другие сочиняют, а он пишет то, что на самом деле. Они кое-что путают, а он расставляет все по своим местам. Он ведет себя как «редактор», как некую власть имеющий. Без этого, между прочим, вряд ли был бы создан «Пророк». Или, наоборот, этого не было бы без «Пророка».

То есть: в часы вдохновения ему, как говорили в старину, предносится некий идеальный образец, с которого он и пишет свою картину мира.

Тут будет уместно вспомнить, что суждение «Цель поэзии — поэзия...» позже (1836) было дополнено и развито другим: «...цель художества есть *идеал*, а не нравоучение». Обычно считают, что имеется в виду идеал эстетический, противопоставляемый моральному («нравоучению»). На самом деле здесь противопоставляются онтологическое и идеологическое, идеальное и прагматическое, горнее и долнее. И вот, если пушкинская картина мира аутентична и если цель «художества», создающего эту картину, «есть *идеал*» — то, значит, и здесь у Пушкина должен быть онтологический образец; значит, бытие есть также произведение «художества», обладающее теми же свойствами сплошного контекста<sup>16</sup>... И значит, это Творение тоже включает в себе «цель», которая есть «*идеал*»:

Вращается весь мир вокруг человека, —  
Ужель один недвижим будет он?

Если пушкинская картина мира аутентична, значит, весь мир и в самом деле вращается вокруг человека и цель Творения на самом деле состоит в движении человека к божественному Идеалу.

То есть пушкинская картина мира — «думал» об этом автор или не «думал» — включает в себе черты художественной теодицеи.

<sup>14</sup> «Из воспоминаний П. И. Миллера»; цит. по кн.: «Пушкин-критик». М., 1950, стр. 549.

<sup>15</sup> См.: Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994, стр. 34 — 35.

<sup>16</sup> «...Контекст — это действительно вещь, фундаментально присущая природе вообще... даже маленькая неточность дает полное извращение смысла... Генетическая книга трехмерна — ее можно читать из любой точки в бесчисленном количестве направлений. Генетическая книга... шевелится и дает возможность для бесчисленных вариантов чтения... Жизнь вертикальна, а не горизонтальна. Она иерархична во всех своих деталях...» (из беседы с П. П. Гаряевым, молекулярным биологом, в редакции «Литературного журнала „Другие берега“» / 1996, № 7-8, стр. 85 — 99/).

Можно, конечно, со всем этим не соглашаться. Но для этого потребуется показать, что точность Пушкина не имеет опоры в реальности, что пушкинский контекст бессвязен, что, наконец, Пушкин не объективен.

Но ведь мы, повторю, не случайно так редко спорим с самим Пушкиным. То есть обычно мы признаем авторитетность, достоверность, корректность так сказать, его картины мира: она отвечает некоему всеобщему интуитивному знанию, позволяющему, в частности, отличать в искусстве истинность от фальши, естественность от искусственности, сочиненность от правды.

Как раз это-то знание, эта всеобщая правда и оказывается яблоком раздора:

Все указывает на нее,  
И все кричат: мое! мое!

Нет, оказывается, ничего более искушающего и провоцирующего, чем та «правильность», что выражает всеобщую интуицию, — и одновременно ничего более уязвимого. Отсюда и впечатление готовной податливости Пушкина отвечать любому «мнению», поставлять материал для любой «трактовки», становиться «моим» или «нашим», чьим угодно.

Но ведь именно так научила человечество относиться ко всему окружающему миру экологически темная эпоха Просвещения с ее представлениями о бытии как «объекте», пассивном поле нашей деятельности, груде стройматериала, готового служить прихотям «субъекта». Опыт показал, что порядок мироздания столь же сверхчувствителен к нашим прикосновениям, сколь и неоспорим, что это система сплошной связности, идеально выстроенный контекст, и что на человеческие вмешательства он отвечает рано или поздно, но в конечном счете весь целиком. Вот это все и воспроизводят свойства пушкинского контекста.

Поэтому-то пушкинскую картину мира нельзя оспорить — разве только теоретически-рассудочно, идеологически (как и ее онтологический идеальный прообраз); на практике же ее возможно лишь толковать так или иначе, уяснять верно или неверно; в пределе — исказить; что мы и делаем с ее онтологическим прообразом.

Понять или исказить? — тут все зависит от точки обзора. Но уже не пушкинской, а нашей: от того, как мы смотрим, в какой перспективе воспринимаем пушкинскую картину мира.

## 8

Как ни бегло, схематично, а местами, может быть, топорно мое изложение, у меня есть все же надежда, что из сказанного может более или менее ненавязчиво вытекать, что привычное представление: Пушкин — «объект», а я (мы) — «субъект», — методологически неверно, производит в нашем взгляде aberrации, в картине — смещения; что «линейная перспектива» тут не годится.

Несколько лет назад в одном докладе (на конференции в ИМЛИ) я предложил концепцию «обратной перспективы» как одной из методологических основ пушкинского художества. Среди отличий иконы от картины, «обратной перспективы» от линейной, — то, что картина для нас — объект, а икона — «субъект», «объектом» же являемся мы. Мы предстоим перед символическим изображением горнего мира, Истина и Смысл бытия смотрит на нас — бытия, частью которого являемся мы. И вот Пушкин не ощущает себя «субъектом» по отношению к миру, к бытию. И это можно увидеть.

А именно: при всей «объективности» Пушкина, доходящей порой, повторю, до надличности, а также при отсутствии всякого авторского давления на читателя («я! я! я!»), мы никогда не можем изъять из своего восприятия факта авторского присутствия в художественном мире Пушкина (в нем «все... история его самого» — Гоголь). «Я» автора может присутствовать

открыто (лирика, «Онегин»), опосредованно («Повести Белкина»), псевдонимно («Египетские ночи»), скрыто, тайно («Пиковая дама») и т. д., но никогда не исчезает полностью, оно всегда здесь.

Это значит, что автор помещает себя не в субъектную позицию (привычную нам), а в то же объектное пространство Творения, где находятся его герои.

Он умудряется сделать это потому, что точка обзора его гения находится, так сказать, снаружи того дольного мира, в котором пребывает обладатель гения: она находится на «высоте духовной». Пушкин смотрит на мир и на себя как персонажа в нем, не из собственных наличных условий этого падшего мира, а с высоты духовного идеала человека как образа Божия. С этой «точки» обзор получается необъятный: он охватывает все — от высот до падений, весь спектр человеческого.

Подобная картина мира не может быть «моим объектом», ибо я сам — ее часть. Мы не можем начисто отделить от себя, от своего душевного и духовного опыта главную пушкинскую коллизию, универсально действительную для его художественного мира, — коллизию, состоящую в том, как человек замышлен Богом — и как его жизнь, поведение и личность соотносятся с этим Замыслом, то есть: как мое наличное «я» соотносится с моим же высшим, идеальным «я». Мы не можем «исследовать» такую картину мира как нечто постороннее, то есть не включая в исследование собственный духовный опыт, не помещая себя в ее контекст.

Другими словами, адекватный — методологически — подход к Пушкину возможен в одном с ним пространстве, в одной перспективе, а значит, необходимо включает духовное «измерение», где «субъект», производящий исследовательскую работу, является также главным объектом собственной — во многом тоже «исследовательской» — духовной работы. Иначе пушкинский контекст, представляющий собою поступательное, телеологическое, движимое духовной энергией целое, останется в самом главном закрыт для исследователя, как не существует музыки для глухого. Думаю также, что не раз поминавшиеся споры о Пушкине, имеющие в конечном счете мировоззренческий, в пределе духовный, характер, так часто ни к чему не приводят оттого, что трудно судить о предмете, находясь внутри него и не отдавая себе в этом отчета.

Пушкинская картина мира представляет собой своего рода икону нашего прекрасного, но падшего мира — во всем величии Замысла и во всей его изувеченности. Чтобы верно ее прочесть, надо «с высоты духовной» увидеть себя в качестве ее «персонажа» — это и будет «обратная перспектива». И в этом смысле пушкинская картина сакральна. Только ее сакральность носит не догматический характер, а исключительно методологический, конкретно — творческий. Пояснить это можно примером.

Слова Моцарта о гении и злодействе суть по существу утверждение «правды», которая «выше» и существование которой отрицает Сальери. Ни для гения Моцарта, ни для его совести никакой проблемы здесь нет — как нет для музыкального слуха Моцарта «проблемы»: гармонируют или диссонировать те или иные звуки, если их — что вполне возможно — «совместить». То, что в области «гармонии» музыкальной очевидно для органики естества (слух), в области «гармонии» духовной очевидно для интуиции (веры), «вера же есть... уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1). Вопрошающее «Не правда ли?» подчеркивает эту самоочевидность «правды» для свободной веры. Творческий «слух» совпадает с интуицией совести.

Перед Сальери же слова Моцарта ставят именно «проблему». То, что для Моцарта — высшая правда (гений и злодейство не составляют гармонического единства), постигаемая сердцем, — для Сальери есть проблема знания правил и законов (есть ли таковые применительно к гению и злодейству? можно или нельзя?).

Перед нами, таким образом, две «точки отсчета»: «снизу» у Сальери, «сверху» у Моцарта; две противоположные перспективы: детерминистская «ли-

нейная» — и телеологическая «обратная»; две картины мира: секуляризованная, «юридическая», — и сакральная, «гармоническая»; две методологические позиции: «знания» у Сальери — и веры у Моцарта.

Методология Пушкина есть методология веры; вера — побудитель, интонация и модус пушкинского высказывания, вне зависимости от «головных» мнений в тот или иной момент; «Я верю, я люблю: *для сердца нужно верить*» («Дориде», 1820). Вера — это не идеологическая система, а картина мира, построенная на «уверенности в невидимом» — то есть на том, что является побудителем и модусом всякого подлинного творчества.

Вопрошание Моцарта «Не правда ль?» не только подчеркивает самоочевидность «правды», но и оставляет свободу собеседнику: таково свойство веры, тогда как знание принудительно. То, что позитивистской логике представляется отсутствием или невыраженностью у Пушкина «точки зрения», на самом деле есть предоставляемая нам свобода. Свобода предлагается нам в Пушкине не частичная — в «согласиях» или «несогласиях» с ним и его картиной мира (как в случаях с писателями с более выраженным «мнением»), а — подлинная, в полном объеме, в классическом христианском смысле свободы веры: «по вере вашей да будет вам» (Мф. 9: 29), — и с вытекающими отсюда результатами диалога с Пушкиным: они могут быть разными, в том числе — состоять в недоразумениях, искажениях, непониманиях, неразрешимых противоречиях.

Всякая подлинная свобода есть испытание; в этом смысле искусство Пушкина — и с к у с для всех нас. Это наглядно показал XX век.

Выше я сравнил Пушкина с героем «Сказки о рыбаке и рыбке»; теперь надо принять в расчет обстоятельство, которое, насколько мне известно, никому пока не приходило в голову: если бы не христианское, в сущности, смирение Старика, покорно выполнившего даже последний, самый дикий приказ своей Старухи, — ведь его сварливая половина так и осталась бы царицей и правда не восторжествовала бы — как будто ее и нет.

## 9

Правда, однако, всегда выходит на свет. Те операции, которым с видимой покорностью подчинялся пушкинский образ — и пушкинский образ мира — в России XX столетия, выглядят как одно из самых откровенных и представительных свидетельств демонической попытки перетолковать, перевернуть с ног на голову национальную духовную традицию; в конечном счете как одно из самых наглядных, по крайней мере в сфере культуры, проявлений национального вероотступничества. Не случайно советское пушкиноведение, стяжав великие заслуги в изучении, так сказать, «материальной части» своего предмета, не приблизилось за десятилетия к целостному научному представлению о Пушкине, да и задачи такой не ставило; между тем как решающие, может быть, шаги сделала русская эмиграция (С. Франк, И. Ильин, А. Карташев, П. Бицилли, прот. С. Булгаков, архим. Конст. Зайцев, архим. А. Семенов Тяг-Шанский и другие), у которой не было в распоряжении ничего «материального», но была любовь к Пушкину, тоска по России и православная вера; между тем как безусловно целостный, пусть и простодушный, но при всех фактических искажениях отвечающий высшей правде образ «песенного наблюдателя» сложился из высказываний поморов (гениальный «Пинежский Пушкин» Б. Шергина), где при скудости знания торжествует методология веры.

Именно благодаря относительной сохранности веры как свойства народной (не только простонародной) интуиции, «советского» Пушкина хватило ненадолго: составленный из осколков, в основном в 30-х годах, портрет начал разваливаться уже к 60-м — идеология менялась.

Неизменной оставалась методология. «Тоталитарный» «наш Пушкин» сходил на нет, его место стал занимать «мой Пушкин» — «либеральный», диссидентский, а потом и «плюралистический», ему же имя легион. Но и этому об-

разу грозит исчезновение сегодня, в новом пространстве — уже «концептуально» очищаемом постмодернизмом от «тоталитарных» категорий истинности и ценности. Пушкин превращается в совокупность принципиально «чужих» «текстов», назначение которых — быть «объектами» для мастеров «дискурса».

В противостоянии дальнейшему расчеловечению науки о литературе, филологии вообще, пушкиноведению, может быть, способно сыграть важную, если не ключевую, роль — хотя бы потому, что нигде, как в этой области, позитивизм не демонстрирует так наглядно свое методологическое бесплодие. Почти десять лет назад<sup>17</sup> я писал о необходимости поворота в методологии изучения Пушкина, повторяю это и сегодня. Пора — ни в коей мере не отказываясь от традиционных приемов исследования отвечающего этим приемам материала — сменить угол зрения, поднять точку обзора, пересмотреть иерархию ценностей в науке, задуматься о ее гуманитарных, то есть человеческих, целях, осознать проблему Пушкина не только как историко-литературную, или эстетическую, или внутрифилологическую и т. д., а как онтологическую и методологическую. Центральное место здесь, по моему мнению, занимает категория контекста.

Контекстуальность — конститутивное качество бытия. Творческий дар тем больше, чем выше в нем мера контекстуальности. Пушкин — гений сплошного контекста, это его обыденный художественный язык, уникальный по совершенству и онтологизму, не переводимый без страшного понижения ни в какой другой порядок, провиденциально получивший, в качестве материи для воплощения, русскую языковую материю.

Пушкин прекрасно сознавал, что совершенство это — не его личная принадлежность или заслуга, что оно достигается не по человеческому хотению, а по «велению Божию», по «послушанию», возложенному на него в «Пророке», заповеданному им своей Музе. Ощущение этого послушания — того, что Пушкин словно бы не сам пишет, — органично для народной интуиции: оттого с превознесением пушкинского гения и музыки тесно соседствует снижающая фамильяризация человеческого образа поэта, с пушкинским мифом — пушкинский анекдот; где кончается одно и начинается другое, трудно порой определить. В этом сказывается такт, тонкость и одухотворенность народной интуиции, никогда не обожествляющей даже самого гениального творца, не присваивающей искусству собственно религиозного достоинства, не посягающей на иерархический строй Творения. Давно следует отказаться от высоколобого презрения к «мнению народному» о Пушкине, к тому «слуху» о нем, что прошел «по всей Руси великой». «Слух» и предание для Пушкина необыкновенно важны: в «слухе» явление постигается не как остановленный, мертвый, готовый, ставший «объектом» «факт», а в качестве живой реальности продолжающегося бытия, в том сверхэмпирическом, непреходящем смысле, который наиболее соответственно выражается на языке мифа. Миф, по определениям А. Ф. Лосева, есть «сама жизнь», «само конкретное бытие», «чудо», «в словах данная чудесная личностная история», наконец — «развернутое магическое имя», — все эти определения как нельзя более соответствуют целостному образу Пушкина в национальном сознании. Пушкинский миф — неотъемлемая часть общенационального «пушкинского контекста», в нем таинственным образом отражаются подчас свойства собственно пушкинского контекста. Пушкинский миф — не как набор легенд, а как понимание Пушкина в качестве феномена бытия, как один из опорных национальных мифов — есть, по существу, русская культурная теодицея. Феномен Пушкина опирается на сверххудожественную, сверхкультурную причину — она же и цель, — по которой именно этому гению определены то место и та роль в национальной культуре, в сознании и истории народа, какие никакому другому гению нигде — по крайней мере в христианскую эру — не выпадали; и не оттого, что у других

<sup>17</sup> «Вопросы литературы», 1989, № 4.

народов не находилось, так сказать, достойного, а потому, что нигде более, кроме России, не было нужды в таком месте, в такой роли, а стало быть, в подобном гении. Таков масштаб, который может непротиворечиво вместить целостное представление о Пушкине. Вопрос о феномене Пушкина вписывается в большой контекст духовных судеб человечества и роли России в них, ее провиденциального задания; вне этого задания Пушкин не мог бы появиться, в нем не было бы необходимости. Слова о Пушкине как русском человеке «чрез двести лет» есть не пророчество, а зов, переданный нам через Гоголя и требующий осмысления сейчас, когда это жизненно необходимо, чтобы Россия осталась Россией и продолжала выполнять свое задание. Задание же России есть вопрос религиозный, поэтому секуляризованная перспектива феномен Пушкина вместить не может.

---



---

---

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



## ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ МАНДЕЛЬШТАМ?

...Первые побеги девственного леса, который  
покроет место современных городов.

О. М.

**Я** начну с двух недоказуемых предпосылок. Во-первых, канонизация Мандельштама произошла при нас, на нашей памяти. Даже любители его поэзии из старших поколений удивлялись, покачивали головой. Эх же вы, однако; а у нас он был — «мраморная муха», «ужас друзей — Златозуб». Тон благорасположенных мемуаристов — и у этого чудака бывали, подумать только, замечательные строчки. (Даже у Ахматовой ощущается в ее поздней записи 1963 года некоторая оторопь перед отношением к Мандельштаму именно младших.)

В пылу энтузиазма с проблемами старших разделились не в меру легко. Здесь, так сказать, *πρωτον ψευδος*, изначальная погрешность. Ведь мы все прошли через престранный первый опыт знакомства с О. М. — «замечательно, но местами как-то уж очень идиотично», а потом постарались для вхождения в political correctness мандельштамизма это все позабыть, по Фрейдю — вытеснить. И вот всё расплачиваемся за такую неправдивость и никак не расплатимся, в поте лица отыскивая ответы на некорректно поставленные вопросы. Культура, историософия, ух!

«Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посместище всекоктебельское» (Ходасевич — Б. А. Диатропову от 18 июля 1916 года из Коктебеля). «Знаете ли. Мандельштам не умен <...> Ну какой он поэт?» (он же — С. Я. Парнок от 22 июля того же года). А Ходасевич умен. Он вправду умен — но ему не под силу быть умнее собственного ума. А для Мандельштама способность вдруг подскакивать неизмеримо выше своего штандпункта и всех своих границ, которые есть у каждого умника, — совершенно нормальна.

Во-вторых, канонизация эта имеет (при всех разговорах о большой четверке) тенденцию к исключительности. О. М. — рядом с Пушкиным.

О. М. и Пушкин. Совершенно не могу найти у них предьстории, поры незрелости — а как длинна таковая у Ходасевича или Цветаевой; и еще менее того умею отличать у них строчки получше от строчек поплоче. Их обоих приходится — не без удивления, но послушно — принимать сразу, в полном объеме и на их собственных условиях. Помню, как дружественный любитель О. М. сказал мне в моей молодости: «Сережа, „Когда октябрьский нам готовил временщик...“ — очень неудачные стихи». Вроде бы я понимал, что он хотел сказать. Но разве это правда? Стихи смешноватые, не без того, — но ведь так близки к несомненному и вершинному совершенству «Декабриста». А если они по нормам самого О. М. скорее хороши — кто мне докажет, что худо какое-нибудь «В белом раю лежит богатырь...»? И у Пушкина интонационный антиклимакс раздражавших Цветаеву строк «...И счастлив тот, кто средь вол-

няня / Их обрeтать и ведать мог...», наверное, нужен после непреодолимого нарастания в строках предыдущих, а значит, не хуже их. Пушкину виднее.

(У других поэтов мы различаем стихотворения сильные и слабые, удавшиеся и неудавшиеся. Кажется, для О. М. вопрос приходится ставить иначе: стихи необходимые и те, которых, пожалуй, могло бы и не быть, причем первые — это почти всё, а выделение второй категории не может не быть исключительно субъективным. Я, по правде говоря, не решусь назвать ни единого примера, потому что не готов обосновывать свой выбор.)

Именно у поэтов «чистых», как Пушкин и О. М., которые не имеют внепоэтической серьезности, особенно отчетливо ощущается основоположный для всех вообще поэтов грамматический контраст между **несовершенным видом**, характеризующим жизнь как обывательщину, все, что бывает, *пока не требует поэта...*, и **совершенным видом**, необходимым для акцентировки окончательности строки. Отсюда — общее между творчеством и гибелью: то и другое есть переход от несовершенного вида к совершенному, от длящегося проживания к дефинитивному поступку или хотя бы событию. *«Погулял ты, человек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человек, — и довольно!»* Поэтика заразна, совершенный вид подстерегает несовершенный на всех поворотах. И тогда получается дуэль с Дантесом или стихи против Сталина.

Выбрать Мандельштама — опасно. Слишком от многого приходится отказываться. Слишком многое становится рядом с ним невозможно. И это вроде бы даже нечестная игра, потому что сам он ни о чем таком не предупреждает. Он приглашал, да как риторично, к благодарности всем поэтам, какие есть: по списку. Это ему откусывал голову в рецензии Ходасевич — между тем как из противоположного угла литературной сцены дразнились: *«мраморная муха»*; а он очень мило отзывался о Ходасевиче, а уж о Хлебникове просто слагал какой-то эпос под своего любимого Пшавелу. Так коллегиально.

Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские (*«революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму...»*), и тут же — вроде бы авангардистские. Конечно, этими своими выходками он спровоцировал у своих почитателей уйму бесполокотицы. Ведь и без него в сегодняшнем литературоведческом дискурсе все — авангардизм, и все, если придется, — неоклассицизм, понятия становятся негодными, ибо теряют границы, и неоклассицистские принципы того же Ходасевича вспоминаются с тоской, как укоризна замолкнувшей совести. У человека еще принципы были.

Но беспринципность, с которой выражался О. М., локализуется только в статьях, компенсируя, уравновешивая собой страшно жесткий выбор, совершающийся в эпицентре его же творческих катастроф. Поэзия у него круто противоположна и классицизму, и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. *Слепая ласточка на крыльях срезанных* вот-вот в чертог теней вернется — но все-таки еще не вернулась; *яркая, нежная зелень* на улицах нищего Петербурга говорит о девственном лесе, *который покроеет место современных городов*, — но покамест есть еще место *горожанину и другу горожан*, и старый мир жив более, чем когда-либо; и все умещается в единой точке на дистанции между грамматическими формами будущего и настоящего. Именно поэтому мандельштамовская поэзия сама собой исключает и то, что «справа» от нее, и то, что «слева», — *вся нетерпимость*, как сказал поэт о *матушке филологии*. По контрасту с ней все неоклассическое, все, что хоть на миллиметр «правее», выглядит уже непереносно, мучительно наивным. Даже серьезные, суровейшие, мрачнейшие Блок и Ходасевич о чем-то все никак не догадывались, а когда непоправимая догадка под конец приходила — навсегда замолкали; между тем голос Мандельштама *после удущья* и начинал звучать, всякий раз вбирая в себя это удущье и одновременно ускользая от него. А умница Ходасевич еще хочет напугать читателя, с важностью повторяя про

своего удавленника: «*И зорко, зорко, зорко / смотрел он на восток...*» Равным образом становится непереносимо все, что чуть-чуть левее Мандельштама, все, что — авангард; и это потому, что авангард, вопреки своему героическому имени, не имеет в себе достаточно риска, тонуса, напряжения. Прошу понять меня правильно: я не отрицаю, что героичен может быть авангардист или целое поколение таковых, я отрицаю героизм авангарда как принципа. В конечном счете он — не авангард, а **капитуляция**. Именно в качестве капитуляции он и вправду, в слишком даже буквальном смысле, «безоговорочен». Его пресловутая «агрессивность» подменяет воинский дух, устраняет страшный риск формы — по Мандельштаму, «*неутомимой борьбы с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории*», — позволяет уйти от этого риска. Даже великий Хлебников, колдовское юродство которого впрямь значительно, расплывается, растекается в своих «*ну, и так далее*»; а ведь это только почин, еще наделенный энергией почина, — только предзнаменование **некончаемого конца**.

Ко мне прицепилась и не отпускает чуть смешная строчка:

*С миром державным я был лишь ребячески связан...*

Ведь и правда. Если бы не было жаль чудных мандельштамовских слов, можно было подставлять: вместо пресловутой *тоски по мировой культуре*, понимаемой на манер эрудитства какого-нибудь Элиота, — «с миром культурным я был лишь ребячески связан...»; вместо бесконечных разбирательств, где там у О. М. советских лет конформизм, а где так называемое сопротивление, — «с миром советским...». Ну и так далее. Разумеется, словесно игра некрасивая, и затягивать ее не след. Но по смыслу — всегда выйдет так. *Ребячески*.

Как трогает сейчас, когда все привыкли делать понимающий вид при любом разговоре на тему «О. М. и культура», выпад какого-нибудь Сергея Боброва против статьи «Слово и культура»: «*Ужасная безграмотница... с заданным в небеса носом!*» Или злополучный Горнфельд, будущий мнимый злодей мандельштамовской жизненной пантомимы, так люто изругавший в «Парфеноне» ту же самую статью за компанию с андрей-беловской *глоссололией*, — ведь он по крайней мере расслышал, потрудился расслышать, что О. М. толкует о чем-то, *совершенно обратном эрудиции*, явно непохожем на конвенциональный роман с *мировой культурой*. Не студия языков культуры, а глоссололия. «*...И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски*», — сказано О. М. о поэте; чувш, возражает Горнфельд, кажется это лишь тому, кто ни бельмеса ни по-гречески, ни по-халдейски. Собственно, оба правы. Мало того, только существование некоторой ограниченной, школьной горнфельдовской правоты и способно сделать позицию О. М. содержательной, отделить восторг поэта, *пьянеющего классическим вином*, от дешевого, ничем не оплаченного аханья гимназистки: «Ах, Пушкин, ах, Катулл!» Хитрый Вагнер ведь не только на посмешище вывел в «Мейстерзингерах» педанта Бекмессера. Нынче горнфельды-бекмессеры, хранители нудной школярской премудрости от дерзновенных покушений, перевелись; но точно ли пьяной глоссололии поэтов стало от этого лучше? Границы размыты, выбора больше не требуется; ничто не мешает косить одновременно и под авангард, и под неоклассику. Когда О. М. делал выбор против того Пушкина, который был, в пользу того, которого не было, это были не просто слова, а вызов — ну, скажем, тому же Ходасевичу, ответственно и сурово избиравшему Пушкина исторического.

*Ребяческий* характер связи О. М. со всевозможными политическими, профессиональными и культурными «*величественными идеями, похожими на массивные тиары*», будь то «*Россия на камне и крови*», которую «*издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и <...> Герцен*»; гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал *четвертого сословия*, будь то священная держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания

Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского, — *ребячество* это, так бесившее даже благорасположенных современников, и впрямь поражает. Будет худо, если мы перестанем его чувствовать.

*«На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит». «Все перепуталось и некому сказать».* Обольщение возможностью посмертно пережить и воспеть сновидение теократии — также и в советское время. Ср. письмо Вл. В. Гиппиусу от 14/27 апреля 1908 года: *«Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения».* Эти же темы в главе «Эрфуртская программа» из «Шума времени». Полемика на тему «О. М. и сталинизм», недавно спровоцированная Гаспаровым, была бы содержательнее, если бы чаще переспрашивалось, что означали в идиосинкратичнейшем и одновременно универсальном мире О. М. — как любителя Леонтьева и т. п. — те или иные понятия; если бы 30-е годы были увидены в контексте всей мандельштамовской биографии, а также в контексте больших *глыб времени*, см. «В не по чину барственной шубе» из «Шума времени».

Очень важна тема авторитарности схоластики как импульса для поэзии в «Разговоре о Данте», VI: *«Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант».* Полная неуместность в контексте 1933-го похвал средневековому догмату (как и в контексте 1923 года — величавого проплывания тени Леонтьева под самый конец «Шума времени») делает симптоматичность того и другого для понимания подлинного строя мыслей О. М. еще очевиднее.

Вышеупомянутое *ребячество* О. М. тем примечательнее, что, во-первых, не выдуманно «нарочно», не шуточно, не пародийно; во-вторых, очевидным образом осознано; в-третьих, не менее очевидным образом табуировано для автобиографической разработки в поэзии. *Я забыл ненужное «я».*

Например, о своем еврействе и различии, ставящем все державные темы в контекст остраляющий, парадоксальный и даже как бы пародийный, он в стихах говорить не станет. Никаких лирических деклараций к России по типу того же Ходасевича — именно я, инородец, *...сей язык, завещанный веками*, храню лучше твоих *слабых сынов, восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя...* Далее везде, — скажем, для сегодняшнего дня калмык Бахыт Кенжеев, который в своей Канаде вникает, как реставратор, в утраченные субтильности старинного русского говора: *«Задвижку на окне нашарит...»*; тут этнические обстоятельства входят в замысел наравне с географическими или хронологическими. Так Лукиану, выучившемуся превосходить греков в чистоте аттической речи, приятно было лишний раз назвать себя *«Сирийцем»*. Но О. М. был не совсем таков.

В этой связи должен сознаться, что с величайшим недоверием смотрю на попытки моих коллег (и отчасти уже Надежды Яковлевны) извлечь из стихов О. М., например из «Канцоны», ух какую разработанную «еврейскую тему».

Еврейская тема — это для Зеева Жаботинского, не для О. М. Я понимаю еврейского патриота и почитателя Зеева, который огорченно, даже оскорбленно сказал мне о поэте: *«Что там, он от нас сбежал».* С одной стороны, уж если кто *«не мальчик, но муж»*, так это Зеев, а Оська как раз выходит вечный мальчишка; но ведь с другой стороны, на фоне внутреннего опыта поэзии О. М. Зеев со своим сионистским героизмом — наивное дитя. Если бы для О. М. все сводилось к тому, что нужно развеять псевдоморфозу ребяческой связи с миром державным, вспомнить о своей еврейской идентичности, высвободить еврейское ядро от гойской скорлупы... Всего-то.

В прозе — еще дело другое. Но функциональное размежевание между стихами и прозой «Шума времени» и «Египетской марки»<sup>1</sup>, какая-то мандельштамовская диглоссия, — это феномен, о котором пока еще недостаточно говорили. Автобиографическая проза — порождение того самого *удушья*, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного перерыва, промежуток. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что **отторгает от себя** мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О. М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). «Шум времени» (как и «Египетская марка») вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О. М. — временную) капитуляцию, притом отнюдь не только «идеологическую»: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка. Но дело не только в этом. «Еврейская тема», как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности («Парнок»), подсаживала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между *миром державным* (соответственно *мировой культурой*) и моим «я»: просто-де вот я по случайности *жидочек*, как О. М. называли в кругу символистов, *племя чужое*, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло. Нет, в том-то и дело, что ни для кого оно не идет, как шло, шиш. *Все уменьшается. И Гёте таем...*

Почему, условно говоря, «О. М. как метод» правилен? Потому что нас со всех сторон бес ловит на слове и подсовывает ложные ситуации дихотомического выбора. — *Ах, ты этого не хочешь? — Ой, не хочу! — Так ты уже выбрал вон то! Всё, конечно!* — Возьмем хоть вопрос о мотивации гуманитарных студий. Идеал *humanitas* предполагал, что рецитация наизусть классических стихов и тому подобные занятия «облагораживающе» действуют на человеческую природу: делают то ли «мягче», то ли «тоньше», то ли нравственнее, то ли понятливее, то ли свободнее — одним словом, человечнее, потому и зовется это все вместе *humaniora*... Пришли патриоты прошлого века с требованием службы культуры при деле изучения национального наследия, либералы с требованиями народолюбия, после большевики — это-де **нам** нужно, а то не нужно, смотрите, чтобы людям годилось, народу!

Однако, как во всякой лжи, здесь присутствовала же и правда: не дураки были древние греки, что говорили вместо культуры о ΠΑΙΔΣΙΑ, то есть попросту о «воспитании». Конечно, только уж очень наивным людям могло даже в наивные времена примерещиться, будто это воспитание благонравия, — а затем явились тоталитаризмы со своими воспитательными прожекторами, возведшими мертвое благонравие в небывалую, невиданную степень; но если мы в антиавторитарном задоре отменяем сам по себе императив воспитания, мы должны чувствовать, что крушим *позвоночник* культуры — ту вертикаль неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии прямохождения. И приходит — *пся-кровь, всетерпимость...*

«Блаженное, бессмысленное слово» — оно как раз достаточно бессмысленно, чтобы на слове невозможно было словить, однако и достаточно небессмысленно, чтобы хранить неостывшую память о словесности слова, о Логосе.

То и другое отмерено и выверено — до каких-то бесконечно малых.

Вена.

<sup>1</sup> Проза ранних статей вроде «Утра акмеизма», а также «Разговор о Данте» при подобном размежевании оказывается на стороне стихов. Естественно, в обоих случаях она рождалась параллельно со стихами, и автобиографическая рефлексия в ней элиминирована.

---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## В ПОИСКАХ ОРИГИНАЛА

Владимир Леонович. Хозяин и гость. Книга стихов. СПб., «Формика», 1997, 294 стр.  
Владимир Леонович. За уходящим светом. Стихи. — «Знамя», 1997, № 10.

**В**сякая большая книга стихов, где напечатаны вещи разных лет, производит на меня впечатление собранного в дорогу чемодана. Хочу подчеркнуть субъективность этого чувства. Сходство, быть может, объясняется тем, что старые, добрые, уже послужившие (не раз опубликованные) вещи ложатся с новыми; присутствуют также немногие новенькие, как бы еще не совсем свои, скорее «магазинные»: это, как правило, какая-нибудь мелочь, не слишком значительная в общем контексте, но насущно заполняющая пустоты сборника. Тут поэты, по моим представлениям, делятся на две категории: одни собирают чемодан, чтобы взять с собой, а другие — чтобы специально его «забыть» и отправиться в дальнейший творческий путь налегке.

В этом плане книга Владимира Леоновича «Хозяин и гость» стоит наособицу: уж очень основательно она «нагружена». Кажется, будто предстоит не поездка, а переезд на какое-то другое место жительства. Видна хозяйская основательность в укладке «багажа»; никаких пустяков не взято, только важное, и по тому, сколько еще хорошего, талантливого, крепко написанного остается в пустеющем прошлом (к чему, похоже, уже не вернуться), чувствуется какая-то трагическая серьезность намерений автора.

Разберемся, что в «багаже». Перед нами сборник поэта, когда-то сказавшего — себе, конечно:

Пройдем же бодро переходы,  
попробуем-ка все уметь.

Данная цитата взята из не вошедшего в сборник стихотворения «Пушкин переводит Мицкевича», где Владимир Леонович сравнивает поэму — с клетью. Ему, пересоздавшему на русском значительную часть современной грузинской поэзии, лучше других известно, что перевод — это поиск оригинала в себе и в своем языке. Прежде чем оригинал бывает найден, он утрачивается. Владимир Леонович, похоже, умел утрачивать оригинал (весь этот объяснительный словесный мусор подстрочника) и возрождать его по-русски, когда переводил, к примеру, Галактиона Табидзе: революционный (оттого еще более призрачный) Петербург-Петроград, который расслаивается на небесное сияние и «венозную» реальность как раз в момент одновременного существования разных вариантов будущего, а также позднейшее воронье, «встречающее желудочным соком» весть о смерти поэта, — все это, безусловно, образы русской поэзии, образы образов, весьма близких к совершенству. Возможно, «русское-с-грузинского» Владимира Леоновича не вполне следует букве оригинала: скажем, снег у «его» Галактиона, хоть и существует (поскольку — юг) более в воздухе, чем на земле, под ногами людей, как-то очень по-русски одушевлен. Так или иначе, создается впечатление, что переводчику помогли два обстоятельства. Первое: «клетка» не-своего стихотворения, с ее вертикалями, горизонталями и «сваркой» рифмы, держала и вынуждала к тому творческому подвигу, о котором Владимир Леонович пишет в стихотворении «Переводчик, сломай карандаш». Второе, и, может быть, главное: у поэта имелась твердая и непреложная уверенность в существовании совершенного оригинала.

Обратимся к текстам сборника. Обратим внимание на то, что в собственных стихотворениях Леоновича «клетка» не такая строгая. Стихотворение то и дело запинается, как бы меняет ногу, в конце остается недописанная, незарифмованная

строка. Сами по себе вольности размера и рифмы — это прежде всего дело авторской техники; но в данном случае, как мне кажется, запинки выдают неуверенность поэта — по крайней мере в том, что создаваемое может существовать как неразмытое целое, как нечто — в пределе — совершенное. При этом Владимир Леонович обладает поразительным поэтическим слухом. Он умеет слышать нечто, несводимое к параметрам «клетки»: самую музыку стихотворения. Вот его «Стансы», замыкающие первую часть сборника:

Куда тебя леший несет? Заночуешь в кювете...  
Гляжу, как заносит, шибает груженный прицеп.  
Сильней вертанет — и хана, и никто не в ответе,  
ужо и записывай памятку в книгу судеб.

Районного праздника милое разноголосье,  
бутылка *причасья*, душевный дурной разговор —  
ну все понимаю! — и дикий удар в переносье —  
за что же?! — и глаз побелелых бессмысленный взор.

Здесь совершенно явственно звучит знаменитое «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» Николая Рубцова — настолько явственно, что пьяное, вразнос, почти под откос движение грузовика на какой-то миг обретает полет. Но Владимир Леонович не просто кладет свои слова на чужую музыку (что и само по себе резко, нашатырно освежает сказанное — это в свое время прекрасно понял Александр Еременко). Леонович полемизирует с Рубцовым, с тем, из шестидесятых, ощущением грусти, счастья, одиночества, простора.

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!  
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!  
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы  
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Так писал Николай Рубцов — ну а Владимир Леонович «перевел» его на образы современности, показал, как на том же месте уже существует иное, больное; вероятно, оно существовало и тогда, но угол зрения был другим. Условно говоря, поэзия тех лет скорее видела то, что освещено, нуждалась во внешнем и общем, как солнце, источнике света; она еще не обладала в полной мере тем автономным, ночным, инфракрасным зрением, которым нынешний художник видит антимир. Прежде чем перейти к антимирам Владимира Леоновича, отметим, что он в стихотворении «Мое вам» сумел, как никто из многочисленных подражателей, «услышать» Иосифа Бродского и сделать вариацию одной из самых жестких «музыкальных тем» нобелевского лауреата; при этом Леонович не боялся предстаť более «наивным», угловатым, простоватым, чем Бродский, потому что говорил о конкретных вещах: о московских послевоенных инвалидах, об указе 1935 года, по которому детей с двенадцати лет можно было подводить под «расстрельные» статьи.

Итак, антимир. У Владимира Леоновича это пейзажи с истерзанными пнями вместо деревьев, заплесневелые водохранилища там, где были когда-то поемные луга. Не просто одичалые места, но места со следами и результатами разрушительного труда человека. Труд этот был не обязательно подневольный, каторжный — чаще просто наемный, но вполне бессмысленный. Антитруд и самого человека спускает по эволюционной лестнице (не зря пеньки обглоданы, словно орудием служили не зубья пилы, но зубы). Человек становится уже и не зверем, но земноводным — обитателем тинистых глубин, собственно, тех же самых мест, где наяву и на солнечном свету проходило нормальное детство; человек становится утопленником, то есть мертвецом. Даже самая смерть перестала быть естественным, природным явлением: она, в силу многочисленных убийств, сделалась рукотворна, искусственна, нарушились какие-то глубинные ее законы. В результате рядом с нами, в нашем воздухе и на нашей (как будто) территории, образовался антимир неупокоенных душ. Стихотворение «Вся простота» рисует картину возвращения в Москву тех, «кого ни в мертвых, ни в живых нет»:

Вам крепки нет. Вам нет могилы:  
 Тому — звезды, тому — креста.  
 Воистину не вы погибли,  
 а мы. И вся тут простота.

Отчего же все-таки — при таком слухе, и взгляде, и образности — все время чувствуется неуверенность в собственных силах? Отчего многие произведения, включенные в сборник, словно не решаются быть совершенными? В отличие от Кавказа — «Господнего черновика», которому в книге посвящено немало хороших стихов, — Россия видится Владимиру Леоновичу без спасительного покровительства литературы. Напрямую — без той ветвящейся, самодообраивающейся и самонастраивающейся поэзии, которую надо только перевести. Прямой, незашоренный взгляд открывает следующее: повальное (в буквальном смысле слова) пьянство, грязь и безнадега; несчастные, замученные бабы, дети-полуидиоты, мужики, растерявшие мастерство, ремесло, да и просто человеческое соображение.

Владимир Леонович не может отвернуться от такой России и писать о чем-нибудь другом: слишком больно и слишком тревожно. Нет даже окончательной успокоенности от свершившейся утраты, когда горе естественным образом переплавляется в поэтические строки. Антимиры все продолжается, все длится; самое страшное — он создает иллюзию ненужности поэзии, ничтожности ее перед реальным действием: посильной помощью конкретному человеку. Поэт со своими «выцветающими при жизни» чернилами оказывается беззащитен. Перед ним открыт как будто очевидный выход: подчинить перо непосредственной злобе дня, то есть удариться в публицистику. И Владимир Леонович кое-где грешит публицистикой — если можно назвать грехом крик измученной души. Причем, судя по подборке в десятом номере «Знамени» за 1997 год, появившейся после сборника и емко озаглавленной «За уходящим светом», давление антимира все увеличивается. Стихотворение «Новизна» (где продудело несколько тактов «Интернационала») показывает, насколько новорусские реалии сбивают поэта со своего пути — на обочину общего:

От сытости и воли ошалели.  
 Вот воля: полный газ! по Поварской!  
 с сиренами! с роскошным визгом...  
 Пади!  
 И НА ЗЕМЛЕ ВЕСЬ РОД ЛЮДСКОЙ  
 падет хоть в грязь пред этим свинством.

Парадокс в том, что поэт сегодня должен защитить поэзию в себе самом — едва ли не от лучшей части своей души, но части не-творческой. Проще говоря, поэт должен поверить в свое право писать. Прыжок веры дается не каждому. Но талант Владимира Леоновича слишком существенен, чтобы им можно было пожертвовать во имя чего бы то ни было. Поэту остается только одно: «попробовать в се уметь». Посреди гниющего антимира со следами труда, похожими на следы зубов, он в одиночку предпринимает труд во благо. Это как будто не много: построить избушку, скосить траву, — но на фоне грандиозных антиусилий, увенчавшихся тихой катастрофой, масштаб такого противодвижения увеличивается многократно.

Мотивы крестьянского, до пота, труда проходят через весь сборник, автор буквально вручную создает основу, островок для собственного творчества. Понятно, что мотивы эти перспективны. В подборке «За уходящим светом» есть стихотворение «Март благословенный...», где еще лучше, чем в стихотворениях из книги, показано благое деревянное строительство. Не могу не процитировать, очень понравившееся:

К полудню — без ватника, так, налегке...  
 Топорик своей неизменной улыбкой  
 поблескивает и лежит на пеньке  
 и зыблется чуть, потому что в реке —  
 хрустальной совсем... кудреватой и зыбкой...  
 Да я говорил чуть не в первой строке —  
 струенье...  
 и зимняя крепость в теньке.



Дробится с утра, а за полдень бревно  
 податливо, врубчиво...  
 Рубишь, как репу.  
 Зато не поет уже так, как должно.  
 Пovyберешь паз и «сухарь» для укрепу...

Работа с деревом, взглядывание в его волокна, похожие на многостраничную толщу пожелтелой, набухшей от чтения книги (правильно разрезанный булыжник-агат также подобен рукописи, что «окаменела в чистых пеленах»), приводят поэта к ощущению природности и правомерности собственного творчества. Лист бумаги тоже — изначально — дерево, только подготовленное своею белизной для принятия слова. Чистый, готовый лист первым изо всех предметов брезжит в рассветающей комнате; «рука сочинителя — произведение труда» становится подобна древесному корню, впитывающему из земли ту кровь, что идет по ее набухшим жилам. Сочинитель — переводчик с природного (что есть огромная, ценная редкость среди нынешних переводчиков с заgrabного и переводчиков с английского). Цвет осинової плоти, словно занявшей оттенка «у неба на ранней заре» (цвет, пропадающий ради пустоты — где условно нет ничего — бумажного листа), есть несомненный, данный автору оригинал: «Когда я его опишу — то-то буду поэт!» В этой данности — радость, залог того, что литературное творчество в принципе возможно.

Однако одиночество само по себе способно погрузить в антимиp с головой. Преодоление одиночества — еще одна тема книги Владимира Леоновича. Преодоление происходит не только за счет энергии стихов, но и за счет многочисленных посвящений. В этом смысле книга Владимира Леоновича многолюдна, она «населена» прежде всего многими именами литераторов-шестидесятников, с которыми автор продолжает разделять некую неизбывную ношу. «Нам было по двадцать, нам было по сорок...» — пишет Владимир Леонович в стихотворении «Друзьям». Здесь звучит чувство общего времени, чувство возраста как некоего блага, делимого поровну на всех и — несмотря ни на что — продолжающего прибывать. Продолжающего, разумеется, пока все живы: ушедшие как бы увеличивают долю остающихся — и кто-то не в столь далеком времени истратит последнее. Запечатленное Владимиром Леоновичем чувство шестидесятничества, обостренное сегодня пониманием конечности поколения, уникально в нашей культуре и вряд ли повторимо в будущем (нечто отдаленно подобное есть, пожалуй, только у военных поэтов, что встречались когда-то на семинарах молодых армейских и флотских литераторов, проводившихся достопамятным ГлавПУРОм, — но та общность не берет на себя творческой ответственности за всю Россию, она занята в большей степени собой). Среди своих ровесников Владимир Леонович ищет и находит таких, кто может по праву служить оригиналом человека. Так, он пишет в стихотворении «Варлам Шаламов»:

На Лира не был он похож —  
 не те печали-времена —  
 классических подобий ложь  
 оригиналу не нужна.

Но что же, как же с теми непотребными, пьяными, изработанными, полуграмотными, униженными российскими людьми, чей удел — бессловесность? Как к ним подступиться со своим поэтическим словом? Иногда Владимиром Леоновичем, по-видимому, овладевают отчаянные надежды на какое-то запредельное — скачком в эволюции — чудо, выраженные, например, в такой разительной метафоре:

Разумный скот  
 под нож нейдет,  
 он ужасается! Вот-вот  
 его сознание озарит,  
 да так, что скот заговорит...

Но поскольку поэту уже известно, что чудеса делаются вручную, он сам, своими средствами, пытается превратить людей немых в людей говорящих. Тому служат «Записи» Владимира Леоновича, где он самоустраивается до потери знаков препинания и уступает голос своим «простоголовым» персонажам. Нет, это не попытки запечатлеть меткое народное слово и тем более не коллекции курьезов. Каждый персонаж, от имени которого звучат «Записи», присутствует в стихотворении целиком, а задача автора — со-переживательно слушать и улавливать для нужд стихотворной формы тот неявный, подспудный ритм устной речи, что обеспечен, быть может, просто человеческим дыханием. Понятно, что в действительности «Записи» сделаны рукою профессионала — это все равно сделанная речь, а сами персонажи, скорее всего, вымышленны, как это бывает в прозе. Но тем полнее авторское перевоплощение, тем правдивей звучание чувств.

Все-таки «Записи» не снимают проблемы; оставаясь в пределах «простоголового» сознания, многого не скажешь. И опять эти люди с их убогими бедствиями, в виду которых поэзия стыдится быть совершенной, остаются немые и недоступны. Жалеть ли их? Тратить ли пафос на публицистические призывы к власти предрежающим? Пытаться ли средствами поэзии (на глазах скудеющими от такого употребления) решить насущные проблемы общества и граждан? Замечательно то, что Владимир Леонович, соблазняемый, конечно, всеми этими достойными возможностями, все-таки выбирает самое трудное и вместе самое естественное. И мать-одиночка в пристанционном вагончике, и «анкагоник» конюх Вася, и нищий старик на вокзале — все они жалки и ничтожны и не стоят слова, если не иметь в виду, что у этих образов есть единый общий Оригинал. Поиск этого Оригинала — сверхзадача всей книги Владимира Леоновича. Бог в его поэтической системе — не внешнее этическое либо философское убеждение, но прямая художественная необходимость. Если Оригинал существует — тогда утрата его есть великая и общая духовная трагедия, способная так напрячь дарование поэта, что он делается больше самого себя. Испытание в том, что Бог неочевиден, Он никому еще (включая и апостолов) не предъявил неоспоримых доказательств своего существования. Прыжок веры — вот что требуется от поэта, чтобы в открытую писать о сегодняшней России. Не всегда Владимир Леонович из глубины созданного (словесно) антимира видит нечто, вселяющее веру. Когда не видит — мелеют стихи. Но общее направление поэтического потока несомненно: «Все-таки избежни анекдота или запоздалого греха».

Последняя часть книги, «Хозяин и гость», — может быть, самая напряженная. Вероятно, поэт немислим без мысли о смерти, это присутствует с самого юного литературного возраста, — но похоже, что Владимир Леонович осознал себя вступившим в пору, когда смерть перестает быть литературой. Он уже имеет опыт пере-создания почти безнадежных реалий в поэзию. Но как ни одна жизнь не дает опыта, пригодного для умирания, так и поэтическое осмысление посюстороннего не подготавливает для встречи (пока на листе бумаги) со своим концом. В смерти все новички; к тому же поэт осознает, что в естественном смертном механизме что-то сломано, выход, приготовленный для человека, завален глыбами многих преступлений. Не смерть, но какой-то иной уход? (Тут вспоминаем об уложенном багаже.) «Черногрязем, родным непролазьем, живьем ухожу» — так пишет Владимир Леонович в одном из самых трагических произведений сборника:

Так седой лисовин  
отгрызает зажатую лапу —  
не бегите за ним  
по кровавому крапу.  
На своих на двоих по прямой,  
слава Богу, покамест.  
Задыхается мой  
разностопный анапест.

Желание уйти живым и «трудоспособным», как об этом сказано в стихотворении «Не опоздай к концу», — желание парадоксальное, непонятное тому, кто всего лишь заслоняется литературой от жизни и смерти, использует метафору как безопасный контейнер для тревожащей мысли. «Багаж» собран и упакован, то есть

вышел сборником; понятно, что по «непролазью» поэт уходит належке. Что это может означать? Ведь на самом деле ни один конец не конечен — так, может, перед нами расставание с прошлым, в котором и остается сделанное поэтом?

Гора перед тобой встает  
И следующую скрывает...  
Но заблуждений не бывает,  
когда наверх!  
А там — полет...

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.

\*

## PARAMONOV: ГЛАЗАМИ КЛОУНА

Борис Парамонов. Конец стиля. М., «Аграф» — СПб., «Алетейя», 1997, 464 стр.

**О** Борисе Парамонове нельзя промолчать. Этот модный мыслитель побеждает количеством своего таланта. Ни в чем почти с ним не соглашаясь, то и дело ловя его на передержках и натяжках, на произвольных допущениях, на безосновательных утверждениях и Бог знает на каких еще грехах, разделяя недовольство и недоумение приятелей, коллег и вообще читающей публики, в конце концов не можешь не утвердиться в той мысли, что Парамонов в нашей новейшей словесности — это, как ни крути, состоявшееся явление, личность с отчетливым профилем. Эта глыба слов — Борис Парамонов — заметна на равнине современной ококультурной эссеистики. Есть, иначе говоря, такой матерый человечище с пропиской в далеком Нью-Йорке, голосом на «Свободе» и статьями в русской прессе постсоветской эпохи. Он как та *пресволочнейшая штуковина*: существует — и ни в зуб ногой.

Будь моя воля, я бы даже, например, авансом и безо всякого предварительного разбора дал Парамонову титул нашего лучшего журнального эссеиста 90-х — только уже за то, что одно его регулярное появление с заметками и очерками в журнале «Звезда» будило и бодрило душу, связанную рутиной расхожих мнений. Парамонов умеет быть интересным. Это мастер яркой фразы, умелой характеристики. Он никогда не станет пытаться тебя непрожеванным, темным смыслом эзотерических истин, скорее повторит лишний раз свою наизаветную максимум для удобоваримейшего ее восприятия. Пластинка не заезжена, мелодийка пускай и легкомысленна подчас, но не однообразна, затейливо и живо разукрашена.

И вот первая книга с основными сочинениями Парамонова вышла в покинутой им когда-то России, в серии «Символы времени». Составлена она «непосредственно автором», как отчет о работе, проделанной «в послании» лет за двадцать: из давних и недавних этюдов и эссеев. Автор мог бы претендовать, чтобы произвести событие не только в изящной словесности, если бы не зашел в почти непримиримые противоречия с самим собой (о чем еще будет сказано). Но так или иначе, в книге этой суммирован вклад Парамонова в русскую мысль.

Сборник пестроват. Однако он не распадается, потому как верный себе автор его обладает довольно цельной системой взглядов, отчетливой концепцией, какие-то и воспроизводит снова и снова, по локальным поводам и вовсе без повода. Парамонов в этой книге программнен. У него нет проблемы с наличием интересных мыслей. Он — идеолог, культурфилософ, а подчас и вполне даже самобытный мыслитель. Снова даю понять: нам чуждо многое из того, чем живет и как идейно самовыражается Парамонов. Но нас впечатляют и блеск, и нищета его рассуждений. Причем блеск неотделим от нищеты.

Но к делу. Пребывание Парамонова за океаном дает о себе знать. Он без усилия демонстрирует свое умение ориентироваться в американском культурном контексте. Однако наш автор не хочет быть просто регистратором тамошней жизни. Не слишком влечет его и критическая, на манер Токвиля, аналитика американской демократии. Парамонов хочет быть ее апологетом. Оглянемся — и не увидим

вокруг другого такого отчаянного пропагандиста буржуазной демократии, американского образа жизни, точнее — специфического американского «нового культурного стиля», сложившегося в последние десятилетия.

Борис Парамонов выступает как полпред буржуазной демократии в России. Он пытается просвещать свою «русскую аудиторию», сообщать ей «интересные и малознакомые» сведения, внушать мысль о неизбежности демократии, в которую советского человека «мордой ткнула» история и судьба, тревожится, что в России Запад «недостаточно понимают», ищет, наконец, у нас ростки «здорового» буржуазного образа жизни.

В чем видит Парамонов его достоинства? Представления его о буржуазности и демократии опираются на новейшие впечатления и довольно сильно отличаются от сведений агитпропа былых времен. Новейший универсальный стиль жизни, объясняет нью-йоркский гимнопевец, основан на терпимости, на рядоположении, но отнюдь не на противопоставлении позиций, мнений и ценностей. С 70-х годов в США утвердился новая, нерепрессивная культура, которая принесла изобилие различных благ простому человеку.

Это утверждение опирается на весьма устойчивые теоретические построения. У «новых левых» Парамонов заимствует отождествление традиционной культуры с репрессией, понимание ее «как формы угнетения, эксплуатации», «как отчуждения». Он снова и снова вспоминает герценовскую фразу о том, что Пушкин стоит псковского оброка, — вспоминает, чтобы подвергнуть сомнению ее бесспорность. Однако далее нашему автору с Маркузе и Сартром не по пути. Те призывали преодолеть ситуацию в принципе. Парамонов же взамен идеалистических мечтаний предлагает удовольствоваться тем, что в новейшем обществе уже ликвидирован диктат репрессирующей универсальной нормы, уже нет цензуры. Любой человек теперь безо всяких социальных конвульсий и катавасий имеет не только право, но и возможность быть просто самим собой.

Звучат победные реляции об упразднении, как ненужной ветоши, высокой культуры, ценностных иерархий, порожденных «эксплуататорским строем» и ставших лишними в нерепрессивной цивилизации. В новом мире нет места абсолютным началам.

*Красота?* Но «высокий художник служит эксплуатации потому, что закреплял нормативность культуры в творчестве красоты. А жизнь некрасива и в этом качестве имеет право на существование». Традиционно красота сопрягалась с «деспотизмом формы», отнимающим свободу. Теперь — не то. «Демократия как культурный стиль — это отсутствие стиля». Предстоит отказаться от «искусства как классики, как возвышающей альтернативы». «В свободном и просвещенном обществе не может быть большого, „серьезного” искусства, возможно только искусство несерьезное, игровое, сознавшее свои механизмы, разоблачившее само себя. Серьезная литература нынче — это охота на ведьм... Достоевский, ба-бай! — как говорят американцы». И если вы хотите хорошенько понять, каким же теперь будет искусство, то знайте: оно такое — «масскультовый перформанс еженедельно сменяющихся звезд MTV, искусство как непосредственное самовыражение человека с улицы: каждый заходи, пой и пляши, скреби промежность».

*Истина?* Но что есть истина для новейшего мыслителя? Ныне он — на стороне Пилата, а не Христа. Кажется, эта ваша истина — только идеологическое априори. «Общеобязательная истина» отождествляется ее критиком с «нормой, равноприемлемой и признаваемой людьми», — и в этом качестве ей отказывается в слишком-то больших претензиях. Вчера признавали — сегодня больше не признаём. Вчера принимали — сегодня отвергаем как обузу, как фальшь. И вся недолга. «Человечество вообще изжило эту установку — поиск Истины». Нет общего центра и корня. «В целостности бытия нет верха и низа». Есть только правда личная, исключительно для индивидуального употребления, как зубная щетка или гигиенические прокладки. «Демократический человек может обожествить дом и даже автомобиль, но никогда он не обожествит никакую „идеологию”».

*Личность*, строящая себя на основе диалога с вневременным ей Абсолютом, по логике долженствования, ответственности? Бред. Всякое долженствование обращается нетерпимым далее насилием над свободой индивида. «Ценность чело-

века определяется фактом его эмпирического существования, и демократия не считает себя вправе предъявлять ему дальнейшие — культурные — требования, выработать в нем нормальное, нормативное „я”. «Человеку предстоит создать свой собственный смысл, свою систему ценностей в отсутствие вечности, из чисто личных капризов, прихотей и похотей. И избавиться тем самым, по логике нашего автора, от садомазохистских комплексов. Впрочем, каждый желающий может практиковать их по-прежнему, лишь бы не вмешивался в личную жизнь соседа. Как пример Парамонов рассказал о своем общении с соседом по лестничной клетке католиком Фредом Марксом, за которым он бдительно заметил: «Как истинно верующий, мой Маркс имеет потребность в прозелитизме и пытается в разговоре промывать мозги собеседнику... Фред Маркс — садист. Ему нравится, когда его соседу, „ближнему”, грозит смерть жены или нищета. Все это прикрывается как мотивировкой христианскими разговорами о добродетели терпения, рационализируется общепринятой моральной нормой»... Получается, что прекрасный новый мир еще не вполне утвердился и в Америке, пока там есть такие вот отсталые люди. Но их время и их стиль кончатся.

Все эти скромные идеи нам, в общем-то, знакомы. Напрасно Парамонов беспокоится, что их ошеломительная новизна окажется не по зубам его российскому читателю. В обеих столицах есть немало бойких перьев, запечатлевших подобный умустрой. Он распрощан до жиденькой кашицы. А на московском «центральном» телевидении, например, трудами господ Парфенова и Эрнста он уже и восторжествовал.

Подобно своим российским единомышленникам, Парамонов — детерминист. Постмодернизм как «эстетика демократии» — неизбежен, — а Борис Парамонов пророк его. Характеризуется он «несерьезным, игровым отношением к культурным ценностям... разрушает эстетику как метафизический принцип, не верит в субстанциальность, заправдашность, реализм (в платоновском смысле) красоты, духовности, морали. Но это не мешает их ироническому приятию». «Бесполезно с этим спорить: время не переспоришь». Ой ли?

...А странная, признайтесь, наступает на нас демократия, носитель и субъект которой, по Парамонову, «единичный, атомизированный, ни в коем случае не сублимированный и не сублимируемый человек, непосредственное самовыражение».

Парамонов увлеченно живописует эту демократию атомов, этот «перспективнейший поворот культурной истории человечества», грядущий социальный рай: «Не город, а пригород... не гетто мегаполисов, а „гетто избранничеств” — сугубо индивидуальная жизнь, приближающаяся к своему идеалу и логическому пределу: жизнь поэта, артиста, то есть экстремально индивидуализированной личности. Отъединение, смягченное всеми современными средствами электронной коммуникации». Такая вот «приватизация бытия». И это наступит вот-вот, если только не вмешаются в ход событий алчные *мировые массы*, скифы и азиаты, какие-то самоневейшие «внутренние турки» (есть в книге смутное ощущение этих угроз, но вообще-то наш автор предпочитает доверять мощи и потенциалу демократического Запада и призывает всякого иммигранта стать «евреем», то есть, по Парамонову, «человеком без стили», идеальным приспособленцем, без трения адаптирующимся к социальной среде).

Все это напоминает, увы, строительство дворцов на песке. Однако автор признается, что уже присматривает себе дом в пригороде. И дай ему Бог там счастья.

Но что же остается, когда мы освобождаем человека от высшего идеала и твердой нормы, от долга и ответственности? Оформляя свои идеальные представления, Парамонов, как и следовало ожидать, обнаруживает явное тяготение к контркультурной парадигме западных шестидесятых. Он интерпретирует новую демократию как царство природы. После сокращения на стенках оседает некий *натуральный остаток*. Некая конкретная телесность. Но в отличие от тогдашних бунтарей Парамонов не жалея сил защищает обывателя. Собственно, именно таков его культурный герой. О нет, не «малодушный пошляк», не «трусливый конформист», ославленный «радикальными публицистами». А кто же? Читаем книгу. Идеал Парамонова — *человек, который почесывается*, «природное существо», человек неглиже, телешом, без пафоса и формы, реализующий себя «естественно», то есть

физично, если угодно — животно. А впрочем, просто не напрягающийся ловец моментов с их мимолетным счастьем. И «если вы чуть-чуть выделитесь, пожалуйста, расскажите о ваших сексуальных предпочтениях. И это делают охотно».

Бедой России считает Парамонов безысходное пребывание в сфере репрессивной культуры, в пределах «репрессивного морализма». Выразилось оно как в «насилыственном воплощении добра в полноте социальной жизни», так, в частности, и в господстве литературы: «Чтение создавало иллюзию дела, делом не будучи, русский человек был выбит из бытия как деятельности. Книга — опиум для русского народа». Ядовитого памфлета удостоился бывший губернатор Сахалина Федоров, по должности — деловой человек, которого, однако, угораздило еще и насочинять романсов. Особенно вредным предстает у Парамонова искусство, ставящее большие задачи. Сплошь и рядом такое искусство у него становится каналом тоталитарной репрессии. «Великая литература» способна «расцветать на любом навозе, даже (и преимущественно) на кладбище, удобренной (sic!) трупами ГУЛАГа».

Хочется сказать: поосторожней бы на поворотах. Ведь такой поход литератора на литературу как-то обесценивает и затеянную им литературно проповедь нового быта. Начинает складываться впечатление, что автору нужно было нести в Россию свет новой жизни нелитературными средствами... Но пока Парамонов пытается искать в ее истории ростки нерепрессивной культуры, зачатки буржуазности.

Открытия подчас заняты. Автор, например, производит переоценку литературных образов — гоголевского Чичикова (настоящего буржуа, героя жизни) и Смердякова из «Бесов» (квалифицированного специалиста, «хорошего повара»). Получают отпущенье грехов и умевшие быть богатыми русские советские писатели — рантье и буржуа вроде Леонида Леонова, — зарабатывавшие литературой на хлеб с маслом и тем торившие дорогу к рынку. Автор видит в таком самоизживании художественного сознания «главное духовное событие истории русской культуры советского периода». В общем-то, именно деятели искусства и оказываются, если судить по книге, передовым отрядом российских буржуинов, деловых людей XX (а может быть, и XXI) века. Конечно, тема литературных гонимых — довольно богатая. Но и самый яростный накал ее едва ли даст большой общественный эффект. С другой стороны, описанного Парамоновым человека мы видали сегодня в России в сфере искусств. Легко и беспроблемно подобный стиль воплощали Кулик, Бренер и Осмоловский. «При этом, однако, выясняется, что физический человек демократии, обнажаясь и заголяясь, отнюдь не „разлагается“ в моральном смысле, — рассуждает Парамонов, припоминая рассказ Достоевского и полемизируя с его автором, — что это как раз живой человек, а не труп „Бобка“».

Очевидная безрелигиозность Парамонова органично сопрягается со всем кругом его идей. Однажды он объявил, правда не сильно настаивая, что «в современном мире, при господстве в нем секулярных и позитивистских концепций бытия, лучше вообще обходиться без каких-либо религиозных реликтов». Сам эссеист этому рецепту следует без затруднений. И результаты налицо. Первый — почти полная свобода в обращении с «боженькой», умеряемая только относительным равнодушием к собственно религиозным сюжетам. В одном месте Парамонов как бы между прочим называет христианство «восстанием иудеев-гомосексуалистов», в другом обозначит Иисуса Христа панком, хиппи, одобряющим секс-индустрию, в третьем сообщит, что «подлинному христианству чужда идея Церкви, соборного переживания Истины»...

Оно конечно, ограничивать автора в его словоговорении — дело непочтенное. Мели, мельница, мели. Но уж что-нибудь одно. Либо прах земной, либо зерно Истины. А то ведь Парамонов ни с того ни с сего вдруг возьмет да и объявит, что «Бог не захотел», вишь ли, жертвы Алексея Лосева, пострадавшего за «Диалектику мифа» не до смерти... Откуда эти люди так много знают про то, чего хочет Бог?

Вопрос, конечно, риторический. «Знают» именно потому, что не верят. А потому совершенно безответственно используют сакральные понятия как игровой элемент. Тут нет дерзания, а есть разве что лишь ленивая провокативность. Или, быть может, «объективная» притупленность духовного зрения? Иначе как, например, объяснить, что своими предшественниками по апологии натурального челове-

ка Парамонов почти всерьез считает Бердяева (за «великий отказ от нормы») и Розанова (за переоценку значимости пола и адогматизм) — мыслителей все-таки религиозных, у которых человеческое бытие ценно отнюдь не само по себе, а получает осмысленность в перспективе спасения в вечности.

Я, наверное, придаю этим высказываниям нью-йоркского автора слишком много важности. «Художник, вспомним, человек несерьезный, в сущности бездейный». Парамонов постулирует для своего слова иные законы, подчиненные не внешней норме, не «прозреваемой ценности», не «интуиции потустороннего бытия», а личной воле художника — «спортсмена-рекордиста», рекорд которого «принципиально индивидуален и посюсторонен, фактичен, а не идеален». В отсутствие общей шкалы незыблемых ценностей, общего смысла понятий художник может невозбранно предаваться словесной эквилибристике, лишь бы не скучно было играть в литературу. Литература «превратится в цирк, собственно, уже превратилась, уже дала несколько великолепных клоунов». Парамонов замечает: «Все стихи шуточные, сказала молодая и умная Ахматова. Потом она постарела и стала писать серьезно. Результат ужасен — „Реквием“».

Результат Парамонова ужасен не менее — «Конец стиля».

Это — клоунада по заданию, лишенная сама меньшей обязательности. Автор шутит шутки: прыгает от мысли к мысли, как птичка с ветки на ветку. Его афоризмам всегда можно дать нелобовое, ироническое прочтение, откуда, кстати, их неуязвимость для критики, но и уязвимость для серьезного восприятия. Где ему верить?

При таком настрое автора не найдем мы в книге и сильного чувства, глубокого юмора или печали. Насколько проникновенней мелодия души, например, у Александра Гольдштейна в его «Расставании с Нарциссом», если даже некоторые темы там совпадают с парамоновскими.

Парамонов — конькобежец, а не рудокоп. Ему далеко не всегда удастся двинуться вглубь, чаще же он скользит по касательной. В конечном итоге «идей» у автора не так уж много, а вот «стиля», разыгранных экспромтов и остроумных кунштюков — с лихвой. А нередко эссеистом только по-новому озвучены ходячие парадоксы (поэтому книга уютна уютном обжитого жилища). Многие эссе — это стало ясно в книге — небрежные и сырые, с повторами, подчас буквальными (скажем, вязнет в зубах сообщение о том, что Чехов торговал селедкой, как аргумент в пользу буржуазной обывательщины). Но обязаны ли мы упрекать за это эссеиста? Таков его программный посыл. Напрасно только он приписывает подобные устремления, например, Пушкину или Солженицыну. Лестно, конечно, состоять в такой компании. Но по чину ли?

Впрочем, только что упомянутые авторы пострадали в книге меньше иных прочих. Есть в нашей культуре гораздо более сильно задетые Парамоновым фигуры. Его сборник — это настоящий букет иногда жестоких разоблачений, перед которым меркнут баснословные чемоданы Руцкого и наиужаснейшие открытия Минкина с Доренко. Собственно, такова чуть ли не ведущая интенция творчества Парамонова: разоблачение, редукция, сведение к простейшему (он и сам это порой признает). Когда более, когда менее успешно автор вскрывает социальную основу тех или иных жизненных и литературных реалий. Но по-настоящему увлеченно он ищет психоаналитическую, сексуально-компенсаторную подоплеку идей и образов. Как свести «дух к сексу, „мозг к паху“».

О чуждых ему российских литературных критиках Парамонов однажды заметил: «Эти чудачки так и не удосужились прочитать Фрейда». Сам он такой ошибки не делает и решительно берет в умелые руки «Ариаднину нить — всепобеждающее учение Зигмунда Фрейда», чтобы показать, как претворяются в философию и литературу «элементарные инстинкты». «Занятие интересное». Выясняется, что Достоевский не изжил Эдипова комплекса, что Маркс психологически идентифицировал себя с ненавистным преуспевающим буржуа, что другой Маркс (который Фред) — религиозный садист (см. выше), что «писаревское разрушение эстетики в психологической глубине раскрывается как бунт против условностей культурной жизни, репрессирующей сексуальность», что «форсированное, истерическое юдо-

фобство» Шафаревича и Белова «должно скрывать потаенную зависть галерника к вольной пташке» и т. д. и т. п.

Прелесть подобных исследований в том, что они у нас пока еще в новинку. Раскопки — взять на пробу — Александра Эткинда явно избирательны. Парамонов же смело орудует по всему культурному фронту — и от его исследовательского ножа пух летит из всех ученных перин и подушек.

Слишком ясно, что такая аналитическая установка нашего автора тесно связана с восприятием культуры как репрессии и с утверждением натурального, свободного от цензурного зажима человека. Та же литература в этом контексте еще раз оказывается занятием переходящим, формой сублимации, которая теряет свой смысл, если сублимировать инстинкт больше не нужно, если можно его просто реализовать. С одной стороны, Парамонов логикой своих взглядов приведен к необходимости приветствовать это самоупражнение словесности. С другой — он, кажется, не очень этому рад. И его можно понять: не будет литературы — не будет и литератора Парамонова. Умело дозируя ученость и развязность, эссеист разоблачает Бердяева вместе с его сублимационной идеей творчества как преодоления изъясна бытия, вызванного грехопадением. Идея оказывается невостребованной в мире, где отсутствует сама память о грехе, где всё можно. Значит, по Парамонову, и философия Бердяева больше не нужна, а стоящая за нею бездна бессознательного может теперь раскрыться без маскировки. «Бедный... Бердяев»... Но в одном ли только Бердяеве дело?

Культура возникает, когда существует цензура, и достигает при этом зажиме необычайной сложности. Впрочем, по Парамонову, «сложность художественно одаренных натур весьма однообразна: куда ни плюнь, попадешь в педераста». И он с большой самоотдачей объясняет, почему большевизм — это гомосексуализм и отчего, «чтобы войти в мир искусства, потребна некая сексуальная смещенность, эксцентричность», а особенно подробно рассказывает о том, как «амбивалентность чувств гомосексуалиста» обнаружила себя в знаменитой книге маркиза де Кюстина... Коронным случаем становится для автора судьба и личность Марины Цветаевой. Им посвящено лучшее, наверное, в сборнике эссе «Солдатка». Сказать «лучшее» означает, однако, в данном случае не сказать ничего. Вещь скандальная и эффектная, заставляет вздрогнуть. Лучше бы ее, наверное, вовсе не было. Но это со сторонней точки зрения. А Парамонов предстает здесь во всеоружии — во всеоружии умелого и опытного аналитического разоблачительства, моральной невменяемости, гиперэстетического блеска. Эссе впечатляет каким-то странным, трудно постижимым соединением несоединимого. Стремление к натурализации человека, к упрощению его личностного содержания — от культуры и духа до чего-то внедуховного, внеидейного, внекультурного — соединяется с попытками мифологизации личности Цветаевой, предстающей чуть ли не воплощением витальной души России. Изыски стиля, достигающего декадентско-барочной узорочности, сочетаются с обнажившимся душевным провалом автора в язычество, в дионисизм и хтонизм. Парамонов обретает даже некую новую, странноватую значительность, раскрываясь в бездну полуночного мрака, тотального хаоса. Иногда возникает ощущение, что клоун портретирует здесь в первую очередь себя — окольными средствами, трижды защитаясь от соглядатайства, — открывает дно своей души... Вещь эту можно понимать или слишком просто (и тогда получится разве только пошлость), или ее вообще не понять. Что это такое: «Она, как Германия у Томаса Манна, взяла на себя вину времени. *Была* виной времени. Марина Цветаева — сама Россия, русская земля и — одновременно — гибель ее и разорение»? И на кого намекает Парамонов, продолжая: «Это от нее, от матери-земли, в ужасе и отворачивании разбегаются сыновья. Все Телемаки делаются Одиссеями», — и далее: «Требуется возвращение Одиссея»? Я не знаю.

Будем считать, что Борис Парамонов вернулся. Не будем уподобляться женихам Пенелопы, поаплодируем скитальцу. А потом все-таки заметим: трудно понять, пойдет ли на пользу новой России его книга. Не свелось ли все дело к пустому трепу? Или вызов принят? И к чему ведет это открытие америки? Ясно, что своей тягой и к упрощению культуры, и к бытовой стабилизации ее автор как-то



совпал с популярным вектором профанной общественной воли. Общество, кажется, готово прислушаться к соблазнительным репризам заезжего артиста.

Автор преимущественно разоблачает, низводит с пьедестала, подвергает радикальной редукции, нигилистическому упрощению все, что кажется ему слишком сложным, за-ради сугубого демократического здравия. Причем делает он это с профессорской безмятежностью, претендуя, в общем, на солидность и достоинство. Возможно, однако, такое здравие на отечественной почве оборачивается не слишком благопристойным упокоем. Что американцу здорово (здорово?), то русскому... В отсутствие балансов и противовесов акробат срывается с проволоки и летит на камни. Опять же и «Бобок» — он таки сквозит откуда-то из щели. И витает, витает в атмосфере запашок скандала... При этом сам автор вроде бы все-таки остается (воспользуемся излюбленным парамоновским способом характеристики) типом позднесоветского интеллигента, составленного из противоречий. (Первое из таких противоречий давно замечено: автор «Конца стиля» — опытный и умелый стилист.) Парамонов не совпадает до конца с избранным им для себя амплуа (имиджем, маской). Но он, возможно, и сам с собой не совпадает, исключив каким-то манером высшее измерение из своей литературной практики. Цивилизатор-рыночник, честный обыватель, сексуальный изыскатель, ниспровергатель предрассудков и репутаций, демократический конформист, презрительный аристократ, «мастер интеллектуального эпатажа», апологет и критик, великий упрости-тель с богатой и пестрой душой, Парамонов и груб и тонок, типичен и единичен как явление сомнительной и лукавой эпохи и как взыскательный (а может, и взыс-кующий) художник, сумевший-таки сублимировать то и так, что и как хотел.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.



## ПИСАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ «ТРИ ШЕКСПИРА»

И. Г и л и л о в. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., «Артист. Режиссер. Театр», 1997, 474 стр.

**М**ироздание полно тайн. А человек, естественно, стремится разгадать их все — начиная с Божьей воли и заканчивая кроссвордами. В частности, вот уже полтора столетия некоторые энтузиасты ищут ответ на вопрос: кто написал пьесы Шекспира? Поскольку Шекспир из Стратфорда, пайщик и артист театра «Глобус», представляется им личностью, данной роли не соответствующей: невежда, кабацкий завсегдатай, а может, еще и ростовщик... Правда, и многие другие гении «по жизни» выглядят иначе, чем в своих творениях, но обычно места для сомнений не остается: его заполняют рукописи, воспоминания современников и прочие факты. А тут — не то чтобы широкий простор, но зазор имеется. И есть шанс протиснуть туда «настоящего» Шекспира.

Мы от этого спорта были отлучены: советское ведение давно и окончательно решило вопрос в пользу стратфордского Шекспира, — и лишь в специальных трудах попадались главки, рассматривающие проблему авторства — вернее, небрежно от нее отмахивающиеся... Книга «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» — первая за семьдесят лет, активно отстаивающая «антистратфордианскую» версию, — стала, без преувеличения, сенсацией. У автора берут интервью; толстый том передают из рук в руки; полужнакомые люди впадают в споры, доходящие до крика и хрипа, в семьях возникает разлад... Одни с горящими глазами твердят, что это блистательная, неопровержимая научная работа, притом написанная увлекательно, как детектив; другие (меньшинство) шалеют от изумления — как можно воспринимать всерьез это ненаучно-фантастическое сочинение, где, как в плохом детективе, концы с концами откровенно не сходятся? Я принадлежу к последним; потому и пишу: не в надежде переубедить сгилевшую публику, но чтобы

построить в ряд свои возражения, которые в устной дискуссии высказать не удавалось, и, главное, чтобы разобраться в причинах столь поразительного ажиотажа.

Прежде всего впечатляет масштаб проделанной работы: Гилилов привлекает к исследованию множество редких книг, рукописей, документов, гравюр, приводит массу сведений о правилах книгоиздания, родственных отношениях между аристократическими семьями и прочем. И конечно, надо учитывать, что он первым подробно и развернуто изложил всю «антистратфордианскую» аргументацию, которая прежде доходила до нас в неполном и разрозненном виде. А в ней имеются определенные резоны — иначе спор просто не мог бы продолжаться полтора столетия. Я в подробности вдаваться не буду, интересуясь изобретениями Гилилова, а не рассуждениями его предшественников. Приведу лишь пару-тройку наиболее сокрушительных — судя по реакции публики — аргументов.

Во-первых, завешание, бесспорно принадлежащее Шекспиру из Стратфорда: очень обстоятельное, расписывающее всю недвижимую и движимую собственность вплоть до «второй по качеству кровати», но не упоминающее книг, ни словом не касающееся творческого наследия и вообще лишенное каких-либо примет высокой духовности — словно не великий Бард диктует свою последнюю волю, а расчетливый лавочник. Во-вторых, его подписи (числом шесть), действительно выглядящие более чем странно: корявые, разбегающиеся в стороны буквы, пропуски, каждый раз разное написание — кажется, что человек, поставивший такие автографы, был либо пьян, либо вовсе непривычен держать в руках перо. А других автографов — по крайней мере бесспорных — нет, и это опять же странно: ведь от всех почти поэтов остались какие-то рукописи. И еще одно: в списке студентов Падуанского университета за 1596 год рядом с именем Роджера Мэннерса, графа Рэтленда стоят имена двух датчан — Розенкранца и Гильденстерна...

Стратфордианцы пытаются объяснить шекспировские каракули годами, к которым они относятся: как раз начиная с 1612-го, когда Шекспир оставил театр и перестал писать, — и вполне возможно, что причиной была болезнь. Что касается завешания, то, в конце концов, это денежный документ, а не сонет. Относительно Розенкранца и Гильденстерна вопрос остается открытым... И в итоге каждый выбирает ответ в меру своего разумения.

Лично мне так кажется, что выставлять своих однокурсников в столь гнусной роли — дело, недостойное высокородной особы. Тогда как актер мог чутким ухом прихватить где-то прозвучавшие звонкие имена не то впрямую обратиться к заведомо «Глобуса» Роджеру Мэннерсу: дескать, ваше лордство, сделайте милость, подкажите пару фамилий для новой пьески про Данию. Лично мне кажется, что писал актер, а сторонники версии о неведомом гении просто не знают, что такое театр. И не понимают элементарной вещи: годами морочить головы целому актерскому коллективу — совсем не то, что втихую подбросить рукопись издателю и стремительно убежать. Вспомним: двадцать лет кряду «Глобус» выпускал шекспировские премьеры — иногда две, иногда одну в сезон. И представим себе картину: человек, состоящий в театральном штате, приносит пьесу; начинаются репетиции, во время которых артисты, естественно, обращаются к предполагаемому автору с вопросами насчет своих ролей; больше того — они свободно могут попросить о каких-то исправлениях: «реплика на язык не ложится»... Даже и сейчас, когда к писателям относятся куда более уважительно, изменения драматургического текста — обычное дело: скажем, Булгаков перерабатывал пьесы по просьбе МХАТа. Но что было делать Шекспиру, если он не писал шекспировских пьес, — каждый раз бросаться за помощью к лорду X? А если искомый лорд отправился в Италию — ждать, пока вернется? Да Господи Боже мой, неужели непонятно, что в таких условиях тайна не осталась бы тайной! Самое позднее к концу второго сезона ее знал бы весь театр, а к началу третьего — весь Лондон... Так что логика требует обойтись тем Шекспиром, который есть, а не нравится — значит, не нравится. Мне в этом мире очень многое не нравится.

Однако Илья Гилилов относится к породе преобразователей, которые стремятся подогнать реальность под свой выбор. Как можно было догадаться, он выбрал в Шекспиры графа Рэтленда — но не только его. Что значит «не только», разъясим чуть позже, а сперва отметим, что герой не нов: его кандидатуру уже обсуждали и,

за рядом несоответствий, оставили; однако автор «Игры об Уильяме Шекспире...» полагает, что обнаружил новые — на сей раз бесспорные — доказательства. Первое и основополагающее — так называемый честеровский сборник, где пять поэтов, включая Шекспира, оплакивают некую прекрасную, нерасторжимую и в смерти пару, именуемую «Феникс и Голубь». Отношения этих дивных птиц были платоническими (очень важная деталь), но после их гибели в жертвенном огне осталось загадочное и бессмертное «Создание» («Creature»)... Естественно, что участие Барда — обстоятельство, достаточное для того, чтоб исследователи попытались идентифицировать героев книги. До сих пор попытки оставались безрезультатными; особенное затруднение создавал тот факт, что сохранившиеся экземпляры датированы разными годами: 1601-м и 1611-м.

...Первое, что предлагает наш автор, — не смотреть на различие в датах, поскольку сами книги абсолютно идентичны: напечатаны на бумаге с одинаковыми (причем очень редкими) водяными знаками, с одними и теми же шрифтовыми погрешностями и опечатками. Это — единственный вывод Гилилова, который не вызывает возражений; дальше начинаются допущения и домыслы. Если одна из дат неверна — значит, сие сделано специально, а значит, неверными могут быть обе, а значит, надо найти подходящий год: отмеченный смертью некой замечательной пары. Получается 1612-й: именно тогда граф Рэтленд умер, а Шекспир перестал писать; что же до графской жены Елизаветы Сидни, то год ее смерти точно не установлен — так почему бы ему не быть опять же 1612-м? И почему бы графине не покончить с собою, как поступила Феникс в поэме? Правда, Рэтленды много лет жили раздельно — но эту деталь можно тоже не брать во внимание. Зато известно (?), что супруги никогда не вступали в интимную близость — вот он, искомый платонический союз! — а также то, что их оплакивают «крупнейшие писатели эпохи»; а кого им оплакивать, если не Шекспира?.. Насчет «крупнейших» вышло преувеличение: кроме самого «Шекспира» (который в лице четы вроде уже умер), к таковому может быть причислен только Бен Джонсон; Джордж Чапмен и Джон Марстон хотя присутствуют в истории английской литературы (и в «Краткой литературной энциклопедии»), но в филфаковские хрестоматии не попали, а Роберт Честер, которому отданы 168 страниц из 195, — личность вовсе неизвестная, и поэма его, по оценке самого Гилилова, — произведение отнюдь не выдающееся. Ну и что? — низкосортность главного в сборнике текста объясняется целыми конспирациями. В тех же видах понадобилось и присутствие Шекспира, трехстраничную поэму которого написала на самом деле Мэри Пембрук — тетка Елизаветы, также участвовавшая в создании коллективного автора под названием «Уильям Шекспир». А главным доказательством коллективности является, по Гилилову, небывалый объем шекспировского словаря: пятнадцать тысяч слов — ясно, что один человек не мог знать столько! Вот Бен Джонсон — всего семь с половиной тысяч выучил... Правда, Мэри занималась по преимуществу посмертным редактированием, а Елизавета хоть и писала вместе с Роджером, но лишь начиная с «середины первого десятилетия XVII века; ее рука заметна в некоторых сонетах, в последних пьесах — „Цимбелин“, „Зимняя сказка“». Каким образом удалось опознать руку, если, по словам самого Гилилова, бедная девушка не оставила ни строчки? А Бог его знает. Но только без Елизаветы вся концепция рухнет: ведь «Creature» сотворено парой. Вот автор и отдал ей что похуже...

Наверное, не стоило бы впадать в ёрнический тон: феномен гилиловского успеха требует серьезного рассмотрения. Но в том-то и дело, что основательный анализ применим лишь к очень избранным местам этой «научной» работы — а большая ее часть абсолютно фантастична и одновременно анекдотична. Чего стоит один сюжет с похоронами Рэтленда! Сначала автор долго и старательно уверяет, что они выглядели крайне загадочно: гроб был закрыт, никому не позволили взглянуть на лицо покойного, — чтобы затем ошеломить читателя душераздирающим объяснением: оказывается, на фамильном кладбище похоронили не Роджера Мэннера, но какого-то другого человека! А граф упокоился в соборе св. Павла, рядом со своей супругой... При этом совершенно не доказано, что Елизавета погребена именно там, — архивы собора сгорели, воспоминания очевидцев, естественно, отсутствуют: «Те немногие, кто знал все, были связаны страшной клятвой молчания».

А самое забавное, что эта история вообще не имеет отношения к делу. То есть для выяснения авторства абсолютно все равно, где, когда и как похоронены супруги, — в любом случае на их могиле не написано: «Уильям Шекспир». Так зачем выкапывать гробы? Не лучше ли оставить Рэтлендов на фамильном кладбище, где имеется, кстати, и общее с женой надгробие?.. Только ведь «страшная клятва» — это так увлекательно! И Гилилов выдумывает безумный сюжет, основываясь на единственном указании — трех строчках из частного письма от 11 августа 1612 года: «Вдова графа Рэтленда умерла десять дней назад и тайно похоронена в храме св. Павла, рядом со своим отцом сэром Филипом Сидни». Свидетельство современника, конечно, должно бы заслуживать доверия, если б не последующая фраза, звучащая странновато: «Говорят (правильнее было бы перевести „злословят“ — А. З.), что сэр Уолтер Рэли дал ей какие-то таблетки, которые умертвили ее». Прежние исследователи читали ее, как написано: Рэли, дескать, убил несчастную графиню. И, признавая эту возможность, так сказать, технически — он хоть и сидел уже восемь лет в Тауэре, но пользовался достаточной свободой, — не находили решительно никаких мотивов для убийства. Гилилов предлагает «прочтение»: «таблетки» были даны Елизавете по ее просьбе. А изготовить их для заключенного «мог его сводный брат Адриан Гилберт, живший в те годы в доме Мэри Сидни-Пембрук и занимавшийся составлением различных лекарств», — но помилуйте, если отравка имелась в родственном доме, зачем идти за ней в Тауэр к постороннему человеку, которого ведь тоже придется посвящать в тайну?..

Впрочем, по Гилилову получается, что никакой тайны и не было: все всё знали. Знали авторы и составители честеровского сборника. Знал Джон Донн, лишь по случаю не принявший в нем участия. Знал создатель гравюры «Писатель, скрывающийся за занавесом». Знал Р. Бертон, поместивший на титульном листе своей книги «Анатомия меланхолии» законспирированный портрет Рэтленда, который Гилилову удалось идентифицировать. Знал поэт Джон Дэвис, опубликовавший стихотворение «Нашему английскому Теренцию мистеру Уиллу Шекспиру»; почему Теренцию? — спрашивает автор. И отвечает: потому что Теренция подозревали в плагиате. «Дэвис отлично понимал, какие ассоциации это имя вызывает, — и рассчитывал на них. Намек тонкий, но для посвященных вполне достаточный...» Безусловно был «посвящен» король Яков, потому и зачислил труппу «Глобуса» к себе на службу всего через десять дней после приезда в столицу: «Ясно, что это не могло быть случайностью — кто-то в ближайшем окружении нового монарха принимал театральные дела весьма и весьма близко к сердцу!» — а что, этот «кто-то» обязательно должен быть лицом впрямую заинтересованным? Бескорыстная любовь к искусству исключается?.. Но Гилилов, столь заботящийся о достойном моральном облике Уильяма Шекспира, своему Шекспиру позволяет совершать поступки, мягко говоря, некорректные. Вот, например, история с посмертной публикацией памфлета Роберта Грина, где содержатся резкие выпады в адрес некоего актера-драматурга, вообразившего себя «единственным потрясателем сцены» (четкое указание на фамилию Shakespeare — «потрясающий копьём»), — как известно, в том же 1592 году издатель Генри Четл выступил с вежливыми извинениями, и почему бы? Оказывается, с ним «поговорили», и разговор заставил его «испугаться» — это что ж за способ выводить начинающего автора из поля критики?.. Кстати сказать, в другом месте Гилилов утверждает, что первый шекспировский текст надо датировать 1593 годом, поскольку традиционная датировка: 1589 — 1590-й — вступает в противоречие с годом рождения Рэтленда: 1576-й; но это, конечно, мелочи. А вот число «посвященных» мелочью не назовешь. Потому что были ведь еще и родственные лорды, издатель фолио Эдуард Блаунт, поэты Леонард Диггд, Хью Холланд, Уильям Браун, Кристофер Брук... к сожалению, недостаток места мешает мне перечислить всех, кого выявил Гилилов.

Но в общем итоге получается: не знали только актеры. И не потому, что именно их, своих коллег и многолетних сослуживцев, Уилл Шекспир сумел провести, — в действительности Уилл Шекспир никогда и не выдавал себя за драматурга: будучи не просто необразованным, но неграмотным (см. подписи), он не смог бы выступать в столь сложной роли. Дело в том, что глобусовских комедиантов «вообще вряд ли интересовало», кто писал разыгрываемые ими пьесы: они были

невежественными, грубыми и жадными пропойцами, разумеется, не способными отличить бессмертный шедевр от жалкой поделки... Положим; но в любом случае они были не марионетками, а живыми людьми. И простое человеческое любопытство побудило бы их заинтересоваться: откуда это на театр регулярно обваливаются пьесы? и кто потом отдает их в печать, прикрываясь именем пайщика труппы Уилла Шекспира?..

Таким образом, на первое место выходит вопрос: почему же тайна Рэтленда со товарищи все-таки не раскрылась? Ответ прост: одни молчали, уважая волю триединого Барда, а другие — из страха. Потому как у лордов разговор короткий: Бена Джонсона, которого «необходимость молчать терзала почти физически», строго предупредили, спалив его кабинет и библиотеку; здание «Глобуса» сожгли тоже, поэт Джордж Уитер «был брошен в тюрьму»... Террор! Поневоле прикусишь язык, а коли распирает — пустишься в невнятные намеки. Впрочем, намеки — отдельная песня: Гилилов умудряется найти их в таких местах, где другой человек увидел бы нечто противоположное. Например, в анонимной пьесе «Возвращение с Парнаса», игранной в Кембридже в конце 1590-х годов.

Там имеется персонаж по имени Галлио — аристократ, подобно Рэтленду, только что вернувшийся из Падуи; и мало того: он все время декламирует шекспировские стихи! Отсюда следует, что кембриджские студенты опять же знали тайну своего бывшего соученика и говорили о ней намеками, «для посвященных достаточно». Но прелесть в том, что роль Галлио — откровенно шутовская. Он беспрерывно похвально клинком из «чистой толедской стали», которым заколот «немало поляков, немцев и фламандцев», то обувью, которую меняет каждые два часа, и камзолом ценой в двести фунтов, то «бриллиантами» своего ума, «ценность которых воистину неизмерима». Словом, это классический комедийный хвостун, и шекспировские стихи, которые он читает как свои, — просто еще один атрибут, добавленный к традиционному набору. И в соответствии с той же традицией собеседник Галлио — ловкач Инжениозо — под видом лести издевается над бахвалом и постоянно выдает реплики апарте: «Сейчас мы получим не иначе как чистого Шекспира и обрывки поэзии, которые он подобрал в театрах»; «Видите — „Ромео и Джульетта“! Какой чудовищный плагиат!». А Гилилов добросовестно приводит все эти детали, находя в них еще одно весомое подтверждение своей концепции: такова сила убежденности.

Вернее сказать, это почти одержимость, которая не признает никаких резонансов и видит только то, что хочет видеть. Если Шекспир не упомянул в своем завещании книг — значит, никогда не имел их; если Рэтленд не упомянул в завещании Елизавету — значит, знал, что «супруга последует за ним»: «они заранее условились вместе покинуть этот мир»... И сии фантастические домыслы высказываются столь уверенно, что поневоле начинаешь думать: а ну как автор просто сам все видел? Примерно как Даниил Андреев.

Пора, однако, переходить к главному вопросу: почему эта гиль была встречена аплодисментами, — хотя на самом деле я не могу ничего объяснить. Я могу рассуждать «вообще»: о социальных явлениях, тенденциях и проч. А когда дело касается конкретных знакомых и вполне уважаемых людей — погружаюсь в глубокое недоумение... Тем не менее займемся поиском причин.

Как известно, мы живем в смутное время, одна из главных примет которого — глубокий кризис идеологии. И дело не только в том, что многие старые представления непоправимо дискредитированы, — дело в полной дезориентированности общественного сознания, не знающего, где искать опору. Таким временам очень свойственны мгновенные и бурные увлечения всякими свежими (или псевдосвежими) теориями — особенно если к ним приклеена этикетка «раньшебылоподзапретом»<sup>1</sup>. Однако надо заметить, что разоблачения касались лишь советской системы и почти не затрагивали глубинных культурных мифологем. Наоборот, речь шла о возрождении прежних ментальных парадигм — от православия до веры в приме-

<sup>1</sup> Насколько характерна сегодня такая ситуация, свидетельствует следующая ее копия в уменьшенных масштабах. Предоставляем слово обозревателю Т. Блажной, откликнувшейся на новое издание ершовской сказки: «Публикацию замыкают две статьи о роли Пушки-

ты и колдовство. Но попытка опереться на прошлое к успеху не привела, и результатом общей потерянности стало нигилистическое стремление подорвать основы. А Шекспир — как раз один из столпов нашей культурной реальности. И что характерно: обостренный интерес к вопросу шекспировского авторства возникает именно в эпохи, занимающиеся кардинальным пересмотром идеологий. Так обстояло дело в середине XIX столетия, когда появились дарвинизм, марксизм, позитивизм и прочий нигилизм; так же было в первое революционное десятилетие... Вот и сегодня ниспровергательская концепция пала на благодатную почву.

Однако есть еще одно важное обстоятельство, касающееся непосредственно интеллигенции, которая, собственно, и читает Гилилова. Дело в том, что мы лишились культурных кумиров, прежде имевшихся в избытке, и вообще несколько поколебались в своем душевно-взволнованном преклонении перед Искусством. Сегодня многие и многие (включая меня) откровенно предпочитают детектив серьезной литературе; но некоторый стыд по этому поводу в душе присутствует. А книга Гилилова от стыда освобождает: представляется интеллектуальным чтением, на самом деле будущи расслабляющим детективом. Эдакой Александрой Марининой в весомой историко-литературной упаковке.

Ибо — что утверждает о себе Маринина? Что она (как и Гилилов) владеет обширными профессиональными знаниями: недаром в милиции работала. И действительно, по части соблюдения следственных процедур, правил выемки вещдоков и прочей атрибутики сомнений не возникает. А дальше начинаются чудеса. Писательница твердит, что ее истории построены прежде всего на логике, логике, логике, что ее героиня Настя Каменская очень умная, умная, умная и преступления раскрывает исключительно посредством анализа, анализа, анализа, — а логика нарушается на каждом шагу, и выводы Насти Каменской поражают своей фантастичностью. Но массового читателя легко загипнотизировать ежеминутным повтором — способ известный...

Вот и Гилилов тоже твердит, что его концепция строится на фактах, фактах, фактах и доказательствах, доказательствах, доказательствах. И его слова полны глубокой убежденности, оборачивающейся убедительностью. Однако его следственные методы очень похожи на те, которыми пользуется Настя Каменская, а иногда и сюжетные совпадения просматриваются. Так, однажды Настя расследовала преступления, которые организовал гениальный композитор. Имелся подозреваемый; но, послушав две минуты его рояльную импровизацию, следовательница поняла: не гений. А еще через минуту вычислила истинного гения, скрывающегося за занавесом...

Но у Марининой хотя бы понятно, зачем этот тайный творец отдавал творения другому, тогда как ни один антистратфордианец пока не сумел убедительно объяснить, почему искомый Бард уступил свое кровное бессмертие какому-то актеришке. И во всей обозримой истории мы не обнаружим ничего подобного; и сам Шекспир писал: «Когда меня отправят под арест / Без выкупа, залога и отсрочки, / Не глыба камня, не могильный крест — / Мне памятником будут эти строчки», — какой же интерес в памятнике под псевдонимом? Интерес в Игре, отвечает Гилилов, в мистификации ради мистификации; может, и его «Игру...» расценить как мистификацию?..

Р. С. В 1611 году Уильям Шекспир написал последнюю пьесу — «Буря», герой которой, чародей Просперо, в финале отпускает на волю своего волшебного прислужника, гения Ариэля, оставляет остров чудесных иллюзий, где жил много лет,

---

на в судьбе „Конька-Горбунка“. Одну из них... написал Александр Лацис. Весело, экстравагантно и уверенно он утверждает, что П. П. Ершов „Конька-Горбунка“ вообще не писал, а сочинил сказку А. С. Пушкин. Вторая статья — А. Толстякова — категорически опровергает версию Лациса... где все на недоказанных догадках и стремительных прозрениях... Но в этой вроде как сугубо специальной полемике видится мне некий код времени. Как же манит нас в последние годы то, что невероятно, что переворачивает жизнь. Мы бежим за соблазнами... Ведь интереснее же, если „Конек-Горбунок“ написан Пушкиным? Значит, мы правильно делали, что ничему толком не учились, они, учителя, сами ничего не знают. И вот с нашим явлением в мире начинается открытие истины» («Книжное обозрение», 1998, № 6, стр. 10). (Примеч. ред.)

и отправляется домой. В прощальном монологе он говорит публике: «Исчез мой дар», — и кажется, что мы слышим голос самого поэта, покидающего свой остров иллюзий — театр. Почему? — кто знает... Но гений такого масштаба в своих прощальных строках не может сказать неправду. И в соответствии с высшей логикой — или мистикой — творчества необходимо, чтоб после этого он действительно вернулся к себе домой и некоторое время жил как все.

*P. P. S.* В 1616 году житель Стратфорда Уильям Шекспир скончался. В своем завещании он в числе прочего отказал трем друзьям-актерам деньги на «памятные кольца». Один из этих троих, Ричард Бербедж, в 1619 году умер; имена двух других, Джона Хеминга и Генри Кондела, стоят под обращением «К самым разным читателям», которое помещено в первом собрании сочинений Уильяма Шекспира — знаменитом фолио, вышедшем в 1623 году: «Мы лишь собрали пьесы и оказали услугу покойному автору, приняв на себя, таким образом, опеку над его сиротами; мы не стремились ни к личной выгоде, ни к славе, а лишь желали сохранить память столь достойного друга и товарища на жизненном пути, каким был наш Шекспир».

Алена ЗЛОБИНА.



### ECHO DU TEMPS PASSÉ

Василий Шукни. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. Krakow, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, 315 стр.

**К**нига, которая странным образом появилась значительно позже, чем ожидалось! Увлечение «усадебной культурой» вот уже как минимум десять лет является устойчивой доминантой современного гуманитарного сознания. Многочисленные сборники, альманахи и спецвыпуски журналов, альбомы — красочно и не очень иллюстрированные, — изданные в эти годы, как будто звали к гуманитарной общественности: ну напишите же обобщающую культурологическую монографию!

И вот она перед нами.

Поначалу, правда, несколько интригует то, что книга создавалась и увидела свет в Кракове: «социокультурный локус» европейски-провинциального города имеет с аналогичным локусом русской усадьбы столь же много общего, как ХСС с собором Парижской Богоматери, а учитывая заявленную автором и постоянно ощущаемую при чтении его исследования постыдную нищету фондов краковских библиотек в части русистики<sup>1</sup>, кажется уместнее появиться ей где-нибудь в Орле или Курске (уж в тамошних библиотеках наверняка имеются пристойные собрания сочинений Тургенева и Чехова). Впрочем, может быть, это обстоятельство оказало позитивное влияние: речь ведь идет не об исследовании бытовой культуры русской усадьбы, а о «геокультурологическом исследовании по русской классической литературе», и не столько об исследовании, сколько о воскрешении «мифа дворянского гнезда», а мифам действительно уместнее рождаться в прекрасном далеке.

Но, конечно же, есть и более глубокая «геокультурологическая» причина появления книги В. Шукни, несомненно коррелирующая с причинами изобилия частных исследований по культуре русских усадеб: *fin de siècle* в России — традиционно время массового конструирования пассаистских мифов, и нынешний «конец века» не только не стал исключением, но и превзошел своего предшественника: если сто лет назад эхо минувших времен многократно отражалось страницами журналов «Мир искусства», «Старые годы», «Столица и усадьба», то нынче самые массовые СМИ схватились друг с другом за создание мифологии близкого и отдаленного прошлого не менее жестко, нежели курирующие их ФПК — за провода и скважины. «Старые песни» (1, 2, 3), «Намедни — наша эра», «Старая квартира»,

<sup>1</sup> Очевидно, не только в части русистики: так, труды многих философов (Е. Кассирер, К.-Г. Юнг и другие) цитируются автором в его собственном переводе с польского издания. Неужели в Кракове нет оригинальных изданий?

«Старый телевизор» и, конечно, нескончаемо длящаяся «мыльная опера», в которой Штирлиц говорит: «Пиши, Шарапов», — на что Борман отвечает: «Глеб, ты убил человека». (Результат, надо сказать, имеется: те, кого полагается называть *поколением NEXT*, абсолютно не реагируют на криминально-чтивовские тарантинки, но энергично оживляются на «Фокса надо вынимать с кечи» и «А вы, Штирлиц, останьтесь»; еще два-три года назад студенческая аудитория представления не имела ни о медведях, трущихся о земную ось, ни об острове невезения в океане есть; и если культовый саундтрек *Girl, you'll be a woman soon* — как слыхом не слыхали раньше, так не слушают и теперь, зато на «мне надо выпить чашечку кофэ» дружно обещают — «и какаву с чаем».)

Но это уже наше, родное: вряд ли краковская интеллигенция с энтузиазмом встретит Новый год под Старые песни — народ ведь не поймет...

Тут, однако, существенная разница: если на исходе века советский миф находится еще в стадии оформления (хотя, кажется, скорее уже в финальной кристаллизации), то «усадебный миф» можно изучать; можно даже попытаться реанимировать, однако оживить его именно в качестве мифа — дело скорее всего, как нынче говорится, контрпродуктивное. Усадьба — *passè simple*, простое прошедшее русской культуры, законченное и не имеющее связи с настоящим. Объектом же пассивной страсти выступают или явления, относящиеся к давнопрошедшему, *plus-que-parfait*, либо, и с большим успехом, к прошедшему непосредственному, *passè immediat*.

Главная авторская задача — вычленив существующий, по его мнению, «усадебный текст русской литературы», затем на его основе реконструировав «миф дворянского гнезда», — поначалу кажется многообещающей и увлекательной: ведь действительно, если «доподлинно известно, что в русской литературе существовал по крайней мере один текст, несущий в себе и порождающий в своих недрах информацию мифологического типа, связанную с определенным местом, с геокультурным локусом» (имеется в виду «петербургский текст»), — то в самом деле, почему бы не существовать «вполне определенному и законченному» тексту, основным содержанием которого является миф дворянского гнезда? Ответ вроде бы напрашивается самый что ни на есть положительный — даже и без мощного теоретико-методологического введения, с плотным рядом (в количестве 150 штук) цитат и ссылок на разнообразные авторитетные высказывания по поводу пространства, времени, культурного локуса, ландшафта, мифа — всего того, от чего на протяжении истекшего столетия начинало учащенно биться сердце у всякого мало-мальски продвинутого студента-гуманитария. Тут вспомнишь недавний доклад Р. Тименчика о «власти сноски», осуществляемой методом постоянного перебива темпа чтения: подавляющие как количеством, так и избыточностью библиографических описаний цитируемых изданий, множественными поминаниями имен и сочинений непрерываемых гуманитарных авторитетов (Лотман-Успенский-Пятигорский-Бахтин-Юнг-Башляр-Хайдеггер-Yi-Fu Tuan (боюсь транслитерировать, но это одно лицо, а не два и не три)-Кассирер-Пиаже) — сноски оказывают на читателя мощное суггестивное воздействие, затуманивающее разум, парализующее волю, и в конечном итоге практически лишают способности к какому бы то ни было критическому восприятию написанного вообще. Трудно идти против рожна<sup>2</sup>...

А с другой стороны, все же надо. Поэтому, уклоняясь от критического анализа конкретных допущений, литературоведческих параллелей и культурологических

<sup>2</sup> Позволю злоупотребить узурпированной автором властью на сноску, чтобы еще раз возмутиться властью сноски. Такое впечатление, что под влиянием западной славистики традиция построения доказательства не от факта, а от авторитета (все эти бесконечные: как N показал, как M доказал, как P написал и т. д.), лелеемая и взращиваемая в некоторых очень уважаемых научных издательствах, все прочнее укореняется и в нашем многострадальном отечестве. И дело не только в оскорбленном патриотизме, хотя, признаюсь, и в нем тоже: нельзя понятные любому очевидности бесконечно подкреплять ссылками на предшествующие сему высказывания. Когда читаешь: «В мире Чехова присутствуют неоспоримые нормы и ориентиры: красота, правда, справедливость» — и ссылку: «Ср.: В. Б. Катаев. Проза Чехова..., стр. 220 — 222, 249 — 250, 309 — 317», — возмущается разум: неужели для понимания сего необходимо прочесть столько страниц, наверное, хорошей книги В. Б. Катаева? Но вот когда натыкаешься на следующий пассаж: «Все это подтверждает мысль современного венгерского исследователя Дьюли Кирая, согласно которому творче-



заклучений (из которых много точных и убедительных, но немало сомнительных и исторически не верифицируемых), попытаемся подойти к исследованию В. Шуккина как бы в целом — как к явлению, репрезентирующему некое умственное и чувственное настроение нынешнего стремительно завершающегося века. В конце концов, можем же мы говорить о дворянских гнездах и усадебной культуре и без, условно говоря, Хайдеггера-Делёза: не слависты же мы какого-то Беркли или Стэнфорда, которым без этого и свет не мил, и жизнь не в кайф, как без гамбургера, колы и Мыши Мауса<sup>3</sup>.

Почему «петербургский текст» есть, а вот «московского» так и не получилось? И это, может быть, основной фрустрирующий московского гуманитария комплекс перед петербуржцем, который никогда не позволит ему успокоиться и признать возможность существования *булки, поребрика и карточки*. «Московская повесть» — есть, а «текста» и «мифа» — нет? Чтобы это объяснить, можно, например, написать увесистый волюм со всем необходимым: введение, главы, заключение, ссылки, литература, index, summary... Можно просто поехать в Город в белые ли ночи, в морозную ли (как в нынешнем году) зиму, пройти от Публички до Пушкинского дома, а оттуда — на Английскую набережную в РГИА (это все — если исключительно по делу)... и ведь все станет тут же понятно, и даже неудобно об этом вести теоретический дискурс. В русской литературе XIX века можно, конечно же, выделить некое жанровое образование и назвать его «усадебной повестью», но вот сконструировать из этого «миф дворянской усадьбы» вряд ли удастся.

Если Петербург — историческая мутация, дьявольское наваждение, игра неокантианского ума и т. п. — город, в котором человек жить не может, но все же, как ни удивительно, живет, то Москва и тем более усадьба — привычное, удобное и спокойное место жизни и труда. Если, конечно, не воспринимать ее как некую виртуальную реальность, смоделированную талантливыми художниками и литераторами конца XIX — начала XX века, когда усадебная культура оказалась тем самым *passé immediat*, культурным аналогом которого для нас ныне служат «шестидесятые» (бестселлер Вайля — Гениса) и «семидесятые» (Д. А. Пригов и Лев Рубинштейн). Прелесть этого мифа «прошедшего непосредственного» состоит не только в том, что мифологическая по сути конструкция наращивается на прочный скелет еще хранимых памятью, легко узнаваемых и мгновенно актуализирующих культурный контекст воспоминаний и ассоциаций. Что весьма важно, из этого мифа вполне сознательно уводятся многое такое, что должно подразумеваться и мыслиться, но не должно проговариваться — иначе миф тут же превратится в историко-культурную публицистику. Понятно, что большинству читателей «Темных аллея» ясно было, что обитатели «дворянских гнезд» не только бесконечно «едят, говорят, острят и хохочут» за завтраком, после чего отправляются «отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками», и, лежа на принесенных горничными коврах и подушках, пристально всматриваются в то, как «она... нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучовая юбка над тугими икрами в тонких чулках из палевого шелка, как плотно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки». Представляется между тем, что определенное влияние на выявление того, что автор называет «усадебным текстом», оказывает бунинско-мирикусническое усадебное мифотворчество. Автор прочитывает весь текст русской классической литературы — от Карамзина до Чехова, пытаясь углядеть в старинных галереях усадебного дома «образ поэтической девушки», который оказывается удивительно схожим то с сомовской барышней в кринолине с картины, название которой вынесено в заглавие данной рецензии, то с мусатовскими «Призраками». В итоге «усадебный текст» выглядит весьма причудливо: «у истоков усадебного текста» стоят Карамзин с Шаликовым, далее следуют Тургенев с «Дворянским гнездом» и Гончаров с «Обломовкой», со-

ство Толстого, как и Достоевского, представляет собою новый этап в развитии интеллектуального романа по сравнению с Тургеневым и писателями его типа как в России, так и в Западной Европе», — тогда: «Я скажу: не надо рая, дайте родину мою!»

<sup>3</sup> О Микки Маусе подробно см.: Телста Я. Т. Лед и пламень: к юбилею народного изобретателя. — «Русский Телеграф», 1998, № 25 (97), 14 февраля.

поставлению коих, выполненному в классической традиции вступительно-экзаменационной компаративистики, посвящено значительное количество страниц книги, — и все это замыкается чеховской дачей, в которую к концу столетия выродилась дворянская усадьба. При этом в числе создателей усадебного текста оказывается А. А. Фет, который наследственного имени не имел, дворянство возвратил довольно поздно и был, современным языком говоря, более фермером, нежели помещиком — что, впрочем, не мешало ему, глядя поутру в окно, писать стихи: «Какая грусть! Конец аллеи / Опять с утра исчез в пыли, / Опять серебряные змеи / Через сугробы поползли», после чего послать в журнал статью о крестьянских гусях, потравивших ему все озимые.

Автор же решительно выводит «гусей» и все, что связано с производством сельскохозяйственной продукции (сама лексика препятствует этому), за рамки конструируемого мифа, отказывая, например, в праве не только очеркам С. Н. Терпигорева (Атавы), но и семейным хроникам С. Т. Аксакова соответствовать жанру «усадебной повести», равно как и любым другим произведениям, в которых не только любятся-милуются, пьют на веранде холодной осенью чай из самовара, говорят друг другу «душа моя», любуются символическим закатом сквозь запотевшие окна, но также занимаются всякой ерундой: кредитом, отлившейся Павой, к которой надо идти ночью, закладной, засухой, проволочным червем, шельмой управляющим, крестьянскими потравами, паровыми молотилками, бестолковыми немцами-механиками и т. д. Для писателя же века минувшего все это оказывалось не более чем текущей повседневностью, от которой, кстати, напрямую зависело его материальное благосостояние. Но вот отсутствие в тексте «усадебной поэзии» стихов А. К. Толстого: «Безмолвные аллеи, / Заглохший, старый сад, / В высокой галерее / Портретов длинный ряд» — нельзя объяснить даже отсутствием соответствующего издания в краковской библиотеке.

Конечно, на все вышесказанное можно резонно ответить: не царское дело. У культурологов иные задачи, мы мыслим архетипами и парадигмами, и общества взаимного поземельного кредита — не по нашему ведомству. Что же, есть тут железный резон: слависта в Беркли-Стэнфорде интересует прежде всего загадочная русская душа в ее чистом, не замутненном излишними историческими подробностями и деталями состоянии. Реконструкция всего культурного контекста, в котором жили, писали и читали «усадебный текст» в веке минувшем и даже в начале века нынешнего, когда какой-нибудь парижский таксист князь Т., читая дистиллированные бунинские рассказы, вспоминал собственное детство в имении, к концу XIX века превратившемся в хозяйственную экономию, пока что временем, как видно, не востребуется.

Что ж, будем ждать. Будет и на нашей улице праздник.

Александр НОСОВ.

---

**ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ. Башмак Эмпедокла. — «Литературное обозрение», 1997, № 4.**

Ирония бывает здоровьем, когда освобождает душу от пут всего относительного, и бывает болезнью, если способна выносить абсолютное лишь в облике ничто. Это определение принадлежит Кьеркегору. Благодаря болезненной иронии читатель сегодняшних русских текстов с «обликом ничто» знаком достаточно коротко. Не миновал его и юмор. Разумеется, прежде всего чер-

ный. Поэтому определение фантазийной повести Куприянова «Башмак Эмпедокла» как произведения иронического может скорее оттолкнуть, чем привлечь.

Правда, на сей раз мы имеем дело с редкой сегодня здоровой иронией и — что уж совсем удивительно — с добродушным юмором. Вероятно, сказывается преимущественное нахождение автора на европейских просторах, что позволяет сохранить некую примиряющую дистанцию. Надо заметить, что отсутствие злости делает юмор более прихот-

ливым, ветвистым, избыточно-необязательным, в нем больше раблезианской игры свободных творческих сил, чем затаенно-сосредоточенной и угрюмой прицельности. Вероятно, по той же причине возникает и некоторая вязкость повествования, постоянно тормозящая и сбивающая со следа свору наших читательских ожиданий. Но в конце концов мы перестаем трепыхаться и мирно следуем за не слишком озабоченным занимательностью автором, с удивлением отмечая зарождение собственного мыслительного процесса. На фоне современных текстов «Башмак Эмпедокла», пожалуй, выделяется прежде всего более высоким уровнем толерантности. Это может свидетельствовать о некоем новом произрастании в нашей литературе, пусть еще далеком от совершенства, но обещающем плоды.

Сочинитель «Башмака...» — последовательный иронист. То есть притворщик, этакий самоуничижающийся юродивый. Но ироническая маска не прирастает к его лицу, как в случае болезненной иронии. Она вполне отделяема и надевается автором в чисто инструментальных целях: для исследования явления, которое он обозначил как «феномен Померещенского» — по имени главного персонажа.

Это пишущий человек с говорящей фамилией, которого знают все, даже стюардессы. Он вроде бы есть — всемирно известен. И вместе с тем его как бы и нет: облик знаменитости расплывается — мерещится, — он неуловим для художников и фотографов, даже личный контакт не придает уверенности в его подлинном существовании. Если бы не меховая шапка, с которой он, вероятно, вынужденно не расстается, идентифицировать Померещенского было бы невозможно. Но, в конце концов, ведь главное в том, что пишет наша знаменитость.

Оказывается, что не главное. Тем более, что в последнее время он пишет по-голландски. Он активно включает в свои сочинения письма коллег-литераторов, даже не читая их, воспоминания друзей, врагов, врачей, жен. Собственно, творчество так сверхсовременно-эфемерно, что не успевает воплотиться в нечто определенно-значимое и пребывает в некоем приблизительном, студнеобразном состоянии становления,

очень удобном для разлива по требуемым емкостям — будь то отдельные издания или собрания сочинений. Померещенский существует как тип, как общественное и культурное явление, но отсутствует как личность. Ситуация парадоксальная, но тем не менее вполне реальная. Вот что писал об одном известном литераторе Д. Самойлов: «Говорить о нем как о типе легче, ибо он довольно полно представляет явление жизни. А индивидуальные черты его как бы расплываются и не складываются в личность. Видимо, возможен яркий тип, который не является яркой личностью».

В сущности, эта призрачность, условность, двойственность существования (вплоть до череды двойников) — в тумане слухов и легенд, скандалов и сплетен — и является основой популярности его имени. Эта атмосфера искусно создается и поддерживается. Именно эта атмосфера и есть подлинный продукт творчества господина Померещенского — откровенно самовлюбленного, добродушно-снисходительного, капризно-избалованного, хитроумно-расчетливого.

Отсутствие у читателя отрицательных эмоций по отношению к герою — добродушный ловкач всегда в фаворе — позволяет более свободно взглянуть на него — и сквозь него — на проблему. Померещенский создает не культуру, которая в обществе потребления не нужна, но продукт потребления — символ культуры, имя. Он исполняет необходимую роль в театре жизни, когда змотанные зрители успевают схватить только имя персонажа, дающего суррогатное удовлетворение «культурной» потребности массового — и все решающего (большинством) — «реципиента».

Ведь современный масскульт, устремляясь к благам либерализма, вкушает то немногое, что осталось от последнего — от великих упований на рационализм и техницизм, от безоглядной веры в несокрушимую поступь прогресса, в святость человеческих прав. Сегодняшняя ситуация западного мира (а наша — завтрашняя) — уже не либерализм, но либерализм: абсолютизация индивида, атомизация и фрагментация общества, откровенный гедонизм, ставший смыслом жизни.

Именно тогда господство скандальной славы, представляемой Померещенским, уже не заглушает, как замечал Я. Голосовкер, но просто-напросто убивает наш инстинкт культуры, который, как ни верти, остается основным инстинктом всякого жизнеспособного общества. Ему-то и нужны идеальные личности, «замечательные люди». А если они не нужны в нашем отечестве, как выясняет в конце концов автор повествования о Померещенском, то — вопрос абсолютно серьезен — «зачем тогда люди вообще?».

В тексте на околотитурную тему в «несерьезной», иронической форме, прихотливо играя символами культуры и реальности, Куприянов сумел схватить и очертить нечто достаточно серьезное и общезначимое — тип антикультурного существования в рамках культуры.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

\*

**НОРА ГАЛЬ. Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография. Составитель Д. Кузьмин. М., «Арго-риск», 1997, 128 стр.**

В настоящее издание включены материалы, связанные с жизнью и творческой деятельностью Норы Яковлевны Галь (1912 — 1991) — одного из крупнейших мастеров русского художественного перевода XX века.

Эта книга о том, «как выразить средствами своего языка все оттенки мысли, чувства, всю поэзию подлинника, все передать, ничего не утратить», об искусстве перевода, при котором «нужна не буквальная точность, но верность духу, полнота сопереживания, — чтобы все до капли, не расплескав по дороге, донести до читателя».

В книгу вошли воспоминания наших известных переводчиков (Р. Облонской, Е. Таратуы, А. Раскиной, Б. Володина, Э. Кузьминой) о друге, учителе, коллеге и размышления самой Норы Галь о ее учителях и товарищах — «кашkinцах» (Б. А. Песисе, В. М. Топер, Н. А. Волжиной, О. П. Холмской).

Дочь «врага народа» и кровная дочь двадцатого века («двадцатница», как она себя иногда называла), Нора Галь

без остатка посвятила себя художественному переводческому слову. Семнадцать раз поступала в 30 — 40-х годах в МГУ, МГПИ, РИИИ (не проходила по «социальному статусу»), высшее образование получила чудом, чудом же защитила диссертацию по творчеству А. Рембо (из воспоминаний Р. Облонской).

«Среди сильных, суровых и серых», в «электрическом скучном чаду» она всю жизнь пыталась «без грани, без меры» перейти «за границы миров» (все цитаты из юношеских стихов Норы Галь), открывая «железнодорожному» советскому читателю мир «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Американской трагедии» Теодора Драйзера, «Вина из одуванчиков» Рея Брэдбери и многое, многое другое (библиография, приведенная в издании, включает в себя 248 трудов переводчицы, литературоведа, критика).

Особого внимания заслуживает литературоведческое исследование Юлианы Яхниной «Три Камю». В нем автор, проводя всесторонний анализ трех переводов повести Альбера Камю «L'etranger» («Посторонний»), выполненных в разное время и разными литераторами (Н. Немчиновой, Н. Галь, Г. Адамовичем), демонстрирует «роль переводчика как интерпретатора иноязычного произведения», показывает «масштаб „расхождений“ между переводами одного и того же текста — расхождений, которые возможны даже тогда, когда переводы выполнены на высоком профессиональном уровне». Речь идет не «об отдельных переводческих решениях, а о тенденции, проходящей через весь текст перевода». Образ главного героя повести А. Камю, Мерсо, «прочтен» в каждом случае в разном ключе. Мерсо Н. Немчиновой — «интеллигент по манере чувствовать, по манере оценивать окружающих», склонный к рефлексии. Переводческий почерк Немчиновой, ее «ключ» — «плавность закругленной фразы, эмоционально окрашенная лексика». Тот же персонаж у Норы Галь более «замкнут, некоммуникабелен. ...Он не прикрашивает своих чувств, не делает попытки что-нибудь объяснить и оправдать». Стиль переводчицы более лаконичен, сдержан, «несловоохотлив» и поэтому более динамичен.

«Je me sentais tout à fait vide», — А. Камю.

«У меня сосало под ложечкой», — говорит Мерсо Н. Галь.

«Я чувствовал полную опустошенность», — говорит герою Немчиновой.

«Если текст дает право на трактовку, Н. Галь переводит ощущения героя в сферу физиологическую, Н. Немчинова — в эмоциональную».

А вот пример метафорического «видения» природы у разных переводчиц:

«Dehors la lumière a semblé se gonfler contre la baie», — А. Камю.

«На улице яркий свет словно набухал и давил на окна», — Н. Галь.

«Солнечный свет как будто вздувался парусом за стеклами широкого окна», — Н. Немчинова.

Как мы видим, снова «речь идет не об искажении переводчиками текста. Речь идет о том прочтении текста, если угодно, о той „системе отклонений” от него, которая в той или иной степени неизбежна во всяком небуквалистском переводе».

Удивительное переводческое дарование Н. Галь, ее врожденную филологичность подчеркивает и А. Раскина («На первом месте»). Раскина перевела американскую книгу для детей о языке и «почти сразу же встала в тупик

перед фразой: „Words bring you together”. Слова сводят вас? Слова объединяют вас? Скучно как-то. И Н. Я. сказала: „А почему бы не написать: „Слова — как ниточка между вами?”» Во всех затруднительных положениях, при поиске вариантов перевода той или иной фразы, словесной конструкции Нора Галь «ни разу не задумалась надолго: все „кандидатуры” были у нее под рукой. И не какие-нибудь вынужденные, вымученные, а одна другой лучше».

«Трудоголик» и бессребреница, Нора Галь, переведя на свой страх и риск «Маленького принца» Сент-Экзюпери, самоотверженно боролась за эту отвергнутую поначалу всеми московскими журналами работу (ее мемуар «Под звездой Сент-Экса»). Любопытны внутренние рецензии, письма, переписка с редакциями. Они воссоздают внутренний мир автора, атмосферу издательского дела минувшей эпохи.

Вместе с тем, на мой взгляд, изданию остро не хватает добротного биографического очерка, который связал бы в читательском восприятии все представленные здесь тексты, превратив сборник интересных статей в книгу.

Андрей УТЛИЦКИХ.

**Вышел первый том Собрания сочинений в 6-ти томах известного писателя АНАТОЛИЯ КИМА, многолетнего и верного автора нашего журнала.**

В Собрание сочинений вошли произведения, изданные в 1973 — 1997 годах, — романы, повести, рассказы, пьесы, киносценарии, стихи. Многие из них, такие, как романы «Белка», «Отец-лес», повести «Соловьиное эхо», «Лотос», «Луковое поле», стали в свое время бестселлерами, переведены на многие языки мира.

Подписка на Собрание сочинений (с первым томом) производится по адресу: Москва, Сретенка, 9, МКЦ «НАДЕЖДА», тел. 928-34-80, и Калужская площадь, 1, магазин «РУБИКОН», тел. 230-83-04.

# П Р Е М И Я

## ЦУЗАММЕНШПИЛЕН — ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!

26 февраля 1998 года в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы имени М. Рудомино состоялась церемония вручения литературной премии имени Аполлона Григорьева, учрежденной Академией Русской Современной Слоvesности (АРС'С) и ОНЭКСИМбанком. Большую «григорьевку» получил поэт Иван Жданов за книгу «Фоторобот запретного мира». Малые премии имени Аполлона Григорьева получили Виталий Кальпиди за поэтическую книгу «Ресницы» и Ирина Поволоцкая за прозаическое произведение «Разновразие», опубликованное в журнале «Новый мир» (1997, № 11). Мы предлагаем нашим читателям текст выступления литературного критика, академика АРС'С Ирины Роднянской и ответное слово Ирины Поволоцкой.

### ИРИНА РОДНЯНСКАЯ:

О творчестве Ирины Поволоцкой в целом (а я за ним пристально слежу начиная с давнего уже дебюта в журнале «Октябрь») говорить сейчас не стану — это увело бы нас слишком далеко. Но, поскольку «тайна» моей причастности к выдвижению ее «Разновразия» на премию здесь уже была неосторожно раскрыта, попытаюсь публично отрекомендовать именно эту вещь.

Перед вами удивительная проза — в жанре, от традиционного определения которого автор с несколько лукавой улыбкой уклонился. «Разновразие» — значит байки, побасенки. «Собрание пестрых глав», как сказано в подзаголовке (а в «Литературке» пропечатано и того лучше: «собранья»), — олитературенный синоним того же. Коллеги-критики, ворча или, напротив, симпатизируя, подтвердили: «набор стилизованных под сказ заметочек», «обаятельно бессвязное повествование». А вот читательница негуманитарной профессии полагает: «Автор „Разновразия“ в необычайном ракурсе описала наше недавнее прошлое через видение человека из народа, человека очень интересного, умного, со своим отношением к окружающему миру...» Думаю, эта читательница (кстати, доктор биологии) оказалась точнее моих собратий по перу — но не потому, что более тонкий знаток: просто родилась она, как сообщается в письме, в 1913 году и с высоты своего возраста способна единым взором окинуть то «недавнее» для нее прошлое, что началось, говоря языком нашей сказительницы, «до Первой Империалистической, когда еще Гитлер не наступал».

Да, по этой цепочке новелл, как по рельсам, движется в знакомой исторической последовательности жизнь нашей страны. И пусть рассказчица, кухарка, обученная грамоте в поповском семействе, приплетает Гитлера к Первой Империалистической, а царя у нее снимают, будто генсека, но она отлично помнит и понимает, что к чему. «Война Империалистическая, а под окошком испанка», «такие времена!». «Царя сняли, и стали министры прятаться». «Пирог к бульону, нэп зачинался». Один из хозяев «за Промпартию погиб». А потом... «но это уже когда Сталин денги менял». А еще позже — «вождей меняли»: «сегодня ты — вождь, а завтра — вошь». И даже слухи о готовившейся реформе правосопия застряли в ясной ее голове: «заяц — заец».

Такая вот красочная хронология, образующая в памяти бывалого, тертого человека канву его собственной биографии. Неизбежная, неуклонная связь, собирающая пестрые главы в единое целое.

Но суть все-таки не в этой связи, а в том, что не она — главное в человеческом уделе. И тут хочу сказать, что хотя артистизм и превосходное владение чужим, сказовым словом в прозе Поволоцкой очевидны, но наибольшее ее достижение — закадровый образ самой героини, не просто как источника рассказывания, но как личности. Эта «сиротинка хроменькая» с «темпераментом необычайным» и завирается, и похваляется, и черт-те что плетет, а между тем она — не Тартарен в

юбке, она не комична, а располагающе значительна и, расцветившая жизнь со всем гиперболизмом художественной природы, вызывает прямое доверие к своим сюжетам и суждениям, даже к гордому мифу о городе Чирикове, где «страсти дикие»: «У нас не Россия — у нас Белоруссия!»

«Все у меня было, что Господь дает людям не за деньги», — невзначай бросает она; веришь и этому, такая в ней полнота жизни, любви и таланта. Даже не по себе становится, когда в авторском отступлении показана извне эта жрица любви — нелепая старуха с поломанной больной ногой и катарактой на глазу, так это драматически не вяжется с богатством, прущим изнутри. И пусть по не совсем абсурдному наблюдению Натальи-кухарки главный интерес интеллигенции — это «еда и политика», она-то твердо знает, что настоящий, главный смысл и интерес — любовь.

«Потому за любовь все прощается перед Богом и по закону человеческому». И поэтому же, если внешний сквозной сюжет «Разновразия» — история, то внутренний — вне- и над-историческое сплетение вечных любовей, страстей и измен, толки о которых сыплются из нашей рассказчицы как из рога изобилия. Много ярких, так сказать, кухонных подробностей, но все, даже любовное свидание с мертвецом, просвечено такой пылкой поэзией, что гири физиологизма оказываются на поверку невесомыми и не отягощают душу. Если хотите — женская проза, но не в том смысле, какой обычно в это вкладывают.

Да и кулинарные рецепты здесь тоже — как стихотворения в прозе: словно бы не для ублажения чрева, а ради взыскания совершенства (а между прочим, за каждым таким рецептиком — своя привязка, социальная, «классовая»). Финальный же аккорд — сотворение кулича, с любовью и тихими мыслями; он, будто маленькое солнышко, сияет светом, отраженным от того источника, того Апог'а, что движет Солнце и другие светила! Все завершительно просветляется в этой концовке...

В заключение замечу, что со сказом Ирины Поволоцкой не так-то все просто. Иногда он создает захватывающее впечатление фонографической точности, иногда писан «эссенциями» (как выразился Достоевский о сказе Лескова), сгустками характерности, иногда же в него намеренно подмешены зоценковско-бабелевские литературные краски и он отдалается от уст рассказчицы на некую дистанцию.

Одним словом — искусство.

### ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ:

Что может сказать безвестный автор, мало написавший и еще меньше напечатанный, блестящему собранию академиков, которых уже окрестили тридцатью семью снайперами?

Думаю, каждый снайпер целился в свою, вероятно, более достойную и прекрасную цель, но вы сами заложили в уставе волнующий момент игры, и когда я увидела на экране телевизора, как господа критики в очередь тянут бумажные гильзы из меховой шапки (ее носил по кругу господин вице-президент<sup>1</sup>), то чрезвычайно развеселилась. Теперь никто не спросит, поняла я, почему в жюри Пронькин и как попали туда X или Y! А так вот: шапка по кругу, случай, а точнее, жребий.

Я горожанка, у меня такой опыт, и я не знаю ничего для себя более волнующего, чем если идешь консерваторским коридором — и вдруг гудение настраиваемого оркестра, и после всех благозвучных сладких *largo* и *deminuendo* слышишь жесткое, германское, почти метафизическое — *zusammenschpielen* — играем вместе.

Конечно, есть первые скрипки и волшебные флейты. Есть таинственные валторны и какие-нибудь специально приглашенные именно для этого опуса тибетские колокольчики. Есть солисты и дирижер. И в конце концов, есть Создатель... Но — играем вместе!

Я желаю всем — вам и нам — цузамменшпилен во славу русской словесности! Спасибо.

<sup>1</sup> А. Немзер. (Примеч. ред.)

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Алексей Алексин.** По воскресной Европе. Картинки. Рисунки Юрия Косаговского. М., 1997, 32 стр., 300 экз.

Подзаголовок «Картинки» обозначает жанр книги, она представляет собой совместное произведение поэта и художника-графика.

**Александр Блок.** Собрание сочинений. В 12-ти томах. Том 2. Книга-альбом. Нечаянная радость. Репринтное издание 1906 г. Земля в снегу. Репринтное издание 1908 г. Составление, общая редакция, комментарии С. С. Лесневского. Статья, комментарии М. Л. Гаспарова и других. М., «Автограф», 1997, 685 стр., 3000 экз.

**Иосиф Бродский.** Труды и дни. Редакторы-составители Петр Вайль и Лев Лосев. М., Издательство «Независимой газеты», 1998, 272 стр., 5000 экз.

Основу сборника составили материалы, опубликованные под одноименной рубрикой в журнале «Знамя» в 1997 году: воспоминания о поэте А. Кушнера, Л. Лосева, П. Вайля, В. Полухиной, В. Уфлянда, Е. Рейна, Ч. Милоша и других; литературно-критическая эссеистика Бродского («Вслед за Пушкиным», «Предисловие к „Антологии русской поэзии XIX века“», «Из заметок о поэтах XIX века», интервью и беседы с Бродским).

**Букер в России.** Финалисты Русской Букеровской премии. 1992 — 1995. М., Издательство имени Сабашниковых, 1997, 412 стр., 1000 экз.

Сборник, представляющий прозу — в отрывках и коротких рассказах — 17 букеровских финалистов (Харитонов, Иванченко, Петрушевская, Маканин, Астафьев, Ермаков, Улицкая и т. д.), а также материалы, посвященные истории Букеровской премии в России и в Англии. Предисловие сэра Майкла Кейна.

**Олег Григорьев.** Птица в клетке. Стихи и проза. Составитель М. Д. Яснов. СПб., 1997, Издательство Ивана Лимбаха, 1997, 272 стр., 3000 экз.

Самое полное издание сочинений известного петербургского поэта Олега Григорьева (1943 — 1992), своеобразного наследника Козьмы Прутковка и Хармса, в частности породившего целый «фольклорный» сегмент городской поэзии: стихи про электрика Петрова, который «намотал на шею провод», были написаны им в 1959 году. В книге представлены около 700 стихотворений, писавшихся с 50-х до начала 90-х годов.

**Аниз Кольц.** Звуковой барьер. Стихотворения в переводах с французского Татьяны Щербины, Елены Туницкой и Анатолия Кудрявицкого. М., «Весть», 1997, 72 стр., 500 экз.

Стихи знаменитой поэтессы из Люксембурга.

**София Парнок.** Собрание стихотворений. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. Поляковой. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 538 стр., 2000 экз.

Впервые в России наиболее полное издание стихов Софии Яковлевны Парнок (Парнок; 1885 — 1933). Первое издание «Собрания стихотворений» состоялось в США в 1979 году (издательство «Ардис»), в нынешнее издание внесены дополнения и исправления.

**Повесть о святом благоверном великом князе Михаиле Ярославиче Тверском.** Вступительная статья, перевод, комментарии В. З. Исакова. Тверь., «Тверские ведомости», 1997, 117 стр., 1500 экз.

Памятник древнерусской литературы.

**Дмитрий Александрович Пригов.** Советские тексты. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1997, 272 стр., 3000 экз.

Стихи о Милицианере, Москве, Пожарном еврее, Рейгане, Марии Моряк и других, а также «Описание предметов», «Призывы», «Некрологи», «Банальные рассуждения», «Поучения» и другие сочинения ныне здравствующего классика-концептуалиста (соц-



артовца). Предисловие Андрея Зорина «Чтоб жизнь внизу текла. (Дмитрий Александрович Пригов и советская действительность)».

**Пригоршня прозы.** Современный американский рассказ. Составитель Дейвид Мэдден. М., «Текст», 1998, 335 стр., 3000 экз.

25 лучших, по мнению составителя, рассказов современных писателей США, помещенных в американских журналах в 1990 году.

**Давид Самойлов.** Беатриче. СПб., «Фалькон», 1997, 71 стр., 1000 экз.

Стихотворный цикл Самойлова «Беатриче» с тремя Приложениями: эссе Алексея Година «...и тоскливые последствия жизни», Хорхе Луиса Борхеса «Последняя улыбка Беатриче», стихотворение Вячеслава Белкова «Челеста».

**Михаил Синельников.** Обломок. Стихотворения. М., «Журнал поэзии „Арион”», 1997, 160 стр., 700 экз.

Восьмая книга известного поэта.

**Ярославская лира.** Поэтический альманах. Составитель К. В. Васильев. Рыбинск, «Рыбинское подворье», 1997, 176 стр., 600 экз.



**Взыскующие града.** Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. Составление, подготовка текста, вступительная статья, комментарии В. И. Кейдана. М., «Языки русской культуры», 1997, 748 стр., 1000 экз.

От С. А. Аскольдова до В. Ф. Эрна, если по алфавиту известных имен. Но в книге материал расположен по годам, а не по персоналиям.

**В. Виндельбанд.** От Канта до Ницше. История новой русской философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Перевод с немецкого. М., «Канон-Пресс», «Кучково поле», 1998, 494 стр., 3000 экз.

**М. Л. Гаспаров.** О стихе. М., «Языки русской культуры», 1997, 604 стр., 1000 экз.

**Н. А. Замятина.** Терминология русской иконописи. М., «Языки русской культуры», 1997, 272 стр., 2000 экз.

**Л. Краваль.** Рисунки Пушкина как графический дневник. М., «Наследие», 1997, 416 стр., 1500 экз.

**Н. Л. Лейдерман.** Драматургия Николая Коляды. Критический очерк. Каме-нецк-Уральский, «Калан», 1997, 160 стр., 2000 экз.

**Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800 — 1844.** Составитель А. М. Песков. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 496 стр.

Фундаментальная работа литературоведа Пескова. «В настоящей Летописи зафиксированы все документально подтверждаемые и реконструируемые на основе косвенных данных факты жизни и творчества Боратынского, известные составителю на данный момент. Летопись содержит около 1400 дат». Объем изданного текста — около 30 печатных листов. Приложение к летописи: родословная Боратынского, перечень мест жительства, перечень писем Боратынского и писем к нему, указатель сочинений Боратынского, перечень портретов Боратынского и его ближайших родственников. Открывает книгу статья А. М. Пескова «Взгляд на жизнь и сочинения Боратынского».

**Постсимволизм как явление культуры.** Выпуск 2. Материалы международной научной конференции. Москва, 4 — 6 марта 1998. Ответственный редактор И. А. Есаулов. М., РГГУ, 1998, 57 стр.

**Плутарх.** Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1997, 670 стр., 10 000 экз.

**В. Я. Пропп.** Проблема комизма и смеха. 2-е издание. СПб., «Алетейя», 1997, 288 стр., 2000 экз.

**Жан-Поль Сартр.** Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1957 года. Перевод с французского Евгении Плехановой. СПб., «Алетейя», 1998, 646 стр., 2000 экз.

Последняя работа Сартра — «венец сартризма... своеобразная „сумма” современно-го антропологического знания» (из предисловия переводчика). Первые две части книги

вышли во Франции в 1971 году, третья часть — в 1973-м, четвертая и пятая части не завершены. В русское издание вошла первая часть — «Конституция».

**С. И. Фудель.** Наследство Достоевского. Общая редакция, вступительная статья, подготовка текста и примечания Л. И. Сараскиной. М., «Русский путь», 1998, 286 стр., 1000 экз.

**Александр Эткинд.** Хлыст. (Секты, литература и революция.) М., «Новое литературное обозрение», 1998, 688 стр.

Монография о русских «мистических сектах» (хлысты, скопцы, нетовцы, скрытники и т. д.) в конце XIX — начале XX века, о месте их в культурной и общественной жизни, в частности в творчестве Соловьева, Розанова, Вяч. Иванова, Бердяева, Клюева, Кузмина, Блока, Пришвина и других. «Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа» (из аннотации).

**Е. Эткинд.** «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психо-поэтики русской литературы XVIII — XIX веков. М., «Языки русской культуры», 1998, 446 стр., 2000 экз.

**Р. Н. Юренев.** Советское киноискусство тридцатых годов. М., ВГИК, 1997, 110 стр., 1000 экз.

«Я ехал к вам...». Тверь, Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1997, 112 стр., 1500 экз.

Сборник статей о пребывании А. С. Пушкина в Старицком уезде Тверской губернии в 1828 — 1833 годах. Составитель, автор вступительных статей и приложения Т. П. Кочнева.



P. S.

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить магазин-салон «Летний сад», предоставивший редакции помощь в ведении рубрики «Книжная полка».

Магазин расположен по адресу: Москва, Большая Никитская, д. 46 (проезд до станции метро «Баррикадная»). Работает с 11.00 до 19.00 без выходных и перерыва на обед. Здесь предлагается широкий выбор современной художественной некоммерческой литературы, книги по истории, философии, литературоведению, а также музыкальная литература, ноты, компакт-диски, аудио- и видеокассеты.

Составитель Сергей Костырко.

---

## ПЕРИОДИКА



*«Ex libris НГ», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета», «Общая газета», «Русская мысль», «Труд», «Хранить вечно»*

**Павел Басинский.** Русский читатель оптом и в розницу. — «Литературная газета», 1998, № 7, 18 февраля.

«Современная русская литература давно является страной в стране, а писатели — ее „малым народом“, выражаясь по Шафаревичу. Мы отброшены в ситуацию примерно конца XVIII века, с той только разницей, что тогда перспектива расширялась, нынче — неумолимо суживается». С каким трудом создавался Русский Просвещенный Читатель и как задешево продан! — восклицает критик.

**Сергей Бочаров.** Чистое искусство и советская история. — «Независимая газета», 1998, № 32, 25 февраля.

Эссе об Андрее Синявском. Среди прочего — воспоминания о совместной работе в ИМЛИ. Непосредственный отклик на смерть писателя публикуется ныне в первую годовщину его ухода.

**Иван Жданов.** Метаморфизм как первая любовь. Беседу вела Маруся Климова. — «Кулиса НГ», 1998, № 3, февраль.

Ивану Жданову — пятьдесят. «Нет во мне нарративного начала. Эссе могу написать, а рассказ — нет... Стихи пишу. Что касается интереса к поэзии, то мне кажется, что сейчас в Москве издателей гораздо больше, чем читателей».

**Игорь Золотусский.** Заступитесь за Гоголя. — «Кулиса НГ», 1998, № 3, февраль. В России нет ни одного музея автора «Мертвых душ». На Украине есть.

**Андрей Карпов.** Цензура как инструмент культурного возрождения. — «Независимая газета», 1998, № 20, 7 февраля.

Письмо читателя (г. Реутов, Московская область). «Чтобы сохранить демократичность, свободе слова нужен противовес. Идеологическую власть, власть изреченного слова, может сдерживать лишь цензура. Цензура — это институт, обеспечивающий защиту прав пассивно слушающего большинства от произвола агентов слова — идеологически активного меньшинства, стремящегося преобразовать менталитет общества по своему вкусу... Необходим единый закон о цензуре, включающий в себя все ограничения, налагаемые на публично изреченное слово... Цензура должна быть содержательной. Но как оценивать содержание речи? Единственный способ — это соотнести его с нравственными критериями, существующими в обществе... Если общество не будет иметь идеалов, оно деградирует... А если таких идеалов нет, то их надо создать волевым усилием общества через закон, ибо только имея закон можно остановить беззаконие. И только положив законом пределы глумлению и хуле можно заронить зерна нравственности в уже опустевшие души...»

**Геннадий Красухин.** Легенда и реальность. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1998, № 3, январь.

Кроме статьи Г. Красухина в подборку материалов о Сергее Есенине входят статьи Эржебет Каман (Будапешт) «На переломе», Александра Зорина «Несказанное, синее, нежное...», Надежды Радченко «Мир, где все живое равноправно» (Таганрог).

**Евгений Попов.** «Мы плывем на резиновой лодке по горной речке». Беседу вел Евгений Шкловский. — «Труд», 1998, № 29, 14 февраля.

«Я себя не переоцениваю и не недооцениваю. Мои писания находят спрос. Меня знают. Я получаю письма. Спасибо». Тут же: «Мне кажется, что сегодня стало лучше даже коммунистам».

**Андрей Синявский.** — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1998, № 1 (февраль).

Первый выпуск нерегулярного приложения к «Независимой газете» весь посвящен Андрею Синявскому. Среди опубликованных материалов: статья Марии Розановой «Театр абсурда, или Профильфас»; эссе Андрея Синявского «Почему мы все-таки пишем?» (1995); пролог к последнему роману Абрама Терца «Кошкин дом» (1996); первый, неоконченный, датированный 1931 годом, рассказ Андриуши Синявского «О карликах на болоте»; протокол личного обиска заключенного Синявского; протоколы допроса свидетеля Розановой-Кругликовой М. В.; экспертное заключение о том, является ли Андрей Синявский автором текстов, подписанных Абрамом Терцем; амбулаторный акт № 15А судебно-психиатрической экспертизы на испытуемого Синявского; внутренние рецензии на книги Абрама Терца, написанные Борисом Сучковым и Юрием Идашкиным по заказу КГБ; протокол допроса свидетеля Дувакина Виктора Дмитриевича; письма Андрея Синявского из Дубровлага. А также хронология жизни и творчества Синявского и другие интересные публикации.

Две цитаты. О непостижимой «разумности» Ульянова-Ленина, казнящего и милующего «по науке»: «У Сталина по крайней мере есть аналогии, прототипы в истории и душевной жизни каждого из нас. Ну, в конце концов, бывало и раньше такое, что какой-нибудь деспот принимал как должное божеские почести. Любой человек в минуту дерзости способен сообразить себя Сталиным. А попробуйте-ка представить, что вы — Ленин. Никакого воображения не хватит... Нет, это свыше наших сил, вне нашего измерения. Он проходит мимо нас как лунатик, не улавливающий нашего живого присутствия, так же, как мы не улавливаем его нездешней природы и тщетно хотим понять, чего же от нас добивается этот большеголовый пришелец, такой простой на взгляд и такой недоступный» (из статьи 1962 года «Точка отсчета»).

И еще: «Я не знаю другого более близкого мне человека, чем Марья, и не только в общепотребительном значении „жены“, но в качестве наиболее понимающего меня существа, наиглавнейшего друга (включая весь мужской пол), способного с полуслова и наиточнее всех выразить мою волю. У нас разница характеров, темпераментов, но это ничего не меняет в *существовании дел*. Поэтом и просил, и прошу в ее лице принищать меня и мои пожелания, а коли «не нравится» — я не навязываюсь, но только, очевидно, друзьям, не со-

гласным с этим фактом, придется перестать быть друзьями» (обращение к друзьям в одном из писем из лагеря, сентябрь 1966 года).

Некоторые высказывания вдовы Синявского Марии Розановой, напечатанные в первом выпуске приложения «Хранить вечно», вызвали резкие полемические отклики Александра Глезера и Юрия Буртина («Независимая газета», 1998, № 29, 20 февраля).

**Священник Михаил Ходанов.** Я не люблю, когда наполовину... — «Литературная Россия», 1998, № 5, 6, 7.

Высоцкий с христианской точки зрения. Дуализм его творчества. Полемизируя с критическими высказываниями Станислава Куняева и Олега Платонова, автор утверждает: «Творчеству Высоцкого, в его зрелой части, не хватало только одного, но самого существенного с точки зрения истинной духовности — принятия Церкви и Ее правильных духовных установок. Однако в тех условиях, в которых он жил, его деятельность зрелого периода была максимумом того, чего можно было достичь на уровне естественного (языческого, но еще не христианского) человеческого добра». Но Высоцкого «властно тянуло вниз... растленное нравями окружение»: «под влиянием столичного диссидентства (за расшифровкой этого термина следует обратиться к исчерпывающим трудам академика И. Р. Шафаревича) появлялись политические инспирированные и не характерные для поэта произведения». Последняя фраза в своем роде замечательна — и это язык *духовного лица!*

**Священник Георгий Чистяков.** Немое солнце Ада. — «Русская мысль», Париж, 1998, № 4208, 5 — 11 февраля.

«Божественная комедия»: свежий взгляд на классический текст. Данте, интересный не только красотой слога, но именно как мыслитель. Читая Данте, «становится ясно, что тот ужас, который человек испытывает перед Адом, не есть сублимированная форма биологического страха перед смертью... Ад — не наказание, ибо „Бог милости, и щедрот, и человеколюбия“ никого не наказывает; но он и не просто место, где пребывают тени умерших, как это было у Гомера или Вергилия, — у Данте здесь находятся и живые. Ад — это состояние, в которое проваливается человек, когда его „я“ оказывается во власти греха. Можно не бояться смерти, можно не верить в посмертные муки, как не верили многие и во времена Данте, но все равно Ад засосет тебя в свое жерло».

**Сергей Чупринин.** Памяти живущих. Современные мемуары как способ свести счеты. — «Общая газета», 1998, № 5, 5 — 11 февраля.

Саркастическая параллель между мемуарами генерала Коржакова «От рассвета до заката» и романом Анатолия Наймана «Б. Б. и др.» («Новый мир», 1997, № 10).



ДАТА: 19 июня (1 июля) — 185 лет со дня рождения П. В. Анненкова (1813 — 1887), русского публициста, критика, мемуариста.

Составитель Андрей Василевский.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

**20 лет назад** — в № 6 за 1978 год напечатан «Алмазный мой венец» Валентина Катаева.

**35 лет назад** — в № 6 за 1963 год напечатаны «Студенческие тетради» Марка Щеглова.

**45 лет назад** — в № 6 за 1953 год напечатана поэма А. Твардовского «За далью — даль. (Из путевого дневника)».

**70 лет назад** — в № 6 за 1928 год напечатан рассказ Андрея Платонова «Приключение».

**6**

дней в неделю

**Вечерняя** ГАЗЕТА

**МОСКВА**

**Еще не  
произошло,  
а мы уже  
сообщили**

**И н д е к с**

**4 2 5 5 9**

Подписка  
во всех  
отделениях  
СВЯЗИ

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



**издание, которое не нуждается  
в особых рекомендациях**

это объективный анализ  
политических и экономических событий,  
это литература и жизнь под одной обложкой,  
это увлекательное чтение на всю неделю.  
Заслуженный авторитет, респектабельность и  
интеллигентность, широкий круг проблем.

## Подписка

**на второе полугодие 1998 года**

**Наши индексы:**

основной — 50067,

со скидкой для

постоянных

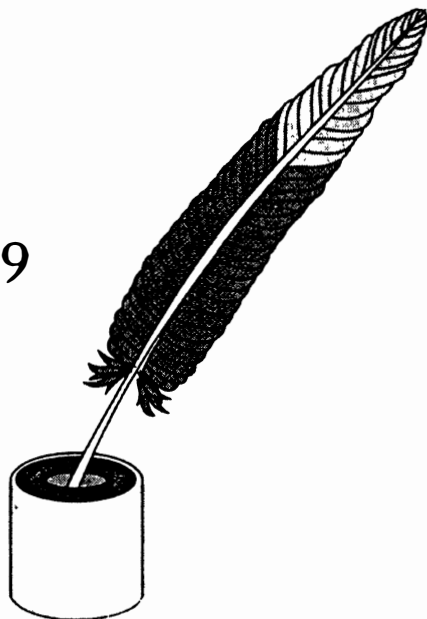
подписчиков — 34189

**Подписка на “ЛГ”**

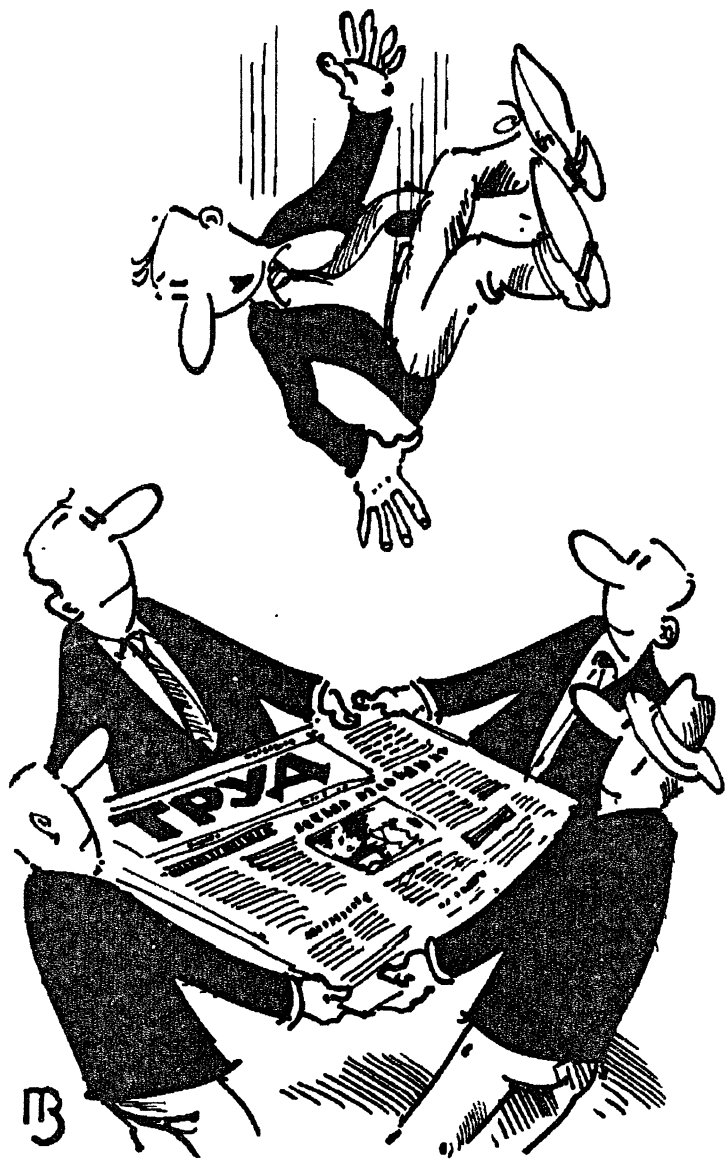
**принимается во**

**всех почтовых**

**отделениях!**



**С «ТРУДОМ» НЕ ПРОЛЕТИШЬ...**



Телефон для справок: (095) 299-39-06.  
Отдел рекламы: (095) 200-03-38, факс: 200-01-24.



# Общая газета

Выходит с теле-  
и радиопрограммой  
еженедельно  
по четвергам

*общие  
заботы,*

*общие  
радости...*

**ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС**

на полгода

**32138**

на год

**42534**



отдел  
распространения

**915-5389**

справки

**915-2288**



## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Semen Lipkin, Maxim Amelin and Yuri Kublanovsky.

We are publishing the end of the narrative «The Merry Soldier» by Victor Astafyev (the beginning is in No.5), as well as short stories by Teodor Vulfovich and Yuri Buyda.

In the section «Far Nearness» we are finishing to publish the memoirs notes of 1976 — 1980 by Igor Dedkov (see the beginning in No.5).

The section «Publications and Reports» contains the ending of the essay «Splinters of the Silver Century» by Vitaly Shentalinsky (the beginning is in No.5).

In the section «Literary Criticism» we are publishing the essays «The Phenomenon of Pushkin in the Light of Obvious Things» by V. Nepomnyashchy and «So Why on Earth Mandelshtam?» by Sergei Averintsev.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Bibliography» and a new one, «Prize».



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

**И. о. главного редактора А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.02.98 г. Подписано к печати 23.04.98 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

**Тираж 15 280 экз. Зак. 4247. Цена договорная.**

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1998 ГОДА  
И В 1999 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Лопушок (роман);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);  
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);  
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;  
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;  
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Веселые похороны (повесть);  
 АНТОН УТКИН. Самоучки (роман);  
 СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Изречения Дарьи (записки, 1908 — 1911 гг.);  
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть) и другие произведения.

***НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!***

Наш индекс 70636 в каталоге АРПИ (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала по *льготной* цене. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner, D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 318-08-81, (095) 318-09-37).